

84(2р=Балк)

Т 52

12 561 82

ЗЕМУН ТОЛУРОВ

ВОЛУВОЙ
ТУНЧАК

УР ✓
ЗЕЙТУН ТОЛГУРОВ

ГОЛУБОЙ ТИПЧАК

РОМАН



АЛЫЕ ТРАВЫ

ПОВЕСТЬ

Перевод с балкарского

1056182

Нальчик
"ЭЛЬБУС"
2003

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ СТОЯНОККА
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Негмова, 42

с (Барк) 2
T52

КНИЖНИ ТИПЪН

ТОУАЕОН ТИПЪК

КНИЖНИ

ААВІЕ ТІАВІ

КНИЖНИ

Издательство

КНИЖНИ

T $\frac{4702100100-047}{M 125(03)-2003}$ 2003

ISBN 5-7680-1881-6

© З. Х. Толгуров, 2003

БОЛУБОЙ ТИПЧАК

РОМАН

Мощный порывистый ветер с низины не унимался вот уже третий день. Высвобождаясь из глубины ущелья, он широко расстилался над самой землею и, чуть помедлив перед атакой, с воем врвался в пустые глазницы окон полуразвалившейся мечети, где, обшарив все щели каменной кладки, задыхался, не в силах найти выхода. Возникающие в разных местах смерчи поднимали в воздух тучи беловатой пыли, слизанной со стен здания мечети и желтых шероховатых камней ущелья, кое-где им удавалось вырвать и камень с осыпающегося фундамента, и, казалось, ярость этого ветра неисчерпаема.

— Никогда бы не подумал, что в кладке этой мечети столько извести и песка, — удивился один из стариков, собравшихся неподалеку.

Больше не было сказано ни слова. Старцы сидели рядом на длинной скамейке, плотно прижавшись друг к другу, и безмолвно прислушивались к завыванию ветра. Ежедневно собирались они здесь — напротив мечети располагался ныгыш, — место, где старики обменивались новостями, мыслями или просто молчали. Но сегодня на их лицах можно было прочесть обиду. Они были недовольны разорением мечети, хотя вслух об этом не высказывались. Так они и застыли, одни тяжело оперевшись о палку, иные просто уставившись перед собою с бесстрашием покалеченного орла, старцы, чьи слова значили не более палой листвы, уносимой осенним ветром.

Разрушить старую мечеть оказалось непросто. Но даже после того, как Чиппо удалось выворотить из стены и столкнуть вниз огромные отесанные под кладку фундамента камни, дело не продвинулось. Главной задачей было погрузить их на воловью арбу и отвезти к месту, где собирались

построить школу. Трудоспособных людей не хватало, а несколько зеленых еще юнцов, которых Хаким пригнал сюда под страхом расправы, поднять эти камни были не в состоянии. Переворачивая с помощью ломов, шестов и случайных приспособлений, они докатывали их до арбы и оставляли в покое. Мелкие камни и покрупнее не спеша погружали на арбу и увозили к предполагаемому месту стройки. Парни по полчаса утоляли жажду возле каждой спешащей с коромыслом девушки, подолгу обсуждали неотложные дела со всяким встречным-поперечным, волны из-за частых остановок тоже не расстраивались, и, в общем, толку от этих работяг было столько же, сколько от быков с отрезанными головами.

На самом верху здания копошился Чиппо. Этот низкорослый мужичок с кривыми ногами никогда не страдал от чрезмерного стремления к труду и вообще к каким бы то ни было свершениям. Разумеется, сегодня он тоже не испытывал энтузиазма и радости, и если бы не побаивался Хакима, руководившего этой работой, то, уж конечно, не прикоснулся бы ни к одному камню. А ведь совсем недавно, напротив, Хаким побаивался Чиппо. В то время Чиппо был одним из новых вождей и, между прочим, стоял у истоков решения разрушить мечеть, а полученный лес и камни использовать на постройку школы. Чиппо — глиняный карлик ущелья — гарцевал на красном коне, опьяненный свободой и властью, надменно помыкал односельчанами как подневольными, и своим воинственным видом наводил ужас на соседских детей и женщин. Но мир непредсказуем, — освободившись из-под ареста и лишившись всего, что имел прежде, он тотчас же сделал выводы: теперь ему здесь незачем гнуть спину и незачем знать, почему вот уже два года, как разбирают стены мечети, все недозволены, а школы как не было, так и нет.

А ветер, позабыв свое привычное направление вдоль по течению реки, понесся в обратную сторону, смущая жителей аула Кургак невыносимым воем и стоном. «Дурная примета, — говорили в ауле, — это души умерших оплакивают мечеть».

* * *

Крым, зажмурившись, вытянул перед собой руки и замер. Егo тотчас же окружила тишина, прохладный ветерок, игриво мотающийся по закоулкам, затих, исчезли возня и

азартные крики ребятни, игравшей в альчики неподалеку. Ощущая ладонями тепло лучей солнца, Крым задумался о сокровенном. Вообще, надо сказать, Крым — паренек любознательный и очень любит мечтать. Порою ему бывает даже скучно играть с мальчишками, бегать с ними на речку, потому что он знает то, что дано не всякому там улично-му задире. Он должен увидеть Золотую чашу, которую Судьба дарует не каждому, испить из нее чистойшей родниковой воды. Правда, он еще не знает, кто именно подаст ему эту самую Золотую чашу. «Ее протягивает Судьба, — говорила бабушка Гелля, а она никогда ничего не выдумывает и не обманывает. — Золотая чаша, — говорит Гелля, — это Надежда, которую человек не должен терять, как бы тяжело ему не было, тогда Судьба вознаграждает этого человека — дает ему утолить долгую и мучительную жажду из Золотой чаши». Но одной надежды мало, безвольным и ленивым не видать ее как собственных ушей — это Крым знает твердо. Бабушка даже рассказала старинную историю про одного мальчика, его маму и Золотую чашу. Крым почувствовал дрожь в пальцах — все-таки Судьба достойно ответит на его просьбу, не будет его мучить долго, это было бы несправедливо. Он изо всех сил пытался представить себе, как Судьба преподнесет ему Золотую чашу. Не доверяя своим простертым рукам, он чутко прислушивался, следил за звуками. Сквозь шелест волнуемой ветром травы доносился тихий, едва уловимый звон. Он то приближался, то удалялся, напоминая крохотный колокольчик или звук задетой ветром струны. Крым приоткрыл один глаз, затем, в нерешительности, — второй... Увидев чудо, он так затрепетал, что у него подкосились ноги, и он опустился на корточки. Прямо перед ним, сверкая, словно крупинка солнца, в воздухе висела Золотая чаша. Она покачивалась, как лодка на водной глади, ни цепи, ни рук, которые могли бы держать ее, не было видно. Крым был очень взволнован. «Судьба моя, прошу, не спугни моего счастья, не допусти, чтобы моя Золотая чаша исчезла, — взмолился Крым, — я пожертвую самым любимым из того, что имею, забери мой лучший меднобокий альчик».

Чаша была полна воды. Доверху. Однако вода в ней от колебаний не расплескивалась, она играла с легким шумом, напоминающим шум моря в розовой раковине. Крым прикоснулся ладонью к ее гладкой поверхности и, наконец решившись, поднес к губам. На прозрачном дне отчетливо было видно отражение побледневшего лица.

— Ты что застыл здесь, как изваяние?

Крым от неожиданности вздрогнул. Перед ним, подбоченившись, стояла Даум, жена дяди (именно жена дяди, называть ее по-другому у Крыма язык не поворачивался). Крым, хоть и беззлобно, не любил ее, потому что чувствовал с ее стороны нехорошее отношение к себе. Бывало, Даум обижала его, но как-то изощренно, незаметно для других, будь то в семье или в каком другом месте. Она, как бы невзначай, могла проронить в его адрес грубое слово, а при случае и ударить, и ее обращение к нему на людях не иначе как «миленький», «сладенький», «душа моя» — вызывало у Крыма особенное отвращение. Находясь в таких сложных отношениях с невесткой, Крым все же находил в своем детском сердце достаточно мужества, чтобы не плакать на людях, не выдавать неприглядной тайны, когда Даум, обнимая и целуя, незаметно больно щипала его.

«Судьба моя, не лишай меня моей золотой доли. Даум — это злой джинн, гони ее скорее прочь, освободи дорогу моему ангелу», — прошептал Крым и снова потянулся к Золотой чаше.

Но чудо исчезло. Не в силах поверить в это, он в растерянности посмотрел на небо. Затем, словно надеясь обнаружить ее осколки или следы, нагнулся и посмотрел себе под ноги.

— Что ты ищешь в пыли, полоумный? — Даум угрожающе приблизилась к нему.

— Ты спугнула мою Золотую чашу. — Мальчик отвернулся и тихо заплакал.

Даум охватила безотчетная радость. Оказывается, этого выродка, сына Халимат, Аллах здорово обидел, лишил разума, странно, как это люди до сих пор не заметили этого? Да еще полагают, что он гораздо умнее и смышленнее своих сверстников. «Ой, люди, посмотрите на это чудо, единственный сын Халимат оказался придурком!» — едва не вырвалось у нее. Однако спешить она не стала. Что она будет иметь с того, что Крым придурок? Ей и самой было не вполне понятно, отчего она так хочет этого, отчего ее так возбуждает мысль, что сын свояченицы сумасшедший.

— Что это за разговоры о золоте и какой-то чашке, душенька моя, зеница ока моего? — спросила она с глумливым любопытством.

Крым поднял голову. Его черные, полные горести глаза насторожили Даум, — не может быть, чтобы этот детский взгляд был взглядом сумасшедшего. Сердце ее снова встревожилось.

— Золотая чаша — это дар Судьбы. Из нее я буду пить

чистойшую воду, — отвечал Крым, заметив, что Даум ничего не может понять и злиться все больше и больше.

— Ой, Аллах, вот чудо, — Даум с силой сжала ему руку и повлекла его, спотыкающегося, в сторону дома. — Пойдем, полоумный, пойдем, никчемный человек, самим Аллахом лишенный будущего...

* * *

Любой, увидевший теперь больную Халимат, понял бы, что у нее нет никакой надежды, связанной с настоящим светлым миром; дни — а может статься — и часы ее сочтены, и последнее, что можно было для нее сделать — это позаботиться о ее тающей душе. Заплаканные женщины, печальным цветником расположившиеся у ложа смертельно больной сестры, похоже, окончательно убедились в этом: «Что мы можем сделать против воли Аллаха, — говорит Айшат, старшая из сестер, — каждый стон больной дважды отзывается в наших сердцах». В просторной полуподвальной комнате звенит тяжелая тишина, изредка прерываемая шепотом. Никто из собравшихся не сомневается в печальном исходе, об этом говорят вслух, не беспокоясь, что несчастная сестра может услышать и утратить всякую надежду. А скрывать-то и нечего: отныне она не жилаец на этом свете; то, что с нею должно было случиться — случилось, если горящие головни истлели, хочешь — раздувай, хочешь — оставь, результат будет один. Ну а живые, чтобы там ни говорили, обманываются нескончаемостью жизни, им уже нет дела до тех, кто уходит в царство смерти; лицемерить, обманывать добрым словом и себя, и ту, что одной ногой в могиле, совершенно ни к чему. Даже если б это и хорошо, кто не поленится сделать доброе человеку, который никогда уже не сможет ответить благодарностью? Да, ждать смерти больного у его постели — дело не из легких. Человек умирает иногда невыносимо долго, но те, кто рядом — пусть даже сестра или брат — отказаться от своих суетных земных забот не могут — у каждого дети, родной очаг, собственные домашние заботы. Сестер Халимат никто не может пристыдить. Разве они не заботились, разве они плохо смотрели за своей сестрой в трудный час? Их глаза пересохли и помутнели от пролитых слез. И что толку: Халимат в руках смерти. Смерти покорялись во все времена и люди куда более могущественные.

Так сестры, страшась своих глубоких мятежных дум,

сидели печальные. Изнурительное бдение у постели больной, мысли о чести семьи и последнем долге перед сестрой, противоречащие мыслям о насущном, привели их к полному замешательству и оцепенению. Вдобавок ко всему, после того, как Халимат огласила последнюю волю, сестры расстроились, засуетились, их охватило непонятное волнение, речи стали сбивчивы, бессвязны, бестолковы, чувствовалась нарастающая тревожная нервозность, скрыть которую не удавалось при всем желании. Что скажут люди? Все односельчане знают их как добродетельных, хорошо воспитанных, порядочных женщин, и чтобы из-за разногласий в дележе наследства между ними произошел скандал или хотя бы пробежал холодок? Не дай Аллах дожить до такого дня! Что такое золото и любое имущество по сравнению с родной кровью?! Золото день блистает, на другой исчезает, а в семье мы рождаемся, проводим жизнь и умираем.

Айшат, тонкими пальцами теребя бахрому на своем платке, находилась в глубокой задумчивости. Она видела, что сидящие рядом сестры недовольны. И, похоже, недовольны они не напрасно. Но почему так?! Если на ее шею навязывают дитя, стоит ли удивляться и возражать тому, что золото завещано ей же. В том, что золото полностью остается за ней, нет ни греха, ни позора. Айшат, не поднимая головы, украдкой глянула на сестер. Сердце ее заколотилось сильнее. «Ладно, они внакладе тоже не остались. Пояса с золотой филигранью, золотые сережки, кольца, китайские покрывала, а сколько всевозможного платья...» Пока она припоминала, сколько разного добра умирающей Халимат было роздано сестрам, страдания ее увеличились. «Да нет, несмотря на то, что мой кусок кажется чрезвычайно жирным, им радоваться тоже не стоит, и если они окажутся даже в более выгодном положении, чем я, удивляться будет нечему. Может, они позаботятся о сыне Халимат? Ничуть не бывало! Так на что они еще надеются? Вместо того, чтобы поблагодарить, мол, бедняжка, мучиться с ребенком предстоит тебе, а все лучшее досталось нам, хотя ты вполне имела право не оставлять нам и нитки с иглой, — насупились, безмолвствуют по-черному...» Айшат не замечала, что ее тонкие длинные пальцы уже не теребят, а раздирают бахрому платка. «Зря дуетесь, — не унимался злой дух ее сердца, — вы погрязли гораздо глубже меня, желая получить все, а трудиться, мучиться с ребенком — мне...» Ей захотелось поговорить в открытую; а как же иначе, лучше пусть они сами чувствуют угрызения совести, пусть они сами окажутся алчными дурами и бестиями, а не она. Если

прямо сейчас не взвесить каждое слово, то позже оно будет все равно, как шелуха на ветру. И денно и ночью будут трещать, приставать, мол, тебя обогатило золото Халимат, а раз так, давай делись, помогай...

Но минутному порыву Айшат, конечно, не поддавалась. Разве можно было сравнить сокровища, доставшиеся ей, с поясами, китайскими тряпками и прочей дребеденью? Еще совсем недавно перед ними был выставлен горшок с золотом; о, какая жуткая поволока появилась в глазах сестер; как бы молила Аллаха каждая из них, чтобы Крым достался ей, знай они тогда, с чем связано это золото в завещании. Однако Аллаху было угодно, чтобы заветный горшок попал в руки Айшат. Так чего же ей понапрасну беспокоиться, имея такое состояние, не одного — семерых Крымов вырастит, она сможет твердо поставить на ноги свою семью, построить огромный дом, и чаша каждого в нем будет полна через край. Айшат чувствовала это всем своим существом, но вот беда: предстояло избавиться от зависти и преследований родственников. Конечно, было бы очень неплохо, если бы Халимат передала ей золото из рук в руки без лишнего шума, но она огласила завещание в открытую; никак испугалась, что без свидетелей ее завещание будет недействительным? И это женщина, которая столько лет так умело скрывала целое состояние! Айшат невольно окинула больную презрительным взглядом. Халимат неожиданно тоже повернула голову в ее сторону. Их взгляды встретились, Айшат попыталась изобразить на своем усталом лице готовность и внимание. «Бедная, как далеко теперь ее душа», — подумала она, уловив желание умирающей сестры сказать что-то. Взгляд ее казался довольно осмысленным и несколько даже смутил Айшат.

— Что тебе нужно, отчего ты беспокоишься, душа моя? — сказала Айшат, не выдерживая более напряженного взгляда сестры. Несмотря на усилия быть предельно мягкой, в ее голосе чувствовалась грубая решимость. — Ни умереть не может, ни поправиться, удивительно упрямая душа у горемыки, — заговорила она снова. — Но теперь, да простит меня Аллах, смириться и найти свое место для нее было бы лучшим выходом. Аллах милосердный не отягощал ее долгой мучительной болезнью, нужно ли соперничать с Его окончательной волей, держаться за надежду, которая так призрачна? Мир обошелся без многих таких, как мы.

Так говорила Айшат, обращаясь к ничего не смыслящей, как ей казалось, сестре, но гнев ее возрастал. У нее

пересохло в горле, на лице выступил холодный пот. Она с содроганием подумала о том, что ведь на ее веку многие, казалось бы, неотвратимо вступившие одной ногою в могилу, неожиданно поправлялись и возвращались к нормальной жизни. Могущество высшего промысла велико и непредсказуемо, все может повернуться иначе. «Не знаю, — думала Айшат, — возможно, мы поспешили, оповестив близких и дальних родственников, поделив имущество живого еще человека. А теперь, даже если она встанет на ноги, кто из сестер станет утруждать себя возвратом вещей? Вернуть попавшее в руки таких бестий будет не так просто. Я-то что, я верну, конечно...» Ладони Айшат были влажны, лицо горело огнем, ее тошнило от отвращения к самой себе.

— Говори же, что я могу сделать для тебя, родная моя, — начала она снова. «Себя обманывать она еще может, но меня — пусть даже не пытается».

— Что-то дитя не видно, вы бы привели его, — едва дыша, произнесла Халимат.

Одна из сестер, похоже, Жюзюм, прикрыв лицо краем платка, зарыдала.

— Покидая тело, душа ищет самую близкую душу, чтобы проститься...

— Оставь его, боль моя, призывай имя Аллаха, — наставительно проговорила Айшат, недовольная тем, что Халимат снова цепляется за жизнь.

— Пойдем, негодный, чтоб ты сдох, чтоб тебя задушила грудная жаба... ступай же, ну, мерзавец, приberi тебя Аллах, — Даум грубо тащила Крыма, хотя тот и не сопротивлялся. Достигнув дверей, она подняла его на руки. — Радость моя, мой царственный мальчик, золотое темечко, ты и так был позолоченным, а теперь и вовсе золотой, — Даум коротко глянула на Айшат, — подойди, ханчонок, к своей тетушке, подойди, золотце... — Опуская Крыма на пол, Даум, видимо, больно ущипнула его. Крым долго стоял посреди комнаты с гримасой ненависти и отвращения, прижав ладонь к правому боку.

Но едва ноги Крыма коснулись пола, сестры примолкли и уставились на него, точно это был не Крым, а невесть откуда взявшийся, непонятный зверек. Может быть, их смущала необычайно опрятная внешность мальчика. Коричневая черкеска с иголки, новенькие гетры, на ногах черные крашенные чабуры, аккуратная шапочка, вышитая золотистыми нитками, подчеркивали подтянутость и завершали впечатление, производимое бледным не по годам лицом и

угольно-черными глазами, невеселый блеск которых оставался неизменным, даже когда он смеялся. Казалось, опыт и рассудительность, которые обычно приходят с возрастом, пришли к нему слишком рано; ребенок, не переступивший и четвертого года от роду, не верил сладким речам сестер, не стремился быть обласканным ими. Зато умел слушать, не подавая виду, и не забывать услышанного от старших, — те, в свою очередь, не обращая внимания на Крым, младенца неразумного, частенько говорили в его присутствии множество интересных, подчас неожиданных вещей. И сейчас тоска и затаенная надежда в глазах тетушек настораживала его; он почти догадывался: происходит что-то плохое и это-то плохое не дает им покоя.

— Подойди, родненький, дай мне обнять тебя, — растопырила руки Хафисат, одна из старших сестер матери, рыжеволосая женщина с чуть продолговатым носом. Крым слышал много раз, что Хафисат и Халимат очень похожи между собою, но ему это сравнение не нравилось. У мамы белое, как молоко, лицо, а волосы по пояс похожи на разлитое золото. А у этой волосы просто желтые, и к тому же под носом и на подбородке две большие отвратительные бородавки.

Крым, не шелохнувшись, с неприязнью смотрел на Хафисат. Ему стало не по себе, на глаза зачем-то навернулись слезы, он был близок к тому, чтобы громко заплакать.

Избалованный ящеренок, пришло на ум Айшат, можно подумать, если бы его не раздели, словно ханского отпрыска, так его погнали бы прочь отсюда. Она еще раз придирчиво осмотрела внешность мальчика. Посеребренные подвязки на ноговицах и ремешок на поясе ей тоже не понравились. Не понравились ей и белые костяные газыри на новенькой черкеске, и белоснежный воротничок рубашки под нею. Ее бесило, что Халимат, тяжело болея, занималась шитьем и подготовкой такого великолепного наряда. Своих детей, рожденных, не в пример Халимат, от мужчины, подобного хану, ей никогда не приходилось наряжать так изысканно. «Вот, я все брошу и, вслед за нею, начну заботиться об одежде этого...» — Айшат не удавалось утихомирить свой гнев. То, что на этот раз причиной его стал малыш, раздражало ее дополнительно, стыдно было даже признаться себе в этом. Крым — упрямый разукрашенный ящеренок — казался отвратительным. Ей страстно хотелось, чтобы у сидящих здесь сестер не было никакого сомнения в том, что перед ними трудный, непутевый ребенок. Ей хо-

телось, чтобы ее пожалели, — на ее голову свалилось несчастье воспитывать такого непослушного, злобного и бессердечного мальчика.

Однако никто не издал ни звука.

— Как бы это дитя не заставило нас краснеть перед людьми, — отвернувшись от больной, прошептала Айшат.

— Лучше этого мальчугана ты и в глаза никогда не видела, — сказала Жюзюм.

— Что же тогда ты не взяла его воспитывать?

— Я согласна, еще не поздно...

— Может, ты еще вернешь обратно все то, чем поспешила набить свою ненасытную утробу?

— Ну да... прямо сейчас.

Сестры замолчали, стычка не состоялась. Они изучающе глядели на Кырма, чтобы не встретиться глазами. Они обе знали, о чем идет речь, но боялись друг дружку, старались гнать прочь мысли, казавшиеся мерзкими перед лицом людей и Аллаха, перед лицом собственной совести.

«Да простит меня Аллах, — размышляла тем временем Хафисат, не решившаяся вмешаться в разговор, — но когда мать не жилец на этом свете, не видать счастья и сыну. Что за жизнь без матери — ведь он еще младенец — один стебелек нивой не станет. Было бы лучше, если б и этот, не мучаясь понапрасну, по воле Аллаха, стал бы одним из райских птенцов. Надо признать, он никому не нужен. Кто теперь будет его лелеять, воспитывать? Уж не Айшат ли? У нее два сына и дочь, у Жюзюм — два сына, у меня — четверо сыновей, так же и у братьев. Ай, что и говорить. Честь рода — это достойные дети, а этот что? У него уже сейчас синева под глазами, личико бледное, ни дать ни взять — утопленник. Его балуют, наряжают, но взгляд у него страшный. Именно так, не знаю, отчего мы до сих пор обманывались, будто у него обостренный и очень оригинальный склад ума, вон, стоит, как вкопанный, да битые полчаса возится со своим ремешком...»

— Иди ко мне, маленький, сладенький мой, обниму тебя, — снова заговорила Хафисат.

Крым не шелохнулся. Однако, дабы не обижать тетушку, оставил в покое посеребренный ремешок и начал с деловитым усердием возиться с подвязками.

В голове Хафисат невольно промелькнуло проклятие. Действительно, для чего она лукавит перед этим недоумком? Или она выслуживается перед сестрами? Но что она может получить от них? Все, что могла, она уже получила. У

нее свои дети, у них — свои, на что ей этот обиженный Аллахом...

— Ты не бойся, сынок, прямо зверек дикий, — заговорила женщина с птичьим лицом, — мы все здесь тебе как родная мать...

Крым поднял голову. По его лицу пробежала едва уловимая улыбка: а правда, чего это она так птицу напоминает... и что за птицу? Да, ворону.

— Отчего же не подходишь, она тебя не укусит, — включилась Айшат.

Их взгляды встретились. «Айшат, — рассуждал Крым, — тоже напоминает что-то, не то лису, не то шавку. Точно, шавку, именно ту сучку у них во дворе, которая не лает, но кусает, подкравшись сзади без всякого предупреждения».

Даум снова взяла Крыма за руки и усадила на край маминной кровати. Это было неожиданностью, потому что прежде, когда он сам забирался туда, она с криком прогоняла его оттуда. Крым заподозрил неладное, даже на маму поглядел с некоторой опаской. Наверное, мать хотела погладить его, она попыталась поднять руку. Но рука оказалась слишком тяжелой. Крым прижался к ней. Увидев грусть на лице сына, Халимат с усилием улыбнулась. Сделать для него большее оказалось не по силам. Скорей бы ей уйти, не мучить несчастное сердечко единственного сына. Кто знает, если он запомнит ее облик, то лучше бы сохранилось не это изнуренное болезнью лицо, — ведь еще два месяца назад Халимат была счастливой двадцатипятилетней матерью, мягкой и грациозной, подобно иве, но отличить этого блеска Крым не умел, — этот блеск был таким же привычным и естественным, как восход солнца и ясная чистота воды. А теперь... Но как быть, ведь исчезнуть из памяти сына навсегда — значит уйти бесследно, как камень, сорвавшийся в пропасть, как повалившееся и сгнившее в лесу дерево... Человек, который не помнит родной матери, может забыть многое. «Крым, мальчик мой, никогда не забывай меня!» — хотелось ей вымолвить. Но как? Как объяснить неотвратимость смерти? И не грешно ли это, Крым же еще ребенок; даже видеть ее в таком состоянии он не должен, но как уйти из жизни, не увидев сына? Для ее угасающего сердца это испытание было невыносимо.

Халимат снова попыталась улыбнуться. Но слезам не было дела до ее устремлений, они переполнили мутные глаза и покатались вниз по впалым потемневшим щекам.

— Не плачь, Абий, не плачь... — так Крым называл свою маму с тех пор, как научился говорить.

Потерявшуюся где-то в далекой дымке Халимат вернули обратно крик и всхлипывания сына. Омраченная слезами улыбка снова показалась на ее неузнаваемом лице.

— Я не плачу, отчего же мне плакать? И ты не плачь, у нас с тобою все будет хорошо, — прошептала она.

Крыма увели. На некоторое время воцарилось молчание. Халимат начала задыхаться и, пытаясь скрыть агонию, отвернулась, стала смотреть в окно. В дальнем углу двора, в тени загона, рядом с привязанным пятнистым теленком, гнедая кобыла нежилась со своим жеребенком. Вдруг неожиданно, как выстрел, перед ее взором возникла Хабла, сельская дурочка, которая всю жизнь питалась тем, что подавали односельчане, и ютилась по сараям и теплым углам дворов. С этим домом ее отношения складывались особо. Когда Халимат не было дома, она ни с кем не заговаривала, но, притаившись в дальнем углу загона, тихо отсиживалась, пока не придет Халимат и не даст ей поесть-попить. Нельзя сказать, чтобы Хабла голодала или мерзла на холоде — люди не допускали такого, но ее неизменно тянуло сюда, какие-то смутные, непонятные для окружающих, надежды несчастной были связаны с Халимат, ибо в этом доме больше ее никто не жаловал. Халимат часто меняла лохмотья Хаблы на вещи, которые носила сама, шила для нее обувь и была очень добра к ней.

Сейчас Хабла привиделась ей. Она лежала под навесом загона, завернувшись в рванье и положив под голову свою котомку.

— Ох Аллах, там, под навесом, лежит Хабла. С ней что-то случилось, позовите ее сюда, — неожиданно оживилась Халимат.

Сестры переглянулись, но никто не двинулся с места. «Несчастливая, она бредит, не ведает, что говорит...» — раздались голоса. Кто-то в голос заплакал — это была опять Жюзюм, но, как бы спохватившись, тут же успокоилась, после чего вновь все умолкли. Айшат казалась потрясенной больше всех, она в бессилии опустила руки, напоминая собой старую тряпичную куклу.

— Бедная моя сестра, разум вышел из нее раньше духа, — запричитала она, покачивая головой в обе стороны. — Ну да ладно, дай Аллах избежать ей худших испытаний; все в руках Аллаха, так или иначе, от судьбы не уйдешь. — Ей хотелось причитать и дальше, но все возрастающее откуда-

то из глубины сердца уже знакомое беспокойство снова отвлекло ее. И на этот раз, как она ни старалась, справиться с ним не удавалось. Да и не хотелось.

«Не знаю, — сокрушалась Айшат, — с каких пор я стала такой, или это началось только сегодня? Разве я не любила свою сестру, почему у смертного одра сестры я думаю совсем о другом, почему судорожно ищу повод уйти отсюда? Богатство, выпавшее мне с этим выродком, соблазняет меня. — Айшат быстро посмотрела на Крыма и опустила глаза: ее шелковые тапочки уже давно утратили свежесть, а левый — она чуть вытянула носок — треснул по шву на целый палец. — И напрасно я сижу здесь столь беспечно с этими тупицами, им беспокоиться нечего. Много ли надо, чтобы разнести этот сундук в щепки, может статься, я здесь сижу, как дура, а золото давно растащили». Айшат охватила паника, скрывать которую она уже была не в силах. Заветный кувшин был спрятан в ее спальне на самом дне сундука, из которого она предварительно выгребла все, что могло бы привлечь внимание, и доверху набила его грязной ветошью. К сожалению, Аллах не предусмотрел такого сундука, до которого не в состоянии дотянуться злонамеренный глаз и рука человека, маленькая хитрость с ветошью тоже не очень утешала ее, ей не сиделось, навязчивая мысль о том, что некто переворошил ее сундук с кладом, не покидала ее. «Как бы ты ни упиралась, а конец один, — все одно подохнешь. Так подыхай же скорее!» — прошипела она, кинув злобный взгляд на больную. Это из-за нее Айшат не может заняться неотложными делами. Всякому терпению наступает предел, — Айшат решительно поднялась со своего места.

— Давайте не будем толпиться над душой нашей несчастной сестры, — сказала она, — эдак мы и здоровую загубим. Идите перекусите чего-нибудь, да и отдохнуть не помешает, мы все очень устали.

С этими словами Айшат направилась к выходу. В комнате осталась одна Жюзюм, остальные, словно провожая, вышли вслед за ней. Живые есть живые, неплохо бы и прилечь, ничего предосудительного в этом нет.

В комнате снова стало тихо. Посидев какое-то время, глядя на Халимат, Жюзюм крепко прижалась лицом к краю ее кровати и заплакала. Плакать было совсем ни к чему, но горе подтачивало ее сердце, она не выдержала и дала волю слезам.

— Аллах единый и справедливый, вы и на смертном одре не оставите меня в покое, — проговорила Халимат.

— Тебе-то что, твоя чаша выпита до дна, если кто по-настоящему несчастлив, так это мы, — отвечала Жюзюм, несколько поуспокоившись. Ей хотелось сказать, что расставаться с близкими навсегда куда страшнее, чем умереть, и еще страшнее, когда родные сестры умирают друг для дружки при жизни, но, посчитав, что оплакивать живых — дурная примета, промолчала.

— Я попросила позвать Хаблу, — сказала Халимат, снова попытавшись приподнять голову.

Жюзюм изменилась в лице, но ничего не ответила. Ладно, это даже к лучшему, говорят, блаженные и смертельно больные, сошедшие с ума перед смертью минуют страшный суд и сразу попадают в рай.

— Почему мысль о Хабле не оставляет тебя, может, она зовет тебя к себе? — Жюзюм с ужасом посмотрела на сестру. Что ж, если давно исчезнувшая и унесшая с собою всякую память о себе Хабла бродит вокруг дома Халимат и зовет ее, значит, без нее она не уйдет. Однако же блаженная Хабла неспроста посещает сестру; она выбрала такую же безгрешную, как и сама. Как удивительно устроено мироздание!

— Кто такая Хабла, я такую не знаю, — прошептала Жюзюм, испугавшись так, словно исчезнувшая три-четыре года назад блаженная разыскивает не Халимат, а ее лично.

— Да, должно быть, ты ее не помнишь, — сказала Халимат, — ты не помнишь ту Хаблу, которая порой с утра до вечера не покидала нашего двора... — в слабом голосе больной неожиданно прозвенела злость. Было очевидно, что за последнее время отношение сестер к ней, как к обреченному, ничего не смыслящему существу, не осталось незамеченным ею. Но она чувствовала — возьмись она доказывать обратное, это отношение утвердилось бы еще более основательно. Зачем им понадобилось это? Что они затеяли? Может, мое завещание кажется им несправедливым? Халимат снова посмотрела в окно, ища глазами Хаблу. Но теперь Хаблы не было, и она решила, что ей мешают слезы.

В эту минуту вошел Крым. Халимат начала искать, чем бы отереть лицо, но вдруг ощутила тепло, исходящее от ладоней сына, и замерла. Ее пальцы скользнули выше и коснулись коротко стриженной головы, она почувствовала, что тот тихо плачет.

«Плачет, довела я его», — прошептала она поникшим, бесконечно грустным голосом.

Тяжелая страшная тишина начала окутывать ее со всех

сторон. Она постепенно накрывала ее всей своей чудовищной тяжестью, выдавливая из нее дыхание, но потом вихрем шелухи взметнулась вверх. Халимат на мгновение почувствовала необыкновенное облегчение и тепло, как от утреннего солнца, но рассеявшаяся в воздухе шелуха, превратившись в мощный поток зерна, снова обрушилась на нее. Зёрна, каждое в отдельности, пронизывали ее тело, как тысячи игл, пока оно не онемело. Тяжесть льющегося зерна снова давила, вызывая холод и тишину. Халимат пыталась понять, кто и для чего делает это, всматривалась вверх, но пока ничего не было видно. Затем в темноте начали появляться силуэты копошащихся человечков, они плавно, как рыба в глубине, передвигались в эфире, иногда встречались и устраивали между собой какую-то возню. Вглядываясь пристальнее, она начала узнавать в них своих сестер и братьев. Все они беспорядочно занимались общим делом — одни, развязывая огромные мешки, другие, иступленно потрясая и дергая руками и ногами, будто желая вытряхнуть самое небо, — засыпали ее нескончаемым потоком зерна. Мухаммад, приходившийся ей старшим братом, стоял в стороне и расчесывал свои рыжие волосы. Рядом с ним стояла Жюзюм. Они ни о чем не говорили и безучастно наблюдали за происходящим. «Зачем вы хороните меня заживо, остановитесь, не спешите так?» — хотелось крикнуть Халимат, но, словно во сне, голос не звучал. В какой-то момент ее глаза встретились с глазами Айшат.

— Я сестра тебе, разве ты забыла об этом?.. — прошептала Халимат.

— Что ты хочешь этим сказать? — Айшат, побледневшая, с плотно сжатыми губами, сощурив глазки, смотрела прямо на нее. Вдруг она превратилась в ворону и, взмахнув крыльями, села на грудь Халимат.

«Они считают, что я онемела, ничего не соображаю, что дух вышел из меня, — подумала Халимат. — Они даже не пытаются обманывать меня».

Айшат захлопала крыльями и пересела ей на ноги. Халимат тотчас почувствовала, что что-то потянуло ее вниз, сквозь осыпающуюся грудку зерна. Стало тесно и жарко, словно внутри раскаленного ствола ружья, но сужение и движение вниз не прекращалось. Где-то вдалеке она увидела слабый мерцающий огонек, и ей невыносимо захотелось попасть туда. Жара начала спадать, затем стало холодно — сперва оледенели ноги, и вот уже все тело оказалось в холодном склизком жёлобе не шире овечьей кишки, не-

умолимо засасывающей ее все глубже и глубже. «Неужели это и есть мост Сират», — промелькнула мысль. Вдруг она вцепилась рукой во что-то теплое. Что это? Слышен детский плач. Неужели Крым? Неужели это его она тащит с таким исступлением за собой в страшную холодную яму.

Халимат озарило. Она пронзительно вскрикнула или ей только показалось, что она вскрикнула, но сила, всасывающая ее, вдруг отстала, темнота разбилась, и день за окнами осветил мир. Да, Крым был рядом, и у нее не хватало сил разжать судорожно скрюченные пальцы, впившиеся в его руку.

Прийдя немного в себя и поразмыслив, Халимат поняла, что ей пришел конец, что она и Крым расстанутся, и ничто не поможет им. От безысходности она начала молиться. «Аллах единый, милосердный и всемогущий, — шептала она в полузабытьи, — заведи у меня все, но оставь жизнь, чтобы я могла видеть мое дитя. Пусть я буду хоть лисой дикой, хоть собакой, хоть насекомым, ползающим по земле, но дай мне возможность быть на этой земле и видеть моего сына», — так она в исступлении повторяла по многу раз, пока силы окончательно не покинули ее. Образы бредовых снов потекли один за другим, сменяясь с быстротой мысли. Их круговерть продолжалась до внезапного появления улыбающейся Хаблы. Вместе с ней пришли покой и ясность ума. Прямо не верилось. Блаженная Хабла, где же ты бродишь все эти годы со своим имуществом, уместившимся в одном узелке? Хабла, какая же ты счастливая, ты не сознаешь своего дара так же, как и того, что значит остаться в природе одному, без корней и без будущего. Ох, Хабла, мне бы твой дар, мне бы побираться по чужим дворам, не сознавая позора, чтобы дети смеялись и показывали на меня пальцем, чтобы ходить по одной земле с моим сыном... Бессвязный шепот снова перешел в бред, во рту пересохло и появился солоноватый привкус, непривычная легкость в теле стала еще более воздушной, — она шла босая по пыльной дороге, вглядываясь в задубевшую грязь на ногах. Дорога уходила в белое пространство, и пыль, и желтые шероховатые камни, щекочущие ступни, казались ей особенно приятными. Халимат с удивлением замечала, что ее босые ноги очень напоминают ей Хаблу, но в этом не было ничего прискорбного, напротив, было необыкновенно весело на душе, и она зашагала бодрее, широкой поступью. Тяжелая котомка за спиной вдруг стала легкой, легче орлиного пера. Но из нее не исходили привычные запахи окаменевших лакумов и

жареной кукурузы; в воздухе пахло яблоками и свежей травой. Мягкий ветер со стороны гор щекотал шею и трепал волосы, как солому. Дойдя до первого скотного навеса, она забилась в угол и, положив под голову котомку, прилегла. На ней было прохудившееся в локтях платье, которое когда-то она сшила собственными руками. Увидев на груди пятна подсохшего молока и айрана, она нахмурилась — что скажут люди! — но не надолго, все-таки ей было хорошо, она засмеялась и, достав из котомки горсть жареной кукурузы, стала жевать ее. Улыбка не сходила с ее лица. Она растянулась на теплой куче навоза и погрузилась в сладкую дрему, которая перешла в непробудный сон.

* * *

Хабла сидела, прижавшись к стене ветхой кладовки, жалкий вид которой не делал чести хозяину, если таковой, конечно, имелся. Ее отстроили для хранения сыров и всевозможных солений еще тогда, когда хозяйство семьи было общим, и пользовались ею сообща по сей день, несмотря на то, что при дележе имущества и скота она досталась Халимат. Завладев имуществом, братья и сестры расселились в том же дворе и рядом, по ту сторону улицы, и, поскольку семья Халимат оказалась более зажиточной (да и детворы в ее доме, считай, не было), продолжали пользоваться кладовой и ее запасами по мере надобности, — мол, не обеднеет. Халимат тоже ничего не имела против: экономить продукты на родных и детях родных — дело последнее. Не считая выкрашенных досок входной дверцы, ничто не говорило о том, что здесь находится хозяйственная постройка. Стены ее были настолько невысоки, что земляная крыша находилась вровень с улицей: обычно, если кто-то из соседей приходил по делу, то кричал прямо с этой крыши, не утруждая себя спуститься во двор.

На этой самой крыше сидел волкодав Бойнак, шевелил хвостом и, поглядывая с горечью то на Хаблу, то на прохожих, тихо скулил. Старики и дети, ошивающиеся здесь без дела, считая его бесхозной дворнягой, жалели пса, но сам Бойнак бесхозным себя не считал: у него есть хозяин — это Крым, вот он неподалеку играет с ребятней. Мучения волкодава были связаны с тем, что он не мог постигнуть, как такое могло случиться с его хозяйкой, и почему ее называют Хаблой. Бойнак засомневался и сначала даже не желал приближаться к этой Хабле; да и времени столько

прошло. Его хозяйка была молодая женщина с удивительно приятным мягким голосом, она никогда не оставляла его без еды. Когда она, ослепительно красивая и гордая, выходила на улицу, Бойнак и сам становился чрезвычайно горд собой. Никто из псов и людей не смел посмотреть на него косо; напротив, все весьма подобострастно обходили, поглаживали, заигрывали с ним, пытались угостить хлебом и даже мясом. Бойнак не был так глуп, чтобы не понимать: заискивают перед ним из-за хозяйки. Но прошло время, и на него перестали обращать внимание. А Даум — так та вообще изгоняла его со двора, угрожая коромыслом, кида-ясь камнями, комьями земли и всякой дрянью. И потом, если это Халимат, то почему ее не пускают в собственный дом? Весь этот двор, навес, дом и кладовую Бойнак всю жизнь считал своей и ее собственностью. Так что же случилось с его сильной прекрасной хозяйкой, почему она бродит у собственного дома в одежде, пахнущей плесенью? А может, это не Халимат? Может, это Хабла? Но откуда это знакомое, едва уловимое чувство, что напоминает хозяйку? Бойнак, продолжая скулить, долго смотрел на нее: «Ничего не пойму, Хабла это или все-таки Халимат? Или я просто поглупел от старости? Придется изучить ее повнимательнее». Волкодав прыгнул с крыши кладовки, присел рядом и строго посмотрел ей в глаза. Та — ему. «Что это за тварь, — подумалось нищенке, — почему она так уставилась на меня, да простит меня Аллах, сколько лет живу, но такую тварь не видела никогда». Хабла казалась испуганной, мысль мучительно бродила по ее лицу, она как будто пыталась вспомнить что-то. «Бойнак, — вдруг хрипло произнесла она. — Бойнак!.. А-а-а, Бойна-а-ак, ты ли это, бедняга!»

Теперь волкодав не сомневался: это был голос Халимат. Несмотря на то, что изменились ее лицо, одежда и отчасти запах, голос остался прежним. Бойнак был счастлив, он игриво запрыгал перед женщиной, облизывал ее руки и босые ноги, визгом и всем своим видом стараясь выразить радость. Но Хабла странно изменилась в лице и отвернулась, будто бы вовсе забыв о собаке.

Что-то шевельнулось в ней, заставляя грустить и думать о чем-то очень важном, но не поддающемся пониманию. В этой жизни на ее долю не выпало радости. Не было у нее ни сестер, ни братьев. Не помнила она и мужа. Единственным здоровым зернышком и надеждой цвел воображаемый сын, ее сыночек. Он был для нее всем — и солнцем, и отчизной, и домом родным, и землей, и небом. И здесь, где

среди других детей возился Крым, она ощущала себя на грани величайшей догадки. С бешеным сердцебиением она встала на ноги и направилась туда, томимая таким страхом и трепетом, как если бы душа ее была воробьем в открытой ладони, готовым упорхнуть в любой миг. «Какая разница, ребенок все равно ничей», — задыхаясь, бормотала она, но страх не отступал так же, как и необоримая сила, влекущая ее туда и связанная каким-то образом с этим человечком. Подойдя ближе, Хабла достала из котомки кукурузную лепешку, завернула ее в засаленный край платка и крепко прижала к груди, чтобы она не остыла. Хабла уже четвертый день крутилась здесь, стремясь угостить этой лепешкой Крыма, и была уверена, что она еще теплая.

— Крым, маленький мой, — тихо, точно боясь спугнуть мальчика, произнесла Хабла, — ты помнишь меня?

Крым посмотрел на нее. Казалось, он стоит, кроша в ладонях битые стекла. Каждый раз, когда он встречал ее, тяжелое, болезненное чувство охватывало его сердце. Кто она? Хабла, как говорят. Но почему она постоянно возвращает утраченный облик матери, почему всякий раз при встрече заставляет страдать его? Почему он боится признаться себе в том, что когда видит ее у кладовой или в сарае, безотчетная грусть начинает томить его? -

— Помню, ты Хабла, — отвечал Крым.

— Хабла? — попятилась нищенка. — Как это Хабла? Почему ты назвал меня Хаблой?

— А потому, что ты Хабла.

Нищенка задумалась. Припоминалась и Хабла. Была одна несчастная женщина, она сошла с ума. Но это было давно, очень давно. Во всяком случае, когда Хабла исчезла, этих детишек здесь еще не было.

— Я не Хабла, — замотала головой нищенка.

— Хабла, — решительно отвечал Крым, — все так говорят.

— Кто это «все»?

— Айшат, да и не только Айшат...

Названное Крымом имя о чем-то говорило, но у нее не было времени поразмыслить.

— Где же твоя мама? — спросила она, помолчав немного.

— У меня нет мамы, — сказал Крым тихим голосом.

— На свете не бывает детей, у которых бы не было мамы.

— Я вылез из-под заборного камня.

— Ты не можешь сказать, что у тебя была мать, что она была доброй, что она была хорошим достойным человеком?

Крым снова молчал. Совсем недавно Айшат со словами

«о какой матери ты мямлишь» поколотила его палкой за то, что он имел неосторожность упомянуть имя своей матери. И правильно, нечего говорить о том, чего нет. Пора бы привыкнуть: он вылез из-под заборного камня, — и тогда никто не станет ругаться, никто не будет бить и наказывать его. Айшат ведь родная тетьа, она очень добрая, она всегда угощает его тульскими пряниками. «Дурачок, разве бестолковость и хвастовство лучше пряника? Чего желать, когда в животе сыто...»

— Крым, почему ты молчишь? — нищенка бережно прикоснулась к жестким волосам мальчика и погладила его.

Крым от неожиданности вздрогнул и поднял голову: прикосновение ладони чужого человека показалось ему таким знакомым и ласковым, какого не помнилось со времени смерти мамы, хотя его часто ласкали и утешали сердобольные сельчанки. Крым не любил лести, но ладонь этой несчастной женщины совершенно смутила его. Окрыленный, не решаясь вздохнуть свободно, словно боясь спугнуть маленькую птицу со своего темени, Крым стоял тихо, не шевелясь, прислушивался к теплу ладони Хаблы, как прислушиваются к теплу солнца озябшие на рассвете птицы. Он вспомнил голос и слова, которые говорила мать, прикосновение ее прозрачных, усыпляющих тихим звоном пальцев, и сердце его смягчилось. Лицо Хаблы, дряблое, как увядающий лист, со слипшимися седыми волосами, беспорядочно выбившимися из-под платка, выдавало ее жалкую суть, но изгиб бровей, глаза, полные слез и совершенно осмысленной грусти, красивый прямой нос смутно напоминали Крыму о чем-то очень родном. Дыхание перехватило, на глаза навернулись слезы, и Крым отвернулся.

— А если бы я стала тебе матерью? — спросила Хабла, чуть придя в себя.

Крым сделался непроницаемым. Волосы матери были цвета белого золота, а у Хаблы седые.

— Нет, не хочу, — ответил он.

Эти слова, как гладкие холодные камни, тяжело погрузились на самое дно души несчастной Хаблы, она огляделась, словно ища места, но не присела.

— Что же тебе не нравится во мне, мальчик?

Просветление, наступившее на короткое время, начинало тускнеть, но Хабла успела понять это и с ужасом подумала: «Не выкинуть бы какую глупость». Единственное, что еще оставалось в ее заволакиваемом неведомым туманом мозгу, — она разговаривает с мальчиком, полагая, что он ей

сын. Разыскивая его, она исходила множество дорог, покрывая немалые расстояния от аула к аулу. Она была уверена, что этот мальчик и есть ее сын, его она искала и будет искать всю жизнь. Но теперь ее счастье, ставшее, казалось бы, возможным, снова уносил холодный ветер жизни, и когда он теперь вернет его, и вернет ли вообще, было неизвестно. Она еще раз посмотрела на мальчика, — нет, Аллах не может допустить, чтобы ее единственная надежда в этой убогой жизни была похоронена так скоро.

— Может, покушаешь теплого хлеба, мальчик мой, попробуй... — нищенка торопливо развернула край платка и протянула Крыму лепешку, — я испекла ее для тебя, поешь, она еще не остыла...

Крым потерял дар речи. Выдержав паузу, он медленно оглядел Хаблу с ног до головы. На протянутую руку Хаблы он посмотрел особенно пристально, как если бы увидел в ней обломок кизяка. По его чистенькому бледному лицу пробежала кривая улыбка.

Нищенка завернула свою окаменевшую лепешку обратно и отвернулась. На своих ослабевших ногах, с душой, тяжелой, как камни, она едва доплелась до угла кладовой и, опустившись на землю, прижалась к стене всем своим жалким маленьким телом. Мир был очень жестоким, и в нем не было места для Хаблы.

* * *

Сельская дорога вилась верхом желтого обрыва, нависшего над песчаным берегом речки. Если смотреть со двора, в котором обреталось поредевшее семейство Крыма, стена обрыва казалась идеально ровной, как срез сливочного масла, и только гранитные вкрапления, искрясь на солнце, выдавали его несъедобность. Под ним, ступая ногами по горячему песку, сельская ребятня обычно затеивала игру в мельницу. Но сегодня там никого не было, если не считать Крыма, который грел на солнце спину и сидел мрачный, пребывая в глубокой задумчивости. Ему надо было «молоть кукурузу», так как за последние несколько дней он здорово проигрывал в мельницу своим соперникам. Крыму теперь было не до игр, когда он оставался наедине с собой, его лицо неизменно приобретало черты печали и безысходности. Постепенно его нелюбимость и неприязнь к сестрам и братьям матери стали замечать односельчане, но в чем он был виноват? Он ведь не рассказывал об этом на каждом

углу, он никому не жаловался. В конце концов, это его тайна, а кому какое дело до его тайны?

Со злорадством прощаясь со всем хорошим и светлым, что было в его сердце для окружающих, Крым устремлял свой взор до горизонта, где зеленая трава превращалась в синеву, покрывающую собой гору от подножия до вершины с той стороны дороги. Эта гора не была похожа на другие, потому что была очень гладкой. Если то, что говорят люди, правда, то за горой, сколько хватает глаз, огромная гладкая долина, на которой растет ячмень и пшеница. Говорят также, мать Крыма ходила туда работать. Крым еще не забыл, как женщины, возвращающиеся оттуда, по зеленому склону горы спускались в село. Не забыл он и то, как, сидя на пороге дома, плакал, ожидая маму, когда она задерживалась. А теперь, сколько ни жди, плачешь ты или не плачешь, она не приходит. Крым не винит в этом бархатные склоны горы, не обижается на них. Он только до боли в глазах всматривается в одиноко лежащие там валуны и косые нити козьих тропок.

Иной раз Крыму казалось, что деревья, растущие местами вдоль козьих тропок, это женщины, возвращающиеся вниз по склону после трудового дня. «Это березы», — говорила ему соседка. «А почему они с серпами в руках и так спешат?» — отвечал ей Крым. Соседка, немного постояв, уходила; ей нечего было ответить ему.

Однажды вечером, сидя на крыше кладовой и глядя на склоны бархатной горы, в цепочке спешащих домой женщин, он отчетливо увидел свою мать. Она шла впереди и очень спешила. Нет, на этот раз он точно не ошибался. Лучи заходящего солнца серебрили зубья ее серпа, края платка развевались на ветру, как крылья. Крым уже узнавал ее свободную поступь; не слезая с крыши, он неподвижно ждал, как если бы любое его движение могло повернуть ее обратно. Однако в село никто из женщин не спустился. Уже смеркалось, когда он увидел, как она, не касаясь ногами земли, поднялась снова вверх по склону и скрылась из виду. Но почему она не спускается в село, что ее держит, или она боится сестер? Или не может узнать своего дома? Птицы, потерявшие гнездо, день и ночь летают у этого места в поисках птенцов; Крыму вдруг захотелось стать птицей. Если бы он стал орлом, голубем или даже трясогузкой, никогда бы не пролетел над крышей дома Айшат. Он летал бы вдали от людей, он догнал бы маму и больше никогда не расставался бы с ней, летал бы на ячменное

поле и грелся на снопах, пока она закончит работу. Или все же права соседка, говоря, что мама превратилась в раскидистое дерево на краю села, которое видит все.

В другой раз Крым, как обычно, стоял на крыше кладовой, ждал маму, не желая возвращаться домой к Айшат, хотя уже смеркалось, и могло быть худо. Вдруг перед ним, как из-под земли, выросла соседка.

— Парень, ты что торчишь здесь в этот час, не видишь, уже поздно; пойдём, я провожу тебя домой, — затараторила она, пытаясь схватить его за руку.

— Айбу жду, — отвечал Крым, не поворачивая головы.

Стараясь быть деликатной, соседская женщина тоже посмотрела в сторону бархатной горы.

— Где ты видишь свою маму, дорогой?

— Вон, там она, — Крым показал указательным пальцем, — видишь?

Женщина присмотрелась. На склоне горы никого. Не хотелось сразу огорчать малого, и она постояла, всматриваясь, еще немного, не решаясь сказать «там никого нет». «Интересно, — размышляла она, — чем обманывается несчастное дитя, быть может, вот этим одиноким деревом?.. Чтоб я умерла, если это не так...» На всякий случай она встала на цыпочки и присмотрелась внимательнее. С удивляющим просветлением в сердце она обнаружила поразительное сходство одинокого дерева со спешащей женщиной. В это мгновение она вспомнила, какие неприятные вещи обычно говорит о Крыме Айшат. Нет, это было далеко не так. Она искала в бледном лице, в грустных глазах Крыма ответ на слова Айшат, и ей стало совестно. «Да избавит меня Аллах от греха, но этот мальчик умнее всех нас», — повернувшись к склону, прошептала она. На окутанном вечерними сумерками склоне горы женщина, которая только что почти бежала вниз по тропинке, остановилась, с нетерпением поджидая оставшего малыша. Картина казалась столь очевидной, что ей стало не по себе, у нее невольно зачастило сердце от жалости к непоспевающему малышу.

— Видишь Айбу? — снова спросил Крым после продолжительного молчания.

— Да, вижу, вот она идет, — ответила соседка.

— Айба всегда спешит сюда. Когда она придет?

— Она придет и сегодня, и завтра... и всегда она будет приходить к тебе, мальчик мой, — женщина отвернулась, чтобы спрятать глаза.

Крыму эти слова не понравились. Мама приходила каж-

дый раз и всегда «сегодня», и он уловил некое несоответствие этого «сегодня» с ее «и сегодня, и завтра, и всегда», которые почему-то все время проходят. Если дело обстоит так, то почему она не приходит прямо сейчас; ему нужно было точно знать, что это за «сегодня, завтра и всегда», когда, наконец, она придет на самом деле.

— Вот я усну и, когда утром проснусь, будет «завтра», так?

Соседка не знала, что ответить. Ей хотелось выкрутиться, не обманывая и не поранив сердца мальчика.

— Знаешь,— сказала она, нагнувшись и глянув ему в глаза,— мать приходит к своему сыну всегда. Ее дорога к сыну непрестанна...— прервав речь, она задумалась. «Но дойти она никогда не может»,— хотела она добавить, но промолчала.

— И я буду идти к ней непрестанно? — спросил Крым с восхищением.

«Где оно обитает, такое счастье? — подумала про себя женщина,— дорога матери — к детям, но дорога детей — всегда от матери».

— Да, и ты тоже пойдешь к ней, поднимешься в горы.

— Когда стану большим, как ты?

— Да, когда вырастешь,— она взяла его за озябшую на вечерней прохладе ручонку. — Пойдем, поздно уже.

С тех пор один за другим потекли «сегодня» и «завтра», и мать Крыма все приходила с сумерками и, остановившись на середине откоса, превращалась в дерево. Зачем она так делает, зачем не идет к нему? На этот вопрос Крыму никто не давал ответа. Был бы он чуть постарше, сам бы поднялся на склон по тропинке и во всем разобрался.

* * *

Вооружившись залежалым бараньим ребром, Крым начал быстро прочерчивать канавку на рыхлой стене обрыва. Пора было «заводить мельницу», а то эти выскочки намолотили слишком много куута*. Он изредка окидывал взглядом стоявшие в ряд желтые островерхие горочки соперников и убыстрял действие своей мельницы. Пересохшая порода обрыва в этом месте была мягкой, и Крым быстро «перемолол» столько куута, что им можно было заполнить целый капчик**. Затем он решил было соорудить и вто-

* К у у т (балк.) — молотая жареная кукуруза.

** К а п ч и к (балк.) — мешок, сшитый из цельной шкуры овцы.

рую мельницу, но раздумал и выкинул прочь баранье ребро, — это дело не для него. Пусть мелюзга занимается этим, а что касается Крыма, то ему необходимо повзростеть, и как можно быстрее, чтобы успеть стать воином до того, как сюда придет война. Если верить взрослым, она не так уж и далеко отсюда, хоть примет и не видно (Крым поглядел вокруг и на небо: как она, интересно, выглядит?). От этих взрослых только и слышно: «Война уже рядом», «герман идет...» Люди забегали, переполошились, эти слова, подобно злым собакам, гоняют сельчан, сея страх и ужас среди оставшихся стариков, женщин и детей. Известие о приближающейся войне заставляет трепетать людей, оно раздается, словно карканье черного ворона, отовсюду, из всех щелей, из-под камней, с листы деревьев, с крыш. Что это? Чудовищная змея? Или огромный, величиною с небо, медведь? Крым хотел знать. «Подожди только, поговорим, когда «герман» достигнет этих мест», — сказала как-то Айшат с угрозой соседу, прибывшему откуда-то без ноги. В другой раз, обращаясь к самому Крыму, она со злорадством произнесла: «Ладно, спешить не будем, война, поглотившая твоего отца, унесет и тебя». Тогда Крым понял, что война — это гнусного вида дракон, который пожирает и взрослых, и детей; это великий потоп, который стирает с лица земли дома; это некто с огненным глазом, он выдавливая дыхание из людей и за собой оставляет вечное затмение. В воображении Крыма начали всплывать невообразимо страшные животные, он испугался, что война, сметая на своем пути все, настигнет в поле или по дороге маму и тех женщин, что будут с ней. Если бы она знала, что сюда надвигается война, то наверняка не оставалась бы там. Надо было срочно, предупредить ее. Или остановить войну. Кто может сделать это? Крым еще мал, его война не побойтса и не откатитса. Если ее кто-то может остановить, то это взрослые, когда соберутся вместе во множестве. Но они приняли какой-то жалкий, подавленный вид, ни о чем не думают, на дорогах и улицах стараются не попадаться на глаза друг другу.

Озабоченный своими думами, Крым почувствовал неладное и насторожился, прислушиваясь к окружающему. Вдруг он заметил, что уже давно не слышно звуков, напоминающих о существовании людей. А вдруг война уже пришла и унесла всех, и он остался один. Крым прислушался снова, но, кроме биения собственного сердца, ничего не услышал. Едва сдерживая крик, упираясь ногами и руками в гнезда ласточек в толще обрыва, он выкарабкался наверх

по пояс. Никого. Тишина отдавалась в ушах звоном, Крым с трудом держался на поверхности. Ему почему-то захотелось увидеть Бойнака. «Бойнак, Бойнак!» – закричал он. Но никто не ответил. Не было видно даже привычных кур на улице. А дома! Вместо домов Крым увидел могильные холмики. Он посмотрел на склон, по которому должна была спускаться мама вместе с другими женщинами, но там ничего не было видно: желтый смерч пыли закрыл собой полнеба и волнами надвигался прямо на него. Наверное, это и есть война, решил Крым, она поглотила всех, от мала до велика, а его под откосом не заметила. Крым почувствовал стыд за то, что спасся, спрятался, никому не помог, даже Бойнаку. А вдруг во время сражения с войной не хватило самой малости, вдруг они не победили из-за него? Крым заплакал навзрыд. Он не стеснялся – его теперь никто не мог слышать. Он один. Один на всем белом свете, от людей не осталось никаких следов, даже могилы некому обозначить... Надвигающийся смерч заставил Крыма спуститься обратно под откос; он заскользил вниз, раздирая об острые камешки одежду. Под конец он свалился, повредил себе ногу и больно ударился спиной, но не огорчился, – ведь теперь он никому не нужен. Он должен умереть, в этом мире не осталось даже надмогильного камня, о который он мог бы облокотиться. В этом мире ничего не осталось, кроме ветра и тени облаков...

Крым уже приготовился к смерти, как вдруг услышал женский возглас. Он открыл глаза и увидел небо. На краю обрыва стояла женщина. Ее звали Фаризат.

– Что случилось, мальчик, ты ушибся? – поинтересовалась Фаризат.

«Как она спаслась от войны?» – с изумлением подумал Крым.

– Поднимись, встань на ноги, неряха!

– А война?.. – всхлипнул Крым.

Фаризат легко спустилась с обрывчика и внимательно посмотрела на него.

– Не бойся, война еще далеко отсюда, – сказала она уже мягче, – ну, вставай, вроде цел, слава Аллаху.

Крым встал и начал отряхивать на себе одежду. Заметив свою тощую коленку сквозь протертую штанину, он застыдился и прикрыл ее ладонью, но и на другой ноге штанина была протерта насквозь. Смутившись окончательно, он насупился.

– И одет ты – прямо загляденье, правда, штанишки в

колених немного протерлись, ну ничего, я поставлю аккуратненькие заплаточки, — начала приободрять Фаризат.

Крым поднял глаза, на длинных ресницах блестели бисеринки: такая взрослая женщина, а лжет...

— На мне уже давно не бывает таких одежд, о которых ты говоришь.

— А где же они? — Фаризат заметно погрустнела.

— Их забрала у меня Даум.

— И на что они ей?

— Она нацепила их на своего сыночка.

Оба замолчали. Фаризат стало не по себе.

— Ладно, не переживай, говорят, сирота, вставший на ноги, пьет из Золотой чаши.

Крым ничего не ответил. Он повернулся к вершинам и снова увидел сверкающих серпами женщин; с ними, держа за руку маму, уходил и он.

* * *

Айшат, завидев Хаблу у кладовой, прибавила шагу, ей не хотелось здороваться с увечной женщиной. Никто не мог сказать, как и откуда через столько лет эта юродивая могла появиться снова. Да и привыкнуть к ней сельчанам пока не удавалось. Кто она, откуда? Видел ли кто когда-либо, чтобы ушедшие в мир иной возвращались обратно? Хаблу сельчане помнили, в ее взгляде никогда не возникало тени осознанной мысли. Теперь же смотрит порой столь пристально, словно желает о чем-то напомнить. Так что же, побывав в аду, она собрала разум мертвых и вернулась? Любому аулу нужен блаженный, нужна своя Хабла, но так, чтобы это был действительно блаженный, а не такая, как эта. Смотрит с укором. Сельчанам не нужны угрызения совести, не многим бы захотелось, чтоб сумасшедшая вдруг стала понимать себя и других. Вместе с угрызениями совести возникали маленькие неприятности: в местах собраний, лишь только завидев ее, люди конфузились и замолкали. Такие неопределенные отношения с Хаблой начинали раздражать народ.

Лет десять тому назад Хабла была красивой и уважаемой женщиной. Несмотря на то, что росла она без родителей, у нее не было оснований быть обязанной кому-либо или завидовать другим. Напротив, многие завидовали ей. Но несчастье, как всегда, приходит неожиданно и часто приносит с собой бедность и нищету. В один день, в одно мгновение

она потеряла мужа и единственного сына. Они погибли во время паводка, — бешеная река унесла мост, на котором в этот злосчастный момент оказались муж и сын Хаблы. Не в силах вынести такого горя, женщина лишилась рассудка. Могилы погибших еще не поросли травой, когда родственники растащили все ее имущество, вплоть до личных носильных вещей самой Хаблы. Не погнушались ничем, было такое раздолье, что наряду с родственниками к обиранию несчастной приобщились обыкновенные проходимцы: почему бы и нет, когда можно. За несколько дней подворье убитой горем, тронутой рассудком вдовы превратилось в пустырь. Не оставили даже точильного камня.

И в этой суете, похоже, имелся некий смысл. Действительно, для чего хозяйство и весь этот хлам одинокой неразумяющей женщине, у которой отныне нет будущего. Если оно кому-то и нужно, то людям добрым, умным, осмотрительным; они-то не позволят всяким пройдохам растаскивать обреченное на гибель наследство Хаблы, им будет хоть какая-то польза, да и Хабле они подсобят: кто ж, как не близкие станут помогать ей. И в первые дни родственники на самом деле заботились о Хабле: дарили свое старье, подкармливали, чем могли. Но, как водится, односторонняя забота быстро надоедает, — очень скоро они начали тяготиться ее присутствием. Втайне от аульчан и самих себя они исподволь, как бы случайно, стали избегать ее, отстранять от себя. Ничего удивительного в этом не было. Никто ничем не обязан спятившей женщине; если уж совсем по справедливости, пусть позаботятся о ней те, кто разжил ее добром. При этом они ссылались друг на друга.

Так родня, успокаивая себя, избавилась от угрызений совести. И года не прошло, как они полностью освободили себя от забот о Хабле. Хабла, разумеется, претензий никаких не имела. Ее домом и землей также завладел родственник мужа, горевать ей было больше не о чем, жалкая умалишенная вдова, она превратилась в тень, гонимую ветром по чужим дворам и аулам. Многие забыли, как, тихо ступая, приходили к ней со всевозможными просьбами и неизменно находили понимание и щедрую поддержку, ибо чувство благодарности со временем начинает унижать и тяготить душу человека.

Однажды, когда Хабла вдруг исчезла, люди забеспокоились. Суеверный страх охватил их. Каясь и причитая, они стали спрашивать о ней, сокрушались и винули себя и всю ее родню. «Да, невнимательны мы были к ней, не пы-

тались хоть чем-то облегчить ее жизнь, как мы только могли пожалеть для хворой, блаженной женщины что-то, будто все добро этого мира можно унести с собой в могилу». Вот когда они вспомнили, что Хабла была щедрее всех их, лучше и щедрее. Если бы не отняли у нее дом, не растащили добро, она могла бы и дальше жить своей жизнью независимо. Да, родня поступила жестоко, в трудный для нее час ее ограбили и попросту бросили на улице. Из-за одной деревянной ложки они готовы были затоптать не только Хаблу, но и друг друга. Но пусть подождут, беда вхожа в любую дверь, она ни о чем не спрашивает. Судьба Хаблы наталкивала на мысль о возмездии. Если одной рукой судьба подает сладчайший плод, то в другой у нее кнут. Кнут суровый и страшный. И нет на земле человека, которого бы не мог достать этот кнут.

Следовало найти труп Хаблы, предать его земле со всеми почестями и хотя бы этим искупить вину, вымолить у Аллаха прощение. Но где искать останки несчастной Хаблы? Вода ли унесла ее, зверь ли разодрал у опушки леса? Или же она забилась в какую-нибудь щель в разрушенном ауле и там померла? Нашлись люди, видевшие ее льющей слезы у несуществующего моста, где бешеная вода унесла ее мужа и единственного сына.

Односельчане, вся родня и люди, просто знавшие ее в лицо, хлынули туда, будто с тех пор Хабла так и плачет там, прижавшись к уцелевшей опоре разбитого моста.

До этого дня никто и подумать даже не мог, что многочисленная родня Хаблы так любит ее: женщины плакали, разрывая на себе одежды и платки, истязали себя. Если бы вдруг теперь нашлась их увечная сестра живой и невредимой, они принесли бы в жертву свою лучшую скотину, устроили бы большой пир, и отныне никогда бы не отпускали ее от себя, живя с ней в любви и согласии.

*Ай, горемычная да несчастная, ты сестра моя,
Оставила меня, бедную, чтоб проливала я слезы безутешные,
Бросила стройный стан свой в реку, чтобы
ненасытная вода обнимала его,
Без ножа отрезала отраду мою.*

Так они причитали. Заходясь в горестном плаче, двоюродная сестра Хаблы рвала на себе волосы, проклинала реку и порывалась броситься в нее.

*В реку, не пощадившую тебя,
В реку, омывшую руки твои и ноги стройные,
Брошусь теперь и я.
Ситечком легким, раскачиваясь на волнах,
Плача, следом за тобой пойду...*

Но Хабла не нашлась в воде. Кто мог знать, где, в каком месте бурной реки, под каким камнем искать ее? А вдруг ее вообще нет ни в реке, ни в низовье, она могла уйти в дальние края, к другим людям. Как бы там ни было, Хабла сгнула; успокоилась и родня, оставившая ее без дома. Никто не был в долгу перед ней, своим исчезновением, а быть может, и смертью Хабла сама освободила всех от чувства вины и отпустила грехи, если они и были.

Но права ли сама Хабла перед лицом Аллаха и собственных односельчан? Чего ей не хватало? Сначала она исчезла, переполошила всю родню: думали, утонула. Теперь, через столько лет, она появляется снова и с каким-то тихим вероломством начинает оживлять прошедшее и давно забытое нами. До этого ли сейчас? Неужели она думает, у нас не хватает забот?

Родня перестала узнавать Хаблу.

По селу поползли слухи, будто эта Хабла вовсе не Хабла, а сошедшая с ума Халимат, которую, объявив умершей, родня просто вытолкала из дому под видом давно исчезнувшей Хаблы, появившейся якобы снова в этих местах. Были и другие недобрые вести. Хабла же в это время появлялась то в верхней части села, то в нижней. Но ни в чьем дворе ее никто не видел. Исключение составил лишь дом Айшат. Иногда прохожие замечали ее сидящей на камне, откуда открывался широкий обзор на подворье Айшат. Она сидела с утра до вечера, обняв колени, и вздрагивала каждый раз, если открывалась дверь дома Айшат. Когда слышался голос Крыма, она вскакивала на ноги и, всматриваясь, надолго застывала, словно каменный истукан.

Многое в поведении Хаблы удивляло односельчан.

Это ли послужило причиной или что другое, но Айшат совершенно потеряла покой. Если так будет продолжаться дальше, люди в округе действительно поверят в то, что Хабла ее сестра. Люди ведь очень легко верят сплетням, которые сами же и придумывают. Как она объяснит им, что не может выдержать взгляд полоумной женщины, что от этого взгляда ее оторопь берет. Что с того, что она пытается не замечать Хаблу, себя-то не обманешь.

— Что-то ты, Хабла, зачастила сюда, прямо, как залетная птица в моем подворье,— сказала ей однажды Айшат тихо, чтобы никто не услышал.

Хабла в ответ только горестно уставилась в сторону.

— Кто же ты, бедняжка, откуда явилась сюда и что ищешь? Неужели тебя и приютить некому? Может, родня какая имеется?— продолжала Айшат, хотя что-то уже заставило пожалеть ее о начале разговора.

— Но разве ты не родня мне? — сказала Хабла, поглядев на нее долгим проникающим взглядом.

Айшат вздрогнула: полоумные иногда говорят странные вещи...

— Конечно же, родня,— проговорила она.— Все мы односельчане, все мы твои родственники. Кто тебе откажет в еде...

Айшат пыталась выглядеть непроницаемой.

— Родня у человека переменчива, как и жизнь,— громко сказала Хабла.

— Не стоит в присутствии родни возвышать голос,— прошипела Айшат, теряя терпение.

— Тебе этого не понять,— сказала Хабла.

— Да иди ты, глупая! Люди живут не твоим умом.

— Поняла бы сразу, если бы стала Хаблой... То, что видит блаженная, никто не может видеть.

Айшат не стала отвечать. Всем своим существом она ощутила радость, как если бы, сидя на ее плече, запел соловей, и внутренне поспешно помолилась, поблагодарила Аллаха. Хабла просто помогла своим бредом ей поверить... Но во что она поверила? За что она поблагодарила Аллаха? И не лучше ли с этой своей верой удалиться подальше от полоумной? Но что-то удерживало ее.

— Не бойся, дорогая. Никто тебе не откажет в еде. Ведь кроме еды, ты ни в чем не нуждаешься,— сказала Айшат, стараясь утешить горемычную.

— Да ведь человек живет не только ради живота своего,— проговорила Хабла, сосредоточенно глядя в сторону дома. Ей хотелось говорить, потому что она чувствовала сейчас полную ясность мысли.

— Ради чего же тогда ты живешь, и кто тебя просит, чтобы ты жила ради чего-то?— на этот раз голос Айшат дрогнул, ей стало дурно.

— А как знать... Но есть вещи поважнее, чем поесть досыта,— сказала Хабла. Глаза ее были полны слез.

Притихла Айшат. Некоторое время она молчала, поддав-

шись посетившему ее чувству жалости к бездомной женщине.

— Что же это за вещи?— спросила она, отмечая про себя, что Хабла напряженно думает и говорит сбивчиво от волнения, а не по глупости.

— Я не могу объяснить этого... Может быть, это тень камня...

— Что за камень, что за тень? — Айшат оживилась, настроенно глядя на Хаблу.

— Тень надмогильного камня.

— Надмогильного камня?

— Все остальное временно, — твердо сказала Хабла. — Только надгробье сопровождает человека вечно, рассказывает обо всем прохожим.

Она приблизилась к Айшат.

Только теперь внимательно Айшат посмотрела в лицо Хабле. Не зная, как понять ее слова, Айшат стала искать в ее глазах признаки слабоумия... Все, что она чувствовала сейчас, было весьма безрадостно. Она обмякла и хотела уйти.

— Погоди... погоди еще... Придешь на кладбище, вот тогда тебе станет ясно.

— Женщинам нельзя ходить на кладбище, — отвечала Айшат поспешно.

— Почему же?

— Обычай такой.

— Обычай, говоришь, — Хабла попыталась улыбнуться, но от этого ее вид стал еще более жалким. — Разве может быть хорошим обычай, который отлучает нас от мертвых? Какими должны быть женщины, не посещающие могил родных, не ухаживающие за ними?

Айшат ничего не могла возразить ей и молчала.

— Ну да ладно, о чем это я... Память человеческая удивительно коротка, все беды от этого.

— Кто тебя учит таким вещам, от кого ты слышала все это, — голос Айшат осел. В горле пересохло. «Нет, нет, все это ерунда», — успокаивала она себя.

Хабла, казалось, забыла ответить на вопрос и продолжала:

— Там надмогильные камни... похожи на мужчин, которые встали в молитве. От горя они все поседели. Они там глядят друг на друга и рассказывают о мертвых.

Она говорила, не отводя глаз от Айшат.

Айшат снова поблагодарила Аллаха. Грех, смертный грех радоваться тому, что человек лишился разума, но и то грех, если человек ропщет о беде, ниспосланной Аллахом. Что

же додать, ведь не мог же нести такой бред человек, имея хоть капельку разума в голове. Нет, нет, нельзя гневаться на Хаблу, она заслуживает жалости и сострадания.

— Наверное, ты права, бедняжка, — сказала Айшат.

Хабла поняла, что эта худощавая женщина говорит не искренне, а просто, чтобы говорить, и молча, с минуту, глядела в землю.

— А я приняла тебя за сестру, оттого и заболталась, — сказала через некоторое время Хабла упавшим голосом. У нее затряслась голова, она повернулась и стала глядеть на близлежащие скалы. Там, на утесе, виднелись ее любимый камень и дерево. Одинокое дерево. Снизу оно было похоже на женщину в развевающейся на ветру синей шали.

— За сестру приняла, говоришь? А кто сказал тебе это? — спросила Айшат и, не дожидаясь ответа, повернулась и быстро пошла к дому. Шагая неровно по каменистой тропинке, она не оглядывалась назад, но было видно, что она чувствует взгляд Хаблы спиной и затылком.

С тех пор прошло немало времени, но ни разу Айшат не повстречалась с Хаблой. Она не хотела ее видеть, не хотела слышать ее голоса. Хабла же, окающая, ну просто камень на дороге, о который постоянно спотыкается Айшат, который всегда приходится обходить. Хабла — это сущий дьявол, сумевший обмануть и людей, и Аллаха.

«А если говорить так о горемычной неприлично, — думала Айшат, — то кем бы она ни была, пусть обретается подальше. У каждого своя судьба, своя жизнь, свои переживания. Свои беды она не перекладывает на плечи других, но и чужие ей ни к чему. Если кто-то лишился разума, то это от Аллаха». Так она думала, неуверенно шагая в сторону своего жилища, но тут неожиданно ударилась ногой о камень. От резкой боли она присела, а когда подняла голову, Хабла снова предстала перед ее очами.

Увечная женщина сидела, прижавшись спиной к стене кладовой. Она заметила Айшат, но не подала виду. Айшат остановилась перед нею, в ее глазах сверкнула молния! Надо же, и эта убогая пытается не заметить ее! Чего ей надо, что она затеяла теперь? Айшат напряженно искала в памяти те далекие дни, когда знала прежнюю Хаблу. Да, знала. Лучше бы вовсе не знала! Младшая сестра сердобольная была, приучила к своему двору, вот она и поселилась тут. Осталась. Теперь любой в ауле мог задуматься, почему Хабла, пренебрегая своей родней, зачастила именно во двор Кочхаровых? Как теперь прогнать ее отсюда, как сказать ей,

чтобы она больше сюда не приходила: сестра в ней души не чаяла, ласкала, оберегала. А ведь они были очень похожи друг на друга. Не просто похожи, а близнецы – да и только. Именно так, это верно.

Первое, чего хотелось сейчас Айшат, – это пнуть ее ногой и вышвырнуть прочь со двора, чтобы у Хаблы больше никогда не возникло желания придти сюда снова. Зады кладовой скрыты от людских глаз, никто бы и не заметил. Но Айшат не решилась, – то ли струсилась, то ли побоялась проклятия.

– Хабла, несчастная ты моя, пошла бы хоть раз к своим родственникам, показалась бы, они, наверное, тоже хотят иногда видеть тебя. Или же ты совсем позабыла, где они живут, – сказала Айшат голосом усталого человека.

Хабла ничего не ответила.

– Что ты так уставилась на меня? Или удивлена, что называю тебя Хаблой? Может, ты не Хабла? Кто же, кроме Хаблы, мог осчастливить нас своим посещением? – и Айшат прошла дальше, полами коричневого велюрового платья касаясь земли. Покуда Айшат не скрылась за дверьми узкого длинного домика, Хабла не отрывала от нее своего взгляда. Слезы вдруг подступили к горлу, глаза ее затуманились. Когда-то – точно она не помнила – эти двери открывала она сама и так же властно входила туда. А там, в чистенько убранной комнате, она жила со своим сыном и отцом своего сына. Когда же это было? Давно или еще вчера?

В небе послышался клекот журавлей, уходящих клином в теплые края, Хабле показалось, что они зовут ее за собою. Она представила себе, что уходит с этими журавлями, и ей стало легче. Она пожалела, что до сих пор считала себя обиженной Богом, что ее Бог ниспослал ей беду, которой доселе не испытывал ни одного из своих рабов. Никто ведь не отнимал у нее небо, не мешал слушать клекот журавлей... Вот те деревья, тропинки, по которым она с другими женщинами ходила жать ячмень. Как хорошо, что это высокое небо никто не может разрезать, как шкуру волка. Она удивилась своим думам. Никто не может поделить между собой эти горы, как головку сыра... Да, еще много, очень много оставалось в этой жизни такого, чего люди не могли бы отнять друг у друга, поделить и скрыть в своих кладовых... Да только кто об этом думал до сих пор? Если бы она раньше умела думать так, как думает теперь, она могла бы сказать это – моя земля, мое небо... Да, она

была камнем, крепко лежащим на своем берегу, — камнем, считавшим свою тяжесть самодостаточной. И винить в этом некого. Ведь все они заняты своими прялками. И Айшат, и другие. Но у человека должно быть что-то светлое. Она мечтала вырастить сына человеком достойным. Выполнить заветное отца перед дальней дорогой.

— Старайся передать ему все то, что тебе ведомо самой, — говорил он тогда.

— Что мне ведомо-то, женщине горемычной.

— Сначала человек должен знать то, что знает мать, — повторил отец Крыма.

— Пусть так.

— Научи его, чтобы он и вперед устремлялся, и назад не забывал оглядываться.

— Хорошо, как скажешь...

— Человек — что дерево. Дерево не потянется вверх без корней. Научи его этому, как только он начнет понимать речь.

— Хорошо, будет по-твоему.

— Научи так, чтобы он не стеснялся своей собственной шубы, — сказал еще раз отец Крыма, не меняя тон разговора.

— Хорошо, это мой долг.

— Не воспитанный смолоду, потом приносит много бед, — сказал он.

— Мне ведомо это...

— И когда он вырастет, отвези его к дому моему.

— Обещаю!

— Покажи ему наш родовой камень. Пусть Крым никогда не забывает, что он был священным для его отца.

— Все сделаю так, как ты велишь.

— Научи его, чтобы он смолоду умел оседлать моего коня.

— Ты оставляешь ношу, которая не по плечу женщине...

— Да, я ухожу, сознавая это.

Вспоминая этот тяжелый день своей жизни, увечная женщина сильнее прижалась к стене. Так она сидела еще долго, прислушиваясь к тишине неба. Да, тому, чему не могла научить единственного сына мать, готовы были научить эти дороги, по которым ходил его отец. Горы, на которые она смотрит сейчас, барбарисовые кустарники, рябины его земли. И журавли, пролетевшие над нею клином...

Снова и снова вспоминался отец ее единственного сына,

и она еще долго блуждала в думах о нем. Да, не дано ей отныне увидеть его. Никогда не увидит. И кому она пойдет жаловаться, у кого найдет защиту? Не было в этом мире места, где бы она могла найти приют и утешение. И чем были маленькие переживания, сиюминутные обиды по сравнению с этой потерей? Из всякого положения есть выход, и тропа окажется тут же рядом, но нет такой силы, которая бы могла истребить горе разлуки. Увечная женщина встrepенулась, зашевелилась у стены: что же это такое — горе разлуки, беда? Но, говорят, сердце рано или поздно одолевает беду, что же со мною, почему не смогла одолеть ее? Вопросы эти не впервые посещали ее, но еще ни разу она не нашла ответа на них. Она попыталась отогнать от себя эти мысли, — не подобало ей говорить о муже так, словно его уже нет в живых. Снова, уже в который раз, в сердце вспыхнул свет надежды, и озарив душу на мгновение, погас. Если бы были живы такие мужчины, могли бы наступать на нашу землю чужеземные захватчики? Он был не из тех, кто мог бы позволить затоптать свой очаг. Слезы стали душить ее, нет, ей не суждено его увидеть, нигде, никогда. Ей неожиданно вспомнилось то, чего она избегала долгое время.

В ту ночь Халимат была одна, и он снова пришел к ней.

Похороны были позади, но она жила в предчувствии новой беды. Было такое состояние, что беда блуждает где-то близко и вот-вот найдет дорогу к ее дому.

Он отдыхал перед дальней дорогой, перед той дорогой, откуда уже никогда не вернется живым, лежал, будто не решаясь собраться. Участь была такая, судьба, — избежать судьбы еще никому не удавалось. Если бы такая возможность существовала, избегали бы и до него.

Халимат лежала рядом, безмолвно глядя ему в лицо, уже покорившись горькой своей судьбе. Гнетущая тишина завладела комнатой. Халимат заметила, отец Крыма начал что-то тихо шептать ей, говорить слова, которые она будет потом слышать и осмысливать всю жизнь. Она прижималась к нему, просила говорить вслух, громче, но отец Крыма, собираясь в свою проклятую дорогу, оставался безмолвным и только губы шептали слова, эти слова волшебными зернами западали ей в душу.

«Как же ты ушел тогда, не попрощавшись, — сказала она ему. — Я ведь глядела тебе вслед, долго глядела, а ты даже ни разу не обернулся». Но отец Крыма не ответил и на это. Халимат закрыла глаза, сдерживая слезы: «Не бу-

дем ссориться, — сказала она почти вслух. — Ты был светлым человеком, как луч солнца. Ночью ходил по земле, как осколок луны, не мне осуждать тебя, прости меня, тронутую». Халимат с трудом шевелила потрескавшимися губами. О, мужчина мой, ты был самым стройным из деревьев, где, на каком развороте, упал ты, надвое рассеченный в поясе? Те чужеземцы и убийцы не по твоей ли груди ступают, подбираясь к земле твоей, чтобы не дать расти твоей веточке? Халимат устала думать, горло снова перехватило, слезы стали душить ее. Долго ли она пребывала в таком состоянии, было неясно, но, очнувшись, она вдруг припала к окну и затаила дыхание.

Какая-то птица, скорее всего сова, ударилась о стекло. Халимат заметила что-то вроде клочка шерсти, прилипшего к стеклу, и тотчас кто-то крикнул в окно:

— Зря так спокойно лежишь, женщина. Муженек-то твой лежит у моста, под своей опрокинувшейся арбой.

Халимат не помнила, как выпрыгнула из кровати, удивляясь приливу сил в своих отекавших одеревеневших ногах, — вот уже два месяца она не вставала с постели.

— Кто окликал меня!..

Но вокруг никого не было.

До этой ночи Халимат не знала, что мир так велик и безмолвен. Это величие мира и звездного неба заставили вздрогнуть ее. Казалось, люди были очень далеки друг от друга. Все притихло, прислушиваясь к звукам одиночества.

Халимат оглядела соседние дома, что-то страшило ее. Она озябла, ее охватила мелкая дрожь, ее босые ноги впитывали земную стужу. Какое горе, она здесь одна, и отец Крыма у моста — один. Халимат побежала к берегу. Как же такое случилось, что он оказался в этих краях, и как он может лежать под опрокинутой арбой. Муж ее должен быть там, где находятся теперь все мужчины. Не такое было время, чтобы мужчины сидели у своих очагов; что же произошло?

Халимат почувствовала какое-то унижение, словно кто-то обидел ее. Если ему суждено было умереть, почему он не погиб там, а опрокинулся с арбой у моста? Или спасал свою голову? Как мне понять все это?

Халимат подбежала к мосту. От биения сердца она не слышала шума реки. Она побежала вверх, затем обратно вниз, но опрокинутой арбы нигде не было. Тогда она перешла на ту сторону моста. Но и здесь ничего не было. Что

же теперь делать, куда идти? Она дрожала в страхе, ничего не могла сообразить. Тут ее осенило, да мало ли мостов через реку, но у какого из них искать опрокинутую арбу? А может, она в бреду и прибежала сюда напрасно, охваченная болезненной горячкой? Даже если и так, она должна убедиться, что ни у одного моста нет опрокинутой арбы, под которой стонет умирающий человек. Ясно ведь, в такое время ее муж никак не мог оказаться в этих местах. Подумав так, Халимат несколько успокоилась, но сердце ее никак не унималось. Женщина, которая ночью кричала в окно, могла принять за отца Крыма другого мужчину. Ах, грешная, да разве другого человека можно оставить? Кто бы он ни был, нельзя оставить его умирающим.

Эти думы погнали Халимат вниз по реке, к нижнему мосту. Она бежала, сокрушаясь, что потеряла много времени, отвлекаясь пустыми измышлениями. Ей казалось теперь, что тот, кто стонал в этот час под опрокинутой арбой, — очень-очень близкий ей человек, и если она не побегит побыстрее и не поможет ему, то он погибнет. Ах, не шли ее обессиленные ноги, не приближали нижний мост, хотя сколько до него было, всего-то ничего. А она бежит всю ночь или, быть может, с самого девичества. Теперь же из-за того, что она не прибежит вовремя, человек умрет в страданиях.

— Остановись, не спеши... Может быть, ты ищешь меня?

Голос пронзил ее, как выстрел. Она замедлила бег и, боясь шевельнуться, стояла с минуту, но вокруг не было ни души. У обочины дороги возвышался камень, словно кем-то оброненная копна сена. За этот камень, наверное, и спрятался тот, кто подал ей страшный голос?

— Эй, мужчина, где же ты? Сильно ли ушибся? — перебарывая страх, крикнула Халимат. Только теперь в наступившей гробовой тишине Халимат услышала рокот реки, голос не мог бы перекрыть шум воды.

— Не пристало женщине на ночь глядя блуждать вдоль реки, — прозвучал снова голос.

«Голос его, только не похоже, чтобы он говорил из-под опрокинутой арбы», — подумала Халимат.

— Я услышала, что арба твоя опрокинута, — сказала Халимат, не отрывая взгляда от камня.

— Но тех, у кого арба опрокинута, нынче много. Кому же из нас ты поможешь? Ведь выручить всех ты все равно не успеешь.

— Но почему ты не показываешься, — строго сказала Халимат.

Она удивилась тому, что в одночасье шум реки прекратился, не оглохла ли она? Но волны, блистая холодной сталью в ночи, все так же догоняли и опрокидывали друг друга.

— Я же сказал, нас много у мостов, умирающих под опрокинутыми арбами.

— Сначала дай мне знать, где ты. Что мне другие!

Халимат обошла камень, но и там никого не было. Она стояла, освещенная лунным светом, и страх одолевал ее в этот час. Стоя посередине дороги, она размышляла, не обидела ли она его необдуманными, несправедливыми словами? Она вспоминала все слова, которые сказала в этой ночи, пытаясь понять свою вину. Но не было ничего такого, чтобы отец Крыма стал избегать ее.

— Эй, довольно прятаться! Ведь мы соскучились по тебе, ладно, я виновата, несла всю ночь напраслину, что же теперь мне делать?

— Крыма уносит вода, догони его!

— Крым находится в надежных руках, — сказала Халимат спокойно. Она была уверена, что Крым спит в доме сестры.

— Ты допустила, чтобы Крыма унесла вода, неужели ты не слышишь его криков?

Халимат прислушалась к ночи. В шуме реки было что-то зловещее, но не крик мальчика. Халимат отогнала от себя эту мысль.

— Мужчина, там не мальчик кричит.

— Ты допустила, чтобы река унесла Крыма, догони его!

— Не Крым это.

— Догони ребенка, я говорю.

— Но как я могу уйти, оставив тебя под арбой? — сказала Халимат упавшим голосом.

— Все мы теперь оказались под одной арбой. Но ты догони ребенка.

— Как я могу уйти в реку, не увидев тебя?

— Тебе не дано видеть меня.

— погоди, я увидела тебя, — сказала Халимат быстро шагнув к камню. — Нет, я вижу только твои ноги. Лица не видно.

Тут Халимат вскрикнула.

— Ты никогда не увидишь моего лица.

— Почему?

— Лицо мое съедено рекой возле Аристова, где шла война. Я еще был жив, когда вода расчленила мое тело.

— О, несчастная я, тебя даже не похоронили.

— Земля не прокляла меня, четыре мои части, покоятся в четырех могилах. Живыми остались только глаза. И я вижу, мальчика уносит вода, догони его.

Чувствуя нарастающую слабость, Халимат пошла вниз по реке. Долго ли она так шла, но теперь тот страшный крик мальчика ясно звучал в ее ушах.

«И в самом деле Крым», — подумала она и, чувствуя в теле бешеную мощь, понеслась вниз по реке. Не было теперь в ней никакой болезни, она превратилась в камень, кинутый сильной рукой вперед. Луна мерцала в воде серебристыми спинками рыбок. В какой-то момент на бегу она увидела на повороте реки шапочку Крыма, которую связала сама, и, не задумываясь, вошла в воду. Но река не утащила ее, а ударила волной, и она опрокинулась, ударившись головою о береговой камень. Халимат не стала снова заходить в воду, она уже понимала, что не поможет мальчику.

Не имея сил встать на ноги, Халимат осталась лежать на камне и смотрела на темную воду. Удалялся крик, и белая шапочка Крыма, раскачиваясь на волнах, исчезала за изгибом реки. Горестно сознавая свою немощь, но все еще с надеждой, она встала с камня и снова пошла вниз берегом реки. Прощения не было. Ей стало казаться, что она стала бессмертной. Бессмертной женщиной, которую не отпускают грехи.

Халимат очнулась стоящей у разлива реки. На той стороне реки были видны темные очертания домов, и она подумала, что это жилища живых людей. Вокруг стояла такая тишина, словно на свете никогда, ни в какие времена рекою не было унесено ни одного ребенка, и никогда, ни в какие времена не звучал крик, уносимого рекою ребенка. Жилища были тихими, сон людей — спокоен. Тихое течение реки напоминало знакомую, но неуловимую мелодию, от звуков которой она время от времени вздрагивала. «Странная ты, река, — говорила Халимат, заходя в воду, — только что ты была дикой, неудержимой, жаждущей гибели моего ребенка, а теперь, заглушив его крик, притихла, нежно подбираешься к моим ногам, лаская подол моего черного платья». Вода не доходила до колен, женщина смотрела на черные силуэты валунов, тихо переходила от камня к камню, все время шепча что-то и обращаясь к каждому в отдельности, — так она искала крик ребенка в воде. Она хорошо помнила, что люди находили утопленников как раз в

таких местах — здесь река протекала, обнажив даже камни, и оставляла вырванные в верховьях деревья. Но вода никак не хотела вернуть женщине тело ее ребенка. Так, злясь, заклиная и умоляя реку, Халимат вышла к галечной насыпи, старательно насыпанной самой же рекой. Сердце ее разрывалось, ноги подкашивались, но она все оглядывалась вокруг, в страхе прижимая руки к груди. Тени на берегу тоже пугали ее: на белесой гальке они казались лежащими на спине трупами. Она безмолвно молила о помощи звезды и прислушивалась к тихому течению реки. Наконец она поняла, что на гальке валяются чурбаны, принесенные половодьем; нет, в этих местах не было утонувшего ребенка.

И тогда она тихо подошла к одному из этих чурбанов на белесой гальке. Перешла к другому, третьему, пытливо оглядывая их и даже трогая дрожащими руками. Чурбаны эти двигались, переходили от одного места к другому и вовсе не хотели, чтобы Халимат оглядывала и трогала их. А может, они были тенями тех, кого в разное время поглотила эта река? Халимат отшатнулась назад. Что если утопленники вышли предъяснить счет? И почему для этого они выбрали именно ее? Женщина посмотрела под ноги — ее собственной тени нигде не было. Посмотрела по сторонам, — нет. Она стала лихорадочно искать свою тень и вдруг обнаружила ее у высокого чурбана. Она была очень маленькой, похожей на оловянный кумган, в то время, как все тени утопленников были могучими, как распластанные бурки.

«Отчего притихли, — крикнула она вдруг со злобой, обращаясь к теням, — никакие вы не утопленники, вы просто остались под опрокинутыми арбами и только смотрите на женщину, которая ищет в воде крик своего ребенка! Пусть и вам будет стыдно, здоровые, сильные мужчины, а остались под опрокинутыми арбами. Теперь же пригорюнились на островке, как чурбаны, побелевшие от насилия воды, прячете лица, вздрагиваете от измученного взгляда потерявшейся женщины...»

Пока она говорила так, островок в воде, на котором она стояла, сошел с места, и ее качнуло. Халимат помнила только то, как вдруг этот галечный островок качнулся, и она как будто легла, чтобы не упасть в воду, и увидела звезды. «Ведь глаза мои не хотят гаснуть, оттого и видят происходящее здесь». Вспомнив своего мужа, Халимат подумала, что на небе мерцают не только две звезды, а все оно в россыпях звезд.

Пришедшие под утро за водой кабардинки нашли Ха-

лимаат без сознания на галечном островке. Они отнесли ее домой, и прошло немало времени, прежде чем им удалось выходить ее. Как только Халимаат смогла встать на ноги, ее одели, обули, как могли, и она отправилась к родному аулу.

* * *

Кровать Халимаат, расположенная у окна, поражала своей опрятностью и двумя большими необыкновенно пышными подушками. Было заметно, что сестры очень внимательны к этой кровати, обновляют ее ежедневно, подолгу взбивают подушки, и даже волосок не смеет опуститься на ее поверхность.

Сестры Халимаат – женщины весьма суеверные и строго следят за каждой мелочью, связанной с памятью покойной сестры. Они не то что прикосновения, но даже взгляда постороннего не допускают к вещам Халимаат.

Как-то раз Хабла, неожиданно появившись, заглянула в окно. Айшат охватил такой ужас, она прямо потеряла дар речи; об этом неприятном событии помнят даже соседи.

Когда сама Халимаат была жива, Айшат спокойно относилась ко всем гостям, даже если те целый день не слазили с ее кровати, не отходили от ее очага, но теперь ее беспокоит любое посещение. Память о том, что Халимаат нет в живых, требует уважения. Особенно Айшат раздражает, когда эта ненормальная Хабла приближается к порогу.

Пусть скажет спасибо, что ее вообще не гонят со двора, угол кладовой и то слишком много для нее. Мало ли на свете бездомных бродяжек, чье имущество умещается в одну котомку! Похоже, Хабла понимает это, – ведет себя тише воды, ниже травы. Ночью спит под навесом, а днем сидит, прижавшись к углу кладовой, не отводя глаз от дверей дома Айшат. И в этот день она сидела там, наблюдая за людьми, входящими и выходящими из дома. Но с какой целью она делает это, известно одному Аллаху.

Сестры, близкие и родственники сидели, уставившись на белые подушки на кровати в комнате Халимаат. Молчание сохранялось долго. Друг другу в лицо никто не глядел, каждый ушел в себя и думал о чем-то грустном. Они бы уставились на что-нибудь другое, но кроме кровати в комнате ничего не было.

А ведь совсем недавно убранство этой комнаты вызывало восхищение у сельчан, побывавших здесь. В чистоте предметов, всевозможной утвари и во всем чувствовалась рука

хорошей опрятной хозяйки. Полы и стены были покрыты коврами, полки с вещами занавешаны кийизами, серебряное оружие и одежда отца — на своем месте... Все это не могло войти в завещание. Все это принадлежало хозяину и должно было ждать его прихода — жив он или мертв. Эта комната была гаванью, где человек, вышедший из смертельного огня, мог найти себе тихую пристань и отдохнуть.

Да, но когда это уже было, чтобы комната была прибранной и готовой встретить хозяина. Теперь этого уже никто не спросит. Комната, где жил отец Крыма, комната, где сам Крым должен был жить и стать человеком. У человека, имеющего родной очаг, и к звездам под открытым небом любовь крепче, — Халимат была женщиной, которая хорошо понимала это. — Человек без жилища — это раздетый человек, такой замерзнет быстро.

Но кто же тогда опустошил комнату мужа и сына Халимат? Сидящие здесь? Или, может, кто-то со стороны? Айшат украдкой оглядела голые стены и углы комнаты. «Однако обстановка здесь несколько изменилась», — подумалось ей. Предыдущей ночью она вынесла отсюда ковер и бурку. «А что, в этом большого греха нет, человеку, которому поручили вырастить Крыма, должно принадлежать все, вплоть до последней ложечки. А что касается старенького ковра да изъеденной молью бурки, то пусть заберут с собою в могилу, я верну по первому требованию». Не в силах скрыть горечи, Айшат оглядела сестер. Хотелось бы ей знать, кто из них и что забрал, но это было неизвестно, да и невозможно было теперь выяснить, и она снова почувствовала злость к Халимат за ее завещание. Пусть змеи в аду сосут твое молоко, раз в жизни ты не смогла разобраться кому, что дарить, имущество растащили они, а платить за поминки с ними на равных... Злость Айшат не умещалась внутри, краской отразилась на лице; так она и сидела. Сестры и близкие родственники ничуть не глупее ее, чтобы брать на свою шею дополнительные расходы и обязательства. Ну ладно, еще посмотрим, сможет ли кто отказаться внести свою долю. И Жюзюм, и Хафисат живут на белом свете не только одними расходами, добавляют, исходя из того, что даст старшая, Айшат. А еще их брат Болат... Из всех четверых братьев, он единственный не пошел на фронт, остался дома.

Болат сидел, сохраняя могильную тишину, нервно прижавшись спиной к спинке стула. Он понимал, что обязан встать на себя хлопоты по поминкам и позаботиться о надмогильном камне для Халимат. «Даже если он не сможет

понести расходы, взять на себя устройство похорон и поминков, чтобы все было как у людей, он должен; не так он глуп, чтобы не суметь сделать это, небось, лошадь копытом по голове не стукнула в детстве», — поглядывая на него, размышляла Айшат. Обо всем этом думал и Болат. Ему и в голову не приходило, что не он один может размышлять здесь об этом. Он чувствовал себя виноватым и не решался обговорить с сестрами проблемы, связанные с похоронами и поминками, потому что собственными глазами не видел, как и когда умерла Халимат; он даже не знал, где теперь ее могила. Трагедия случилась, когда он поднялся в горы на пастбище, и наверняка он поступил опрометчиво, не оказавшись в такой час на месте. Как он ни напрягался, не мог вспомнить, сколько дней пробыл там и к какому дню вернулся в село. Чтобы рассеять сомнения, он в памяти раскладывал по полочкам все даты и события, но постоянно возникала какая-то помеха и в его недалекой голове все рушилось и запутывалось снова. Насколько помнилось, он отсутствовал трое суток, так неужели за это время Халимат умерла, и как они могли так поспешно похоронить ее? И почему они не послали за ним человека, когда пробил ее час, как принято среди нормальных людей? «На пастбище ты пробыл от пятницы до пятницы», — сказала Айшат. Болат не спорил с этим. На человека, который чувствует за собою вину, ничего не стоит повесить еще одну. Чего там, Болат и так не был уверен в себе, простая душа. А в таких делах тем более он не имел способности отличить дурное от хорошего. Когда он с сумерками вошел к себе во двор, старцы, восседавшие там, встали и выразили ему соболезнование. Болат не решился на расспросы, а молча принял слова соболезнования. Так он, смешавшись, и не поднял тогда головы и не придумал ничего лучшего, чем сделать вид, что выходил перед этим отсюда не надолго по какому-то делу и теперь явился обратно. Тем более, скоро стало ясно, что и собравшиеся для соболезнования люди пришли совсем недавно и сами ничего не знали о случившемся.

Для настоящего мужчины — для брата особенно — пойти и узнать могилу, где обрела покой сестра, должно быть законом. В этом отношении Болат грешен не был, он несколько раз скрытно ходил туда. Но могил с невысохшей еще землею и без надгробного камня там было пять. В которой из них покоится его сестра, и есть ли она вообще там, узнать ему пока не удалось. Спросить, выдать свое неведение в таком деликатном деле он стеснялся. Желая

узнать, сколько дней каждой из этих свежих могил, он провёл на кладбище немало времени. Здесь не было ни одной могилы, перед которою бы он не стоял и, скорбя вместе с мужчинами аула, не складывал ладоней в молитве. Это люди, которые ушли в мир иной, когда я был на пастбище, укорял он себя, глядя на свежие холмики и каюсь, что не смог побывать на их похоронах. Ему казалось, что все смотрят на него с укором. Как могло случиться, что за такое короткое время померло столько людей? Болат горестно качал головой, не зная что и подумать. Он возвращался к свежим могилам, спрашивал их о своей сестре, но толком так ничего не выяснил и не решил. Здесь же, у могил, растерянно подняв голову, он внимательно посмотрел на Айшат. «Отчего же мы все так боимся ее, — в сердцах подумал он. — Боимся правду назвать правдой, а ложь ложью». Он степенно погладил коротко стриженную бороду, широкие рыжие скулы, продолжая смотреть на сестру, будто пытался поймать в ней ту силу, которая заставляла родственников так бояться ее. Или же отношения его сестер и братьев определял тот извечный, не вытравляемый никакими бедами знак материнского завета прощать и никогда не обижать друг друга? Но почему сама Айшат не соблюдает этот завет, в чем дело? Ведь наступали жуткие непонятные времена, дети ее подрастали, муж находился на гребне больших событий. Нет, не мог постичь Болат тайну страха перед старшей сестрой. Да, он переживает за Халимат, но где она теперь? Есть она или нет — кого это волнует, и чего он добьется, защищая ее? Пусть даже он возьмет сторону обиженной сестры, попытается расставить по местам белое и черное, заступятся ли в таком случае за него другие сестры и остальная родня? Хорошо, если заступятся, все они могут единым кулаком ударить по несправедливости, но что если не заступятся? Тогда он потеряет и Айшат, и остальных. И все же подспудно в нем тлел бунт, который и заставил его заговорить вслух.

— Не могу понять, вот думаю всё... не могу уразуметь, по ком мы собираемся устраивать поминки? Кому мы собираемся надгробье ставить, за кого молиться? Объясните мне, неразумному? — Болат вдруг осмелел, — приятно было осознавать себя мужчиной, смело спрашивающим ответа с каждого.

Но сидящие не оценили должным образом его смелости. Болат, видя, что никто не поддерживает его, также неожиданно сник. Некоторые из присутствующих удивленно

повернулись в его сторону, словно там повисла шаровая молния: уж Болат ли это?

Но взгляд Айшат оставался бесстрастным, никто еще не заметил, что она осуждает брата, хотя все знали, чей теперь ход. Не упрека заслуживал в этот час Болат, а утешения. Айшат так и поступила. Стоит ли ругать человека, говорящего глупости в затмении разума? Сначала Айшат глазами и жестами убедила сидящих здесь в этом и только потом заговорила мягким участливым голосом, путаясь в иносказаниях, но ясно доводя до родных мысль о своем абсолютном верховенстве в семье и родовом гнезде.

— Среди нас Болат был самым близким к нашей несчастной Халимат; и похож он был на нее, словно близнец.

Айшат не отводила своих немигающих глаз от брата, и Болат опускал голову все ниже и ниже.

— Он был похож на нее также и характером своим, и речью. Поэтому последнее время он ошеломлен и не всегда осознает, что говорит. Все это от горькой потери, сестры мои.

Будто силясь сдержать подступивший к горлу комок, она с минуту молчала. Болат слышал, как женщины вздыхали, готовые залиться горькими слезами.

— Но как бы мы ни жалели брата, — продолжала вещать Айшат, — может быть, в том и было его счастье, что он так походил на нашу любимую сестру.

Голос Айшат крепчал, безошибочным женским чутьем она поняла, что отныне никто не сможет открыто выступить против нее.

— Лучших людей в округе пожирает война, а он живет и работает здесь с нами. И правильно, что может быть слаще жизни?

Сестры еще вкрадчивее обратили свои взоры на Болата, словно только сейчас начали разоблачать его. Как же они не догадывались обо всем этом раньше, вот, стало быть, каким бывает мужчина, когда теряет рассудок! И смотрели на него, беспощадно исследуя от иссохших, давно уже не снимаемых с ног чувяков, до сванки на голове.

Болат уже понимал, о чем ведет речь сестра, оттого и искал убежище, и пытался укрыться от ее ядовитых глаз. Он оглядывался вокруг, ища защиты, но остальные были не меньше Болата настигнуты и подавлены неумолимой правотой долгоносой сестры. Оставшись один на один со своим страхом перед сестрой, Болат снова встретился взглядом с Айшат. «Погоди еще, — сказали ее глаза, — погоди,

брат, горькие для тебя дни впереди». Болат сжался еще сильнее и беспомощно пожал плечами — не было у него сил спорить с сестрой. Он был слабее женщин, верно говорила Айшат, когда мужчины уходили на войну, он прятался под подолами женщин, он и хромал, и прикидывался глубоким старцем, — лишь бы никто не трогал его, никто не позвал на ратную дорогу. И потом, он ведь боялся не только Айшат, он боялся всех — не таким уж глупым был, чтобы не понимать, что человек, избегающий фронта, меняет свое мужское достоинство, честь и совесть на брентную жизнь.

Кроме всего прочего, Болат многим был обязан Айшат. Благодаря ей он имел замечательную скаковую лошадь, сумел расширить свой дом; пользуясь ее поддержкой, он овладел скотным двором, который совсем недавно принадлежал Халимат. Кто же приобретает, не рискуя честью, гордыней своей, оберегая совесть от черных пятен. Не будь благожелательности и дальновидности старшей сестры, не видать бы ему лошади зятя! Или мало в округе недоброжелателей! Теперь, когда на бесценной лошади гарцует по селу Болат, глаза врагов наливаются кровью. Ниспослал бы Аллах покой и мир, все остальное — в его руках. О дополнительной прибавке к хозяйству, доставшейся ему по существу даром, — и говорить нечего! Не было бы на то воли Айшат, смог бы он так ловко расширить свое хозяйство — и дом, и хлев? Раз так, то зачем раздувать огонь! Надо уметь быть благодарным и довольствоваться существующим положением вещей. Своя рубашка ближе к телу. Разговоры о братстве и порядочности — это просто красивые слова, и сомневаться, когда Аллахом дается возможность разбогатеть и подчинить себе волю других людей, — глупо. Быть зависимым, пусть даже от родного брата, — вот настоящий грех. Надо добиваться того, чтобы в каждом уголке было твое собственное место, а быть гостем, даже если ты желаем и почетен, ничего не даст тебе, ты все равно никогда не сможешь вести себя так, как угодно тебе, а не кому-то другому. Кто может осудить меня, если ты желаешь отдохнуть в тени своего двора, а не быть понукаемым в домах сестер?

— У нее достаточно и своего добра, так зачем нам кого-то утруждать, — сказала Жюзюм, не поднимая головы. — Его хватит на поминки пятерых.

О чем вела речь Жюзюм, хорошо понимали и Айшат, и Болат, и все остальные.

— Откуда бы взяться добру у бедной незамужней женщины, — быстро сказала Айшат.

— Никогда она не была незамужней женщиной, — парировала так же быстро Жюзюм. — Ты говоришь так потому, что не знаешь, жив твой зять или погиб.

— Сестра наша стала обездоленной в тот день, когда вышла за него, — сказала Айшат о человеке, имя которого раньше всеми произносилось с уважением: теперь от его былой славы оставались только дом и добро.

— Как ты можешь так унижать свою покойную сестру, Айшат, — сказала Жюзюм. Как бы она в душе ни сопротивлялась, все равно невольно подчинялась ей. Она не знала в точности, утонула Халимат или нет; она не была уверена в том, что та, которая возвращается ночью в аул и ходит вокруг дома Халимат, подолгу стоит под высохшим деревом или у кладовой — Хабла, а не Халимат. Если исчезнувшая много лет назад Хабла вдруг вернулась, то почему она не постарела, почему так похожа на их сестру? Да, много было вопросов, бросающих Жюзюм в пучину сомнений. Но ни на один из них она еще не имела ответа. И хотела ли она найти его? Ее охватил стыд и страх, который еще раз заставил почувствовать ее, насколько она слаба перед старшей сестрой. Или же истари заведено среди родных, что устраивающая всех ложь лучше правды? А что такое правда? Разве она не дает покоя, возможности спокойно спать?

Жюзюм снова оглядела сидящих. Все они были родные и двоюродные братья и сестры. Но что таилось в душах этих людей? Ведь мало кто из них пытался заговорить о главном, четко выразить свои мысли и думы. Сидят, склонив головы, то ли в ожидании, то ли в задумчивости. Да что теперь возмущаться: Жюзюм тоже не невинна. Ведь именно она изо всех сил старалась убедить большую родню и соседей, что Халимат на самом деле утонула. Она старательно обходила причины этой беды, нельзя же было признать, что они все оставили больную сестру, не ухаживали за нею неделями, в сущности бросили ее, одинокую и беспомощную, в большом обезлюдевшем доме. В конце концов сама Жюзюм первой и поверила в легенду, которую выдумала Айшат во имя спасения чести рода. Теперь же запуталась, утратила способность разбираться, где правда, а где ложь. С каким же лицом она теперь скажет, что неизвестно, мертва сестра или жива. Ее саму сочтут умалишенной. Ведь легко завладеть имуществом человека, представив его умалишенным. А ей еще надо вырастить детей, сохранить в неприкосновенности дом и землю, оставшиеся от отца.

— Не для того, чтобы унижить, я вырастила вас, ее и тебя, — резко сказала Айшат. — Все видели, десять моих пальцев на руках трудились десятью волами. Кто скажет, что я могу поставить ногу на грудь младшей сестры?

Снова воцарилась тяжелая тишина. Никто теперь не скрывал от Жюзюм, что осуждает ее. Даже те, кто в этот час ненавидел Айшат, не веря ни одному ее слову, глядели на Жюзюм с упреком. Жюзюм прикрыла свои глаза платком, не в силах ни отстаивать свои слова, ни раскаиваться. Она уже не хотела быть неблагодарной, позабывшей труды и заботы старшей сестры. Да, Айшат пекла чуреки для нее, качала ее колыбель, — так исстари заведено в больших семьях. Но постоянно напоминать об этом, упрекать испеченным для нее чуреком — к чему это? Ведь все, кого она лелеяла, выросли и стали достойными людьми, у всех у них семьи, хозяйство, земля, дом... Но все это не радовало Айшат. Нет, она признавала, что братья и сестры — это крепость, защита, достоинство, без этого человек уподобляется одинокому дереву на склоне. Айшат не хотела быть одиноким деревом, она хотела быть в густом цветущем лесу, но самым высоким деревом в том лесу, чтобы солнце обильнее освещало ее ветви. От того весь ее облик говорил сидящим, что без нее, без ее крепкой семейной воли все они рассыпятся. Ее обижало, что кто-то из них забывает об этом и порою позволяет себе повисить на нее голос.

— Ну что же, терпение на то и дано человеку, чтобы переживать обиды. Не я одна, чьи старания уходят в воду.

Айшат некоторое время выжидательно молчала. Все понимали, что она ждет признания своих заслуг перед ними.

— Зря ты думаешь, Айшат, что мы забыли твою заботу, — начала Хафисат. — Аллах не простил бы.

— Хафисат права, кого из нас ты не нянчила...

Надо сказать, они помнили, что многих из них Айшат вообще не нянчила и не кормила, желание угодить ей доходило иногда до самоуничужения. Они наперебой расхваливали ее детей, мужа и, сами, того не замечая, превратились в льстивых прихлебателей. Да, муж ее Ахмат ходил в комиссарах, все в селе стремились угодить ему, добиться его расположения. Грубые горцы, не знавшие льстивых слов, вдруг разом научились и льстить, и скрывать правду. Теперь ничего не стоило хвалить человека в лицо, и Айшат пользовалась этим, чтобы подчинять близких своей воле. Что такое люди, рассуждала Айшат, они — что трава, покорно идущая под косу. Только сама не попадись под косу, а других мож-

но уподоблять и соломе, которую стелят в чабуры. Она глядела из-под ресниц на сидящих. Вон сидит Якуб, старый человек, склонил голову, похож на клубок белой шерсти. А прежде он был могучим, работающим мужчиной. Теперь его подточили годы. «Эх, слепые бездушные годы», — вздохнула она. Вспомнила, как однажды, идя куда-то вместе с отцом, они встретились с Якубом. Айшат часто видела его, но тот день сильно врезался в память.

— Ты молодец, вот в какого мужчину вымахал, — приветствовал его Темукку. — Каждый раз, когда вижу тебя, не нарадуюсь.

Якуб был на несколько лет младше отца Айшат. Он не поторопился ответить Темукку, поблагодарить его. Стоял, не поднимая глаз, покраснев лицом.

— Куда нам, — скромно ответил он, погода.

— Что меня удивляет, так это то, что ты не похож ни на одного человека из своего рода; зря говорят, яблоко от яблони далеко не катится.

Темукку, довольный скромностью Якуба, оживился:

— Аллах да будет щедрым к тебе, достойным человеком будешь, это заметно. А ведь нет на свете большего богатства, чем быть достойным человеком.

Якуб, тронутый неожиданной похвалой уважаемого человека, ответил с благодарностью:

— Как получается... Ослик, который находится рядом с лошадью, и то чему-нибудь обучается. Все благодаря тебе, Темукку.

— Не говори так, Якуб, — Темукку поднял руку к груди. — Родня твоя должна молиться на тебя. Она должна благодарить Аллаха за то, что у них появился такой человек, как ты.

— Если я чему-то и научился, это твои заслуги, — Якуб приходился родственником Темукку со стороны матери. — Пусть Аллах избавит вас от своего гнева, но разве мой род можно назвать родом? Ни словом, ни способностями мы не отличались. Не могут быть родом те, кто ничего, кроме черноты земли, не знают.

— Да, Якуб, соглашусь с тобою, люди в твоём роду темные, ни к чему не способные. Хочу признаться, что и отец твой покойный, да станет его пристанищем рай, круглым сиротой был, бедняк бедняком. А ты... — Темукку, наверное, искал нужное слово, немного помолчал. — Тебе Аллах пусть долгую жизнь даст, ты самый достойный и самый заметный во всем вашем роду.

— Каждый бы считал себя счастливым, имея такого родственника, как ты, — отвечал Якуб. — Чтобы мы делали без тебя! Ты ведь вытащил нас из пустоты!

И все же Якубу не хватало слов, чтобы выразить Темукку свою благодарность. Ему было стыдно, что он, живя рядом с эфенди, недостаточно благодарил его, недостаточно оказывал ему свою готовность жертвовать собою ради него.

— Да ведь многим не дано понимать это, — с горечью признался Темукку. — Что можно ждать от безбожной, безмозглой толпы? А ты... Ты, Аллахом отмеченный, совсем не похож на них. Ты — дерево, выросшее на сухом каменистом острове. Я очень доволен тобою.

И Темукку крепко обнял его.

— Что наша благодарность, Аллах Всевышний да пусть осветит тебя своей милостью, — сказал Якуб, склонив голову перед эфенди. — Ты вызвал обильный дождь на нашу иссохшую землю, мы же, ничтожные, были родом смиренным, жили в темных саклях, как в трещинах скал, но вот, благодаря тебе, вышли в люди, мы, убогие, не знавшие ничего, кроме черноты земли, познали и свет Корана.

Якуб хоть и говорил от имени рода, имел в виду себя одного. Он считал, что в одном роду должны быть почитаемыми двое, трое, не может же быть, чтобы все были просвещенными, это наносило бы вред, тем более в таком малочисленном роду, каким был род Якуба. Здесь достаточно было бы даже одного почитаемого. Но кто в роду замечал и ценил его ум, чтобы почитать его как лучшего в роду и сделать главой рода? Свои? Ха, жди косарей с небал! Не привыкли они, лентяи, нести знамя, одно только и умеют — сидеть, греть ноги в золе. Оставалось только угодить эфенди, расположить его к себе; только такие, как Темукку, могут возвысить имя человека, сделать его значимым в обществе.

— В каждого из нас вложен твой труд, знаю, — продолжал он. — И потому впредь мы хотели бы идти по той тропе, которую прокладываешь ты, если, конечно, на то будет твоя воля. Более того, эфенди, скажу, что мы жаждем пить воду из той речки, на берегу которой ты совершаешь намаз. Поволь нам эту милость, мы никогда не забудем твоего великодушия.

— Рассудительный ты, Якуб, правильный, — отозвался Темукку, польщенный подобострастием односельчанина. — Я не раз говорил жамаату о тебе. Место умного должно быть повышенным.

После этого разговора Якуб часто появлялся во дворе Айшат. И она не забывала, как он старался, исправно служа ее дому, каким замечательным помощником он был, каким водоносом. Да, было так, он заботился об ее доме добросовестнее, чем о своем собственном.

Женщина долго молчала, глядя на скорбный вид Якуба, казалось, думала, неужели все мужчины, безоглядно топчущие свой род, своих отцов, такие? Она презирала тех, кто, гнушаясь шубой отца, оставался без рубашки. Ей доставляло удовольствие загонять таких в угол, сталкивать на обочину дороги, попрекая безродством, будь такой человек взрослым или малым, дальним или близким, все равно, она испытывала приятное чувство, видя перед собою жалкого, зависимого человека без глубоких корней. Но виновата ли она была, если люди вокруг были такими убогими и непаятыливыми? Она часто говорила им ласковые слова, но они сами же превращали ее слова во зло. Она хорошо помнила случай, когда сказала старшему сыну соседа: «Я кормила тебя своим молоком». Мужчина, да, он уже был взрослым мужчиной, который до этого вовсе не замечал ее, вдруг стал обходительным, стал смиреннее овцы, заискивал перед ней и все старался завоевать ее расположение. Но кормила ли она его? Или просто уронила ласковое, первое пришедшее на язык слово? Она не помнила: кормящие матери часто давали грудь детям друг друга. И Айшат не была исключением. Какая мать не хочет, чтобы ее дитя кормилось грудью женщины из славного рода. Она, хотя и не помнила, когда и кто прижимался к ее обильной груди, но кто теперь скажет, которые дети испытали вкус ее молока, а которые — нет? Раз так, молчать не следовало. Дав людям высосать все свои соки, нельзя оставаться безымянной, пусть знают, иной раз не грех напомнить людям истину. Убедив себя в том, что она была кормящей матерью всем лучшим дочерям и сыновьям аула, Айшат никогда потом не упускала случая напомнить во всеуслышание о том, кто питался в детстве ее материнским молоком. И везде она встречала своих молочных детей — на свадьбах, похоронах. Да что там, не было в селе ни одного видного парня и девушки, которые бы не были вскормлены ею. И вот теперь, растратив себя на многочисленных родственников и односельчан, она осталась одинокой и ненужной. Не бывать тому, чтобы одну ее трясли, как плодоносное дерево. Довольно, хватит! Капля молока величиною с перстень — тяжелее и ценнее целой арбы соли. Айшат с упреком оглядела сидящих в

доме, — все они были вскормленными когда-то отцом ее Темукку и ею. Неужели позабыли? Теперь, насытившись, набравшись силы, хотят в кровь забить своего кормильца. Поэтому так молчите? Нет, не надейтесь, Айшат не даст вам надругаться над собою! Долгоносая женщина снова оглядела сидящих, — она должна была угадать, кто из ее родственников первым поднимет руку, чтобы ударить... Однако сидящие были безмолвны, не заметно было, чтобы кто-то из них имел смелость сказать правду. И в самом деле, кто осмелится взять на себя грех разрушителя рода? Кто захочет слыть неблагодарным? Айшат хорошо понимала такие вещи. Никогда не оставляла в покое она того, кого заподозрила в измене или противостоянии.

— Чего же вы молчите? Никак замыслили молчанием взорвать мой дом, — Айшат делала вид, что выследила кого-то.

Но никто из сидящих не отозвался. Упорный взгляд долгоносой женщины не смутил, кажется, никого. Как же так? Кто-то должен запеть, чтобы было сопровождение. Тогда бы никто не посмел нарушить лад песни. Но нет, языки были проглочены. Взгляды Якуба и Айшат встретились. И тогда старик вспомнил чьими стараниями он выдвинулся.

— Шеи наши становятся тоньше волосинки, когда мы стоим перед тобою, — поспешил он успокоить долгоносую женщину. — Ты одна имеешь право снять наши головы или погладить их.

Он облизал желтые губы и продолжил:

— Что мы можем добавить к тому, что ты скажешь. Мы все вскормлены тобою. Если я вырос, стал человеком, то лишь благодаря молоку твоей матери. — Якуб посмотрел на сидящих взглядом, просящим согласия, одобрения. После только осмелился взглянуть на Айшат, и этот взгляд говорил о том, что не только лодка тянется к кораблю, но и корабль порой ищет опоры в лодке. Он был горд, что сумел встать на защиту Айшат в трудный для нее час, и смело сказал об этом. Ишь ты, какой! Не он ли та лодка, которая может вытащить севший на мель корабль?

Женщины долго молчали, не зная как быть. Они считали, что Якуб ровесник матери Айшат. И не странно ли то, что теперь им приходится слышать из его уст? Или этот человек спятил, или они попросту ничего не знают? Как же так, жили же единым селом, вроде все-все обо всех знают. Или Якуб считает, что они потеряли память? И он, и Айшат? Можно было вытерпеть какую-нибудь глупость, но такую

ложь... Молчать было нельзя. В воздухе носилось желание говорить, но все ждали, уступая друг другу первенство в разоблачении чужака Якуба и своей сестры. Ждали-то ждали, да рта никто так и не раскрыл, каждый был занят поиском оправдания своего малодушия, а может быть, и совестливости. И в самом деле, что было толку отрицать божественную щедрость матери Айшат и ее самой? Ладно уж, все мы вскормлены ее матерью и ею самой, все мы родня, но наступили другие времена. Теперь брат понукает братом; лицемерят все. Хорошо, пусть кто-то из нас выскажет недовольство, высмеет лицемерие Якуба – всего-то шишка на лбу. Никакой пользы.

– Пусть жив будет Якуб, он выразил все то, что хотели бы мы сказать здесь, – промолвила старая женщина, которая сидела, прижавшись к Айшат, она все глядела на пожелтевшую бахрому своего платка. – Где нам взять столько ума, чтобы говорить наравне с Якубом?

– Кто станет отрицать это, тот глупец, – сказала другая женщина.

– Разве только Аллахом проклятый, – женщина, которая произнесла эти слова, повернулась к Якубу, – мол, не думай, что я глупее тебя.

– Аланы, для чего мы тут морочим голову друг другу, скажите для чего, а?

Эта женщина с самого начала сидела молча, и теперь, когда она заговорила, все повернулись к ней.

– Халимат, бедная, пусть в рай попадет, умерла, лишившись разума. Для чего же устраивать ей поминки? Считает ли Коран это правомерным?

Когда такое высказала близкая родственница, все как-то озадаченно поникли, ими овладел страх. Сестра Айшат была женщиной хлебосольной, хотя стала увечной. Следовало ли так говорить о ней на людях?

В глубине души Айшат злорадно возликовала; она была очень благодарна этой своей родственнице, – ведь с самого начала она ждала именно этих слов из чужих уст, и они прозвучали. Но Айшат сумела так же глубоко скрыть свою радость.

– Не такие мы люди, чтобы лишить свою единокровную сестру должного внимания; хотя она и умалишенная, мы так не поступим. Если мы родня, то давайте и в горе, и в радости быть вместе, – сказала Айшат, не сводя глаз с богато убранной кровати Халимат.

– Богом избранная душа, да будем мы принесены в жертву за тебя, – сказала одна из женщин.

– Я не ограничусь одними поминками по ней, – сказала Айшат. – Я поставлю склеп на ее могиле. Пусть он напоминает всем живущим о моей любви к сестре и сохранит ее имя.

– Склеп, ты говоришь?

Удивленные голоса слились в единый хор.

– Да, именно склеп! Как и подобает достойной женщине из узденей. И мне нужно только ваше согласие. Все заботы о склепе я беру на себя. Что там...

– Нет, нет, как же мы останемся в стороне...

– Может быть, моей бедной сестре и ни к чему склеп... Но он нужен Крыму. Чтобы он никогда не забывал ее.

Айшат всплакнула и закрыла лицо краем платка.

– Аллах свидетель, доброта твоя не имеет границ, Айшат...

– Кто об этом забудет, того Аллах накажет.

Айшат вдруг поняла, что она и сама поверила своим словам, но когда вышла из дому, подумала, что если и не склеп, то что-то она должна поставить на могиле сестры. Солнце уже озаряло вершины гор.

Обширный двор, залитый в этот час первыми лучами солнца, обрадовал ее. Она посмотрела на добротно построенный хлев на краю двора и отметила про себя, что это строение еще немало лет может послужить ей.

Да, правильно она сказала, что поставит на могиле склеп. Очень кстати. «Если у родни или соседа берешь сито муки, возвращай целую кадку». И заботы о Крыме на ней.

Окрыленная своими мыслями и покорностью родни, она, миновав кладовую, вышла на дорогу. Надо было вернуться домой. Но тут вдруг вспомнила Хаблу, как-то в страхе оглянулась. Хабла стояла перед нею, словно выросла из-под земли. Откуда она возникла, из утренних лучей солнца или вышла из своей кладовой? Крылья Айшат сразу опустились: скорее надо было уйти, она не обязана стоять на улице с сельской дурочкой. Но не ушла, не смогла. Она почувствовала спиной, как быстрым шагом настигает ее Хабла. Айшат зло остановилась.

Младшая сестра Айшат – Халимат, была женщиной стройной, рослой. Но болезнь выжала из нее все соки, в последние дни в ней нельзя было узнать яркую, излучающую свет, красивую женщину. А это босоногая сельская дурочка, увязавшаяся за Айшат, была здорова, как ко-

была. Даже полинявшее шелковое платье не скрывало ее здорового тела.

Стоя спиной к догоняющей ее Хабле, она испытывала чувство, похожее на зависть, — кому или чему, — она не знавала, но было горько от того, что она еще не старая, должна была быть стройной, такой, какой была Халимат, да Аллах не дал ей этой радости. И когда она зло повернулась к умалишенной, то поняла, что завидует именно ей. Теперь ее злоба делилась между Аллахом и дурочкой, потому что Аллах, одарив выдающимся умом, лишил ее такой красоты, а другую, лишив разума, щедро одарил статью и красотой. Бездомная Хабла шагала по улице так, словно весь этот аул ее родной дом. Да, Айшат, не гневайся на Аллаха, умалишенных он всегда одаривает таким здоровьем и сильным телом. «Бедняжка», — подумала она, стараясь отогнать горькие мысли и покаяться перед Аллахом.

Приблизившись к Айшат, Хабла громко спросила:

— Что, Айшат, вспоминаешь Аллаха?

Сердце Айшат снова забилося. «Она не похожа на умалишенную. Прежде была похожа, а теперь... Неужели она поправляется? Но она... разве она женщина... она же дева, только ведь девы понимают душу человека...»

— Аллаха я вспоминаю и днем и ночью, — сказала Айшат. — Это долг каждого правоверного.

— Да, верно. Все люди совершают грех, прося у него прощения...

Здесь Айшат не должна была промолчать, надо было плюнуть в лицо дурочки, ударить камнем и уйти. Но не смогла. Ее терпение и спокойствие должны быть вознаграждены Аллахом.

— Я движима волею Аллаха, — сказала Айшат. — Аллах никому не позволяет совершить несправедливый суд над людьми.

Она оглянулась по сторонам: слишком долго продолжался ее диалог с дурочкой на улице. Люди могли заподозрить неладное.

— Аллах ведь совершает свой суд на небе, — тихо, но уверенно отозвалась Хабла. — Ты же, женщина, хочешь быть Аллахом в нашей теснине. Я знаю теперь: маленькие божки на земле гораздо суровее единого.

Хабла знала весь Коран наизусть и была очень набожной. Теперь же, стоя рядом с этой женщиной на улице, она, словом, надругалась над Аллахом.

— У Всевышнего и на небе есть служители, сидящие и

по левой и по правой стороне его. Пусть они будут и на земле, на то воля его самого, ты ли запретишь, — сказала Айшат с презрением.

Хабла не ответила. Она вспомнила суру из Корана, которая называлась «Ангелы». В ней говорилось о том, что Аллах сначала создал на земле своих помощников, шестикрылых ангелов; только потом он вознамерился создать людей. Для этого он созвал совет своих ангелов. Ангелы были поражены добротой и справедливостью Вседержителя. Он просил их не бояться его, высказаться открыто и не скрывать перед ним своего мнения. И только после того, как высказались ангелы, он создал человека из глины и велел ангелам своим подчиняться ему. Один Иблис не подчинился воле Аллаха. И тогда Всевышний спросил Иблиса: «Ты возражаешь против моей воли? Или есть у тебя что-то свое, отличное?» Иблис дерзко сказал ему: «Да, я не собираюсь склонять головы перед новым твоим созданием». «И почему же?» — спросил Всевышний. «Если лучшие твои создания начнут поклоняться худшим, то невозможно будет отличить плохого от хорошего» — отвечал Иблис. «И почему же то, что я считаю лучшим своим творением, кажется тебе плохим?» — терпеливо спрашивал Всевышний. «А потому, — не унимался Иблис, — что ты меня сотворил из огня, а человека — второпях из сырой глины. Как же теперь я могу подчиниться глине в образе человека?» «Из чего бы он ни был, я его создал, мало тебе этого? Так поступаешь ты из гордыни». И тогда он снова созвал своих ангелов на совет.

— Что ты прикажешь нам, Всевышний?

— Изгоните Иблиса с небес! И где бы вы его ни встречали, бейте камнями...

Добрые, мирные ангелы тотчас превратились в суровых стражей небес и схватили Иблиса. Они скрутили ему руки, связали и выбросили вон из рая.

Вспоминая эту суру, Хабла смотрела на Айшат и не могла понять, почему та выбросила ее из дому, почему она хочет, чтобы ее сестра оставалась Хаблой, она ведь никогда не причиняла зла Айшат.

— Почему в твоей горнице одна стала маленьким божком, другая дьяволом, — сказала Хабла, глядя прямо в глаза Айшат.

Она хотела сказать «сестра», но сдержалась. Маленькие божки не признают ни сестер, ни братьев. Им понятны только помощники, рабы и враги.

– Да вот, бедняжка, вся беда в том, что ты не хочешь смириться со своей судьбой, – сказала Айшат.

– Может быть, я сорвала яблоко с дерева без твоего соизволения?

– Я поступаю так, как велит Аллах, а ты, оказывается, не очень-то считаешься с ним.

– Аллаху, который терпит зло и обман, не грех и не подчиняться.

Хабла отвела взгляд от Айшат и посмотрела в сторону хлева. Крым стоял перед конем отца и гладил его морду. Она немало удивилась: с тех пор, как уехал его седок, животное не подпускало к себе ни одного человека.

– Да, трудно уразуметь твой бред...

Айшат случайно обернулась и тоже увидела, как мальчик прижимается к гриве коня, ее лицо побелело.

– А я говорю: Аллах частенько забывает то, что обещал. Да по-божески ли то, что человека он представляет то из глины, то из земли, то из ребра, а то и из воздуха... Или же нам неведомы его превращения? Меняются боги, и один бог отменяет предназначения другого, так ли, женщина? – Хабла снова хотела сказать «сестра», но и на этот раз не сказала.

– Если ты так умна и храбра, то отойди от меня, поднимись на минарет и оттуда крикни об этом во весь голос, – сказала Айшат, теряя терпение.

Ей казалось, что она наконец-то заткнула рот дурочке.

– Ведь лучше было бы крикнуть о маленьком божке на земле, – уверенно сказала Хабла.

Айшат показалось, что она даже улыбнулась при этом. Айшат встрепенулась, огляделась вокруг. «Вдруг кто-то услышит ее слова!»

– Да встретились мы в позорный для тебя час, хоть криком своим изойди с минарета.

– А что я могу сказать, – тихо, смиренно сказала Хабла, – разве только то, что знаю, что мне пришлось увидеть. Ты погляди на свою тень.

Айшат сильно испугалась, аж почувствовала, как горят волосы. Но ни тени своей, ничего другого она не увидела и успокоилась: да что тут слушать бредни умалишенной. Снова посмотрела, но теперь не по сторонам, а под ноги и увидела темное расплывшееся пятно, похожее на маленький оловянный кувшин. Страх снова ожег ее, и она отпрыгнула в сторону. Но темное пятно, словно маленький домашний божок в черном одеянии, двинулось вместе с нею.

– А это твоя тень, – сказала Хабла, не скрывая злорадства.
– Пропади ты!.. – сказала Айшат и, резко повернувшись, пошла прочь.

Она почти бежала, бежала, не оглядываясь, благо, в этот час на этой проклятой пустынной улице никого не было. И тогда она увидела свою тень – она бежала чуть впереди черным щенком. Но черный щенок куда лучше черного оловянного кувшина, из которого, казалось, выливалось то тяжелое вязкое черное пятно...

* * *

Крым сидел верхом на коне, обеими руками вцепившись в гриву, изо всех сил пытаясь скрыть улыбку радости и гордости, охвативших его в эту минуту. Ему было неловко перед людьми, стоящими неподалеку. Не хотелось быть похожим на соседних девочек, которые всегда смеются безо всякой видимой причины. Да и вообще с тех пор, как мама, возвращаясь с поля, превратилась в дерево, он редко смеется или просто бывает рад, если не считать случаев, когда общается с похожей на мать Хаблой или сидит верхом на коне отца. Если бы Хабла не слыла выжившей из ума дуручкой, Крым бы не отходил от нее ни на шаг. Жаль, к ней нельзя подходить малым детям, а то она может в приступе «заячьей болезни»* придушить кого-нибудь из них, как говорит Айшат. Честно говоря, Хабла еще ни разу не пыталась придушить Крыма. Напротив, она кажется мягкосердечной и очень доброй женщиной, она нежна, ее руки очень похожи на руки мамы. Крым перестал убегать от нее или обижать словом; при встрече он с удовольствием общается с ней. И на отцовского коня впервые посадила его Хабла.

– Хочешь сесть верхом на коня своего отца, Крым? – спросила она незадолго до этого, остановив его возле кладовой.

– Но ведь у меня нет отца, – сказал Крым.

– У всех мальчиков обязательно бывает отец.

– А у меня нет, – не согласился Крым, – Айшат мне так сказала.

Хабла задумалась. Говорить плохо об Айшат не хотелось, все-таки мальчик ел хлеб из ее рук.

– Айшат просто позабыла, – сказала она, протянув руку, чтобы погладить Крыма. Но Крым уклонился.

* Эпилепсия.

— У тебя есть отец, и он очень хороший человек,— мягко продолжала Хабла, сделав вид, что не заметила этого.

— Тогда где он?

— Он на войне.

— Если война придет сюда, то и он придет вместе с ней?— оживился Крым.

Хабла не ответила.

— Пойдем, я посажу тебя на коня,— сказала она чуть погодя.

Крым пошел вслед за Хаблой. В тени конюшни стоял гнедой жеребец. Он был спокоен, но увидев Хаблу, оживился, прикоснулся к ее ладони бархатными губами в поисках какого-нибудь лакомства.

— Подойди ближе,— сказала Хабла.

О необузданном нраве этого жеребца Крым был слышан, и поэтому держался от него на расстоянии.

— Он никого не подпускает к себе, скинет и меня,— сказал Крым, глядя себе под ноги.

— Крым, маленький мой, лошади отца бояться нельзя; подойди, погладь ее.

Крым вцепился одной рукой в юбку Хаблы, другой нерешительно прикоснулся к гриве жеребца. Жеребец не шелохнулся: что это за человек, почему я не видел его раньше, подумал он, дружелюбно и с любопытством оглядев Крыма. Хабла от счастья, охватившего ее вдруг, стояла, не в силах вымолвить слова. Она смотрела на мальчика, вцепившегося в ее платье, — сколько дней и бессонных ночей провела она в стремлении добиться этого! Как она страдала, как желала, чтобы этот мальчик перестал избегать ее. Нет, она уже давно перестала надеяться, что мальчик будет относиться к ней, как к матери, но то, что он так увлечен конем отца и так держится за нее, значило очень много.

«И с каких это пор я стала Хаблой? С дурной подачи Айшат и ей подобных? Никакая я не Хабла,— с чувством подумала она,— я Халимат, Халимат!..» Доверие Крыма произвело на бедную женщину сильное впечатление.

— Ты видишь? Конь твоего отца узнает тебя. Ну-ка, попробуй взобраться...— Хабла приподняла Крыма и посадила на спину гнедого жеребца.

Крым лодыжками и всем телом почувствовал волнующую теплоту, исходящую от могучей спины жеребца. Его охватил такой восторг, как если бы он поднялся выше горных вершин, серебрящихся на солнце и так волнующих его по утрам.

— Вот, теперь ты взрослый мужчина, — сказала Хабла.

— А что, поднявшийся на спину лошади отца сразу становится взрослым? — спросил Крым, которому очень хотелось поверить, что он действительно вырос.

— Конечно. Человек, не сидевший верхом на коне отца, не может стать взрослым.

— Я слишком маленький, а маленькие не могут взобраться на отцовского коня без посторонней помощи, — сказал Крым, погрузнев немного.

— Чтоб такой парень, как ты, и не смог взобраться на коня? Ты можешь подвести его к камню или к чему-нибудь еще и так залезть. Мало ли чем можно воспользоваться? — Хабла сняла его обратно. — Попробуй теперь сам, я посмотрю, — сказала она.

Мальчик, как было сказано, подвел коня к плетеной кормушке и легко взобрался на него.

— Видишь, как быстро ты умеешь учиться, — сказала Хабла.

Крым безудержно рассмеялся, так он был счастлив.

С этого дня Крым постоянно бывал возле жеребца, гладил его, разговаривал с ним и взлезал ему на спину. Жеребец ничего не имел против, стоял спокойно. В эти дни ему впервые довелось выйти на дорогу с этим крошечным человечком на спине. Он не раскаивался, что приучил мальчика к себе, и не капризничал. Чего там: немощный мальчик не тяжелее мухи, захочет, одним движением сбросит его так, что не соберут потом. Еле держится. Однако вел себя с ним очень осторожно, боясь уронить, при ходьбе едва шевелил боками. Человечек был ему весьма приятен, в том числе и его руки, с торжеством и страхом вцепившиеся в гриву, и вообще весь он пах травой и хлебом, как и та женщина, которая расчесывала ему гриву. Жеребец не забыл, что привела и впервые посадила ему на спину этого человечка именно та женщина. Значит, человечек имеет к ней какое-то отношение. Возможно, он и есть ее жеребенок. Или даже — жеребенок ее и его бывшего хозяина. Обоих.

Женщину, чьи руки пахли свежей травой и хлебом, он помнил еще с тех пор, когда был совсем маленьким и не чувствовал ног. Уже потом, когда стал могучим и быстрым, как ветер, при ее появлении он капризничал, резвился, прикидываясь маленьким, чтобы выманить лакомство, которое всегда имелось в ее сладчайших ладонях. Он помнил: когда бы они не возвращались с хозяином домой, она выходила им навстречу. В те времена хозяин называл ее «Хали-

мат», а теперь он слышит, люди говорят ей «Хабла», и вообще с ней происходит что-то странное, что-то непонятное.

Дважды уже зацвела сочная трава на склонах, опьяняя его своим духом, а хозяина все нет. И женщина, тоскуя по нему, ходит печальная. По отношению к нему она еще более внимательна и ласкова, чем раньше. Его тоже тяготит и печалит, когда она утром или вечером, обняв его шею, тихо плачет или, присев в сторонке, грустно смотрит на него. Но что делать — он не может утешить ее. Если бы надо было отвезти ее куда-нибудь, он бы отвез. Он бы с радостью помчал ее хоть на край света. Но она не хочет никуда ехать. Зато привела своего жеребенка и посадила ему на спину. Если бы он не был похож на хозяина, если бы не был их жеребенком, то она не сделала бы этого: она же не глупа, видела, что он никого не подпускает к себе. Нет, мальчик определенно не простой, он напоминает чем-то хозяина, хорошо пахнет и вызывает приятные ощущения. Жеребец чувствовал радость и желание разогнаться во всю мощь, но человек мог упасть, и приходилось терпеть. Не в силах совладать с переполнявшей его энергией, он мотал головой, затем, гордо подняв ее, оглядывал окрестности и пики снежных вершин. К великому своему удивлению, в какой-то момент он услышал звонкий радостный смех мальчика и почувствовал, как тот задрыгал ножками, желая быстрой езды. Конь прибавил ходу. Крым еще сильнее прижался к нему. Почувствовав доверие к седоку, конь пошел рысью. Мальчик вовсе не собирался падать: он намертво прилип к его шкуре, обеими руками вцепившись в гриву. Конь перешел в галоп. Камни, неподвижно лежащие вдоль дороги, как утомившиеся на жаре овцы, понеслись навстречу Крыму с захватывающе дикой скоростью.

Крым был счастлив. Ему хотелось, чтобы его увидели сверстники, мальчишки и девочки аула. Да он и не сомневался в том, что они видят его. И хвастуном показаться он не боялся: он же не гарцевал, у него не было даже уздечки, конь скакал куда хотел. Хабла говорила: все, что он видит вокруг, это его родина, и конь отца, куда бы не завез его, всегда найдет дорогу домой.

Крым было легко и весело. Он не мог да и не хотел подавлять безотчетную радость; с развевающейся на ветру рубахой, он словно прирос к спине коня. Колючие кусты, как куропатки, разлетались в разные стороны, уступая ему дорогу. Березы и красные барбарисы с изумлением смот-

рели ему вслед. Лишь ветер буйствовал вместе с ним, неся с собою запах диких яблок.

Крым снова с презрением подумал о сверстниках. Что они знают в этой жизни кроме того, чтобы торчать без толку на улице, да играть под обрывом. Самое большее, что им доступно, это поход с родителями до мельницы и обратно. Для этих детишек, величиною с мизинец, и того достаточно... Однако сейчас же он почувствовал что-то вроде угрызений совести. Крым и сам, прицепившись к Айшат, не раз хаживал на эту самую мельницу. Он вспомнил, какими изнурительными, на самом деле, бывали эти походы. От нечего делать он кидал камни, пытаясь попасть в воробьев, засевших в кустарниках шиповника, ловил по обочинам дороги зазевавшихся бабочек, но дорога все не кончалась. Крыму стало по-настоящему стыдно. Чем же он, маленький лжец, кичится перед своими товарищами, чем?

Почувствовав нервные движения седока, жеребец остановился. Оглядывая деревья и камни вокруг себя, Крым не мог понять, что же его волнует во всем этом. Или права была Хабла, когда говорила, что на родной земле, даже когда обманут люди, деревья и камни всегда остаются верны тебе.

Он уже не в первый раз убеждался в том, что эта убогая, сошедшая с ума женщина никогда не говорит неправды. Он снова оглядел притаившиеся камни и деревья. В том, что они видят и понимают его, у него больше не оставалось ни малейшего сомнения. Эти камни, барбарис и березы были подобны сходу односельчан, которые пришли сюда, чтобы пристыдить его. Крым весь съежился от их взоров и не знал, куда спрятать свои бесстыжие глазки.

Выбрав камень побольше, он подъехал к нему и внимательно осмотрел его. Облик камня так живо напоминал лицо столетнего старца, что у Крыма от изумления перехватило дыхание. Голова старика торчала из-под земли. Накрепко зажмурившись и плотно сжав поросшие мхом губы, старик задремал, — видимо, устал с дороги. Мальчик окинул взглядом и остальные камни: люди всех возрастов, одни сидя, другие полулежа, накрывшись дряхлыми овчинками, внимательно наблюдали за ним. «А может, у каждого человека среди камней есть двойник, — подумалось Крыму. — Или это души умерших односельчан собираются здесь, у окраины аула, после смерти?» Пытаясь понять, что же все-таки происходит здесь, он слез с коня. Поверхность камня, на который он встал, как и спина лошади, была теплой и

приятно согревала пятки. Где-то вдалеке слышался шелест прозрачного ручья, который никак не нарушал тишины и спокойствия. Было немного страшно, что весь этот звенящий и свистящий в ушах шум ветра так резко оборвался с остановившимся конем. Крым всего лишь крупица, слабый побег на одной из ветвей дерева жизни, так почему же этот могучий мир подчиняется ему. Он встряхнул рукой, тут же под одним из камней жест повторился, он вскрикнул «мама», тишина вдруг очнулась и ответила тем же. На многие вопросы, беспорядочно столпившиеся в голове, Крым не смог найти ответа, но зато почувствовал воодушевление. Оказывается, весь этот бескрайний мир следит за ним и видит все его действия. Теперь, стоя на теплом камне и почесывая затылок, он понял, что и сам имеет какое-то значение в этом огромном и, казалось бы, беспорядочном мире.

Он посмотрел выше и увидел маму, которая, возвращаясь с поля, превратилась в дерево: интересно, она просто устала и отдыхает или ждет его? Ему до слез стало больно, что он до сих пор здесь и не думает идти к ней.

Конь сам выбрал козью тропку по пути к заветному склону. Немного погодя Крым увидел, как дерево заспешило ему навстречу. Уже был виден серп в руке, желтое камковое платье со свободно развевающимися на ветру полами, за одну из которых держался ребенок, на голове которого красным огнем горела круглая бархатная шапочка. На мгновение Крым подумал, что это он сам. Но кто же тогда ехал теперь на отцовском коне? Разве может быть, чтобы один и тот же человек находился бы в двух разных местах? Конечно, нет. Но кто же тогда этот напуганный мальчик? Крым задумался. Или, быть может, это он сам, но только другой, тот, который навсегда остался в поле с мамой? Тут сердце его встрепенулось: он давно не виделся с ней, и она могла не узнать его. И потом, ей, может быть, не до него, этот мальчик, схватившийся за юбку мамы, очень мал и больше нуждался в ней. От зависти к мальчику в красной шапочке у Крыма сдавило горло. У этого мальчика, прижавшегося к его маме, даже не вылиняла ярко-красная шапочка. Там, наверху, среди берез и горного плюща, его, конечно, никто не обижает и даже не ругает. А здесь у Крыма отняли и шапочку, и черкеску. Хабла сказала ему, что он уже взрослый, что он мужчина, но ему сейчас так захотелось оказаться на месте того мальчика! Однако этому не бывать, его далеко-далеко увела с собой мама, а обратно

не возвращается. Глаза у Крыма заволокло слезами, и некоторое время он ничего не видел перед собой. Ему трудно было прогнать прочь думы, мучившие сердце, но когда он снова увидел на косогоре мать, тепло улыбнулся. Ничего, она не сможет не признать сына, подъехавшего на коне отца. Она оценит и обрадуется мужеству сына, и потом, им о многом надо поговорить, многое выяснить, Крыму не следует отвлекаться сейчас ненужными мыслями.

— Как ты смог забраться на лошадь отца, и не страшно тебе?— спросит мама.

— Разве ты не видишь, что я уже взрослый, или просто не узнаешь собственного сына?— скажет ей Крым.

— Вижу и узнаю, дитя мое, но я боюсь, бывают люди злее необузданного жеребца, они не желают видеть тебя сидящим верхом на коне отца,— скажет мама.

— Если сын будет настоящим джигитом, кто его свалит с отцовского коня,— скажет Крым.

— Да, ты возмужал,— скажет мама.

— Почему ты до сих пор не приходила ко мне?— скажет Крым.

— Я ждала, когда ты сможешь сесть на коня,— скажет мама.

— А что, если сын не сядет верхом на отцовского коня, мать непременно обижается?— снова спросит Крым.

— Мальчики, которые боятся лошади отца, становятся ленивыми, малодушными и несчастными,— скажет она.

— Но теперь мы не будем расставаться, ты же ведь не оставишь меня больше одного?— скажет Крым.

— Нет, душа моя!— и она обнимет его.

Много хотел еще спросить и сказать Крым в предстоящем разговоре с матерью, но вдруг послышался глухой шум. Жеребец под ним остановился, как вкопанный, и насторожил уши. Шум нарастал и перерос в угрожающий рокот. Крым резко повернулся и стал вглядываться в глубь ущелья. Тотчас же от вершины ближайшей горы отделились две тени. Когда Крым разглядел их, ему показалось, что это летит пара гигантских серых жуков. Они стремительно приближались, исчезли за откосом следующей горы, и в следующую минуту их устрашающий рокот раздавался уже над селом. Крым ничего не успел понять, он не знал, что думать, когда раздался ужасающий взрыв. Потом еще один. В следующее мгновение в небе потухло солнце, и ущелье погрузилось во мрак. Война ли это, «герман» ли правитель, Крым не стал размышлять,— в первую очередь

он обернулся и взглядом стал выискивать свою мать. Но ничего не было видно. Исчез и мальчик в красной шапочке. Гром ли сокрушил их или они пропали в создавшемся мраке, понять теперь было невозможно. Ни одной женщины из возвращавшихся с поля вместе с его матерью больше не было видно. И ничего не было видно. Надо было быстрее доехать туда и найти их. Надо было помочь матери. Но жеребец не подчинялся Крыму: весь дрожа и вздрагивая, он повернул обратно. Он лучше знал, куда теперь ехать.

Кто-то снова помешал Крыму встретиться с матерью.

* * *

Крым был удивлен, когда, проснувшись, не обнаружил Айшат. Обычно по утрам она будила его с невообразимым шумом. Он не стал подниматься и напяливать свои штанишки. Вместо этого он, зевая, наблюдал за пылью, играющей в утренних лучах солнца, которые проникали через окна и щели в дверях. Все казалось грустным в этой комнате: и широкий очаг, и цепь, и черный казанок, повисший на ней. Обычно по утрам этот очаг заполнял теплом всю комнату, теперь же от него тянуло сыроватым холодом, и Крыму тем более не хотелось вставать.

Но лежать и прислушиваться к тишине тоже не пришлось. Дело в том, что Крым побаивался находиться здесь долго. Дом Айшат был похож на склеп. Лицевая стена его выкладывалась из камней, но из чего была выложена задняя, Крым даже не знал. Там было всегда темно, и он никогда не интересовался той частью комнаты. Возможно, там водятся джинны, шайтаны или домовые; да Айшат и сама, как шайтан, тихо, без единого звука появляющаяся из темноты, не раз заставляла вздрогнуть его. Совсем недавно, Крым, полагая, что никто не видит, потянулся к сковороде с халвой, но невесть откуда появившаяся Айшат тут же одарила его звонким подзатыльником. В другой раз, проснувшись раньше обычного, он обнаружил, что Айшат нигде не видно и не слышно. Ничуть не огорчившись, он резко вскочил на ноги, схватил свой тряпичный кнутик и с шумом и свистом стал раскручивать хайнух *. Вдруг снова, как всегда неожиданно, в тайной глубине комнаты показалось слабое мерцание керосиновой лампы. Он был обескуражен настолько, что застыл на месте, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить слова.

* Х а й н у х - волчок из бычьего рога.

— Ну что уставился, глаза уронишь! — заорала Айшат из темноты. Она не любила, когда кто-нибудь видел ее копающейся в сундуке, хотя Крым и не думал следить за ней.

Вот и сегодня он решил не испытывать судьбу; он быстро оделся и, с трудом отворив тяжелую дубовую дверь, выбрался наружу. Погода была ясная, солнечная. Как всегда, первым делом он взглянул на свой любимый склон, но не увидел там ни дерева, ни женщин, — их напугал «герман», и они ушли обратно за гору.

В дальнем углу двора он заметил Айшат, разговаривающую с каким-то мужчиной. «Подойди сюда», — крикнула она, махнув рукой.

Подойдя ближе, Крым узнал этого мужчину, им оказался Хаким. Но с винтовкой и белой повязкой на руке Крым видел его впервые.

— Сам-то ты не сомневаешься, Хаким, а не получится ли, что они исчезнут отсюда так же поспешно, как и появились? — спрашивала его Айшат, когда Крым приблизился к ним.

Хаким молчал. Заходя в ущелье, никто из немцев не спрашивал у него разрешения, не спросят они его и теперь, если вдруг вздумают уйти отсюда, — хотелось ему ответить, но его никто не торопил и за язык не тянул, поэтому отвечал он пространно и не спеша.

— Сама посуди, сестрица, они привезли с собой священные книги, каждой семье дали по Корану...

Вообще-то рыжебородый Хаким искал Крыма и теперь с укоризной оглядел его. «И этот козленок заставляет ждать себя», — с непонятной обидой подумал он.

— Зачем ты поднял копыто на власть, которая чуть ли не собственным языком слизывала грязь с твоих глаз, — продолжала Айшат, — о чем ты думал, когда цеплял эту повязку? — Айшат ненавидела Хакима. Длинноногий Хаким — безродный и нищий — был баловнем новой власти со дня ее первого появления в ауле.

В одно время Хаким был председателем колхоза. По отношению к семье Айшат он был особенно зол. Он оклеветал их несчастного отца, не оставлял в покое и детей. В организации расправ над односельчанами он был самым настойчивым. Айшат теперь с горечью и жалостью вспоминала даже о Халимат. Не помогало и то, что муж ее был коммунистом. Живот беременной доставал ей чуть не до кончика носа, когда Хаким кнутом гнал ее на ячменное поле. От имени советской власти такие, как Хаким, причи-

няли зло каждому, кто умел работать и прилично одеть-обуть своих детей. А теперь... «Эх, бедная моя сестра, — причитала про себя Айшат, — сколько бед снесла она от этого недоумка».

Долгое молчание и презрительные усмешки Айшат показали Хакиму подозрительными. Лицо его стало непроницаемым, как камень. Он откровенно боялся этой женщины, которую не заносило ни влево, ни вправо, и никакая власть не являлась для нее окончательным авторитетом. Приставив винтовку к стволу дерева, он начал скручивать себе сигарку, но руки дрожали, табак просыпался на землю.

— Тебя, сестрица, не поймешь, один день ты зубаста, словно серп, другой — остра, как коса; и вот что я тебе скажу: не тебе меня отчитывать здесь, — проговорил он, пытаясь казаться опасным.

— Я стою на своей земле незыблемо, как камень, — отвечала Айшат, неожиданно тепло прижав к себе Крыма. — А ты, чьим делом было следить за чистотой одежды красных комиссаров, превратил нынче свою несчастную голову в подстилку для ног этих пришельцев.

— Сестра моя, говорят, тот, кто хочет жить, должен приспособливаться: те головы, которые не склонились, советская власть просто оторвала. Эти новички поднять головы тоже не позволят. Так что же прикажешь делать? В какую щель забиться?

— Власть была далеко, очень далеко, в недоступной «Красной Москве». А здесь достойных людей уничтожала не она, но такие подонки, как ты.

— Что я слышу? Ты с уважением говоришь о прошлой власти? Но в трудный для нее час ты спрятала своих сыновей подальше. Что же ты не заступилась за нее? — проговорил Хаким со злорадной улыбкой.

— Я сказала: здесь властью были такие, как ты. Если бы я отправила своих сыновей погибать за нее, кто бы поблагодарил меня? Не ты ли? Топор, которым выстраивают дом, остается на улице, — вот в чем дело, Хаким.

Айшат замолчала. «Надо же, — думала она с возмущением, — доверить таким, как этот, власть над людьми, и с первого же дня. Конечно же, «эти» выбрали самых породистых и уважаемых в обществе людей и снесли им головы. Теперь приходят «германы», и на тебе: предоставь дураку выбрать хлеб, он выберет тесто. Власть снова у «этих». Да, далеко пойдет такая власть... Что та, что эта. Очень далеко.

Я своим крестьянским умом никогда не пойму, с какой целью они так усердно пробивают друг другу головы, никогда».

— Хорошо, пусть так, — сказал Хаким голосом человека, увидевшим Айшат ворующей, — но скажи одну вещь: от тех, красных, ты своих сыновей избавила, но почему ты прячешь их и от этих?

— А что такое «эти»? — Айшат изобразила рукой жест, словно смахивая с одежды соринку.

— То есть как это, сестрица? — насторожился Хаким.

Поняв свою оплошность, Айшат примолкла.

— Аллах всемогущ и един, но посланников на земле у него множество, — продолжала, помедлив, Айшат. — Пророк Мухаммед был одним из лучших его посланников, но даже ему изменили многие.

Оба спорщика замолчали. «Ничего хорошего ждать от какой бы то ни было власти мне не приходится, — размышляла Айшат. — С языка мужа эта власть не сходила, и где же он теперь? Он сгинул, от него больше никто никогда ничего не услышит. А теперь я обязана бросить в это же пекло своих сыновей. Ради чего? Ради кого? Каждый недомок от лица этой власти немедленно превращается в Мункира и Нукира. Они умеют только две вещи: требовать и расстреливать. Пришли теперь «германы» — туда же: Мункиром стал Хаким. — Она с ненавистью посмотрела ему в глаза: ни детей, ничего святого, всю жизнь прожил, прогибаясь, как ивовая ветвь. Что ж, проживет и дальше, что с таким станет...»

— Тому, у кого нет детей, легко впадать в крайности.

— Ну это ты зря, — обиделся Хаким, — разве тому, у кого нет детей, и жить не хочется?! — Он еще раз оглядел Крыма.

— Да и что я здесь болтаю с тобой, пустое это все. Опаздываю я. Мне нужен этот малыш, я уже говорил тебе, — и он дулом винтовки показал на Крыма.

— Братишка, ты же у меня хороший мальчик, — начал он с очевидной неприязнью, — накинешь уздечку на отцовского коня и приведешь его прямо ко мне, ясно?

Они уже шли по дороге, и Крым приостановился, засомневавшись. Его детский ум еще не мог определить явного подвоха, но слова человека с винтовкой ему не понравились.

— Теперь ты тоже стал «германом»? — неожиданно спросил Крым, косясь на его руку с повязкой.

Не зная, что ответить, Хаким рванул мальчика за рукав:
— Шевелись, ты!..

Промелькнуло желание прибить шайтаненка прикладом, но мальчишка ему еще нужен.

Когда разбирали колхозное имущество, Хакиму достались две невзрачные телки да одна кляча. Клячу ввести в свой двор он погнушался, ведь он давно присмотрел себе прекрасного гнедого жеребца. Да вот беда: поймать его не удавалось. Не зная, что придумать, все выжидал: говорят, терпеливому грудинка достанется. Но обстоятельства складывались так, что, похоже, Хакиму не то что грудинка, даже щетинка не достанется, — на его беду «апицир», командир этих сволочей, увидел, как тщетно он пытается поймать коня, и это очень развеселило его. Можно сказать, опозорился. Правда, если бы сильно постараться, можно было загнать опасного коня в угол, но офицер не позволил. Побоялись, что сиганет через плетень.

— Понял, что говорю я? Уздечку на него мы и сами можем накинуть, но апицир хочет, чтобы это сделал ты, честь оказывает, — сказал Хаким, надеясь воодушевить мальчика.

Крым впервые услышал слово «апицир», — оно ни о чем не говорило ему, и потому молча топал дальше. «Кто же это такой?» — думал он про себя, почесывая затылок.

— Апицир что, мой родственник? — спросил наконец мальчик.

Самое лучшее было бы ответить этому глупому ребенку «да»; дитя-дитем, поди догадайся, что у него на уме. В глубине души Хакиму подумалось, что офицер вдруг предпочел бы ему Kryма. Но даже шальная мысль об этом вызвала в нем зависть и раздражение.

— Захотел чего, можно подумать, ты отпрыск знатного рода!

— Если он не родственник мне, тогда он «герман», да? — произнес Крым.

— «Герман» он, да, «герман».

— Ну вот, я же говорил, ты тоже стал «германом». — Мальчик уперся обеими ногами и стал вырываться.

Хаким сжал его маленькую кисть сильнее и повлек дальше.

Так они дошли до длинного дома со множеством арочных окон, который назывался «правлен». Двор у правления был переполнен немецкими солдатами, словно пруд, затянувшийся тиной. Стояли там и две легковые машины, каких Крым никогда не видел даже у комиссаров, но Ха-

ким не позволил ему осмотреть их как следует и, грубо дергая за руку, увел его дальше.

* * *

Солнце, приближаясь к закату, позолотило прекрасную гриву гнедого. Побегав по кругу, он остановился в недоумении посреди загона. Земля под ним блестела, отшлифованная копытами многих животных. Не было случая, чтобы его до сих пор не выпускали. Ему хотелось наружу. Недовольный, он еще раз побегал по кругу, остановился у двери и принюхался, чтобы понять, чего еще они там затеяли. Но пахнувшие железом люди открывать дверь не собирались.

Наконец, поняв, что ничего хорошего от них ждать не приходится, попробовал грудью плетень на прочность. Плетень недовольно заскрипел. Зачем идти напролом, если можно перепрыгнуть. С той стороны, словно истукан, стояла Хабла. То ли боясь обидеть женщину, то ли ища помощи, он пошел и остановился перед нею. Навострив маленькие, острые уши, он некоторое время смотрел на нее; потом, вздохнув, опустил голову. Женщина с той стороны тоже тяжело вздохнула: «Будь моя воля, разве бы ты находился здесь, несчастное мое создание».

Люди кучками сновали у загона, — подростки, женщины и старики. Сильных мужчин в ауле не осталось, — одни были на фронте, другие в лесу, — кто партизанил, кто бандитствовал. Многие были свидетелями тому, как вчера пытались поймать жеребца; другие, зная события со слов сельчан, непрестанно судачили об этом, открывая новые подробности, и, конечно, жалели его. Бедняга, не привыкший оставаться вдали от людей и своего жилища, далеко уйти не мог. Остеречься от надвигающейся беды подчас не могут даже люди, не то что животные.

Видели, как усталый конь с сумерками вернулся в свою конюшню, как выскочивший из засады Хаким защелкнул за ним дверь и задвинул засов: «Посмотрим, сможешь ли ты теперь снова бежать от нас!»

В ауле не было человека, который не знал бы иноходь этого жеребца, равно как и то, что, кроме хозяина, подойти к нему близко никто не смел. Многие не скрывали своего восхищения суровым характером жеребца. Иные считали хозяина, владеющего волей коня, хвастуном и выскочкой и утешались тем, что в зависти своей открыто хвалили коня, как бы не замечая всадника. «Посмотрите на него, ведь это

крокодил, а не домашняя скотина! Да что удивительного в том, что он подчиняется только хозяину! Да такую скотину в лес гнать, да и только!» – возмущались они на стороне. Однако просили на день, на вечер поехать по срочному делу, на свадьбу, а то и просто прокатиться по улицам аула. Чем они были хуже Коркмаза, они и необъезженных жеребцов укрощали. Коркмаз зла не помнил, собственноручно седлал коня и давал, но за пределы двора так никто и не выехал.

Многие с ненавистью, а иногда и со злым умыслом высматривали коня. Не то что мужчины, но даже и женщины вынашивали обиды, словно терпя несправедливость со стороны близкого родственника. Нелегко было слышать в миру, мол, муж твой или сын упал с коня Коркмаза. Проклятая змея, не терпит на своей спине людей, которых видит ежедневно, да сокрушится твой хребет!

Аул был взбудоражен. Должен был состояться акт возмездия, ибо вчера жеребец Коркмаза свалил германца и сбежал. Говорилось и преувеличивалось все подряд, что слышали, что не слышали и слышать не могли. Споры переходили в перепалку: и шею он свернул «герману», и позвоночник сломал, да нет, шея свернута у тебя, а «герман» сломал руку и прочее... Одно объединяло сельчан: конь Коркмаза являлся гордым, благородным животным, лица аула перед пришельцами не опозорил, не опозорит и сегодня, и в этом нет никакого сомнения.

Не заболит ли у «германов» пузо ездить на коне, которого аульчане холили и лелеяли собственными руками с самого рождения, подносили лучший хлеб, относились к нему, как к ханскому дитяти, лучшие джигиты отказывали себе в том, чтобы сесть на него, дабы не мучить его, не помять волосинки на его лоснящейся спине, и если он посадит себе на спину, не дай Аллах, кого-нибудь из этих рыжиков, они не позволят... Не бывать этому...

Итак, было решено, что «герману» жеребец не подчинится ни под каким предлогом. Не для этого они его вырастили и научили быть таким непокорным. И нечего спорить, с этим не шутят, ибо конь, принадлежащий аулу, имеет норы такой же, как и сам аул и его жители.

– Но тогда почему другие лошади в ауле не похожи на него, – возникла в толпе Даум.

В создавшейся тишине все усталились на нее. От такой глупости и бестактности сельчане на некоторое время утратили дар речи.

— Ты говоришь так, словно ездила на них верхом, — начала одна из женщин, — по-твоему, выходит, наши мужья уехали воевать верхом на клячах?!

И она с презрением бросила взгляд в сторону Болат, стоявшего неподалеку с двумя стариками. Это был супруг Даум, который, преувеличив возраст, отстал от призыва и пребывал здесь со стариками и бабами, в то время, как большая часть мужчин аула была призвана в 15-ю конную дивизию. Болат и так был унижен, сносил немало насмешек и колкостей, и теперь, когда разговор завело от лошадей к мужчинам, снова надлежало приготовиться к худшему. Женщины с ненавистью подо двинулись к Даум. Даум поняла, что потчует не тех гостей, и так как отменно скандалить не умела, пошла на попятную:

— Я имею в виду, что этот жеребец слишком зол и отвратительно необуздан, а что касается ваших мужей, я ничего не имела...

Но и эти слова не понравились женщинам.

— Почему конь Коркмаза должен быть зол и необуздан? — строго спросила Фаризат.

— Нельзя так говорить о гордом животном, — слышался еще один голос.

— Ты хочешь сказать, что лошади наших мужей не поступили бы так же?

— А как же... Именно это она и хочет сказать...

— Нет, все же равных лошади Коркмаза нет, — тихим голосом сказала одна из женщин.

— Почему это?..

Неизвестно, сколько бы продолжалась перепалка, если бы кто-то из стариков не положил этому конец, и все взоры снова обратились на жеребца.

— Шутка ли, родословная коня Коркмаза насчитывает триста лет, — проговорила женщина, считавшая, что коня, равного коню Коркмаза, нет.

Многих эти слова удивили, но выразить тотчас своего удивления и конфуза никто не решился. Если бы сказавшая это не была человеком порядочным и уважаемым, многие были бы готовы ответить грубостью. Кроме того, кричать в ответ и не соглашаться, не выяснив для себя смысла и сути речи окончательно, тоже неприлично. Почувяв, что сейчас главное — терпение, что горячиться никак нельзя, женщины промолчали.

Поднявшийся в зенит диск солнца спугнул тень, спрятавшуюся за сараем, что немедленно повергло в беспокойство желтую кобылицу, которая сразу же начала вертеть головою, выискивая уютный уголок, но не найдя его, побрела к речке. За нею лениво, с опущенной головой, слегка подергивая куцым хвостиком, поплелся неловкий красный жеребенок.

Вид кобылы с жеребчиком навевал невеселые воспоминания. Точно также, путаясь в собственных ногах, когда-то спускался к речке и гнедой жеребец Коргмаза. В том возрасте он был очень слабым и умильным. Облезлый, жалкий, словно в собственную конюшню заходил он во дворы соседей, кормился с ладони хлебом и кукурузой, а если не подавали, знал, как вытрясти зерно из плетеного амбара. Странные у него были повадки. В то время, как мать его находилась в конюшне, он выходил на улицу и слонялся, прицепившись то к телятам, то к собакам, то еще к какой-нибудь домашней скотине, и сельчане помнили об этом, ласкали, называли не иначе как «бродяга». Позже, когда тихий жеребенок с тростниковыми ногами превратился в могучего гнедого скакуна, слух о его диком нраве и непокорности разнесся по всем аулам ущелья. Аульчане невзлюбили его за то, что их любимец, кормившийся с их рук, стал вдруг независим. Но сегодня они простили ему все свои обиды.

— Да, триста лет будет, — сказала Фаризат. — Время летит.

— Ты права, с тех пор, как основатель рода Амаевых Самат заложил здесь фундамент своего дома, прошло больше трехсот лет, — подала голос вторая женщина, почесывая подбородок указательным пальцем. — С тех пор родовая линия жеребца не обрывалась. Семь последних колен этой породы могу назвать даже я.

Люди снова замолкли и уставились на гнедого, который в эту минуту тянулся через плетень к ладоням Хаблы. Картина была впечатляющей, сейчас она с новой силой оживила давно витающее в воздухе подозрение, заставив приоткрыть даже самых говорливых тетушек.

Мало ли какое подозрение может возникнуть в сердце. Но когда Хабла, лаская коня за гриву, произнесла слова «Алакёз, бедный мой, горемычный», у многих перехватило дыхание. По застывшему лицу Болата, который подошел теперь к женщинам, пробежал нервный тик.

— Чего застыли?— сказал один из стариков. Видимо, он был из тех, кто не слышал слов Хаблы.

Ему никто не ответил. Имя гнедого жеребца Алакёз — разноглазый. Сельчане помнили, так называла его Халимат, потому что у него были разноцветные глаза. Но это было еще тогда, когда он был немощным жеребенком. Позже в отместку за свой неукротимый нрав среди сельчан он получил прозвище «Одноглазый Дракон», но только Халимат неизменно окликала его «Алакёз». Но Халимат погибла! Откуда придурашной Хабле знать это слово! И почему животное тянется к ней? У Болата на лбу проступил пот, в растерянности он стоял без движения, как истукан. Фаризат, соседка его, подошла к Хабле.

— Откуда ты знаешь, что его зовут Алакёз?— спросила она, разомкнув пересохшие губы.

— Я знаю и отца Алакёза — Узунбеля *, и отца Узунбеля — Сарыкулака **, — отвечала Хабла, не пошевелив даже бровью.

У Фаризат задрожали колени. В ауле давно обращали внимание на ее сходство с покойной Халимат, но сейчас она еще раз поразилась этому, пугаясь собственной догадке. Но, может, Хабла просто запомнила то, что говорят люди? Несколько поколений Алакёза знают все, от мала до велика, а стук копыт и шелест великолепной гривы Узунбеля слышатся на этих улицах, кажется, и по сей день.

Услышав двоих, пахнувших железом и вчерашнего долговязого, пытавшегося взнуздать его, Алакёз насторожился, прижал уши и поднял голову. Те, не спуская глаз, замедлили шаг. Опасность исходила от долговязого, — в его руке удечка, но атаковать Алакёз приготовился всех троих.

Гнедой привык справляться с желающими накинуть ему на шею аркан. Он помнил немало алчных глаз, выслеживающих его из-за углов домов и из-за камней ущелья. Но людей, пахнувших железом, он не встречал никогда. Его не раз пытались оседлать люди, пахнувшие сеном, пшеницей, бузой, пивом, но люди, пахнувшие железом, — никогда. Они наводили на него ужас, заставляя дрожать колени; в них было что-то безнадежно губительное, сравнимое лишь с хладнокровным движением волчьей стаи, которая приближается, не касаясь земли. Алакёз знал, что такое волки, нападающие с низко опущенными головами.

* Узунбель — Длинная спина.

** Сарыкулак — Желтоухий.

В те дни был еще жив Узунбель. Алакёз — краса и гордость табуна — сознавал свою силу и превосходство, но не спешил выдвигаться, искать столкновения за главенство в табуне. Избрав себе несколько молодых кобылиц, он красовался перед ними и тем был доволен. Узунбель, в свою очередь, тоже не пытался подавить его волю, но отделяться от табуна не позволял. Как-то раз, собрав своих избранниц, Алакёз покинул табун и, после недолгого пробега, остановился на прекрасной поляне, цветущая трава которой доставала до крупа. Там не было запаха и следов чужих копыт, — поляна пахла свежестью и молодостью. Он пробежал пару кругов, предупреждая своих подопечных; он остается в этом чудном месте и своего не уступит никому.

Алакёз высоко поднял голову, распрямил грудь и с гордостью оглядел небольшой, но свой табун, — хотелось быть похожим на Узунбеля. Так начиналась его независимая жизнь, но вкусить счастье первенства он не успел: знакомый стук копыт заставил вздрогнуть его, ошибки быть не могло — потрясая тяжелой гривой, Узунбель пронесся, подобный ветру, по всему полю, не замедляя хода. Кобылицы тотчас потекли к табуну. Алакёз медлил, хотя у него хватило бы сил вступить в бой. Но этого не произошло, уж слишком привык уважать он золотую гриву Узунбеля. словно несмышленища погнал Узунбель Алакёза вместе с его кобылицами обратно, и, сделав два круга вокруг табуна, как всегда, остановился на видном месте. Стройный, играя на ветру струнами гривы и хвоста, Узунбель с возвышенности обозревал окрестности. Он был очень красив и Алакёз скрыто восхищался им из глубины табуна. Он никогда не видел, чтобы Узунбель пасся, опустив голову, вместе со всеми; когда опускались к реке, он не прикасался к воде, прежде чем не утолит жажду весь табун. Он находился везде и нигде, а если задерживался, то не дольше ветра на поверхности камня.

Алакёз стал вожаком неожиданно. В один из пасмурных дней, переправившись через реку, пришли трое людей и увели Узунбеля. Они увели и человека, который был с табуном, — это был Салах, отец Коркмаза, как и Узунбель был отцом Алакёза. Алакёз не спешил предстать перед табуном. Некоторое время он ждал, затихнув, не нравились ему эти люди — пришельцы, вид уходящего Узунбеля был печальным и безысходным.

Семь дней ждал Алакёз, но Узунбель не вернулся и не встретился ему ни у подножий, ни на дорогах.

Вместо Салаха прислали Чиппо, маленького кривоногого человека, который не ласкал и ничего не говорил им, а только спал целыми днями, прижавшись к земле с подветренной стороны холмов; табун стал разбредаться, и Алакёз понял, что Узунбель больше не вернется.

В этот день холодный порывистый ветер обледенял морось на стеблях типчака. Чиппо нигде не было видно. Обойдя с табуном ближние и дальние выпасы, гнедой выбрал наиболее подходящее место для стоянки и осмотрелся. Он был обеспокоен: злой порыв ветра, задержав на мгновение, пронес запах волка. Сомнение, неуловимость этого духа удручала еще больше. Он носился из одного края табуна к другому, боясь за молодняк и кобылиц, но с какой стороны исходит опасность, не обнаруживал, хотя чувствовал, что этот дух, словно плетью обжигая ноздри, витал в воздухе, путался в пересохшей траве, перебил запах села, спускавшийся с ближних вершин. Алакёз затрепетал: у него, уверенного в себе до этого дня, задрожали задние ноги. Самое лучшее, что можно было сделать, это затеряться в своем табуне. Не спрятался; приподняв хвост, побежал искать встречи с врагом, — главное, избежать внезапной атаки.

Волков не было видно. Остановившись, спокойно, не суетясь, он осмотрелся. Снова учуяв волчий дух, он внимательно стал всматриваться в сторону серого валуна, и через некоторое время заметил едва уловимое движение. И увидел ее, широкую голову с парой наостренных ушей. Глаза волка были спокойны и уверенны. Они притягивали к себе, уничтожали, лишали воли. Внутри существа с такими глазами не могло быть никакого тепла, хотя оно было живым и имело запах. В ту же минуту из-за валуна вышли еще три волка: двое юркнули влево, третий поднялся и устроился чуть выше наблюдающего за Алакёзом. Двое были матерыми, остальные — молодняк; тот, что наблюдал за ним, казался особенно жутким. Замысел волков был ясен, Алакёз сорвался и наискось, минуя валуны и заросли, помчался к открытому полю. С волками он встретился впервые, но интуиция подсказывала, в теснине ему надеяться не на что, если он победит, то победит на ровном открытом пространстве. Волки тотчас бросились за ним, — двое заходили слева, третий — наперерез. Четвертый стал обходить справа, чтобы он не вырвался из круга. У гнедого вдруг прошел страх, он вводил волков все дальше и дальше от табуна, чтобы бой не произошел перед глазами подопечных. Первым начал приближаться с ним матерый, гнедой боковым зрением ви-

дел его. Это был глава семьи, его шерсть отливала густой синевой. Это был видный зверь и охотник, он знал, что делает. Несмотря на то, что пах его заметно потяжелел и бег казался не столь энергичным, бесстрашие и зубы оставались при нем и еще ни разу не оставили его голодным. Кроме того, он был опытен и расчетлив и прекрасно понимал, что схватить за глотку несущегося, как буря, жеребца невозможно. Он взвесил все, его целью было остановить жеребца, сбить темп, как он это делал со многими другими жертвами, а там подоспеют остальные, растерявшийся жеребец от их зубов не спасется. Любое промедление для него окажется роковым. Но гнедой не отпрянул и дороги не уступил. Словно глыба, сорвавшаяся со скалы, он неотвратно летел прямо на волка, под его копытами сотрясалась земля, было ясно, — его не остановить. Не ожидавший такой отваги со стороны травоядного, серый охотник, привыкший подавлять и убивать, дрогнул, обернулся, ища товарищей и поддержки. Но было поздно — слишком стремительно к нему приближалась смерть. Ее тень уже закрыла от него пространство. Уходить влево или вправо было поздно, и, подчиняясь инстинкту, он побежал. Перед глазами гнедого голова, спина и хвост превратились в серый комок, скользящий перед ним по обледеневшей траве. Несколько мгновений он гнал его, пытаясь разобраться, где голова и шея волка и нанести удар. Почувствовав, что ему пришел конец, волк заскулил, словно щенок. Удар обеими передними копытами пришелся по хребту. Резко оборвался жалобный вой, и тело, мягкое, как клубок шерсти, осталось позади. Не замедляя галопа, гнедой пшел по кругу, но, не рассчитав расстояния, взял слишком круто, уже слишком близко подоспели трое волков. Теперь они шли вровень с ним по обе стороны, метя в круп и глотку, отчетливо слышалось их хриплое дыхание. Один из них — совсем еще подросток, — вырвавшись немного вперед, бросился, но промахнулся, и гнедой почувствовал под копытами что-то мягкое. Почти одновременно на спину прыгнул второй, но, не сумев зацепиться зубами, соскользнул наземь. Когда Алакёз пошел на следующий круг, он увидел, что один волк полз, влача раздавленное брюхо, двое других, отойдя в сторону, остановились. Алакёз, успокоившись немного, тоже остановился. У него тут же прошла горячка боя, и если бы волки повернулись и потрусил к себе в заросли, он ничего не имел бы против. Он считал, что победил, а побежденные должны уйти, — таков закон природы. Но что делать, волки не мог-

ли поверить в случившееся, особенно волчица. Ее волк, раздавленный, лежал на траве, перемешанной с собственными внутренностями, другой, с перебитым позвоночником, скулил неподалеку, — она не могла смириться с этим. Ей больше незачем было жить и охотиться, ей нужно было перегрызть глотку жеребцу, увидеть его кровь и насытиться ею. Месть — это все, что у нее осталось. Эти копыта, раздавившие ее сынка, должны гнить под дождем. И надо еще вырезать весь табун, весь, без остатка, — мясо ей не нужно, пусть пируют прожорливые шакалы и лисы, ей нужно видеть брызжущую из глоток кровь, чтобы ее запахом пропиталась вся трава, чтобы все эти места дышали запахом крови.

Вздрагивая и дрожа всем телом, волчица вдруг резко повернулась и ударила клыком однолетку, прижавшегося к ней. Но ему не хотелось умирать или мучиться, оставшись здесь с перебитым позвоночником. Со дня рождения он лишь раз видел, как тает снег. Он прожил совсем немного, и ему хотелось любоваться бездонным небом, пить воду из чистой шумной реки и кувыраться в зеленой траве. Насытившись зайцем или сусликом, за которыми так нетрудно охотиться, греться на солнце под большим камнем. Всю жизнь бы не подходил к крупной добыче. Слишком много крови выходит из нее. Он не раз видел своих родителей по уши в крови, когда они задирали корову или лошадь, с запекшейся кровью на спине и брюхе. Не нравились ему эти игры. Он помнил, как огромный, словно гора, бык, которого они убивали, подцепил его рогом и подбросил вверх так, что, ударившись о пень, волк повредил ногу. По сей день эта нога ноет, особенно в дождь и ненастье. Видя, как он мучается, как трудно ему бегать во время охоты, родители все же не давали ему послабления, не жалели.

Он снова бегал вокруг волчицы, скулил, обнюхивая ее морду и хвост, и он лег возле нее, подставляя брюхо. Уйдем отсюда, — говорили его глаза, — уйдем в нашу теплую, сухую пещеру под белой скалой, уйдем сейчас...

Но волчица не хотела ничего слышать, ей было не до него. Он мог пригодиться, чтобы хоть на секунду отвлечь внимание врага, чтобы она успела вгрызться ему в глотку, а там — пусть гибнет, калека ей не нужен. Все, на что он способен, — это ловить сусликов; и если она его до сих пор не загрызла, то загрызет с первым снегом. Так пусть же хоть отвлечет на себя внимание, даже если его участие будет стоить одного удара.

Волчица не в силах совладать с яростью зарычала. Шерсть на ее загривке стояла дыбом. Малодушные и трусость молодого волка еще больше злили волчицу; она полоснула его клыком по горлу: волк, утративший свою суть, должен умереть.

Вид собственной крови быстро привел однолетка в чувство; опьяненный ее запахом, он вскочил на ноги, ища смертельной схватки. Напасть на волчицу он не мог и бросился к жеребцу. Алакёз не двинулся с места. Встав на дыбы, он нанес удар. Череп волка раскололся, словно яйцо, и волк еще не понял, что случилось, когда его мозги, перемешанные с кровью, украсили мерзлую траву под копытами коня. В тот же миг подросла волчица, у Алакёза больше не оставалось времени изготавиться к следующему удару. Резко повернув наискось, он след в след помчался по последнему пути матерого волка. Его целью было опередить волчицу в скорости и выйти к ней навстречу или оказаться преследующим.

У волчицы тоже была цель. Незадолго до этого, когда они подбирались к табуну, им пришлось миновать заледеневший склон с северной стороны горы. Она давно запомнила это место. Сейчас изо всех сил стремилась туда, она представляла себе дымящуюся кровь, разлитую по ледяной поверхности, и эта картина согревала ее надежду на успех. Однажды они с матерым загнали на этот ледяной откос целый табун. О, какой это был пир! Какое зрелище! Беспомощные на льду животные полегли все, но как долго по брюхо в крови наслаждались волки в этом кричащем кровавом месиве! Не многим волчьим парам довелось так великолепно утолить жажду крови!

Матерый волк, увлекая за собой жеребца, тоже спешил сюда, но старость подвела его, он не смог уйти и был растоптан жеребцом. Волчица такого не допустит, она успеет и обязательно добьется своего. А потом... потом она станет ветром и загонит обезглавленный, податливый, как облако, табун сюда и расправится с ним. Это будет достойная месть, и в том, что она осуществит ее, у нее уже не было никакого сомнения.

Это была волчица, вырастившая три поколения, родившаяся здесь и хорошо знавшая эти места. В этих горах она протоптала не одну тропку. Несмотря на свой возраст, она не утратила силы и ловкости. На ней не было ничего лишнего, в отличие от других волчиц, она была легка, подтянута и быстра, как ветер. И сейчас она легко уходила от погони, выбирая каменистую, ухабистую дорогу.

Погибший матерый волк был глуп, потому что не знал меры в еде. Он был настолько прожорлив, что не отходил от туши убитого ими животного даже когда не мог уже поднять живота. Насыщая утробу, бедняга был не в силах насытить глаз. Потом лежал, страдая, не выходил на охоту по нескольку дней.

Волчица никогда не набивала утробу досыта. Ей нравилось трусить по следам жертвы впроголодь, ей нравилось быть слегка голодной, чтобы сохранять легкость в движении и ясность рассудка. Она не была жадной к еде, ее захватывал сам процесс охоты и убийства. У нее были маленькие острые уши и удлиненная морда, будто бы специально созданная для того, чтобы проникать в живот и рвать внутренности. Несмотря на то, что по природе своей она сознавала необходимость существования травоядных для обеспечения жизни ее же самой и ее семьи, но ненавидела их лютой ненавистью. Если бы выпала такая возможность, она, не сомневаясь, не думая о завтрашнем дне, вырезала бы всех поголовно, превратила бы в падаль. Особенно презирала она овец. За их покорность, кротость и невообразимую глупость. Этим пучеглазым тварям даже в голову не приходило защищать себя. И вместе с тем ее пугало, что они чрезвычайно быстро размножаются, что год от года их количество растет в таких огромных размерах. Ими порою сплошь покрыты синие горы и долины. Они распространяли вонь своей поганой шерсти по всем лугам, ближним и дальним пастбищам. Волчице иногда казалось, что и ветер, и дождь, и снег насквозь пропахли этой отвратительной вонью, запахом овечьей шерсти.

Она не могла постигнуть, откуда берутся эти твари. Одна овца в год самое большее выраживает двух ягнят, в то время, как любая волчица — до четырех, и все равно волков всегда мало, они постоянно задирают овец, кормятся сами и кормят ими своих детей, так почему этих пучеглазых все больше и больше? Как это понять? Надо остановить их распространение, иначе они растопчут и выщипают всю землю, оставив одну безжизненную пустыню.

* * *

Волчица нырнула в ухабистую ложбину, усеянную валунами и кустарником, в надежде заманить и увлечь за собою гнедого, но тот замедлил бег и вскоре вовсе остановился, не желая покинуть открытое поле. Вырвавшаяся было вперед

волчица тоже остановилась среди серых камней, сама похожая на камень. Некоторое время, переводя дыхание, она колебалась, как бы размышляя, не уйти ли от беды подальше, но это было лишь видимостью, для нее жажда борьбы, мести и крови была превыше всего. Она снова выдвинулась навстречу, грозя напасть и поддразнивая гнедого. Разгоряченный жеребец тотчас бросился на нее, вытянув вперед копыта, но промахнулся и снова возобновил погоню. Плотно прижав тонкие листья ушей, волчица мчалась, еле сохраняя спокойствие. Да, нелегко было бежать и маневрировать между валунами, слыша за спиною настойчивую смерть; топот, который сотрясал землю.

Волчья стая придерживалась закона, согласно которому ни один волк не имел права нападать на ближние стойбища, принадлежащие людям. Это могло осложнить отношения с соседями, поэтому волки были обязаны охотиться вдали от мест своего обитания. Это был плохой закон, он очень не нравился волчице. Если бы эти несчастные, не понимающие собственной выгоды волки терзали бы все стада и табуны вокруг, постоянно держа их в страхе, загнали бы на скудные выступы скал, ей не пришлось бы теперь с позором бежать от этого обнаглевшего травоядного, лавировать на грани жизни и смерти.

Несколько раз почувствовала волчица, как смертоносные копыта коснулись ее хвоста. Положение становилось критическим, но откос, покрытый подмерзшим типчаком, все не показывался. Да и обязательно ли этот травоядный жеребец-убийца рухнет, едва ступив на скользкий склон? Не получится ли наоборот? Страх пробежал холодком по спине и хвосту волчицы. Нужно было найти какой-то выход, дать себе передышку. Неподалеку по пути лежал огромный камень. Собрав последние силы, волчица ринулась к нему, будто намереваясь пробить его насквозь своей заостренной мордой. Приблизившись, она резко развернулась и скрылась за ним. Гнедой пронесся стороною, как ветер, — об остановке не могло быть и речи. Лишь пройдя немалое расстояние, ему удалось остановиться и осмотреться: волчицы нигде не было.

Схоронившись за камнем, волчица невольно любовалась гнедым, его совершенными формами. Тонкие, очень подвижные ноги, мускулы играли — каждый в отдельности, в них чувствовалась сила и молодость; казалось, ему не хватало крыльев, чтобы взлететь в небо. И почему такой красавец не был огромным черным орлом!

Лошади, по мнению волчицы, в отличие от других травоядных, были более достойны и имели больше прав на существование. Они были красивы, не пахли дурно, не были так тупы, неуклюжи и доверчивы, как остальные, у них было достаточно чуткое обоняние, а в скорости некоторые из них даже превосходили волков. Но все же помочь друг другу, защититься сообща, как это делали волки, не могут и они. Если волки задирают одного из них, остальные, как ни в чем не бывало, пасутся в стороне. Они не догадываются, что завтра выбор может пасть на любого из них. Единственный, кто может заступиться за всех, это вожак. Волчица с ненавистью посмотрела на гнедого. Это у них, вожakov, хватает дерзости сломать хребет охотящемуся волку. Сколько она помнит, сопротивление оказывал кто-то один — будь то бык или жеребец. Победит он или будет зарезан, всем остальным нет до этого никакого дела. Они пасутся, не замечая, что за них вожак приносит в жертву свою кровь. Вожаки стад и табунов — единственное препятствие на пути к свободной охоте и кровавому раздолью. Вместо неуместного закона о неприкосновенности стойбищ, принадлежащих людям-соседям, нужно выявлять и вырезать сколько-нибудь ловких и дерзких жеребцов, быков и вожаков-туров, чтобы исключить всякую возможность встречи с такими, как этот гнедой. Или волки не в состоянии сделать такое для себя?

Она снова посмотрела на гнедого в надежде застать его врасплох. Но тот не дремал, и, более того, учуял ее, и теперь внимательно осматривал камень, поджидая. У волчицы кончилось терпение. Оскалив зубы, скрывая страх от самой себя, она выскочила из-за камня и бросилась вперед. Но тут снова чуть не оказалась под копытами страшного коня, она отпрянула, и погоня возобновилась. Не сделав и трех прыжков, она вдруг почувствовала, что коня заносит... Вот он, шанс, которого нельзя упустить. Ноги гнедого, вступившего на заледеневший типчак, стали разъезжаться во все четыре стороны. Остановиться и повернуть обратно тоже не было никакой возможности. Протрусив несколько шагов, он обрушился на колени. Вскочил, но, поскользнувшись, упал снова. Сделав усилие, поднялся опять, — волчица, развернувшись, летела прямо к нему. Гнедой рванулся навстречу, но тут же повалился на бок и тщетно пытался найти копытами твердую опору: мерзлый типчак не давал даже зацепиться. Подоспевшая в этот миг волчица прыгнула ему на шею, но от резкого рывка гнедого с размаху ударилась

мордой о конскую голову и отскочила на несколько шагов. Быстро придя в себя, она глянула гнедому прямо в глаза, их взгляды встретились.

Волчицу переполняла счастливая истома. Она не могла поверить своим глазам: перед ней навзничь лежит ее кровник, краса и гордость целого табуна, лежит, беспомощный и жалкий. Что за странные твари уместились в его зрачках. Длинноухие с искривленными мордами, они смотрят на нее, словно готовясь к атаке. Волчица не знала своей внешности, но этот странный рого-мордый щенок с длинными, как у зайца, ушами и мокрой, только что облизанной шерстью, похожей на вылезшую из воды крысу, определенно не имел к ней никакого отношения. От одной мысли, что она может быть похожей на эту тварь, ее охватил гнев, и она тихо зарычала. Зверьки, сидящие в глазах гнедого, сморщили морды и показали зубы. Волчица перевела взгляд и увидела глотку гнедого. Она пульсировала, — теплая, шелковая и мягкая глотка; при легком прикосновении зубами она брызнет сладчайшей горячей кровью. Она еще раз посмотрела на уродливых щенят, засевших в зрачках гнедого: уж не ее ли это волчата? Никогда им больше не ласкаться к ней, никогда им не кусать ее сосков в поисках материнского молока, — волчица стремительно рванулась вперед. Но ей снова не повезло: в последний момент гнедой увернулся, и вместо глотки она впиалась в верхнюю часть шеи, за ушами. Конская грива перемешалась с кровью в ее жаждущей пасти. Такая хватка не могла быстро сломить коня. В порыве отчаяния невероятным рывком гнедой вывернулся всем крупом и поднялся на ноги, но волчица вцепилась намертво. Укрепившись когтями на спине, она повисла на нем.

* * *

Люди, пахнувшие железом, приближались все ближе и ближе; Алакёз еще раз толкнул грудью плетень; он сможет разломать его, если надавит сильнее, да и перепрыгнуть через него он тоже сможет. Но разрушать что-либо в собственном хлеву не хотелось. Алакёз забегал по кругу загона, забился в угол и угрожающе повернул круп к людям. Но, похоже, те и не думали оставлять его в покое. Видимо, придется ударить одного из них задним копытом, тогда они наверняка отстанут от него. Но ведь это все-таки не волки; Алакёз с последней надеждой подбежал к месту, где

с той стороны плетеной изгороди стояла Хабла. «Алакёз, бедный мой», — прошептала Хабла. В отчаянии вытянув голову за плетень, Алакёз громко заржал. Затем он заржал еще и еще.

Собравшийся поблизости народ затих. Никто не сдвинулся с места. Похоже, помочь ему здесь никто не собирается. А Коркмаза здесь нет. Вот уже дважды таяли снега, а его все нет. Если бы хозяин был здесь, люди, пахнущие железом, не трогали бы его. Ни разу из его табуна волк не зарезал жеребенка, а эти двуногие тупо смотрят и вовсе не собираются заступаться за него. С обидой и горечью осмотрел Алакёз Хаблу и всех собравшихся здесь людей, к лицам и запаху которых он привык издавна.

* * *

Какое-то время они так и оставались: волчица — в мертвой хватке повиснув на гриве, а Алакёз — широко расставив ноги. При иных обстоятельствах он поборолся бы и, скорее всего, стряхнул бы ее, но здесь обманываться не приходилось: упасть еще раз означало смерть. Несмотря на упорство и достаточно твердое спокойствие, почва из-под ног Алакёза уходила; все вокруг задвигалось и постепенно перестало быть осязаемым. Левый глаз его был залит кровью, но он увидел свой табун. Лошади, возвращаясь с водопоя, разбрелись по всему склону, оставив привычную тропу. Алакёзу не понравилось это, он заржал, или попытался заржать, — желая предупредить их, но, видимо, не хватило сил — остался не услышанным. Две клячи оглянулись и некоторое время с изумлением смотрели на случившееся с ним: как это Алакёз мог попасть в лапы волка, от такого отчаянного жеребца, как Алакёз, они этого никак не ожидали. Но и две клячи скоро потеряли интерес к нему и побрели дальше. Табун постепенно перевалил за бугор и пропал из виду.

Склоны и вершины за рекою, отраженные в правом зрачке гнедого, медленно заволакивало легким, как сон, туманом. Но в тот же миг, разорвав умиротворяющий сон, раздался выстрел. Теплое тело волчицы дернулось и, словно отвязавшийся мешок, сползло наземь. Пробудившись, гнедой услышал шаги Коркмаза.

Позже, когда ему отмыли от крови глаз, он увидел грязную рожу Чиппо, виновато выглядывающую из-под старого колпака.

Алакёз решил драться. Пришельцы остановились и начали выжидающе переглядываться, им было немного стыдно, однако когда речь идет об опасности, стыд переносится легче: чего уж там, глаз, поди, не выдавит. Неловкое положение исправил ворвавшийся неожиданно Чиппо. По всему его молодцеватому виду было заметно, что он намерен изменить гнусное отношение к себе, ибо издеваются и смеются над ним совершенно напрасно; он был полон решимости показать, кто здесь на самом деле достоин носить шапку. Чисто выбритый, необходимый здесь, как шлюпка на борту затонувшего корабля, он сиял и с презрением смотрел на толпу, собравшуюся поглазеть кто кого. Вместо перелатанных шаровар, на нем были новенькие защитного цвета штаны немецкого сукна, с мотней, свисающей до колен, но это не мешало ему быть чрезвычайно энергичным. Поправив полицейский картуз на голове, он решительно выхватил уздечку из рук Хакима.

Заметив Чиппо, Алакёз прижал уши, — он был в ярости. Этого злобного кривоногого карлика, распространяющего зловонье, он презирал настолько, что и не гневался на него, стараясь не обижать и так обиженного, а просто отбежал от него, когда тот пытался оседлать его в горах на выпасе. Чиппо с проклятиями швырял ему вслед камни — все, что он мог сделать. Теперь эта двуногая вснь, спрятав за спиной уздечку, снова лезет к нему... Алакёз с низко опущенной головой пронесся мимо Чиппо, слегка задев его плечо мордой. Если не остановишься сам — я остановлю тебя, ты знаешь, — означал этот выпад.

Надеть удила гнедому надежды больше не оставалось; двуногие, пахнущие железом, а вслед за ними и Чиппо, покинули конюшню. Хаким снова подошел к Крыму, упрасывая его. Но теперь речь его была льстивой и подобо-страстной.

Крым уздечку в руки не взял.

— Ну что уставился! — вскипел Хаким, заметив, что Крым смотрит на Хаблу и вовсе не собирается внимать ему. — Что, дурочки никогда не видел?

Крым никак не реагировал.

— Хорошо, будь по-твоему, собачье отродье, я сделаю так, что Алакёз больше никогда не сдвинется с места.

Хаким вскинул винтовку и передернул затвор. Щелчок затвора эхом прогремел в ушах собравшихся и замер тишиною.

Идя вслед за мальчиком, гнедой был кротким, как ягненок. Ничего не имел он и против немцев, которые, собравшись толпою, шумно тараторили что-то по-своему — хвалили коня, как показалось Крыму. Лишь раз Алакёз всполошился и грозно задрал голову, когда один из них (их «апицир», как понял Крым) ласково потрепал коня за гриву. Увидев вытаращенные белки глаз, апицир что-то сказал по-своему и отошел в сторону, — уж слишком ретивым оказался жеребец. Крыма тотчас подняли и посадили ему на спину; лишь тогда он успокоился окончательно и смиренно прикрыл веки, спрятав снующие белки глаз. Действительно, чего понапрасну сердиться на этих двуногих, они же оставили его в покое, хозяин при нем, ну и ладно...

Словом «апицир» называли молодого светловолосого офицера, стройного и подтянутого. У него были холодные голубые глаза, его взгляд казался задумчивым и не выдавал ни обиды, ни каких-либо других чувств. То, что жеребец, покорный ребенку, не собирается покориться его войнам, волновало его и даже начинало раздражать. Да, гордость — это, конечно, неплохо, но любую гордость можно подавить силой. Пока мощная рука не разорвет рот удилами, любой жеребец останется гордым. Ему очень хотелось сейчас вскочить на спину дикого жеребца, покрасоваться перед глазами собравшихся и укротить его, наконец. Но зачем, откуда у него это желание, понять не мог. Для чего ему красоваться, метать бисер перед этим темным, мало чем отличающимся от диких животных, народом. Не надо ему этого, он уже давно устал от подвигов и триумфов. Но почему его беспокоит этот жеребец? И почему он, столько видевший на своем веку, не может твердо сказать себе, что он понял этот народ, знает, что ему нужно, как поступить с ним и каковы устремления этих людей. И, наконец, почему ему все-таки так хочется покрасоваться на этом коне? Он почти понимает, но боится признаться себе в этом. Почему озлобленность в отношении к этому животному распространяется на этих людей? Офицер окинул взглядом горы поверх голов собравшихся, было что-то общее между этими людьми и их суровой родиной. Конечно, легче всего было пристрелить непокорного коня, но спешить, учинять мышиную возню на глазах у публики не следует, для этого есть Чиппо, его собственный пес. Сначала Чиппо был псом комиссаров, а теперь его. Это дворняга, которая признает любого хозяина. И будет лучше, если эту хваленую трехсотлетней породы лошадь вразумит Чиппо. Пальцы от

кобуры скользнули ниже и скрылись в кармане галифе. Сила оружия не всегда убедительна. Он снова, прищурившись, посмотрел на Чиппо: то, что можно сделать руками самих же варваров, не сделает ни один немец. Если они увидят на Алакёзе этого пса, им расхочется упоминать о трехсотлетнем возрасте своего скакуна, они собственными руками будут кидать камни в него и во всякого, кто посмеет упомянуть о нем как о герое.

* * *

Чиппо, придерживая рукой великоватые немецкие штаны, вышел вперед. Хорошо бы оседлать коня, взбираться на непокорную спину не хотелось. Никто не позаботился об этом, а сам он тревожить «апицира» по таким пустякам не решился. Заметив злобу в глазах Алакёза, Чиппо почувствовал некоторую слабость в коленях. У него не было времени взвесить свои возможности перед лицом предстоящего испытания, но если «апицир» оказал честь ему, Чиппо, значит, он наверняка знает, что делает. Чиппо и только Чиппо сможет подрезать крылья возгордившемуся Алакёзу. Чиппо старался придать своему лицу решительное выражение, ему казалось, отвага и мужество озаряют его в эту минуту. Он посмотрел на собравшихся: сукины дети, ни разу не проявили к нему даже элементарного уважения. Или он мало сделал? Сколько он служил большевикам, и что они дали ему? Может, важную должность? Ничуть не бывало, держали его на равных с этой гнусной толпой. А теперь пусть приготовятся: пробил его час.

Он чувствовал себя в долгу перед немцами, оказавшими ему милость и уважение. Ему хотелось потрясти эту большевистскую мразь, как он думал об односельчанах, каким-то диким жестоким поступком разбить, растоптать, убить кого-нибудь на глазах у всех. Он снова посмотрел в глаза Алакёзу: большевистский конь, гордость аула, хваленный своей трехсотлетней породой. Ничего, в руках Чиппо он будет несчастен, как мышь, упавшая в реку.

Но надо было как-то взобраться на спину этого непокорного зверя, рядом с которым он казался сморщенным карликом, пока еще люди не поняли в чем дело и не подняли его насмех. На помощь поспешил Хаким. Он понял в чем дело и придержал его за ногу. Чиппо оказался верхом.

Не ожидавший такой низости Алакёз растерялся и не-

которое время стоял в оцепенении. В толпе зашептались, стоящий несколько в стороне Крым тихо плакал. Почувствовав, что происходит что-то очень нехорошее, Алакёз очнулся и рванул с места. Наверняка он боялся раздавить незадачливого седока, словно оброненное яйцо. Надо было скинуть его, не покалечив, Алакёз как-то неловко встал на дыбы. Но Чиппо крепко вцепился в гриву и по-видимому не собирался покидать своего места. Алакёз дернулся еще раз, посильнее, но Чиппо снова удержался, лишь немецкий солдатский картуз упал под ноги, обнажив плешь на его маленькой восковой голове. Алакёз на секунду замешкался, не понимая, куда подевалась шапочка, только что мелькнувшая под ногами; она была похожа не на шапки, которые он привык видеть, а на упавшее с дерева птичье гнездо. Со многих героев, пытавшихся потягаться с ним, падали шапки. Это были массивные папахи с синими и зелеными бархатными верхами, которые падали на землю с тяжелым стуком, каракулевые, косматые, шапки из шкур волков, зайцев и все они были живыми, и Алакёз старался не задевать их копытом, чтобы не причинить им боль. Но здесь он ничего не мог понять: куда она подевалась? Прилипла, как плевок, к копыту или вот эта тряпка, впечатанная в навоз, она и есть? Алакёз расвирепел. Он снова встал на дыбы, а потом, еще не достигнув передними копытами земли, вскинул круп: Чиппо вылетел словно изношенный веник и растянулся перед зрителями.

Алакёз медлил в нерешительности. Двое из пахнувших железом быстро схватили его за удила с двух сторон и сильно потянули назад, разрывая ему губы. Алакёз не подал виду, если бы он задергался, ему сделали бы еще больнее. Жаль, что он замешкался, надо было убираться отсюда сразу же после представления с Чиппо. Тонкие ноги Алакёза мелко семенили, чавкая навозной жижей. Подошел Хаким и потрепал его горячую изогнутую шею: всякая скотина требует к себе любви и внимания. Откуда этому лишенному милости Аллаха Чиппо знать о таких тонкостях. Хаким, вот кто сможет укротить этого коня правдами или неправдами, насилием или добротой. И с достоинством вручить удила «апициру».

Но Алакёз не стерпел. Вздрогнув, он снова взметнулся на дыбы. Люди, придерживающие его с обеих сторон, тянули вниз изо всех сил. Алакёз захрапел, роняя из пасти лоскуты кровавого шелка.

В семимесячном возрасте, когда грива Алакёза еще была

похожа на петушиный гребешок, он страстно завидовал лошадям, чьи тяжелые гривы и хвосты звенели и струились, словно водопады. Украдкой он прислушивался к себе, но никакого звона не улавливал и тяжести на затылке и за собою не ощущал. Почему для него это было так важно? Отчего ему хотелось отличиться, почему ему казались мелюзгой жеребцы одного с ним возраста, и он находил очень смешным то, как они дергали своими куцыми хвостиками и брыкались, пытаясь испугать мух и слепней?

Себе Алакёз смешным не казался. Он презирал жеребят, боящихся отойти от матери, считал их трусливыми и сам носился где хотел и как хотел. Конечно, были и такие, которые считали себя не хуже, носились вместе с ним, соперничая, состязались с ним. Однако ни один из них не превзошел его. Приятно было обгонять ветер и птиц. Бездонное небо и бескрайние просторы неслись вместе с ним, становились все светлее, все зеленело. Кто знает, если бы он не ощутил на себе внимание окружающих, может и поубавил бы прыти. Но он чувствовал — и люди, и лошади наблюдают за ним. Даже Узунбель смотрит с гордостью на него: как он быстр и стремителен. Алакёз не знал меры. Не разбирал, где камень, где овраг, все ему было нипочем. Он помнил, как однажды, переусердствовав, прыгнул через камень и оказался в овраге, смешавшись с землей и песком. И лежал там, как клубок спутавшейся шерсти, раздавленный, не в силах пошевелиться. В тот день табунщик со своим сыном Коркмазом вытащили его, завернув в бурку. Пока он снова не встал на ноги, Коркмаз не отходил от него. Он сам был похож на жеребенка. Почему-то Алакёз принимал его за своего и немного стеснялся. Не хотел есть принесенную траву, пить молоко. Он помнил, как потом впервые встал на ноги, как кружилась голова. Табунщик и Коркмаз стояли рядом.

— Оба ребра срослись, — сказал наконец мальчик, похожий на собрата.

— Глупое животное не знает меры, — добавил второй тихим голосом. То был отец мальчика, похожего на жеребенка.

— Если он и дальше будет вести себя так, погибнет. Неумная прыть погубит его, — сказал Коркмаз.

— Ничего, обойдется, Узунбель был еще резвей. Этот похож на него. Вырастить его — наш долг, — проговорил Жамбот.

У людей, пахнувших железом, руки были сильные. Лоскуты красного шелка, которые он ронял вместе с пеной, рассыпались обильней и лежали теперь повсюду. Людей он не видел, а только бескрайнее небо и крутые откосы вершин. Неужели люди, которые вырастили его, должны теперь сломать его волю? Лучше бы он сорвался в пропасть...

В тот день Баксан вышел из берегов, вода угрожающе шумела и пенилась, и табун заходить в воду сходу не решался. Лошади уже давно привыкли беспрепятственно ходить через реку к сочным выпасам на том берегу и теперь, столпившись, поглядывали на расходящуюся речку и были весьма недовольны ею. Узунбель один зашел в воду и сновал по ней взад-вперед — надо было выяснить, можно ли запускать в эту воду сосунков и жеребят с еще не окрепшими ногами. Почти у каждой кобылы имелось потомство, и даже если не все оно являлось родным ему, — дети есть дети, заботиться надо обо всех. Остановившись на минуту, он отогнал подошедших слишком близко и остановил взгляд на Алакёзе. Этот разгильдяй настораживал его, постоянно выставлялся около остальных и всячески старался нарушить порядок, и хотя Узунбель одергивал его, не унимался. В то время, как огромные, точно горы, лошади стояли, как им было велено, Алакёз помчался вслед за ветром вниз вдоль русла, не обращая внимания на обеспокоенное ржание матери и окрики Жамбота.

Нельзя сказать, что Алакёз не замечал опасности взбунтовавшейся реки. Но зато желание проявить геройство было слишком велико. Особенно, когда все взоры были направлены на него. Алакёз залез в воду, и его тотчас же понесло течением. Не чувствуя опоры и твердой почвы под ногами, Алакёз громко заржал, но течение уносило его, словно соломинку, то погружая под воду, то неожиданно выбрасывая на поверхность. Казалось, ничто не может помочь ему, но в какой-то момент он почувствовал, что кто-то крепко держит его за гриву. Уже на берегу, весь дрожа, он увидел Узунбея. Подоспевший Коркмаз обнял его, ставшего вдруг маленьким и беспомощным. Какими теплыми, ласковыми и добрыми показались тогда руки этого человека...

Сейчас не было рядом ни Узунбея, ни Коркмаза. На

глазах Алакёза появились слезы, и он отвернулся в сторону синеющих вдали гор и ущелий, — люди ему сейчас не нравились.

Разные воспоминания посещали его в этот день. Услышал он голос и Халимат, провожающей в дальнюю дорогу Коркмаза.

— На все воля Аллаха, но, боюсь, больше не увижу тебя, — говорила она, глотая слезы.

Коркмаз не пытался утешить ее, он и сам не верил в свое возвращение.

— Моя судьба будет такой же, как и судьба воюющих парней. Война — горе общее, не только наше с тобою. Мне даже повезло, что ухажу воевать вместе с моими односельчанами. Обстоятельства могли сложиться гораздо хуже.

Халимат не ответила. Она понимала, о чем идет речь. Сначала у Коркмаза отняли отца, который умел и работать, и жить лучше других. Но теперь не оставляли в покое и сына, и если бы не война, рано или поздно забрали бы и его. Сколько раз Халимат просила его ни в чем не отличаться. «Они» не любят этого и не простят ему. Теперь лучше живется таким, как Чиппо.

— Сочное, блистающее красой яблоко срывается раньше, — сказала Халимат.

— Да, но рябое, червивое яблоко вообще не срывается. Оно падает и гниет под ногами. Разницы нет, конец у всех один, и если выбирать, то лучше уж быть первым.

— Разница есть, Чиппо никто не трогает. — Коркмаз остановился и внимательно посмотрел на жену. «Не стыдно тебе ставить мне в пример Чиппо», — говорили его глаза.

— А ты не помнишь, как ты выглядел, когда вернулся из центра, — заспешила она, оправдываясь, — ты не помнишь, что говорил, когда едва узнал Узунбеля.

Лучше бы он тогда вовсе не узнал Узунбеля, мало ли какие лошади стоят на привязи у административных зданий. Узунбель сам узнал Коркмаза. Вытянув шею, он издал слабый храп. Какое-то время Коркмаз не мог сдвинуться с места, но когда подошел и обнял его за шею, не мог поверить, что перед ним могучий вожак и красавец Узунбель, таким жалким он выглядел теперь. Из глаз коня катились крупные слезы, мягкие бархатные губы дрожали, его великолепная грива и хвост, развевающиеся когда-то на ветру, как бурка, были коротко подрезаны, придавая ему вид жалкой старой клячи.

— Дружище, это ты так облагодетельствовал коня?— спросил Коркмаз подошедшего седока.

Тот не спеша поправил уздечку, попробовал, прочно ли затянуто седло, грузно сел и лишь после этого нехотя обратил внимание на Коркмаза.

— Так легче жить и мне, и Узунбелю, брат,— проговорил он наконец.

Думая сейчас об этом, Коркмаз шел молча, не зная, как ответить жене.

— Я не ставлю Чиппо тебе в пример,— продолжала Халимат,— но мы живем в такое время, когда любое превосходство рассматривается как преступление, любой дар, отличающий человека, видится как лишний рог на голове быка; вспомни, как поступили с твоим отцом.

Грустно было слышать эти слова от любимой женщины, но эти слова были правдой.

— Прятаться от людей, стараться выглядеть жалким, да это хуже смерти!— отвечал Коркмаз.

Так они дошли до моста, что на краю аула; здесь уходящие на фронт окончательно прощались с родственниками, говорили последнее слово. Коркмаз передал уздечку Алакёза в руки Халимат.

— Как бы там ни было, береги себя, это все, что я могу сказать теперь. Старайся не быть на виду, в этом нет ничего постыдного,— сказала Халимат, опустив голову.

— Ты предлагаешь мне быть трусливым и малодушным?— спросил Коркмаз почти шепотом: вокруг было много людей.

Халимат посмотрела на него долгим пристальным взглядом.

— Мне ясно, что я тебя больше не увижу,— наконец проговорила она медленно. Она хотела обнять его, но Коркмаз остановил ее за плечи и посмотрел в глаза.

— Возьми себя в руки.

— Я тебя больше никогда не увижу.— Халимат схватила его ладонь обеими руками.— Я тебя больше никогда не увижу,— повторила она.

— У тебя мальчик, ты мать, тебе нельзя быть слабой.

— Я тебя больше никогда не увижу, никогда не увижу,— шептали, точно в бреду, ее губы.

Они так и расстались, Коркмаз не нашел слов утешить свою жену.

Халимат еще долго не возвращалась обратно. Взобравшись на бугор у дороги, она, не сдерживая теперь слез,

смотрела, как исчезают люди, лошади и повозки вереницей, словно журавли, погружаясь в синеватую тень ущелья, исчезает и надежда увидеть хоть силуэт, хоть макушку шапки Коркмаза, потерявшегося в суете этого странного, уходящего, быть может, навсегда, обоза.

* * *

С тех пор дважды синели и желтели склоны, дважды таяли снега. Коркмаз не вернулся. Многое изменилось с тех пор.

Алакёз, и не поднимая головы, чувствовал в толпе Халимат. Да, это была Халимат, несмотря на то, что люди называют ее «Хабла». Правда, она не так красива и опрятна, как раньше. На ней нет шелкового платья и платка с тяжелой свисающей бахромой. Изношенное выцветшее платье скрадывает очертания стройной фигуры, лицо до глаз завернуто в тряпье, но голос и запах рук остались, как прежде. «Жеребенок» ее тоже изменился. Он почти всегда держится в стороне от нее и вообще от всех двуногих. Бродит сам по себе. Вот и сейчас он стоит поодаль от собравшейся толпы.

Вдруг Алакёз почувствовал что-то, словно к горлу прикоснулся холодный клинок. Алакёз посмотрел на Халимат: «Насилие ломит любого, — говорил ее взгляд, — оттого ты затих». Облик ее сейчас казался несчастным, как никогда. О том, что все несчастья коня исходят от человека, Алакёз чувствовал, но он не мог понять, что несчастья двуногие причиняют и друг другу. Не от того ли шелковые одежды Халимат сменились на жалкие лохмотья?

Немой диалог нарушил Хаким. Восприняв поведение притихшего гнедого как смирение, он неожиданно заскочил ему на спину, но в то же мгновение был сброшен на землю, и очень жестоко. Одновременно с падением Хакима гнедой с пугающей скоростью устремился прочь от толпы к подножию ближайшего склона. Один из солдат вскинул винтовку, но «апицир» осадил его. В создавшейся суматохе дважды выстрелил Чиппо. Одна пуля навывлет пробила мышцу задней ноги, но этого никто не заметил. «Апицир», казалось, был в гневе, хотя вслух не сказал ни слова. Пусть до единого перебьют друг друга, ему нет до этого никакого дела. Однако, глядя на удаляющегося коня, он заметно волновался. Сумрачные, траурные лица горцев, собравшихся здесь, вдруг посветлели, что начинало бесить его. Он посмотрел на Чиппо и Хакима — эти отсекут голову, вручи

им только топор. Чему радуются эти люди, надо подрезать крылья их маленькой отраде, надо подрезать крылья всем народам во имя своего собственного, пусть говорят, что так нельзя, что это нехорошо, но он-то знает, как действовать, сама жизнь научила его этому. Парабеллум обжигал бок, но, глядя на склоны, куда черной птицей уносился гнедой, офицер понимал, что его сейчас не догонит ни пуля, ни машина. Алакёз несся, высекая искры из камней, и, казалось, впервые видел эти зеленые просторные земли, покрытые склепами, старыми могилами и каменными рассыпями развалившихся башен. Ему хотелось услышать приветственные крики людей, оставшихся внизу, он прислушался, но ничего, кроме стука копыт, гула собственного сердца в груди да шелеста разрываемого ветра, не услышал. Рана на ноге начала жечь, хорошо бы спрятаться, отдохнуть в одной из этих развалин, но хотелось, чтобы люди снизу видели его, он поднялся на холм и встал на виду во весь рост. Лучи солнца скользнули по взмыленной спине и шее. Люди внизу видели: он был как гигантская серебряная птица, севшая на вершину холма.

Что-то вновь потревожило его. Грохочущий звук сначала издали, но подбирающийся все ближе и ближе, слышался, словно из-под земли. Что это? Землетрясение или стук копыт множества лошадей, приближающихся к нему? А может, это его табун? Табун, вожак которого он был столько времени. Ведь с тех пор, как их разлучили, он так ни разу и не увидел его. Где теперь бродят его подопечные? Выпала им большая дорога или они сломали себе колени, пробегая по скользкому типчаку?

Голубой типчак нравился Алакёзу. Он был настоящим украшением этих склонов, хотя не раз заставлял страдать его. Каждый раз, проносясь по нему, табун терял лучших лошадей, типчак мог свалить любого коня, независимо от сил и осанки. Алакёз и сам свалился с ног и едва не погиб, благодаря этой траве, когда преследовал волчицу.

Трепет земли нарастал, словно камнепад. Нет, это был не стук копыт табуна Алакёза, но стук копыт тысяч и тысяч всадников, пронесшихся здесь лавиной в разные времена. Алакёз слышал биение сердца каждого коня, свист и окрики всадников, шум битвы и предсмертные вопли. Алакёз сам находился здесь, и ничто не могло разлучить его с этим запахом прошлого, с этой землей и камнями.

Площадка напротив конюшни опустела. Остались только Хабла и Крым. Хотелось утешить мальчика, но подойти она не решалась. Крым, хоть и прислушивался к ней, мог отгородиться: мало ли что придет в голову полоумной женщине. А объяснить, что она ему родная мать, особенно сейчас, было вообще невыносимо.

— Не плачь, сынок, — начала она, сделав к нему несмелое движение, но тут же пожалела об этом: вспомнила, как Айшат частенько наказывает его за то, что он позволяет умиленной называть себя сыном.

Но Крым не ушел и не отвернулся. Стоял, прижавшись к пересохшему плетню, и плакал.

— Ты уже не маленький, стыдно тебе плакать, — сказала Хабла.

— Теперь никогда не придет, — ответил Крым, пытаюсь прикрыть дырявые в коленках штанишки.

— Не бойся, придет. Никуда он не уйдет от тебя, он спокойно пасется себе вон за той башней, — сказала Хабла, полагая, что Крым плачет из-за исчезнувшего с холма гнедо-го.

— Она не пасется, — сказал Крым с укоризной в голосе, — она ушла насовсем.

— Что ты такое говоришь, кого ты ищешь?

— Я не вижу мамы, она шла сюда, а теперь ее нет, — и Крым показал на противоположный склон горы.

Хабла замолчала. Ей было больно за себя и ребенка. Найдя глазами знакомую березу — Крым показывал ей, — она испугалась, почему вдруг сегодня он не видит ее?

— Зря ты расстраиваешься, сынок, посмотри внимательнее, вон они идут, — Хабла нагнулась и посмотрела Крыму в лицо, не случилось ли чего. Но ничего, кроме безысходной тоски, на лице мальчика не угадывалось.

— Ты говоришь неправду, там никого нет. Я никого не вижу, — ответил Крым.

— Эх ты, растяпа, присмотришься лучше, вон, видишь, с серпом, — это твоя мама. А рядом — ты, вон, макушка на шапочке краснеет... — у нее перехватило дыхание. — Помнишь, я же тебе сшила ее, — хотелось добавить ей, но она сдержалась.

Крым долго смотрел туда, но ничего не увидел, и с беззвучным плачем направился к дому. «Постой, побудь немного со мной», — хотелось крикнуть Хабле, но она не смогла. Проводив его взглядом, она пошла устраиваться на ноч-

лег в кладовую. Отсюда хорошо просматривался ее дом и двор. Здесь сновали соседи и родственники, заходили в дом и выходили. Хабла туда зайти не могла.

* * *

О том, что нельзя брать в жены женщин из числа родственников и близких, Айшат хорошо знала. В Коране черным по белому написано: сестру, родную, двоюродную и сводную, тещу и невестку в жены не бери. Это есть великий грех перед лицом Аллаха — говорится в сурах Священной Книги.

Айшат, примостившись на козьей шкуре, исполняла намаз, утреннюю молитву, но мысли ее сейчас были далеко отсюда. У нее вообще была такая натура, она была задумчива, частенько витала в облаках, но сегодня ее заносило слишком уж далеко. Ее вдруг стали занимать дела и поступки пророка Мухаммеда. С одной стороны, она страшилась — действительно, ей-то какое дело до пророка, но с другой — эти мысли как-то волновали, и в некоторых из них находила даже удовлетворение. Она получала удовольствие, размышляя о том, что пророк Мухаммед отнял жену у своего приемного сына Зейтуна и жил с ней, как с женой. А особенно ее радовало, что подобные дела пророка не вменялись ему как позор и дела греховные. Однако какое дело до этого было ей, какие возможности эти обстоятельства могли открыть для нее? Этого она пока не осознавала. Но то, что Господом для нее открыто большое поле действия и свободы, было ясно. Воистину: старайся хоть немного сам, и тогда Я дам тебе силы.

«О, Великий Пророк, ты вправе взять любую жену, как скоро возжелает твое сердце, будь то дочь твоего брата, сестры, будь то чья жена, любая женщина, желающая тебя, будет данью тебе. Аллах всемогущ», — Айшат слегка улыбнулась: о том, что дела, являющиеся для одного грехом, пороком и позором, для другого оборачиваются могуществом и наградой, она знала давно, но с такой отчетливостью эта истина предстала перед ней впервые. Эта истина согревала ее, придавала ей силы. Выходит, если человек сам не считает грехом то, что делает, то и Аллах не считает это за грех: ничто не происходит на этой земле без величайшего соизволения Господа. В том, что он прощает лучшим своим рабам и карает худших, есть некий смысл. Сильный человек не ощущает тяжести греха, тогда как простаков и

безмозглых расплата преследует с девяносто девяти сторон. Чем же Айшат хуже, разве она безмозгла, разве она чувствует вину или в долгу перед кем-то? Напротив, должны ей, и должны многие: соседи, родственники – всех не перечесть. Ее источающие мед пальцы на обеих руках всю жизнь служили десятью спасательными сосками для них, и где же эти люди теперь? Как только они встали на ноги, их благодарность исчезла, как вода в песке. Нет, теперь Айшат не будет заботиться о людях. Теперь она, пожалуй, позаботится о себе. Время пришло.

Расстроившись немного, Айшат встала, толком не завершив утреннего намаза, и вышла во двор. Облокотившись о камень старенькой ограды, она оглядела двор: все здесь казалось ветхим и убогим, не радовало глаз, как прежде. Ее взгляд задержался на собачьей конуре, уныло выглядывающей из-за курятника: «Куда же делся пес, – подумала она, вспомнив, что тот выл всю прошедшую ночь напролет. – Отчего же он выл? Отпевал сына или предрекал смерть ей?» Айшат была суеверна и направилась к конуре, решила выяснить, что случилось с ним. В лучшие времена Карауз был красавцем огромного роста. Это был черный волкодав, и только грудь и обе передние лапы до самых когтей были белоснежного цвета. Сейчас он выглядел жалким, словно накрытый грязной вылинявшей тряпкой. «Ну что ты воешь, чего тебе не спится?» – заговорила Айшат, присев рядом, и погладила его. Карауз не проявил ни дружелюбия, ни обиды; он слегка приоткрыл один глаз и, глянув на Айшат, тут же прикрыл его. «Даже эта псина обижена на меня, – решила Айшат. – Может, он голоден? В последнее время я не кормила его и вообще не обращала на него никакого внимания. А что делать, готовить некому, уже давно не кипел на огне казан, а самой много не надо; вон, воробей – и тот никогда не остается голодным».

Айшат с жалостью поглаживала массивную голову пса и вдруг заметила у него за ушами паршу. Она резко отдернула руку – оказывается, его мучают блохи и выл он от этого. Айшат с отвращением посмотрела на пса: суеверные страхи рассеялись.

Двоих своих сыновей Айшат, пряча от рыжих немцев, отправила на дальний кош. Теперь она ничего не знала о них, живы ли. Не было такого угла, в который бы не заглянули немцы в поисках спрятанного скота, могло получиться так, что их обнаружили и приняли за партизан.

Айшат ненавидела и большевиков, и немцев – любую форму власти.

Волкодав слегка взвыл, не поднимая головы. «Эх, вот и ты забыл мою доброту, какой ты у меня бегал сытенький. Люди точно такие же. Тот, кого кормишь сегодня из собственных рук, завтра готов смастерить у тебя во дворе виселицу и удавить тебя».

Да, Айшат поступила правильно, ее сыновья должны жить, не испытав насилия ни с чьей стороны.

Как она ни пыталась утешить себя, но беспокойство по поводу сыновей отогнать не удавалось. Эти думы не давали ей покоя ни днем ни ночью. Не было ничего более страшного, чем остаться в этой жизни одинокой. Она замечала, люди избегают ее, стараются обойти стороной, когда встречаются на улице. Да что люди, дочь не появляется в ее доме больше двух недель. Правда, она сама отправила ее против желания в дом Халимат — побудь там, посмотри за хозяйством, а то, не ровен час, обоснуется там брат или кто из сестер. Хозяйство без хозяина — заноза в постороннем глазу: там уже ошиваются алчные до всего родственники. Но Айшат они не проведут; если в этой жизни стоит за что-то бороться, то только за имущество. Оно есть основа богатства, которое только и дает человеку независимость, авторитет и силы, остальное все суета. У Айшат двое сыновей и дочь, да возвеличится имя Аллаха. Один останется здесь с ней, второй придумает что-нибудь: благо, сейчас это не трудно, немцы оставили опустевшими многие дома, если попросить «апицира», тот жадничать не станет, выделит какой-нибудь аккуратненький запертый дом. Ну, а у дочери проблем не будет, отныне она владеет хорошим домом в центре аула.

Айшат снова с гордостью окинула взглядом свои владения, раскинувшиеся на самом краю аула. Было в них что-то странное, все постройки жались друг к другу настолько, что уже было трудно отличить назначение каждой в отдельности; все это было похоже на гигантский муравейник, и только сама Айшат могла бы объяснить смысл этого полуразвалившегося «городка».

Жилой дом был сильно вытянут в длину и имел три входа. С самого начала в нем жили три родственные семьи. Одна семья покинула этот дом с самого начала, по никому не известным причинам. Кроме Айшат здесь остался старик, двоюродный брат ее, но лет пять назад он неудачно упал с лошади и разбился насмерть. Предъявить права на его собственность никто не явился. Айшат говорила на людях, что этого человека, «моего несчастного брата», приютила и содержала сама. Так или иначе Айшат

здесь жила одна, и сведения о происхождении этого дома давно забылись, затерялись в прошлом, в ауле никто не говорил теперь об этом.

Ее размышления были прерваны попавшим в поле зрения Крымом, копошившимся на крыше дома за дымоходом. Когда он успел туда забраться и почему, Айшат не заметила.

— Эй ты! Чего уставился в небо, ну-ка слазь, бездельник, хоть бы помог чем, и за цыпленком никогда не посмотрит.

Крым, казалось, не обратил на ее слова никакого внимания. Он еще некоторое время вглядывался в сторону знакомого откоса, а потом, не спеша, спустился на землю. Он выглядел бледнее обычного, глаза его были обрамлены синими кругами. «Что обо мне скажут соседи, увидев его таким,— с досадой подумала Айшат.— Нашлепать бы его по щекам, сразу бы появился здоровый румянец».

— Ты что затеял? Ни свет ни заря уставился куда-то? Гор никогда не видел? — закричала она снова.

— Я не на горы смотрю.

— А что тогда?

— Я маму смотрел.

Айшат замолчала. Что он заладил со своей проклятой матерью. Или он что-то знает? Недаром Хабла опивается вокруг него, видимо, она и науськивает...

— Ты же говорил, что больше не видишь ее, что ее нет там? — Айшат, заслонившись рукою от солнца, устремила взгляд к тропинке на откосе горы, по которой обычно возвращались косари и женщины с полей, но, как всегда, никого не заметила и снова — в который раз! — убедилась в безнадежной глупости мальчика.

— Эх ты, твоим бы устам любой хаджи позавидовал, — засмеялась она, стушевывая минутное замешательство, в какое ввергли ее слова несмышленного ребенка.

— Ее нет там, она уже пришла сюда, — продолжал малыш, тыча указательным пальцем в ближайший косогор, возвышающийся над крышей дома Айшат.

— А там что ты увидел?

— Там стоит моя мать, смотрит сюда.

Неужели Хабла явилась и встала там? Айшат внимательно осмотрела поверхность косогора, но ничего, кроме одинокого деревца, не узрела. Обычно Хабла сидела под этим деревцем и высматривала Крыма, но сегодня ее не было.

Если уж Аллах начинает наказывать, то наказывает до

конца, пока не обратит в прах. В том, что Крым тоже слаб на голову, у Айшат уже не было никакого сомнения. И, надо было признаться, эта мысль радовала ее. Жаль, никто больше не догадывается об этом.

— Это дерево, идиотское ты отродье!— крикнула она с сердцем, несколько даже празднично.

Крым не обиделся. Удивленный, что не только сверстники, но даже взрослые не видят очевидного, он ответил:

— Как ты можешь не узнать ее в лицо, если она твоя родная сестра? Вот же она, стоит, смотрит на нас?

У Айшат зачастило сердце и пересохло в горле. Неужели она не видит чего-то? Действительно, Хабла так часто торчит там, что Айшат, проходя здесь, даже когда под деревом никого нет, суетится и невольно поглядывает на склон без всякой на то причины. Чего она боится? Зачем страдает все это время? Уж не сходит ли она с ума?

Айшат снова и снова до рези в глазах всматривалась в склон, но ничего не могла разобрать. То ей казалось, там что-то движется, то все замирало без всякого движения. Наконец она резко повернулась и влетела в дом. В следующую минуту она выскочила с остро отточенным топором и быстро двинулась в сторону откоса.

* * *

В утренней росе типчак особенно скользкий, он никому не дает проходу — ни вверх, ни вниз. Но Айшат не боялась его; упираясь руками и ногами, а кое-где и проползая на животе, она уверенно пробиралась все выше и выше. Красивая трава, но Айшат не обманется — многие пострадали, когда не придали значения коварности этой травы.

Несмотря на то, что издалека склон кажется абсолютно гладким, поверхность его весьма ухабиста. В конце августа влага вечернего дождя не выветривается, а каким-то образом остается на стеблях и частью глубоко впитывается в землю. За ночь эта влага превращается в иней, покрывая начинающий было желтеть типчак новой голубизной. За две-три ночи этот иней и ухабистая почва, скрытая под заиндевевшими стеблями, срастаются в сплошную ледяную коросту и делают эти места очень скользкими. С расстояния склон кажется гладким и блистает на солнце, как гонимое стекло.

Вцепившись руками в траву и основательно уперевшись ногами о кочку, Айшат приложила ухо к земле: в ней ясно

слышался стук ее трепещущего сердца. В эту минуту она вдруг засмеялась без видимой причины. Ей вспомнилось, как Ахмат, ее супруг, упал здесь, сломав при этом себе ребро и руку. Они возвращались с тоя, и он хотел укоротить дорогу домой. Айшат просила его – надежная дорога лучше короткой, хорошая голова лучше плохих ног, но тот не послушался. Ступив на это место, он неожиданно для себя (но не для Айшат) поскользнулся и, не останавливаясь, кубарем покатился до самого низу. Айшат не поспешила тогда ему на помощь. Присев на корточки, она осторожно, не спеша, сползла вниз – ей не хотелось повторить глупость мужа.

Ахмат уже пришел в себя, пытался подняться на ноги, и таким жалким он выглядел в эту минуту, что ее охватила неопишуемая жажда веселья. Она задышалась и, наконец, не выдержала – от ее хохота зазвенел скованный вечерним морозом воздух.

– Заткнись, ты... – свирепый шепот Ахмата остановил ее. Их взгляды встретились. Ахмат долго смотрел на свою жену, в ее маленькие выцветшие глазки, осматривал с вниманием маленькую сплюснутую голову, лицо с тонким носом и редкими рыжеватыми бровями, как если бы видел ее впервые.

– Что тебя так обрадовало? – спросил он наконец.

– Я не радуюсь, – сделал серьезное лицо, ответила Айшат. Она действительно не знала, отчего ей стало так весело. Злорадствовала или чувствовала горечь? А ведь Ахмат не посторонний. Он муж ей, отец троих ее детей, и его неловкое падение должно было рассматриваться как падение ее собственное.

– Ты двулика женщина, я никогда прежде не догадывался об этом. – Боль сердца его сейчас мучила больше поломанных костей. Столько лет он прожил с нею и так мало знал ее; он вдруг почувствовал, что очень стыдится своего беспомощного положения, потому что с ее стороны не было ни малейшего сочувствия. Повисшая, словно плеть, рука была ничто по сравнению с тем, что он чувствовал сейчас: узел надежд, привязанности и единения, который вязался ими многие годы как счастливые, так и тяжелые, был разрублен ею в одно мгновение. Ахмат встал и пошел прочь.

– Конечно, разгневаться и уйти легче всего, но я все же скажу тебе: ноги протягивают по длине одеяла... Уходишь, ну и иди, – бросила ему вслед Айшат.

Ахмат замер: так вот на что она намекает... В районе

было принято решение разобрать здание мечети, а из полученного материала — камня и леса — построить школу. Ахмат, тогда еще комиссар села, не то что не проявил рвения в столь важном деле, но наотрез отказался возглавить его. «Как я после этого буду смотреть в глаза односельчанам?» — сказал он. Да, не понял он сути нового времени. Не долго думая, власти сняли его с занимаемого поста, после чего Ахмат попал в черные списки, — это было время, когда ни Ахмат, ни жена его не знали покоя. Дни сочились в ожидании беды, и надежды оставалось все меньше и меньше.

— Если бы ты был человеком, ты не позволил бы Чиппо, сыну Касая, наступить себе на шею, — продолжала Айшат, глядя в окаменевшее лицо мужа.

— А если бы не позволил, ты бы заговорила иначе?

— Так позволил или нет? — повысила голос Айшат; она припомнила ему Чиппо, который чуть не ежедневно залетал к ним во двор, гарцуя на коне, требовал к себе Ахмата и угонял его в правление колхоза как пленного.

Вспоминая сейчас обо всем этом, Айшат остужала свои горящие щеки об острые шершавые стебли типчака. Не в силах побороть назойливую, невесть откуда взявшуюся радость, она поползла вверх, еще сильнее прижимаясь к траве, хотя дальше откос уже не был таким крутым. «Не пойму, — размышляла она, — почему это все падают, ступив на эту траву. Типчак не кусает, не обжигает... Очень добрая трава, самая добрая; особенно для тех, кто умеет правильно ступать по земле».

Дерево было уже недалеко, можно было подняться на ноги и спокойно дойти до него, но Айшат упорно ползла дальше: доверчивую голову съедает собака, она здесь не обманется. Эх, типчак, типчак. Летом зеленый, осенью синий — ты, как синее оперение земли, для кого-то ледяная накипь, но для Айшат — ты бархатное покрывало.

Айшат продолжала смеяться, безотчетная радость переполняла ее, и смех становился истеричным; дыхание стало частым и порывистым, словно тяжесть заиндевшего откоса вдруг начала медленно придавливать ее, она не выдержала и заплакала — тихо и очень горько.

Ахмат и Айшат не раз стояли друг против друга, молча глядя в глаза и здесь, в правлении, и в районе, в тюрьме. Ахмат так и не проронил ни слова, но у Айшат не было возможности оценить скорбный взгляд супруга, ибо саму ее терзали тогда допросами денно и нощно; неделями она не могла попасть домой, голодная, измученная — даром что

женщина. Но даже когда ее отпускали, она не успевала прийти в себя, вытянуться в своей постели и хоть самую малость успокоиться: тут же появлялся Чиппо и уводил ее снова. Этот презренный краснорожий Чиппо, сын Касая, который еще вчера гонял на пастбище скотину ее отца, гонял ее сегодня саму в город на допросы. Так сложилась судьба, и Айшат ничего не могла поделать с этим. Аллах сам создал Иблиса, наделил его силой и выгнал вон из рая, но при этом не лишил его возможности обольщать, обманывать и наказывать людей. А кто есть Чиппо? Иблис, порожденный новой властью? Или Мункир? Жестокие наступили времена, если мункирами становятся такие, как Чиппо. Дело даже не в новой власти, разве не пыталась она заронить луч света и надежды в души несчастных людей, выросших и живущих в нищете и грязи. Но не вышло, пришлось ей взять в руку железную дубину. Много разных существ породила она: здесь было полно и ангелов, и шайтанов, и мункиров с нукирами – разобраться в них было уже невозможно; Айшат не могла понять, что им нужно от нее, что она должна говорить, чтобы они отстали от нее – она должна оклеветать мужа и сгубить его, или же правду они говорят, что сама она роет яму новой, истинно народной власти? Втроем, вчетвером стояли над ней мужчины, давили на нее: «Вы, муж и жена – хвост одной собаки», – говорили они. Айшат мало-помалу стала действительно верить, что является врагом новой «власти», но сколько ни думала-припоминала, ничего не могла вспомнить, что же враждебного она сказала и совершила против этой самой «власти».

Когда Айшат вызвали на допрос в девятый раз, присутствовали трое: Чиппо, Хаким и главный – она еще не знала ни его имени, ни фамилии. Это был молодой человек приятной наружности лет тридцати, с худощавым бледным лицом и аккуратно зачесанными назад черными волосами. На нем была застегнутая на все пуговицы гимнастерка, португепя и на боку кобура. И Айшат, и все женщины аула очень боялись таких. Да что таких!.. Боялись даже безродного Чиппо, голова которого стояла не дороже камешка, выпавшего из ограды. А что делать, как не бояться, если ему дали маузер, поменяли его кожаные шаровары на суконное галифе и наделили чрезвычайными полномочиями и властью над людьми, как если бы человеку, не умевшему собрать копну сена, поручили бы сложить стога для всего аула.

В комнате, где ее постоянно допрашивали, ничего особенного в глаза не бросалось. Несколько высоких «русских» стульев, небольшой стол у стены, за столом — аккуратно прилизанный паренёк. На белых стенах висели четыре портрета; на одном из них был изображен Л Е Л И Л, на другом — И С Т А Л И Н. Кто изображен на двух остальных, она не знала. Глядя на них, она вспоминала песенку, которую всегда напевала дочка: «Да здравствует Исталин! Исталин наш отец...» Вот и сейчас этот назойливый глуповатый мотив прицепился к ней и довольно долго крутился в голове, не давая возможности сосредоточиться.

— Фамилия, имя, отчество, — начал аккуратно прилизанный энкавэдэшник.

Айшат оторопела и, не зная как быть, устала на свои худенькие коленки. Сколько раз можно отвечать на этот вопрос, не стыдно им забывать столько раз и снова спрашивать об этом? Или они ни во что не ставят ее, хотят выставить безмозглой, мол, собственную фамилию не помнит?

Разозлившись на долгое молчание Айшат, Чиппо вскочил на ноги. Он хотел показать, что находится здесь неспроста, подчеркнуть важность и значительность своего пребывания здесь. Особенно перед Айшат. Ведь она знала о всех бедах и унижениях Чиппо, о его прошлом, которое прошло у нее на глазах, когда он батрачил на них. Теперь наступил его черед глумиться над ее несчастьем. Больше он ни о чем не думал, да и думать не мог.

— Ты лучше оставь свои дурные привычки, нечего молчать, отвечай, когда тебя спрашивают, — грубо кричал Чиппо, словно без его вмешательства сможет пострадать общее дело. Но допрашивающий не выразил радости по поводу стараний Чиппо и даже, казалось, был недоволен его вмешательством. Заметив это, Чиппо съежился и тотчас умолк.

— Ты признаешь, что вы вместе с мужем у мечети поносили советскую власть? — снова спросил худощавый.

Айшат молчала. В конце концов, какие бы ни были, но перед нею стояли мужчины, они носили шапки, и ей было стыдно твердить им — в который раз! — одно и то же. Она засуетилась, не находя куда спрятать свои задрожавшие руки, стала смотреть по сторонам и, наконец, устала на портрет усатого вождя. Это был удобный, хоть и ненадолго, выход, чтобы не видеть перед собою омерзительную рожу Чиппо, Хакима и молодого человека за столом. Пусть только попробуют сказать что-нибудь. Не посмеют, она смотрит на своего вождя. Сталин из портрета тотчас устремил на

нее правый глаз: «Я вижу, что творится и там, и здесь, я вижу все», — говорил его полувзгляд. «Ты-то, конечно, все видишь, не сомневаюсь», — отвечала про себя Айшат. Сталин прищурился: «Вот ты такая маленькая щупленькая женщина, но даже ты пытаешься навредить стране». «Я никому не причинила зла», — уже почти прошептала Айшат. «Некоторые причиняют зло невольно», — ответил взгляд с портрета. «Разве можно карать человека, если он делает зло неосознанно?» — «Зло есть ущерб. Осознанно или неосознанно, государство не различает. Ущерб всегда остается ущербом». — Айшат стало казаться, что этот уса-тый человек очень добрый и мягкий. Он умиротворял ее своим тихим, ласковым голосом; она почувствовала, что начинает боготворить его, ей захотелось покаяться перед ним. Она перебрала в памяти все свои слова и поступки, но так и не нашла в них ничего предосудительного. «Поверь, я ни в чем не грешна», — обратилась она с мольбой к нему. Вождь с портрета улыбнулся: «На свете нет безгрешного человека, не мучай моих мункиров, смирись, не бойся».

В эту минуту Айшат услышала резкий звук и вздрогнула: прямо перед ней стоял молодой человек, энкавэдэшник, с переменившимся лицом.

— Не молчи, не во всяком тихом омуте черти водятся, — сказал он, — чертей покажу тебе я; увидишь.

— Ну что мне сказать, любимейший из рабов Аллаха? — взмолилась Айшат.

— Я не раб. Ни для кого...

— Ладно, прости, я сказала лишнее.

Молодой человек немного смягчился, прошел и сел на место.

— Бывает, коса ржавеет раньше, чем хорошенько подсохнет скошенная трава — твои слова? — спросил молодой человек почти дружелюбно.

— Мало ли что может сказать человек, не обязательно наматывать на указательный палец каждое слово, — пожав плечами, отвечала Айшат.

— Ты нас уму-разуму не учи, — снова вскипел Чиппо. — Этот человек таких, как ты, перевидел немало, — Чиппо не унимался в своем желании выслужиться перед допрашивающим, но тот, хоть и правда врагов народа разоблачил немало, в упоминании и восхвалении не нуждался. Он снова уничтожил Чиппо взглядом.

— Так твои эти слова или нет? — спросил он снова.

— Мои, — ответила Айшат.

— Что значит, по-твоему, скошенная трава, и что — коса, которую должна съесть ржа?

— Откуда я знаю, столько всякой бессмыслицы болтаем... Чего еще ждать от глупой женщины.

— Значит, ты считаешь, дураку все дороги открыты?

— Нет, дорогой «инкыбыды», поверь, дурнее остальных мы никогда не были. — Айшат чувствовала себя оскорбленной. Она попеременно посмотрела на Чиппо и Хакима. — Наши дети никогда не были голодными или раздетыми, и всего, что имеем, мы добились собственными руками.

Молодой человек едва заметно улыбнулся и сказал добродушно:

— То, что вы считаете себя на голову выше остальных, мы знаем и так. Оттого ты и мечтаешь о том, чтобы советская власть уподобилась ржавой косе. Напрасно ты думаешь, что мы ничего не разумеем. — Молодой человек задумчиво посмотрел на бумаги, лежащие перед ним. Слова о косе, которой грозит ржавчина, не на шутку заинтересовали его. Действительно, там, где много сорной травы, коса притупляется быстро. Ее должно беречь, непрестанно точить и держать в блеске и отличной форме. Шутка ли, только в одном этом ауле, где проживает сидящая перед ним женщина, ему удалось обнаружить двадцать четыре вредителя и отправить их куда следует.

Он вообще очень любил и добросовестно выполнял свою работу. Он был внимателен: вдруг среди сорняка под косу правосудия попадет хорошая, здоровая трава? Но если докладывают, что этот человек роет яму властям, хочет подорвать мощь государства, то надо быть бдительным, тут надо четко различать черное и белое; это его долг. Кто, если не он, будет оберегать незыблемость власти? Но дать послабление в нынешнем деле, тем более отпрыску знатного рода, как говорят, было бы непростительной ошибкой. Они, как заряженное ружье: если не выстрелит сегодня, то завтра выстрелит обязательно. И выстрелит по советской власти, по нему лично.

— Значит, советская власть — ржавеющая коса, а ты, горемыка, попавшая под нее тростинка, так?

— Раз уж ты так назойлив, скажу тебе: вот, этим двоим я сказала это. Так и сказала.

— Это преданные советской власти люди, подлинные ее рдетели.

— Какой несчастной должна быть «бласт», если она опирается на таких...

Энкавэдэшник был так обрадован, что не усидел на своем месте и привстал. Лицо Хакима, который до этого момента никак не выдавал своего присутствия, побагровело. Чиппо задыхался; казалось, он сейчас достанет маузер и прострелит ей голову.

— Ну вот ты и начала выдавать свою сущность, — сказал молодой человек. Он казался очень довольным: в отношении этой женщины все было ясно, сомнений не оставалось. Но дело, к сожалению, было не в ней: обвинения против Ахмата он должен был подкрепить со всех сторон, — тем более показаниями Айшат. Муж и жена, как два плотно прижатых друг к другу зуба, — расштатаешь один — с другим возиться недолго.

— Предупреждаю: твой муж — враг народа. Дашь ложные, неправильные показания, пощады не жди, — сказал молодой человек.

— Откуда мне знать, что есть для вас правильные показания, а что нет? — вопросом ответила Айшат.

— Как ты считаешь, правильно ли бросаться в паводок вслед за тонущим, чтобы помочь ему?

Айшат задумалась. Из числа родни Ахмата было арестовано и исчезло шестнадцать человек. Так же и из ее собственной — шесть парней и три молодые женщины. И все это в течение одного месяца. Чем же она лучше этих несчастных, ведь она не из тех, кто в первых рядах боролся за эту самую «бласт».

— Это правда, что твой муж держал две коровы и одну лошадь? — спросил молодой человек, перебив ее невеселые мысли.

— Разве это плохо? — пролепетала застывшая от страха Айшат.

— Я спрашиваю, правда или нет?

— Правда.

— Как может такой человек желать процветания колхоза и приумножения общественного имущества? — на этот раз энкавэдэшник с упреком посмотрел на Чиппо и Хакима: до вас я тоже доберусь, где были ваши глаза.

— Что он говорил дома, когда запретил бригаде косарей приступить к косьбе?

— Он говорил: они что, в пустыне родились, не знают, что невызревшую траву косить нельзя... — ответила Айшат, позабыв осторожность и предупреждение молодого человека.

— А то, что он заявил, что пусть лучше покосы сгорят на корню, чем кормить этим сеном колхозный скот?

— Не слышала. Это беспросветная ложь.

— А я слышал.— Хаким встал и с решительным видом подошел к столу.— Я, бригадир тех самых косарей, свидетельствую...

Подав знак сесть на место Хакиму, молодой человек снова внимательно посмотрел на Айшат.

— Правда, что он не пускал тебя собирать колхозное сено вместе с другими женщинами?

— Да, это правда, но...

— Я спрашиваю: правда?!

— Правда.

— Как ты думаешь, из каких побуждений он не захотел позволить разбирать мечеть? Что говорил об этом у себя дома?

— Что он мог сказать женщине. Ничего не говорил...

— Прежде чем отвечать, подумай о своих детях...

— Он говорил: как это можно... это дело позорное, говорил,— почти шепотом ответила Айшат.

— Он сказал, строить школу для детей — это позор, так ведь? — молодой человек свесился через стол и приблизил к ней свое гладкое лицо.

Айшат захотелось пить. «Да поглотит вас адский огонь, как вы замучили меня», — сказала она про себя. Она еле удерживалась на своем стуле, вот уже девять дней она мучилась голодом, желудок ее был пуст; тонкие губы потрескались, а облизывать их при мужчинах, чтобы хоть немного приглушить жажду, она стеснялась. Она изо всех сил пыталась держаться достойно, но все же не выдержала: ком подкатил к горлу, глаза повлажнели. Дабы не показывать слез, она вновь обратилась к потускневшим портретам. Но те были бесстрастны, только усатый смотрел осуждающе. «Да здравствует Исталин! Исталин наш отец», — сейчас голос дочери уже не казался назойливым и глуповатым, он звучал как плач, как причитание, очень жалобно.

— Подпиши эти бумаги, и ты свободна,— заключил допрашивающий.

Поняв, что у нее нет выхода и бумаги подписать придется, Айшат почему-то разозлилась на мужа.

— Я не умею подписывать, неграмотна,— в последний момент взмолилась Айшат, чувствуя безнадежность своего положения.

— Подписывай, как умеешь,— мягко, почти нежно сказал молодой человек.

Айшат дрожащей рукой начертила на краю листа свое имя арабскими буквами.

Айшат, погруженная в воспоминания, не заметила, что солнце уже взошло высоко, и несмотря на то, что склон еще оставался в тени, вершины и долина внизу были залиты золотой влагой солнца. Из-за холма, отделяющего ее двор от остального аула, послышалось мычание, застучали топоры, тревожа застывший воздух, и, наверное, эти звуки, присутствующие всякому утреннему движению и возне, заставили Айшат очнуться и двинуться дальше.

Дерево оказалось не березой, а молодой, слабой рябиной с тонкой кроной, хотя снизу смотрелось таким высоким и раскидистым; слипшиеся гроздья ягод висели на нем, как рубиновые серьги, немилосердно прогибая тонкие веточки. Айшат улыбнулась: ну разве не дурак этот Крым, говорит, что это мать смотрит на него? У него, точно, с головой не все в порядке. Она с отвращением вспомнила и о Хабле, которая частенько торчит у этой рябины по утрам или вечерам.

Сразу было заметно, что жилось этой рябине нелегко. С двух сторон низ ее кроны был придавлен тяжелыми грубыми камнями; корни торчали наружу и, не находя земли, переплетались с жесткой травой, — каменное дно склона не впускало их. «Эх ты, дерьмо», — выругалась Айшат, но рябина никак не ответила на оскорбление. Она стояла на гладкой стройной ножке и со страхом смотрела на Айшат, покрытая прозрачной зеленоватой вуалью, из-под которой поблескивали рубиновые украшения.

Расставив ноги по-мужски, Айшат хорошенько примерилась топором, чтобы не задеть камни, и, размахнувшись, рубанула наискось, как следует. Звон стали пронесся куда-то вниз и, вернувшись обратно, замер у нее под ногами. Она размахнулась еще раз, но вдруг отчетливо услышала голос:

— Несчастливая, ты убиваешь дерево, полагая, что это я?

Айшат вздрогнула и резко повернулась на голос: как это сестра могла так бесшумно подойти сюда. Поймав себя на слове «сестра», она осеклась и подумала со злостью: это шайтан, а не человек.

Хабла стояла неподалеку, у другого деревца, скрестив на груди руки, и с грустью смотрела на нее.

— Какая тебе разница, если тебе удобнее думать, что я шайтан; так и говори: шайтан, — сказала она.

— Конечно, а как ты думала, — храбрясь ответила Айшат и снова вздрогнула. Платье на Хабле было все то же, рваное, но вместо засаленной тряпки, голову ее покрывала великолепная белоснежная шаль. Ей она всегда была к лицу.

Айшат была испугана и поражена: в лохмотьях Хабла была Хаблюю — сельской дурочкой, но теперь в ее лице и осанке чувствовался спокойный пронизательный ум и здоровье.

— Так ты убиваешь его, полагая, что это я, или хочешь срубить дерево собственной души? — снова спросила Хабла.

— Его что, отец мой посадил, почему оно должно быть моим?

— Для людей природа выращивает по одному дереву, каждому свое, разве ты не знаешь этого?

— Немного же деревьев она жалует нам, — сказала Айшат, — дай Аллах тому, кто меня не любит, всю жизнь полагаться на одно дерево.

— Погубить свое дерево — значит, погубить свою честь.

— Мое дерево срублено давно, — сказала Айшат с грустью.

— Дерево своей души каждый выращивает и срубает сам.

— Ты кого собираешься здесь уму-разуму учить! — вспыхнула Айшат. Она снова вспомнила мужа. — Не тебе осуждать меня...

— Я не осуждаю, я боюсь за тебя. Если ты вырубешь свое дерево, как ты будешь жить среди людей?

— Скажи еще: срубивший дерево — легко снесет и башку, — добавила Айшат.

Но Хаблы уже не было. Айшат огляделась, и ей показалось, что-то белое мелькнуло у дальнего дерева; она подошла — но и там никого не было. Из-за большого камня, что стоял немного дальше, снова послышался голос:

— Сыновья твои срезали свои деревья... срежет и дочь.

Айшат задрожала, волосы на ее голове зашевелились, она опрометью побежала к камню. Там никого. Айшат прислушалась: белая шаль с шорохом мелькала то за одним камнем, то за другим, и наконец, появившись за деревом у тропинки, ведущей к селу, исчезла совсем.

Айшат, совершенно обессиленная, вернулась к рябине и присела. «Все, что я желала сестре, обернулось проклятием на мою голову», — у нее не было сил думать о чем-либо другом, не было сил поднять топор и дорубить рябину; она сидела на камне и не могла подняться на ноги.

Сельчане не любили Айшат, но выдавать свою нелюбовь боялись, они просто избегали ее, избегали разговоров с ней и о ней, — Айшат это заметила давно, но сейчас эта отчужденность почувствовалась с особой тягостностью. «Отчего

они так избегают меня, что я сделала плохого им, неужели они знают то, что я скрываю от самой себя?»

Однажды в дом Айшат вошел тот самый молодой человек из НКВД, который ее допрашивал. Он поздоровался, как здороваются хорошо воспитанные люди, был вежлив и обходителен. Айшат растерялась, не поприветствовала, не знала, что ответить, как разговаривать, а пришелец тем временем деловито осмотрел хозяйство знающим, расчетливым глазом.

— Большое у тебя хозяйство, очень большое, — сказал он, чуть погодя. Он был непосредственен, прикасался к вещам, как в доме своего отца.

Айшат стало дурно, чувствуя, что сейчас упадет в обморок, она обеими руками схватилась за опору и побледнела.

— Удивительно, почему все это до сих пор не конфисковали? — продолжал молодой человек. — Ну ладно, не бойся, ты, я знаю, из тех, на кого можно положиться.

Его взгляд, движения — все говорило о том, что «все в наших руках». Определив, что слова его достигли цели, он неторопливо продолжил:

— Алан, сестра моя, я слышал, табунщик Жамбот придется твоей сестре свекром, это правда?

— Да, вообще-то здесь нет тайны, — ответила Айшат слабым, но пренебрежительным к Жамботу тоном. Если о нем спрашивает «инкыбыды», то уж точно не для того, чтобы одарить и поздравить.

— Да-а-а, жаль, что Жамбот считается родственником такого положительного, надежного человека, как ты.

«Покарай тебя Аллах, что тебе еще от меня нужно», — подумала Айшат, однако молчание, не ровен час, он может воспринять как неуважение.

— А что случилось, почему спрашиваешь об этом бедошном человеке, глаза б мои его не видели? — заговорила Айшат.

— Да, так... Говорят, разъезжает на лучшей лошади, смотрит на всех свысока, с презрением, равняться ни с кем не желает. Это действительно так?

— Это совершенно так, — быстро сказала Айшат, поняв, что от нее требуется, — поверь, прилип к спине Узунбея, ездит, словно бий, надменный, ни с кем не здоровается...

— Народную власть ни во что не ставит, ты это хочешь сказать?

— Навряд ли такой будет любить «бласт», — сказала Айшат, заметив благосклонный, почти прощающий взгляд энкавэдэшника.

— А что, Узунбель действительно такой знаменитый конь, как о нем говорят?

— Да, конь прекрасный, не сомневайся, не даром Жамбот хвалится тем, что коню триста-четыреста лет.

Молодой человек неожиданно нахмурился и побледнел. Некоторое время у него отсутствовал дар речи.

— Что ты имеешь в виду, сестра, что-то я не понял? — спросил он наконец. — Когда это лошадь жила столько лет? Ты что, за дурака меня принимаешь?

Как ни странно было Айшат, но она еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Моему бы врагу такую безмозглость», — подумала она.

— Лошадь-то столько лет никогда не жила, имеется в виду родословная коня, которая не прерывалась с древних времен.

— Значит, он хвалится тем, что эту породу оставили ему бий и богачи? — лицо его снова стало серьезным.

— Да ну его, этого Жамбота, он ничтожество, — сказала Айшат, желая снова задобрить «гостя».

Энкавэдэшник немного подумал, достал из кармана бумажку и сказал:

— Ладно, не будем долго языком чесать. Не поленись, поставь вот здесь подпись.

Айшат, не произнеся ни слова, написала в указанном месте свое имя арабскими буквами: «ради Аллаха, это всегда пожалуйста». В последний момент, уже вслед, она спросила:

— Не обессуди за любопытство, столько раз мы встречались, но я не знаю, кто ты; скажи, как твоя фамилия, кто твой отец?

— Меня зовут Галиев Исмаил, сын Ахмата, слышала такого? — ответил он с гордостью.

— Слышала, конечно, слышала, очень уважаемая, благородная фамилия. Из узденей. — Она хотела польстить ему, но ошиблась.

— Никакие мы не уздени. У моего отца даже курицы облезлой во дворе не было, как нет и теперь. Так и знай, — сказал он настороженно, даже с испугом.

— Ну ничего, я хотела сказать, для нашего времени и «бласти» очень почетная фамилия, очень. Дай Аллах тебе счастья, — все же польстила Айшат. «Да уничтожит тебя Аллах», — добавила она вполголоса, когда тот скрылся.

После той встречи представитель НКВД частенько бывал у Айшат. Многих из тех, кого он спрашивал, какие

бумаги давал подписывать, Айшат уже не помнила. Сейчас, когда она сидела у полусрубленной рябины, эти воспоминания проносились в ее памяти. Зачем? Кому они нужны? Ну было – и прошло. Айшат забыла об этом и успокоилась. Но люди не забыли об этом, и хотя открыто не говорили, отношение их к ней говорило само за себя. Или напрасно она терзает себя? Кто мог видеть, что Галиев заходил к ней? Айшат хотелось успокоить себя, отогнать ненужные мысли, но ничего не выходило. Наоборот, злость начинала переполнять ее сердце. Чем могут быть недовольны эти люди? Почему они так быстро забывают добро, которое Айшат сделала для них, – стоило им только наесться досыта хлеба и кое-как прикрыть свою наготу. Они не были благодарны, не оказывали должного уважения, особенно теперь, когда она так нуждалась в этом. Они забыли, что все должно быть взаимным, за все надо платить. Года два назад Айшат как-то услышала о себе, что она из тех мракобесов, что за пожалованную ложку еды будет преследовать человека до тех пор, пока тот не выблует с половник. Это она услышала случайно на поминках сестры, где было большое скопление народа. Она сидела, как всегда, скромно опустив глаза, ни на кого не глядя, никого не приветствуя первой: пусть не ленятся, ничего с ними не сделается, кому надо, подойдет и поприветствует, и заговорит.

Привыкла, чтобы к ней подходили, жеманничали, «ах, сестричка, как ты выручила нас, что бы мы без тебя делали», льстили, непременно унижая себя при этом. Но люди изменились, и это теперь понятно, если постоянно катать человека в золоченом седле, а потом попросить слезть, он в одночасье становится твоим злейшим врагом.

– Откормишь худую корову – она наполнит твою бочку маслом, но если откормишь плохого человека – берегись, он в кровь разобьет тебе лицо, – эти слова Айшат произнесла тогда, на поминках, так, чтобы услышали все собравшиеся вокруг женщины, за то, что они не замечали ее, словно ее там и вовсе не было.

– Интересно, к чему ты это сказала, дорогая, что случилось? – спросила одна из женщин.

– Меня удивляет, стоите, смотрите на меня, как говорится, будто собака, не узнающая хозяина, – ответила Айшат, не поднимая головы.

– Мы что, обязаны непременно здороваться первыми? – спросила вторая, показывая остальным, что Айшат переходит всякие границы.

— Теперь, когда благодаря мне вы ногами стоите на том месте, где раньше находились ваши головы, вы можете болтать всякое.

Женщины переглянулись. Они многое сносили от Айшат, но о том, что она способна заявить такое при всех и в таком месте, никому и в голову не приходило.

— Все, что ты сделала для нас, собери и сложи в свой мешок, — сказала одна из них.

— На себя посмотри сперва, а уже потом позаботишься о нас, — сказала вторая.

— А что вы хотели от этой несчастной, она из тех, кто навяжет чужому дитя бирюльку, а скажет — вывела в люди весь аул. Это страшная болезнь.

Айшат не ожидала от них такой дерзости. Она лишилась дара речи, хотя искренне была убеждена, что чуть ли не всех их вскормила собственной грудью и часто повторяла им это. Сейчас сказать такое она уже не могла. Она молчала и судорожно искала в памяти, что бы такое сказать, чтобы разом подавить и заткнуть родственников и соседей — всю эту мразь, но ничего не приходило на ум. Злость переполняла ее, она из многочисленного знатного рода, а раз многочисленного, значит, не она, так другие его представители сделали многое для общества; разве этого недостаточно для того, чтобы воздать ей должное! Ее муж Ахмат не пожалел свою душу перед лицом «власти» для них, даже это они забыли. Но она не позволит им забыть... Пока она собиралась с силами, в разговор вступила Фаризат.

— Ты очень несчастлива, — сказала она спокойно. Это была полная женщина с добрым открытым лицом, соседка Айшат по отцовскому дому, которая никогда не болтала лишнего и не любила, когда говорят лишнее другие. — Тебя мучает мысль, что ты сделала для людей очень много, гораздо больше, чем они для тебя; с этим ты и живешь и постоянно ожидаешь благодарности и почестей для себя. Оттого ты и возненавидела односельчан, что внушила себе эту мысль.

— Чего она сделала такого великого для нас? — заговорила молодая женщина, родственница Айшат. — Если она что-нибудь делала для нас одной рукой, мы возвращали двумя.

— Я не знаю, что это у вас за Айшат, — раздался другой голос, — но если человек твердит повсюду, что он кому-то сделал добро, да еще и требует дани, — это далеко не добро.

— Честно говоря, я никого не собираюсь сажать себе на

голову, прости меня Аллах, помочь, чем могу, рада всегда, но чтобы я перед кем-то была в долгу — такого нет и не будет, — снова возмутилась молодая женщина, прямо глядя на Айшат.

— Ты права, здесь никто не пьет воду носом.

— В вас заговорила чрезмерная сытость, — сказала наконец Айшат. Ее лицо и губы были бледными до синевы.

— Если и сыты, к твоему хлебу это не имеет никакого отношения.

— Мы сами сеем хлеб, сами убираем его, а эта женщина пытается унижать нас. Что ей нужно? — одна из женщин привстала и с ненавистью посмотрела на Айшат.

— Да оставьте вы ее, что о ней говорить, прячет у себя столько земли под сорняком, а кроме лебеды ничего вырастить не может, — женщина, бросившая эти слова, мяла тесто на столе и даже не повернулась. — И эта женщина пытается учить нас жить.

Айшат посмотрела на мощную спину этой женщины, на ее полные белые руки и плечи: странно, она до сих пор не знала в лицо многих своих односельчан; откуда они берутся, такие наглые, бессовестные... Нет, что ни говори, а человеку делать добро, подпускать близко, даже под тень дерева в своем дворе — нельзя. По возможности его надо топить в грязи и унижении, чтобы, кроме как о спасении своей жизни, думать ему было не о чем.

Многое в этот день ей хотелось сказать им, но положение ее становилось незавидным. Они были правы: Айшат не умела употреблять свое огромное хозяйство себе на пользу. Несколько лет назад всевозможные родственники вспахивали, сеяли, очищали от лебеды ее землю, и собрав урожай, вручали ей. Чтобы заставить кого-нибудь сделать это, достаточно было одного ее слова. Выполнять все эти дела, не зная запаха пота, было весьма приятно. Дети ее не знали, что значит нагнуть спину или прикоснуться к холодной воде — все доставалось так, даром. Но прошло время, люди изменились, и дети ее, не имея представления о труде, так и остались нахлебниками. Сама она тоже давно отвыкла от работы, она даже в доме не могла навести порядок, ей нечего было возразить, но сдаваться она не собиралась.

— И все же вы забываете, кто установил в ауле «бласт», открывшую вам глаза, — сказала она тоном разочарованного победителя.

Все опять переглянулись: что она мелет теперь?

— Значит, ты установила «бласт» в нашем ауле? Или твой отец? — сказала Фаризат. Ей уже было жалко Айшат.

Айшат стало обидно: почему они намеренно забывают об Ахмате? А сама она сколько выследила скрытых врагов «власти» и донесла на них «куда следует»?

— Отец мой, может, и не устанавливал, но установили ее люди нашего рода, разница невелика, — сказала Айшат с достоинством.

— Какая же ты недалекая, — снова сказала женщина, месившая тесто, — а люди нашего рода в это время вызывали боли в твоём животе, что ли?

— Во всех пяти горских обществах нет такого большого рода, как мой, — сказала Айшат.

— Найди мне место, где не растёт много сорной травы, да только толку с нее... один вред. Глупости ты говоришь, не хвались понапрасну.

— Чем больше род, тем больше пространства он занимает, — сказала Айшат, смущенная таким откровенным неуважением.

— Чего стоит род, который не может прокормить себя. Думаешь, мы слепые, ничего не видим, не знаем? — сказала одна из женщин.

Айшат поискала глазами обидчицу, но не обнаружила.

— Оставьте, не надо спорить! — сказала Фаризат в надежде уговорить ошестившихся женщин. — От беды не заговорены фамилии ни большие, ни малые: когда на руке нет большого пальца, остальные бесполезны, нет остальных — большой бесполезен.

— Нет, дорогая, — сказала одна из родственниц Айшат, — пусть не надоедает нам, я уже утомилась слушать ее, нечего свысока разговаривать с нами, никто еще не стал человеком за чужой счет. Чем она кичится, она что, золотая? Пусть не смеет никого унижать, у нас так не принято, мы не должны допускать этого...

Женщины притихли и мало-помалу разошлись. Осталась одна Фаризат. Она хотела поговорить с Айшат наедине, хотя говорить с человеком, страдающим таким высокомерием и презрением к окружающим, было не просто. И все же она решилась.

— Ты ослепла, сестра, ты унижаешь сама себя, — сказала она после долгих раздумий.

— Кто это? — насторожилась Айшат.

— Ты думаешь, вокруг одни дураки, ничего не понимают. Ты согласилась кормить хлебом ребенка родной сестры, только когда получила золото.

У Айшат на лице выступили землянистые пятна. «Откуда она могла узнать то, что знали только сестры?»

— Если я и ослепла, то ты просто ополоумела; удивительно, что этого еще никто не заметил, — сказала Айшат.

Фаризат внимательно посмотрела ей в глаза, не скрывая ненависти и отвращения. Не сказав больше ни слова, она быстро встала и ушла.

Со времени того разговора прошло более двух лет, но покой к Айшат так и не вернулся. С соседями и родственниками она не общалась, ведь это по их вине ее дом и хозяйство пришли в упадок и запустение. Они забыли ее, забыли, как Айшат заботилась о них, носилась, позабыв себя, чтобы как-то помочь им, забросили ее, хотя должны были на руках ее носить.

Эта мысль угнетала ее с каждым днем все больше и больше, особенно когда она видела ухоженные сады родственников, их заново отстроенные дома; даже простой, но хорошо выложенный каменный забор приводил ее в бешенство. Она ничего не могла поделать с собой, ей казалось, что все это отнято у нее.

Все они обустроили свою жизнь, до меня ли им теперь... Кровь в ее жилах была отравлена; чувствуя неистовый гнев, она снова подступилась к дереву. Рябина вся задрожала. Айшат трудилась быстро, со знанием дела, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из сельчан заметил ее за этим занятием. Хотя кому какое дело: она не ворует, не бивает... Будь они все прокляты. Айшат подрубила дерево под самый корень со всех четырех сторон, но дерево не падало. Тогда Айшат схватила его руками и навалилась на него всем телом — рябина затрещала и пригнулась к земле. Но когда она, решив, что с деревом покончено, отпустила его, рябина, словно ожив, снова выпрямилась. Айшат долгим взглядом с изумлением смотрела на рябину: как такой тонкий, словно спичка, ствол мог выдержать вес всего дерева! Айшат охватил суеверный страх, по всем ее членам пробежала дрожь. А вдруг она действительно загубила дерево своей собственной души? Действительно, не только Хабла, а и в народе помнят и говорят, что у каждой души есть свое дерево. Если это правда, нужно быстрее найти себе новое дерево и назвать его своим именем. Еще не поздно, положение можно исправить, да еще как исправить! Нужно найти такое дерево, чтоб оно непременно выглядело получше этой рябины; мало, что ли, деревьев здесь? Айшат привстала и посмотрела по сторонам. Надо найти хорошее дерево не только для себя, решила она, вспомнив о сыновьях и доче-

ри. Но, как ни странно, на окрестных склонах не было видно ни одного дерева. Что за напасть, куда они все подевались, пробормотала она, только что здесь было полно всяких деревьев; или она обманулась, приняв за деревья кусты барбариса и шиповника? Да, это точно, кустов росло здесь видимо-невидимо, но дерево стояло только одно, прямо перед ней. Айшат с ужасом и раскаянием посмотрела на загубленную рябину, может, она еще выживет — как ей вдруг захотелось этого, — но в эту же минуту тонкая нить на срубе, которая еще держала рябину, оборвалась, и она тяжело повалилась наземь.

* * *

Полузагруженная арба приближалась к мечети. Пара черных быков, низко опустив головы, медленно шла по привычной дороге. Да их никто и не торопил — сидевший на арбе человек в нахлобученной на глаза шапке мирно дремал. А может, даже и задумался о чем, кто его знает. Поравнявшись с Айшат, быки со вздохом остановились, хотя их никто не просил об этом; впрочем, они хорошо знали своего возничего и привыкли к тому, что он подолгу разговаривает с каждым встречным; для них очередная остановка была неплохим поводом передохнуть немного; они стояли, не открывая глаз, жевали свою жвачку, и Айшат их совершенно не интересовала.

Разговаривать с шестнадцатилетним оболтусом, сыном Чиппо, у Айшат не было особого желания, но ей как-то надо было задержаться у мечети, выяснить кое-что, и встреча с ним показалась ей даже где-то удачной.

— Привет, бедолага. Ну что, отец твой до сих пор еще никак не разрушит стены этой поганой школы, будь она неладна? — обратилась к нему Айшат, чтобы как-то начать разговор.

Отпрыск Чиппо сдвинул свою облезлую шапку на затылок и понуро посмотрел на Айшат. Слово «разрушить», прозвучавшее из уст Айшат, уже давно раздражало его. Весь дул, казалось ему, злоупотребляет этим словом, люди только и заняты тем, чтобы поддеть отца, подчеркнуть тупость и никчемность его занятий: «Чиппо-который-разрушил-мечеть — Чиппо-который-разрушает-школу». Но если в первый раз отец был неправ, то теперь-то он уж точно должен быть прав, ведь сейчас он делает все наоборот? Разве не так? Что им всем нужно: велели, мол, разбери мечеть, а камни и

лес тащи сюда, школу будем строить, — он сделал, велели: тащи обратно, — он тащит. В чем он виноват? Не нравились сыну Чиппо неблагодарные односельчане.

— Тебе не нравится, что «германы» заставляют снова выстроить мечеть? — сразу же прицепился он к Айшат.

— Не дай Аллах, что ты, — оторопела Айшат, мало ли что скажет потом этот безмозглый недоросль, — наши сдуру разрушили мечеть, а «германы» (да не обойдет их милостью Аллах) ее восстанавливают, это же прекрасно...

— Значит, по-твоему, мой отец разрушил мечеть сдуру? — не отцеплялся сын Чиппо.

Айшат не была готова к такому повороту и сконфузилась.

— Почему это сдуру? Ничего не сдуру, твой отец очень умный, грамотный человек, — выдала она из себя наконец.

— Что же тогда значат твои слова? — настаивал отпрыск Чиппо.

— Что, что... А ничего не значат. Он делает то, что ему приказывает бласт, — сказала она раздраженно. Ею овладела досада на саму себя за то, что решила заговорить с этим придурком. Надо было скорее погасить этот недоброжелательный разговор, к тому же еще и в таком оживленном месте; она поспешила отвернуться от этого зануды и обратила свой взор в сторону мечети, словно быков и сына Чиппо вообще не существовало.

Когда немцы распорядились снова восстановить мечеть, никто не выступил против. Хаким с немецкими солдатами лично ходил по дворам, силой сгонял людей на работу. Усилиями девяти-десяти стариков работа кое-как продвигалась, но аульчане были недовольны. «Никто не сделает тебе того, чего ты не стал делать для себя сам, — говорили они. — Если враги заставляют делать это под видом добра, то здесь обязательно скрыт какой-то подвох». Айшат видела, что теперь стены вновь восстанавливаемой мечети не так стройны, пропорции нарушены и кладка делается отвратительно криво. У этой новой постройки не было ничего общего со старой мечетью. В движениях и возне мужчин, работающих там, не было никакой слаженности, они сновали, как муравьи, волокли камни то туда, то обратно, затем, как бы не осилив, оставляли их, начинали возиться с другими. Опомившись, что она слишком долго проявляет интерес к работающим и до сих пор стоит рядом с этим злобным придурком, Айшат собралась идти восвояси. Сегодня утром она покинула жилище не по своей воле и

пришла сюда в надежде встретить Чиппо, выведать, зачем ее вызвали. Но Чиппо среди работающих не было.

* * *

Немецкий офицер стоял у окна, повернувшись спиной к людям, вызванным им сюда накануне. Из окна бывшего правления открывался вид на желтые склоны и горные вершины. Ему нравилось подолгу смотреть на эти вершины, от их созерцания лучше думалось. А дум у него в последнее время было немало. О жизни, о смерти, о могуществе немецкой нации. Ему было искренне жаль, что такие прекрасные места, эти вершины, леса, чистая вода с тысячелетних ледников принадлежат такому маленькому, незначительному, темному народу. Да, в природе допущено немало ошибок, которые еще предстоит исправить. Еще совсем недавно он ко всему относился восторженно, все его радовало здесь, все казалось новым и прекрасным. Он смотрел на эти горы, как на твердыню, на собственную крепость, способную прикрыть его солдат от любых врагов. Но теперь восторг его начал угасать. Недобрые вести доходили до него с берегов Волги, и эти громады вдруг стали внушать ему страх и неприязнь. А что если он останется здесь навсегда, среди бездушных камней, вдали от родины, семьи и друзей? Эти камни поглотят его имя и всякую память о нем. Вместе с тем, если он не погибнет, ему придется уйти отсюда, все это перестанет принадлежать ему; но тогда зачем он занимается этим непонятым народцем, зачем вызвал сюда этих людей. Он вдруг поймал себя на мысли, что даже причину их появления здесь вспоминает с трудом... Ну да ладно, если даже предстоит покинуть эти места сегодня, то завтра они все равно вернуться сюда, а посему то, что он изучает этот народ, — дело нужное, рано или поздно оно принесет пользу Великой Германии, надо различать людей даже в таком примитивном обществе, чтобы уметь разделять их. Ни для кого не секрет, что один изменник в стане врага может принести гораздо больше пользы, чем сила оружия.

Он внимательно присмотрелся к собравшимся: Болат с опущенной головой сидел в углу; рядом его сестры — Хафисат, Жюзюм, Айшат; Даум, бледная, стоит прямо на пороге; Хабла — в другом углу комнаты. Все, кроме Хаблы, очень встревожены.

Он еще не вполне сознавал, чего ему нужно от этих

людей, но что-то похожее на радость мелькнуло в его груди, когда он вглядывался в их лица. Он долго смотрел на Хаблу, но она ничуть не была похожа на сумасшедшую. Напротив, в ее блуждающем взгляде было больше осмысленности, чем в глазах остальных. Немцы – народ открытый, они не скрывают от других всего, что присуще им, ни хорошего, ни плохого, они не постыдились провозгласить себя лучшей нацией на Земле. Но народ, живущий здесь, в этой стране, скрытен до умопомрачения и трудно поддается пониманию. Неужели они и в самом деле хотят выглядеть самыми миролюбивыми и степенными? Что значит «здесь»? Взгляд его устремился в окно: безжизненный массив гор до самого горизонта, – кто бы мог подумать, что когда-нибудь он окажется здесь и увидит этот народ.

– Как ее правильное имя? – спросил он, краем глаза взглянув на Хакима. Ему очень хотелось, чтобы то, что говорил Хаким, оказалось правдой.

– Как твое правильное имя, кто ты на самом деле – Хабла или Халимат? Не бойся, скажи правду. – Приблизившись к ней, заговорил ласково рыжеволосый Хаким тихим голосом. – Никто тебе зла не причинит от того, что твой муж, погибший на войне, был коммунистом. – Действительно, Хаким думал, будто ее молчание связано с этим. Он не мог понять, что имел в виду «апицир», спрашивая так. Ничего не могли понять и остальные; похоже, только сам «апицир» понимал, что происходит здесь.

– Я слушаю, говори. Хабла ты или Халимат?

Женщина подняла голову и взволнованно посмотрела на своих сестер и брата. Те выглядели испуганными и растерянными. Губы и лицо Айшат были бледными, как у покойника; но не того она боялась, что Хабла вдруг скажет – да, я Халимат, я сестра этих людей, – Айшат знала, ей никто не поверит, мало того, все окончательно убедятся в ее ущербности. Халимат понимала тоже: имя у нее отобрали, прослыла умалишенной – обратной дороги нет, обманывать себя и надеяться на невозможное незачем, оставалось только сохранить свое человеческое достоинство. Случись иначе, этот нарядный, аккуратный человек вернул бы ее честное имя, объявил бы всем, что она не сумасшедшая и что напрасно ее мучили все это время – и что тогда? Лучше быть брошенной в грязь своими односельчанами, чем возвеличенной человеком, который пришел на твою землю как захватчик. Да и с земли, за которую сложил голову Кюркмаз, ее пока еще никто не гнал.

– Почему у тебя отняли имя? – офицер опять краем глаза глянул на Хакима.

– Скажи, почему у тебя отняли имя? Почему сестры претендуют на твой дом?

Халимат молчала, опустив голову: «Кажется, через меня он хочет навредить моим сестрам. Или злорадствует, – подумалось ей. – В любом случае ничего хорошего ждать не приходится. Это точно».

– Это правда, что она ваша младшая сестра? – немец, не скрывая сарказма, с улыбкою в уголках губ посмотрел на женщин.

Однако никто из сидящих здесь не решился ответить что-нибудь. Никто ведь не знает, откуда ждать беды. Из каких соображений этот «герман» задает такие вопросы, что он хочет – помочь или ищет причины сотворить зло? Говорить с человеком, обладающим властью, не зная, что у него на уме, – опасно. Даже от собственной народной «бласти» сколько было пострадавших только за то, что не умели держать язык за зубами. Чего ждать от этих иноземцев, пришедших сюда, гремя оружием. Прежняя «бласт» была далеко не красавица, ну а эта тем более – в черных одеждах, с железными лицами, – рассуждал Болат, украдкой поглядывая то на Айшат, то на офицера. – Оттого, что вместо портрета одного усатого теперь висит другой, лучше нам не стало. И те и другие пусть положат себе в карман плоды того, что сделали и собираются сделать хорошего. Нет ничего лучше, чем сидеть с поджатым хвостом да помалкивать. Скажи только слово, как его тут же тысячу раз переиначат. А поди узнай, чего этому подонку надо – скажут: «да, сестра» – одна беда, скажут «нет» – другая. В наше время слова обесценены, их толкуют по своему усмотрению. Если люди той власти умели превратить неосторожное слово в пулю, то эти превратят в бомбу.

– Так сестра или нет? – снова спросил офицер после долгого молчания. Он казался настойчивым, спрашивая со знанием дела, но побаивался услышать правду. Приятно было смотреть на этих вспотевших, страшящихся сказать правду людей. Наконец Болат не выдержал, поднял голову. Он был похож на человека, которого долго мучила совесть, и вот настала минута, когда он уже не в силах больше страдать и твердо решил очиститься... Но тут, встретившись взглядом с Айшат, он вдруг стушевался и снова поник. «Да гори они все ярким пламенем, – подумал он со злостью. – Каждого бояться, каждого избегать, подбирать слова, гово-

речь, не говорить – разве это жизнь. Халимат теперь никто не поможет. Если сказать все как есть, навлечешь позор на всю семью. Виноваты все, больше других старшая. Если решишь помочь младшей сестре, придется поднять руку на старшую, посягнуть на ее авторитет, Айшат не из тех, кто позволяет наступить себе на ногу. Сейчас она стоит тихая, скромная, но никто не знает, что она выкинет завтра. Тем более, когда эти «гости» уйдут». Встань сейчас Болат и скажи: «Да, Хабла наша сестра и имя ее отнято по вине нашей старшей сестры», – разве остальные, презрев Айшат, поддержат его, скажут что у них на сердце? Никогда. Нет доверия, нет единства между ними. Каждый дорожит своей головой.

– Значит, эта женщина – не ваша младшая сестра? Люди лгут, так? – немец поискал взглядом Хакима.

– Это говорю не я один, – торопливо начал Хаким. Немец подал знак рукой, чтобы тот заткнулся; он ждал другого расклада: от него не утаилось, что братья и сестры понуро молчат, потому что боятся Айшат.

– Ты самая старшая здесь? – вновь спросил немец. Айшат не спешила отвечать, выжидала, не скажут ли чего другие.

– Да, она наша старшая сестра, во многом благодаря ей мы стали на ноги, она заботилась о нас с детства, и по сей день в трудную минуту она оказывается рядом, – Болат, глядя то на Айшат, то на немца, говорил несвязно и отрывисто, как будто кто-то спешил его опередить. Некоторые женщины закивали головами, выражая свое согласие с ним. Они не замечали, к чему может привести это подхалимство; вечная привычка льстить и лебезить перед Айшат лишила их благоразумия. Но офицер больше никого не слушал, ему стало легко и весело; приятно было открыть, что эта семья, о добропорядочности и согласии которой ходят легенды, на самом деле оказалась жалким лицемерным сборищем. Он никогда не верил в равенство между людьми, в настоящую человеческую дружбу. Правда состоит в том, что есть сильные и слабые. Равенство и дружба между слабым и сильным сохраняется лишь до тех пор, пока слабый зависит от сильного. Эта превосходная мысль, давно определившаяся в его сознании, получала еще одно подтверждение и давала ему некоторое удовлетворение; все же в этой глуши он даром времени не терял.

Он снова посмотрел в окно на спящих по двору солдат. «Чему я, собственно, радуюсь, – спрашивал он себя, –

можно подумать, вид этой жалкой семьи открыл мне глаза на мир, словно до этого я был слеп и лишь теперь прозрел и впервые увидел в небе солнце. Скукотища!» Он обернулся и со злорадством посмотрел на всех. Он был доволен. Сыновья и мужья сидящих перед ним людей на войне. На войне против Германии. И эти тоже, по возможности, не отказались бы причинить вред нам. Но он уже не мог воспринимать их как людей опасных, как силу. Он даже, как ни удивительно, проникся к ним теплотой, доброжелательно рассматривал их: они еще принесут немало пользы его познаниям и доставят немало удовольствия на досуге. У этих людей горит дом, они сами подожгли его, осталось лишь поддержать огонь, подумалось ему.

Больше всего он был доволен Айшат. Вольно или невольно, но это она раздувала пожар в этой семье. Пришелец был не так глуп, чтобы не заметить этого: каждую услугу, вплоть до глотка воды, оказанную младшим сестрам и брату, она учитывала, постоянно напоминала им об этом, изнуряла их этим. В такой семье не может быть теплоты, потому что младшие тоже имеют права и требуют к себе уважения. Поразмыслив немного, он снова изучающе оглядел Айшат: ее манера держаться отчасти даже загадочна, словно она скрывает некую тайну, со втянутой в плечи, как у вороны, головой, забавляла его.

— Это правда, что в этих местах очень сильно почитание старших младшими?— спросил он, не отрывая глаз от Айшат.

Айшат опять не спешила с ответом, она чувствовала, что «апицир» ведет какую-то свою, непонятную игру и боялась промахнуться.

— Там, где не почитают старших, не может быть нормального общения и жизни, — вставил Болат. Ему ничего не хотелось говорить здесь, но он испугался, как бы Айшат не выкинула чего-нибудь лишнего.

— Хорошо, пусть так, — сказал офицер, — но в чем выражается ваше почитание, скажем, Айшат?

— Говори, в чем выражается ваше почитание, скажем, Айшат, — сказал Хаким, чуть ли не опережая переводчика.

На это никто ничего ответить не мог (или не хотел). Все прятали лица: сколько лет Айшат пьет их кровь, наговаривает на них и утверждает то, что было и чего не было. Давно уже стерлась грань между тем, что она сделала для кого-либо из них, и тем, чего не было вовсе. Чем только они не откупались от ее ига, всю жизнь подметали ее двор, в то

время, как руки Айшат не знали ни веника, ни холодной воды, пора было сказать об этом вслух, да никто не решался. До каких пор благодарность ей будет цвести ненавистью и унижением, или мать, вырастившая их, вскормила всех, кроме Айшат, молоком черного цвета? Но ведь Айшат не давала поднять голову; если клялась, то только их именем, если беспокоилась о личной выгоде, то казалось, беспокоится обо всем народе, если зайдет в дом сестры — тотчас всем становится известно, что она одарила сестру парой шерстяных рубашек («зима больно холодная»); и народ верил, она пользовалась уважением и авторитетом, никому и в голову не могло прийти, что без платы и двойного вознаграждения она не сделает ни шагу. Люди не знали, что за усыновление Крыма Айшат взяла золото, и считали ее святой, как считают всякого, приютившего сироту, — так поставила она себя в миру. И как можно было после всего этого поднять на нее голос? Правильно говорят — молчание — золото, лучше было молчать; вон, Халимат пыталась перечить ей, и что с нею случилось. Вместе с тем нельзя было забывать, что того, кто жалуется или пытается повздорить с ближним, Аллах не любит, да и люди особо не жалуют, эта истина известна всем, не забывали ее и в семье Айшат.

— А тот дикий, необузданный конь, чей он? — снова заговорил офицер.

— Конь? — оживился Болат, — да кому он нужен, такой конь; его ни в арбу запрячь, ни верхом сесть, любому из нас лучше иметь осла, чем такого коня... — Болат посмотрел на Айшат, ища поддержки, он не знал, как обезопасить себя, отвечая на вопросы проклятого «апицира». Если сказать, что это наш общий конь, потому как мы — одна семья, — подумает, горжусь. А гордиться сейчас никак нельзя, никто не любит гордыни, прошлая «бласт» тоже не любила, она не терпела даже прилично одетого человека, ее раздражала опрятная одежда на простом человеке, хорошая шапка и пояс. Болат помнил, как его неожиданно без видимых причин вызвали в «правлен».

— Ты что это, раз бухарскую шапку на лоб напялил, так теперь с выпяченной грудью по улицам ходить будешь? — набросился на него краснощекий Чиппо прямо на входе.

За столом, накрытым красной скатертью, сидели Хаким и еще один из районного начальства. Ахмата, зятя Болата, не было; «видимо, ушел куда-нибудь, чтобы не вмешиваться в неприятный разговор с родственником», — подумалось тогда Болату.

– Вообще-то, в том, что я ношу шапку, ничего постыдного нет. Стидно без шапки ходить мужчине, – сказал Болат.

– А что, обязательно в синей бухарской шапке красоваться? От простой у тебя живот закрутит? – Чиппо алчно посмотрел на украшенный серебряными подвесками пояс Болата. – Знаем мы, что значат шапки цвета волчьей шкуры для народной «бласти».

– Какая разница бласти, какую бы шапку я ни надевал?

– Большая! – крикнул Хаким, положив на красную скатерть крепко сжатые кулаки. – Мы ничем не хуже тебя, однако, как видишь, таких шапок не носим.

Болат обратил внимание на маленькую приплюснутую папаху Хакима, облезлую и изъеденную молью со всех сторон: «Как носить то, чего нет», – хотелось сказать ему, но он, конечно же, промолчал.

– «Совет бласт» любит равенство, тот, кому не нравится справедливость и равенство – враг народа, а ты ходишь, выпятив грудь, прибарахлился, словно весь аул – потомство твоего отца, – зло сказал Чиппо, не сводя с него глаз.

– У меня такая стать и походка, и я оделся в то, что имею: тебе-то какое дело до этого? Или, может, я виноват в том, что ты такой недоношенный, – Болат смотрел на Чиппо сверху вниз, как на подростка. Чиппо тотчас понял, губы его задрожали, он никогда не подходил близко к рослым людям, дабы не подчеркивать своего малого роста, но сейчас, видать, немного забылся и уткнулся Болату в самый кадык. Резко повернувшись, Чиппо отошел к столу и посмотрел на Болату таким взглядом, точно собрался испепелить его.

– Те головы, которые не опускаются перед «бластью», будут отрублены, знай это, – сказал он наконец.

Впоследствии Болат привык не высовываться и выглядеть жалким, и его больше не трогали, не донимали ненужными вопросами. И новая власть, пришедшая с немецкими войсками, не лучше предыдущей: с ней надо вести себя куда более осторожно, а конь... что конь, голову, что ли, прикроешь этим конем, пусть подавятся им... Вдруг Болат заметил носки сапог прямо перед собою. У него часто забилося сердце, не зная, как быть, в скоротечной панике и страхе он решил, что лучше всего сказать, что конь Хаблы... Да, но тогда придется признать, что Хабла их сестра, член их семьи... Врать очень опасно – все равно где-нибудь проколешься; Болат весь сжался, ссутулился и еще глубже втянул голову в плечи: «Оставьте меня в покое, я человек ма-

ленький, раздавленный, жалкий и несчастный», — хотелось ему крикнуть.

Надраенный до безукоризненного блеска носок офицерского сапога начал нервно постукивать.

— Зачем нам лошадь, которой нельзя пахать землю, не нужна нам она, — начал он дрожащим голосом.

Офицер несколько раз прошелся по комнате: странно, никто не хочет признать себя хозяином коня, что это значит? Почему они стремятся обмануть меня даже в этом?

— Это наш конь, — неожиданно сказала Хабла. Было похоже, что она только сейчас поняла, о чем идет речь.

Все посмотрели на нее с изумлением, словно заговорил брошенный в углу, давно забытый неодоушевленный предмет.

— Эта женщина говорит, что конь принадлежит им, — сказал Хаким, — повернувшись к офицеру.

— Что значит «принадлежит им»? — переспросил тот.

— Что значит «нам»? — спросил Хаким у Хаблы.

— Это конь Крыма, раз до тебя не доходит слово «наш», — Хабла давно уже хотела заговорить об этом, но ждала, пока выскажется Болат; но раз этот олух предпочитает осла, то пусть теперь заткнется и сидит смирно.

— Не слушай ее, «герман», она сумасшедшая, — засуетилась Айшат, сверкнув глазами в сторону Хаблы.

Офицеру совсем ни к чему было объяснять, сумасшедшая Хабла или нет, его так и подмывало сказать, что если среди всех вас, собравшихся здесь, есть хоть один нормальный человек, то это Хабла, но цель у него была другая, дело складывалось лучше некуда, и он продолжил:

— А Крым, кто такой есть Крым?

— Мальчик-сирота, — ответил Хаким, — тот мальчик, который умеет обуздать свирепого коня. Он постоянно ошибается с этой полоумной женщиной.

— Значит, владелец коня — этот мальчик? — в голосе офицера послышался гнев, отчего все присутствующие съежились. «Бойся того, кто рождается позже», — эта поговорка почему-то промелькнула в его памяти. Но не рождались еще люди, способные утратить арийцев... Однако он совсем запутался: кто кого все же пытается одурачить в этой неразберихе?

— Не позже чем завтра конь должен стоять привязанным во дворе вашей старшей сестры, — сказал офицер, окинув всех строгим взглядом.

— Алакёз не тот конь, чтобы обретаться в чужом дво-

ро, — спокойно сказала Хабла, не обращая внимания на всеобщее оцепенение.

— Что она имеет в виду? — спросил офицер.

— Что ты имеешь в виду? — повернулся к ней Хаким.

— Я говорю, Алакёз — не простая тягловая скотина. Он знает свое место и пользуется любовью всего аула, — сказала Хабла.

— И что же, жители аула тоже так считают? — с интересом спросил офицер.

— Да ну что вы, она сама не знает, что мелет... — начал было Хаким, но офицер знаком руки остановил его. Он внимательно смотрел на Хаблу, ожидая, что она скажет еще, ведь она уже переступила границы, predeterminedенные им самим. И возможно, на ее примере он наглядно покажет, что в этих местах уже никто не должен распоряжаться имуществом и мыслями по своему усмотрению, каждый обязан довольствоваться тем, что ему будет предоставлено с соизволения немцев, что они теперь закон и новый порядок — здесь и во всем мире. Офицер почувствовал возрастающее раздражение. Все это: и полоумная женщина, и чертова лошадь со своим трехсотлетним возрастом, и эти люди, и полицаи, — буквально все начинало бесить его.

От Хаблы тоже не ускользнули раздражение и побледневшее лицо офицера. Но она ничуть не испугалась. Точно так же бледнели и выходили из себя представители прошлой власти.

* * *

В тот день Халимат находилась в этой же комнате. Кабалось, ничего не изменилось с тех пор, если не считать поменявшихся портретов вождей. Чин, прибывший из областного управления, был даже куда более злым и бесцеремонным, нежели этот «герман», стоявший теперь перед нею. Это был грубый человек, не имеющий, казалось, никакого представления об этике, принятой в горах и свято соблюдаемой каждым горцем. Когда Халимат вошла, он даже не приподнялся с места, так как пребывал в глубокой, как казалось со стороны, задумчивости.

— Эй, парень, ты меня вызвал? Говори быстрее, что тебе нужно, мне надо спешить, я занята. — Халимат срочно вывалила с поля, где она с другими женщинами занималась прополкой, и ей было неловко перед ними: хотелось быстрее вернуться на работу.

– Спешить, говоришь, надо, – усмехнулся представитель власти, рыжебородый широколицый человек с плешью на голове. «Некуда больше тебе спешить», – хотелось бы добавить ему, но он промолчал. Ему очень не понравилось, что эта женщина не проявила ни малейшего страха или хотя бы подобострастия. Он не помнил, чтобы в каком-нибудь ауле кто-нибудь из встретившихся с ним в последнее время не говорил бы с ним с дрожью в голосе. Люди боялись, унижались перед ним, ему нравилось это, и он привык к этому.

– Тот, кто спешит, обычно и говорит невпопад, – сказал рыжебородый. По всему было видно, что он очень недоволен. – Особенно это не подобает женщине.

– Сидеть перед женщиной тоже подобает не каждому, – ничуть не смутившись, отвечала Халимат.

– Я смотрю, ты бойкая женщина, – глядя на нее с ложным восхищением, сказал гость. – Интересно, а за свою антигосударственную деятельность ты будешь отвечать так же бойко?

– Что это ты такое говоришь, наилучший из рабов Аллаха, о каких таких делах против государства? – забеспокоилась Халимат. – Могу поклясться, тот, кто сказал обо мне такое, болен.

– Ты лучше ответь мне, с какой целью скрыла в своем дворе коня в то время, когда все собирали лошадей для Красной Армии? – сказал допрашивающий, всем своим видом показывая, что игры закончились, и пора говорить по существу.

– Что ты говоришь, любимейший из рабов Аллаха, мы никакого коня не прятали. Или ты говоришь об Узунбеле? Так его давно уже забрали и увели.

– Какой еще Узунбель?

– Как, ты не знаешь Узунбеля? Так его знают во всех пяти балкарских обществах, нет человека в горах, который бы не знал его!

– Да делать мне нечего, как знать вашего Узунбеля.

– Да знаешь ты, не местный, что ли... его у нас забрали и отдали в пользование очень большому грозному начальнику, там, в райцентре. Говорят, подрезали ему теперь хвост и гриву.

Не зная, как теперь рассматривать ее слова, рыжебородый заколебался. Он еще никогда не встречал такую горянку, хотя и слышал, что бывают горянки весьма острые на язык.

Ему казалось, нельзя воспринимать ее слова за шутку, но и всерьез как-то не вязалось. Может, она ненормальная, и над ним действительно решили подшутить? От негодования и беспомощности у него на лбу выступил пот, он зло посмотрел на Халимат.

— Как ты смеешь называть представителя власти большим грозным начальником?..

— Забрали такого прекрасного коня и обезобразили его до неузнаваемости, — продолжала Халимат, не обращая внимания на слова гостя. Что-то подсказывало ей, что она видела этого человека, но вспомнить, где именно, пока не удавалось.

— Сдается мне, ты тут расточаешь столько сладких слов по поводу какого-то Узунбея и унижаешь при этом достоинство представителя народной власти. Или речь идет не о простейшей скотине, может, у твоего коня были золотые рога?

— Не то что золотые рога, — весь он до кончика хвоста был золотым. Его родословная насчитывает более трехсот лет. Было бы куда лучше, если бы человек, подрезавший ему хвост и гриву, отрезал бы голову своего отца, — сказала Халимат. «Где же я могла видеть этого человека? — думала она тем временем. — Вроде не злобивый, глаза добрые, как у теленка, хоть и выпученные, что ему нужно от меня?..»

— Значит, это ты распространяешь «контрреволюционные» разговоры, — сказал гость, слегка прищурившись. Теперь, после ее слов, он не сомневался: перед ним в облике женщины стоял отъявленный враг народа. Колхозный ток она воспринимала как свою собственность, никак не хочет смириться с коллективизацией и конфискацией скота в пользу колхоза. Такие и держат зло на бласт.

— А что, Узунбель, наверное, вашим был?..

— Да, он был наш. Но его любили все, он считался гордостью всего аула.

— С тех пор, как бласт перешла в руки трудового народа, прошло неполных двадцать лет. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, родословная коня тянется триста лет? — Рыжебородый человек приподнялся над столом и приблизил свое лицо к Халимат. Что-то ускользало от него, он мучился, стараясь понять, что.

«Где же я его видела, — все напрягая память, думала Халимат, — где? Или я что-то путаю?»

— Не триста — тысячу лет, — сказала она.

— Ты зря дурачишься, — оторопев, проговорил рыжебородый.

– Дурачится тот, кто так думает, – отвечала Халимат.

– Новой бласти нет еще двадцати лет, что ты себе позволяешь!.. Да ты просто насмехаешься над ней! – сказал рыжебородый.

– Надо быть крайне глупой, чтобы скрывать то, что знают все, – сказала Халимат.

– Да, но кто говорит «не знаю», тот избегает тысячи бед, об этом тоже не забудь, – злое ще улыбнулся рыжебородый.

– Ты прав, у того, кто говорит «не знаю», голова не болит, зато она болит у тех, кто его окружает.

– Ладно, пусть так, но ты так и не ответила мне, с какой целью распространяешь контрреволюционную агитацию, что ты имеешь в виду, когда говоришь о тысячелетнем возрасте Узунбеля?

– Я же ясно сказала тебе.

– Что ты сказала?

– Такие, как ты, пытаются сделать безлошадными и бласт, и народ, – сказала Халимат.

Рыжебородый покраснел и снова покрылся испариной. Так дерзко с тех пор, как он вступил в НКВД, с ним еще никто не разговаривал. Надо было как-то заткнуть эту женщину.

– Значит, ты считаешь, тысячелетний Узунбель для тебя завещан из прошлого? – рыжебородый внимательно посмотрел на Халимат.

– Он завещан всем нам, – сказала Халимат.

– За всех не говори, нас устраивает ездить и на двух-трехгодовалых лошадях, – с ехидством сказал он.

– Ты хочешь сказать, бласти нет никакой разницы, на чем ездить – на коне или осле? Разве бласть не хочет, чтобы люди ездили на хороших, благородных лошадях?..

– То, что хочет бласт, тебя не касается. Но она не позволит, чтобы одни ездили на тысячелетнем Узунбеле, а другие на ослах.

– Тому, кто не в состоянии вырастить коня, придется ездить на осле.

– Равенство – это не для тебя.

– Хорошее от плохого не отличает только смерть. Что до меня, то считаю, что питайся хоть отрубями, но конь под тобой, должен быть сытым, здоровым и отменным скакуном... – сказала Халимат и умолкла на полуслове. Ей неожиданно вспомнилось, почему лицо этого человека так зна-

комо ей. Да, сомнений не оставалось, это был он. И как она только могла забыть такого пса?

— Прошу прощения, твое имя случайно не Ханафий? — неожиданно сменив тему, спросила она.

— Ханафий, ну и что же? — насторожился рыжебородый.

— Ничего, ничего, просто полюбопытствовала, — быстро ответила Халимат и отвернулась. Как я могла разговаривать с таким человеком, — начала она казнить себя, глядя в окно. — Даже находиться около него — позор! Никогда не роняла лишнего слова, а тут, как прорвало, с чего это на нее напала такая болтливость сегодня! И кому она высказывает свои душевные боли, кому плачется! — Халимат терзалась, не в силах простить себе этого.

* * *

Жарким днем, когда седобородые старцы, сопровождаемые конвоем, появились у дороги, Халимат вместе с другими женщинами аула копновала сено на покосах, прилегающих к реке. Многие слышали тогда, что за открытое несогласие с разрушением мечетей арестовывают и увозят служителей ислама, но что их будет так много и конные будут гнать их по крутым дорогам с криком и руганью, словно домашний скот, никто не ожидал.

Это было жуткое зрелище: грязные измученные эфенди сидели на камнях, в тени деревьев, некоторые застыли и остались стоять там, где остановились, словно истуканы, не двигаясь с места. Всадники из НКВД собирали их по одному с каждого аула, начиная с Верхнего, и сейчас, после двухдневного пути и ночевки в горах у дороги, остановились в низовьях аула Кургак. Разговаривать запрещалось, на их лицах были написаны покорность и смирение, они знали, что обратной дороги нет, никогда не увидят им больше своих жилищ, но от судьбы никто не уходит, и если всемогущий Аллах, создающий и разрушающий, послал на их долю страдания, они безропотно примут их с верою и сполна. Не было смысла с кем-либо спорить и доказывать свою правоту.

В эту минуту одна из женщин подала бурдюк с айраном, вторая подставила деревянную чашу, но не успела она наполниться, как один из вооруженных людей толкнул ее стволом трехлинейки. Чаша опрокинулась, и айран вылился на лицо и грудь женщины.

— Чтоб у тебя из рук опрокидывалось то, что подает тебе

мать, как ты обращаешься с женщиной, или твоя мать не горянка!— высокий худощавый эфенди поднялся на ноги и рванулся к солдату.

— Ни с места!— солдат упер штык в горло старику.— Прости времена, когда ты мог умничать и брехать. Не двигайся, я сказал!

— Алий, успокойся, не натравливай их на себя,— вмешался один из сидящих поблизости стариков.

Услышав имя худощавого старика, люди, собравшиеся здесь — кто из жалости, кто из любопытства,— онемели, все взоры обратились к нему, ибо этого человека хорошо знали во всех пяти горских обществах. Эфенди Алий был благородный, хорошо образованный человек, пользующийся всеобщим уважением за доброту и за свои дела. Все свое состояние он положил на просвещение молодых горцев, и когда у него не осталось средств отправлять в города наиболее способных парней и оплачивать их учебу, его делом стало обучать грамоте аульских детей.

— Уймись, не делай того, в чем потом будешь раскаиваться. Все мы смертны и легко обманываемся обстоятельствами,— сказал Алий, удрученный произволом. Но всем уже давно было ясно, что толку от слов будет мало.

— Собака, не умеющая гавкать, пустит в дом вора, но такие, как ты, находят себе на голову десятки бед. Отойди и сядь на место,— крикнул солдат.

Да, от этих людей с красными петлицами иного ждать не приходилось. Они были из тех, кто не может содержать даже собственную голову, говоря при этом, что лучше съесть яйцо сегодня, чем размышлять о завтрашней курице. Не мудрено, что в горах распространилась нищета, когда они пришли к власти, невежество и власть — вещи несовместимые. Алий еще раз посмотрел на караульных: троих из них он знал в лицо, эти ребята были с низовий, бродяги и негодяи в прошлом; удивительно, на что рассчитывала новая власть, когда, сломив шею богатым, положились на них? Изничтожением лучших занимались сегодня именно они. Им никогда и в голову не приходило, что бедность и неуважение людей они испытывали из-за собственной лени, им казалось, виноваты те, кто хорошо одевается и чьи дети всегда сыты, — вот кому они теперь мстили. Наступило время — время всеобщего бесчестья и произвола. Вместо того, чтобы сказать: свобода, работайте, создавайте себе достаток, говорили — вот они, ваши враги, их земли плодородны, их

коровы приносят много молока, из-за них вы, обездоленные, страдали всю жизнь. Превратить человека в бешеную собаку легко, но вернуть к человечности...

— Ханафий, ладно, успокойся, остуди свою кровь, — сказал кто-то из стариков, обращаясь к готовому выстрелить парню, уткнувшему штык в горло Али.

— Место, где будет остывать ваша кровь, я покажу позже, — отвечал Ханафий, не шелохнувшись. На вид ему было лет двадцать шесть, парень среднего роста, с рыжей порослью на широком лице. Алию показалось, что он знает его отца, и тот был батраком на его подворье, он решил спросить его об этом, но ему помешали вопли, рыдания и плач, который подняли женщины: солдаты привели Темукку, отца Халимат и эфенди аула Кургак.

Когда дочь подошла к отцу, Ханафий схватил Темукку за одежду и толкнул его в сторону.

— Разве ты рожден не человеком, дай поздороваться с дочерью.

— Поздороваетесь в аду.

Сельчане, родственники, знакомые собрались у дороги. Но стариков вскоре увели и больше их никто никогда не видел.

* * *

Эти воспоминания переполнили сердце Халимат. Перед нею, удобно устроившись, сидел настоящий мужлан, отъездивший себе большую сытую морду, не имеющий даже малейших понятий о приличиях, не говоря уже о том, как разговаривать с женщиной. Вместе с чувством горечи и отвращения в ней начало пробуждаться чувство собственного достоинства. Нет, она не будет уподобляться этому мужлану, нарушать дозволенные приличия, оскорблять и говорить непристойности. Но она приложит все усилия, да поможет Аллах обрести остроту красноречия, она покажет ему, кто есть кто и кто чего достоин.

— Что-то в последнее время развелось много всякого люду, желающего заменить таких красавцев, как Узунбель на олов, — сказала дочь эфенди Темукку, не отрывая глаз от человека с красными петлицами. Ей было отвратительно сытое лицо этого человека. И откуда они берутся, эти люди? Среди разных чинов, появляющихся в последнее время в ущелье, Халимат ни разу не видела достойного человека, все они свысока и развязно разговаривали с женщинами и

крестьянами, не бывавшими дальше своих пастбищ, были алчны и прожорливы, но даже ребенку была заметна их беспредельная глупость и подлость.

— Сестренка, — проговорил Ханафий, помолчав немного, — ты теряешь чувство меры. Послушай, что я тебе скажу: в наше время лучше ездить на осле, — упадешь — ничего с тобою не случится; но когда упадешь с такого коня, как Узунбель, обязательно сломаешь себе хребет.

— Да, таким, как ты, действительно лучше довольствоваться ослом... да и вести себя тоже надо ослом, иначе не допустят к бласти.

Ханафий вдруг расхохотался: ну кто теперь заступится за эту несчастную после таких-то слов! Ведь он ее просто уничтожит! Она поступает, как та курица, что, ковыряясь в помойной яме, нашла нож для собственной глотки. И ведь это зачтется ему по службе — он разоблачил еще одного врага народа.

Напрасно все считают его таким глупым, ведь он понимает: чтобы сохранить свою голову, нужно постоянно сносить чужие, он все понимает — что поделаешь, время такое. Образования он не получил, да и получить было негде, ничему не научился, что ж, зато усвоил законы времени, на службе и «сабет бласти» он пригодится. Он знает, что ей от него нужно, зачем ему учиться, учатся такие вот, как она, и ее щенята, ну и что, образование не спасет их. Напрасно сельчане смеялись над ним, теперь от одного его имени вздрагивают.

Ханафий (Хамалай, как его называли) с приятным ознобом подумал о тех девушках и женщинах, с которыми ему удалось поразвлечься здесь. Они даже не сопротивлялись, как они могли сопротивляться, если он губил их отцов и братьев и мог с легкостью губить еще и еще... «Эх, «бласт», родная моя! К какой счастливой черте подвела ты таких обездоленных, как я, я должен молиться на тебя, и как я могу стерпеть любое поползновение на тебя. Нет, родная моя, процветай, пощады не будет никому...» Легче, чем зарезать курицу, было Хамалаю уничтожить любого человека, ну а с этой — он оценивающе измерил Халимат с ног до головы — с этой повременим, с такой красавицей, белой костью к тому же, развлекаться ему еще не приходилось.

Теперь ему страстно хотелось подавить волю Халимат. В какой-то момент он порывался даже силой прижать ее —

как говорится, если кобылке хорошо съездить по морде, она сильно играет хвостом – так легче седлать, но что-то сдерживало его, что-то сильно отличало ее от женщин, которых ему до сей поры приходилось допрашивать. И разговаривала она слишком уж дерзко, можно ли рассматривать ее слова, как слова спятывшей, или представить их как «контриволюцияны агитация», он пока для себя не решил. Может, будет удобней представить начальству ее слова о тысячетелетней породе Узунбея, которым она так гордится? Ведь всем известно, и Иван Терентьевич, начальник окружного НКВД, так говорит, что до «эриволюции» ничего путного быть не могло, «подлинни испрабедлибост» и все самое лучшее возникло лишь после «эриволюции». Как же она смеет утверждать такое! Но тут вдруг ему в голову пришла мысль, от которой его охватила дрожь, и вспотевшие ладони прилипли к столу: ведь он все это выслушал, и его привлекут к ответственности вместе с нею, за предательство! Если при нем, работнике НКВД, кто-то осмелился говорить такое, значит, здесь что-то нечисто! Надо заткнуть ей глотку! Но как? Раз она говорит так легко, значит, слышит все это от сельчан. Такие сельчане не могут не быть врагами народа. И что он здесь делает, почему не борется с ними, или он так ленив и мягкотел, что не может искоренить это исчадие «контриволюции»? Вообще, странные эти дикари, живущие в ущельях. Говорят все, что вздумается, без страха и сомнения, не понимают, что им принесла «эриволюция», не осознают, что бы с ними стало, если бы не великий братский русский народ. Сам-то он давно все понял: как только вступил в ряды НКВД, оставил свою темную жену – балкарку с двумя чуждыми великому народу детьми и женился на русской. Этот дикий темный народец никогда не научится ценить плоды «эриволюции», но заткнуть, заставить их перестать говорить о дореволюционной жизни – это его прямой долг. Так говорит и Иван Терентьевич.

– Значит, и жители аула так думают? – сказал Хамалай, обдумав и решив разоблачить всех.

– О чем и как думают? – не поняла Халимат.

– Ну этот... Узунбель, как его там... ну, что этой бедовой лошади тысяча лет. Кто распространяет такую агитацию? Эта глупость исходит от тебя самой или так считает все село?

– А что, сельчане никогда коней не выращивали, что за вопрос? Горцы всегда стремились ездить на лучших лоша-

дях,— сказала Халимат устало и сделала движение уйти. По-видимому, она потеряла интерес к этой пустой болтовне. Вряд ли бы ей удалось уйти теперь, но женщина не замечала игры в кошки-мышки. Хамалай не внушал ей ни малейшего страха, несмотря на то, что явился сюда по ее душу.

— Да, конечно, слышал и я, еще пещерные балкарцы в чабурах, набитых травой, всю жизнь с иноходцев не слазили... мне интересно, расскажи еще что-нибудь,— с улыбкой добавил Ханафий.

— Слушай, а ведь ты тоже балкарец, для чего ты глумишься над своей родиной?

— Я не балкарец,— зло крикнул Ханафий, вскочив на ноги.

— Тогда кто же?

— Я интернационал, раз уж ты хочешь знать. Ясно?

— Кто-кто?— Халимат не поняла.— Что за слово?

— Ты враг народа, а я его друг. Вот что значит это слово,— сказал Хамалай, выждав немного.

— А почему я враг народа?

— Ты оставь пустопорожнюю болтовню и отвечай по существу: кто внушил тебе эту опаснейшую агитацию о тысячелетней истории коня? А? Отвечай!

— Я не понимаю твоих слов, я не понимаю, что нужно тебе и твоей бласти, и почему она решила полагаться на таких оборванцев, как ты,— ответила Халимат.

У Хамалай побелело лицо. Лучше всего было бы сейчас пристрелить эту женщину, но он боялся, что не сможет после этого выбраться живым из аула, и решил переждать. Смягчившись немного, он заговорил заново:

— Не ищи себе неприятностей, ни к чему они молодой женщине. Ты видишь, мы можем уничтожить любого, кто посмеет мешать нам, и за один день мы перечеркнем все, что накапливалось тысячу лет, не то что твоего Узунбея.

— Что ж, попробуй поймать орла в чистом небе... но вряд ли. Ну а мы как-нибудь переживем; говорят, отнимешь последнюю корову у человека трудящегося, он найдет себе еще, а бездельник съест свою, если и не отнимешь.

— Может и съест,— согласился Хамалай, не понимая смысла сказанного,— однако нам не нужны иноходцы, выращенные всякими князьями и их приспешниками. Нам нужны тягловые лошади, вскормленные новой «бластью».

Оба смолкли. Ханафий был горд, ему казалось, он подобрал нужные слова, чтобы подавить эту строптивую жен-

щину. Халимат понимала, что ничто и никто не поможет ей предотвратить беду, коль скоро она нависла над нею. Ей нечего было сказать. Некому жаловаться.

* * *

С тех пор прошло четыре года, а может и пять, и какая разница, вздохнула Халимат. Моргнуть не успеешь, как проходит уйма времени, а люди не меняются, жестокие остаются жестокими, беспомощные – беспомощными. Форма одежды и опознавательные знаки представителей «власти» менялись уже третий раз, а люди оставались такими же неприкаянными, мыкались, словно слепые котята, не находя себе пристанища, и никому не было до них дела, кроме как взять с них что-нибудь. Прошлая «власть» не отказывала себе в удовольствии попить крови простых смертных: если в левой руке у нее был калач, то правой она нарезала ремни со спин этих несчастных. Халимат сдавило горло от обиды, болело сердце за себя и людей. О ком она думала? Об отце, о потерявшемся Ахмате? Или она думала о любимом муже? Где он сложил свою голову, защищая любимую «власть» от врагов, в какой канаве покоится его белое тело, брошенное на растерзание птицам и псам? Ни одного достойного человека не оставила она в ауле – одних уничтожила, других отправила на смертный бой с этими. А под конец и сама исчезла. Хотя какая разница: вот пришла другая «власть», обе они как две ноздри одного свиного рыла... Халимат, опомнившись, оглядела немцев: удивительно, как похожи охранники и холуи у тех и других, и как она раньше не обратила на это внимания? Интересно, а что думают остальные? Она посмотрела на своих сестер и даже чуть было не спросила их об этом; но вовремя остановилась: их мысли были далеки от того, что волновало сейчас ее. Нет, внешне и повадками Хамалай совсем не похож на «апицира». Хамалай бросался на людей, как волкодав, к миске которого притронулся посторонний. Бешеный пес. А этот спокоен, но его спокойствие – приставленный к горлу нож. Общее в них – это устремления. Им нет дела до человека, справедливости, да и народ согласен лизать лед, когда «власть» пьет воду. Что делать, народ теперь сирота, а обидчиков у сироты всегда хватает.

Халимат с интересом наблюдала за манерами и движениями немецкого офицера. Последний никуда не спешил, ему ничего не стоило одним словом привести в ужас всех

этих людей и прекратить разговор, а если понадобится, просто всех расстрелять. Но это было бы слишком простым решением, ему хотелось заставить их преклониться перед собою, перед новым порядком. Ему хотелось силой слова сделать то, что не удавалось большевикам, планомерно уничтожавшим этот дикий народец, разбросавшим его по тюрьмам и лагерям. Не знающим свободы неведома ни красота, ни просвещение, но эти люди, отупевшие в неволе, все еще смеют рассуждать о собственном достоинстве. Надо внушить им, что они не общество, что они ничто, и тогда они перестанут задумываться, кому служат и зачем. Его удручало то, что в этих мрачных местах люди, добывающие хлеб, чуть ли не собственными лбами распибая камни, могут гордиться лошадью, породу которой лелеяли триста лет. И напрасно эта остроносая женщина пытается внушить ему, якобы сестра ее тронута умом. Это далеко не так, и они оба знают об этом.

— Значит, и ты полагаешь, что родословная Алакёза тянется более трехсот — или сколько там говорят — четырехсот лет? — снова спросил офицер, обращаясь к Айшат, чувствуя в ее ответе интересное продолжение разговора.

— Как я могу полагать такое? Как, откуда к нам мог попасть конь с родословной в триста лет? Мои младшие сестры сами не знают, что говорят, что они могут знать, если еще вчера держались за мамино платье, — сказала Айшат, пожав плечами. — Она была уверена, что говорит то, что от нее требуется, большевикам такие речи нравились тоже.

— А люди, — оживился офицер, — люди в ауле почему говорят об этом?

— А что люди? Люди рады подхватить и умножить любые сплетни.

— Ну, а вы что думаете? — неожиданно обратился он к остальным сестрам.

Те встрепнулись. Разумеется, сказать им было нечего. То, что устраивало предыдущие власти, они говорить научились, но что надо этим, пока еще не могли разобраться.

Пока те собирались с мыслями, офицер заговорил снова:

— Имеются ли еще в вашем ауле семьи, у которых есть такие породистые лошади, как Алакёз? — на этот раз его глаза были направлены на Болат.

Болат расправил плечи; хотелось выложить всю правду — все-таки он мужчина, отец семейства, уже и жизнь проходит, а он в забитости своей так ни разу и не поднял

головы, — но привычные чувства взяли верх — спокойствие и безопасность души лучше твердого мужского слова.

— Да что вы на самом деле! Многоуважаемый господин «апицир», я же говорил вам, в этих местах люди предпочитают ездить на ослах, нам ни к чему красоваться на иноходцах, да и не перед кем... мы несчастный, Богом забытый, затерявшийся в этих скалах народ.

От удовольствия лицо офицера потеплело. Интересно, как быстро большевики научили их унижаться. Так легко было внушить им, что это они, большевики, вытащили их из дерьма, просветили, привезли керосин и сделали похожими на людей. И если бы не слова Халимат, разговор скорее всего закончился бы на хорошей дружеской нотке.

— Зря ты так говоришь, — сказала она, словно бросив камень в тину. — В нашем ауле едва ли найдется семья, у которой не имелся бы скакун не хуже Алакёза. — Соврав так, она с удовольствием посмотрела в наполняющиеся яростью глаза офицера: «Будь ты проклят».

Сестры посмотрели на нее, будто желая испепелить ее. «Сумасшедшая дрянь, ты хочешь, чтобы нас всех отправили на тот свет разом», — говорили их глаза. Первой, как всегда, обрела дар речи Айшат.

— Пусть слова этой несчастной не станут причиной твоего гнева, «апицир». Разве ты не видишь, она не ведает, какую чушь говорит.

Болат закивал головой, с сожалением глядя на Халимат.

Офицер подошел вплотную к Халимат и оглядел ее долгим пристальным взглядом. Затем отошел к окну и отвернулся. Несмотря на статую и стройную фигуру, легкая сутулость выдавала его невеселое расположение духа. Ему надоели и наскучили эти бесконечные разговоры о коне и размышления на предмет сломленности-несломленности национального духа этого народа, каким-то образом выживающего в этих скалах. Не было в душе спокойствия, не было надежды на лучшее, как раньше, одна тоска, — тоска и грусть, и плохие вести... Когда он снова оглянулся и осмотрел присутствующих, ему вдруг вспомнились любимые слова большевиков «дружба» и «братство». Что он, немецкий офицер, может сделать им худшего, чем уже сделали большевики? А эту — он поглядел на Хаблу — стоило бы прочесть, да не охота связываться с женщиной, прославившейся умалишенной: без единого слова он вышел из помещения.

Если рядом никого из соседских мальчишек не было, Крым по своему обыкновению молился у задней стены кладовой. «Аллах, великий и всемогущий, не оставляй своего сироту, — шептал он слова, слышанные от взрослых, — я не прошу, чтобы ты поил меня из Золотой чаши, я прошу, огради моего Алакёза от «германа» и Чиппо, отведи от него пулю, а от волков он уйдет сам. Мне нечего принести тебе в жертву, у меня больше нет красного алыча, но я ведь не прошу, чтобы ты поил меня из Золотой чаши, спаси моего Алакёза и оживи мою маму, превратившуюся в дерево, всели в нее душу, чтобы она могла прийти ко мне». Крым не заметил подошедших и собравшихся рядом теток и Болата, обернувшись на месте несколько раз, он тихонько открыл глаза и посмотрел на склон, где, держа за руку малыша, стояла его замороженная мать. Она не приблизилась к нему, мало того, даже отдалилась, видимо, она забыла своего сына, а может, как говорит Айшат, матери у него никогда не было, и его нашли под камнем. Опечалившись окончательно, он присел на корточки и увидел, наконец, своих родственников, сбившихся в кучу и изумленно глазающих на него.

— У ненормальной женщины не может быть нормального сына, — вздохнула Айшат, — сами видите, чем он занимается.

— Бедняга, его-то Аллах за что наказывает, — прослезилась Хафисат.

— Воспитывать такого — все равно что гореть в аду, — продолжала Айшат.

— Наверное, тяготы, связанные с воспитанием мальчика, все же не перевешивают тяжести взятого тобою золота. — Жюзюм всегда была рада укусить Айшат, ее бесила наглость этой женщины, обворовавшей сестру, а затем прикидывающейся измученной воспитанием ее сына, якобы недоумка, вместо того, чтобы быть благодарной судьбе и Аллаху.

— А тебе только и осталось, как болтать, — огрызнулась Айшат.

Все с сочувствием смотрели на Крыма, который, в свою очередь, тоже смотрел на них, не отводя глаз. Несмотря на свой возраст, он понимал, что его ближайшие родственники равнодушны к нему, и, может, поэтому глаза его были полны слез. С тех пор, как мать его превратилась в дерево, он перестал слышать от них добрые, нежные, подбадрива-

ющие слова, а Болат – тот вообще проходил мимо, делая вид, что не замечает его, хотя Крым видел не раз, как он разговаривал и весел с другими мальчишками и как угощает их сахаром и калачами. Крым уже давно понял, что люди с холодными лицами никогда не обогреют его, надеяться на них нечего, и если кто-то и любит его, то это Хабла, блаженная Хабла, которая, хоть и на расстоянии, но всюду следует за ним, пугая и одновременно радуя его.

«В людях, у которых Аллах отнял разум, поселился черный джинн, будь осторожен, он не отцепится, пока не причинит зла», – не раз говорила Крыму Айшат. И Крым действительно не задерживался возле нее на виду у Айшат или Болата, но в минуты, когда никого из родственников не было рядом, Крым с удовольствием общался и проводил с нею время – благо, она всегда находилась где-то рядом; ее движения, то, как она обращалась с ним, напоминали маму, черты которой уже блекли в памяти и постепенно уходили в прошлое вместе с невзгодами.

Что случилось с тетками, которые до того момента, когда мама превратилась в дерево, баловали его, называли «золотцем», «миленьким», катали на коленях, изображая скачки, а теперь вдруг прозвали «выродком», он пока не понимал; прижавшись к стене кладовой, он смотрел на их холодные лица, борясь с собою, чтобы не показать слез. Но терпение было не безгранично, чувствуя, что уже не в силах сдерживать слез, он отвернулся и как бы невзначай крепко обнял старую собаку; Бойнак все понимал, вздохнув, он слегка лизнул Крыму затылок и тихо заскулил. Много изменилось с тех пор, как мама превратилась в дерево, мир поменялся, появился новый беспощадный порядок, из живых существ не изменились только Бойнак и Алакёз. Они помогали ему пережить невзгоды и душевные печали. Алакёз, тот, еще издали лишь завидев его, подходил, ласкался к нему, осторожно клал свою огромную голову ему на плечо и подолгу стоял так в задумчивости, прислушиваясь к стуку одинокого сердца сироты: «Ничего, – как бы говорил он Крыму, – я еще рядом, наступит час, и я подниму тебя на самую высокую вершину, оттуда ты посмотришь на всех этих людишек, и они покажутся тебе такими маленькими, что ты будешь смеяться, не веря, как они могли обижать тебя». Еще Хабла, но она слабоумна, если бы она не была слабоумной, зачем бы ей привязываться к слабому, беспомощному, никому не нужному сироте, чья мать превратилась в дерево на склоне далекой горы. Так говорила о ней Айшат.

Хабла сидела на завалинке и плакала.

— Отчего ты плачешь, у тебя тоже отняли нарядную одежду? — спросил Крым, подобравшись к ней поближе.

— Я не плачу, не плачу, родной, — ответила Хабла, утирая ладонью глаза.

Что-то дорогое, до боли близкое пронеслось в голове Крыма, он смутно помнил, — эти же самые слова он часто слышал от матери перед тем, как она ушла от него. Крыму захотелось, чтобы Хабла прикоснулась к нему, но в эту минуту появилась Айшат и, схватив за руку, грубо поволокла его куда-то, ускоряя шаг. Хабла двинулась вслед за ними, не приближаясь, но и не теряя их из виду. Она боялась встречаться с людьми, те дразнили ее — дети и некоторые взрослые. Хабла плакала от обиды, но и в этом люди находили признак слабоумия и измывались еще изощреннее. Когда она, прижавшись к камню на краю чьей-нибудь бахчи, пряталась от людских глаз, говорили, что она нелюдима от того, что в нее вселился черный джинн, — всем хотелось оправдаться друг перед другом и перед собою, что они совсем не напрасно считают ее сумасшедшей.

Отчего люди поступали так? Действительно ли они верили, что она сумасшедшая? Это было трудно объяснить, человеческая душа — бездонный колодец, как не заглядывай, а дна не увидишь. В последнее время она часто слышала, как некоторые, тихо переговариваясь между собою (Хабла научилась различать слова даже по движению губ), говорили, что эта женщина вовсе не Хабла, а Халимат. Некоторые родственницы, встретив ее в укромном месте вдали от глаз сельчан, говорили с нею открыто, жалели ее, гневались на сестер, жаловались на невозможность помочь ей, «...ах, как мы несчастны, наши слова, что палая листва, никто не прислушается; ну ничего, держись, без одежды тебя не оставим, как бы там ни было, покуда мы здесь, с голоду и жажды умереть не дадим». Доброта и благородство родственниц и соседей дальше не заходила. Хабла привыкла к этим речам и выслушивала их равнодушно: если вы знаете, почему не сказать об этом открыто перед лицом людей и Аллаха, разве плохо выступить за справедливость? Но услышав такое, люди — соседи, родственники — начинали избегать ее.

— Почему ты боишься сказать, что это Халимат, а не Хабла? Халимат, которую мы все хорошо знаем, но скрывает

ем друг от друга, — сказала однажды Хабла одной из своих троюродных сестер.

— Кто мне поверит, — обиженным тоном отвечала та. «Здорово она придумала, — в сердцах подумала сочувствующая, — а о последствиях, о том, что станется со мною позже, ей нет никакого дела, в этом мире, где никто не доверяет друг другу, не умеющий швыряться камнями ходит с разбитым темечком, сельчане тотчас же меня самую объявят сумасшедшей, как это случилось с Фаризат».

В ауле уже многие не верили, что вернулась потерявшаяся когда-то Хабла, также многие догадывались и говорили втихую, что это Халимат, которую сестры бессовестно выгнали из дому, но жизнь ее от этого лучше не становилась. Кроме Фаризат, которая сразу же поплатилась за свои слова, никто не осмелился сказать во всеуслышание, что это Халимат, а не Хабла, все боялись не то Айшат, не то просто не желали навлекать неприятности на свою голову. Все уже привыкли к тому, чтобы ничего не знать, не слышать, не видеть и не говорить, — так было легче жить. Да, действительно была когда-то щедрая сильная женщина, ее звали Халимат, а теперь она Хабла, у нее ничего нет, ни кола ни двора, сумасшедшая; а Айшат, что ни говори, способна на многое, может помочь, а может и причинить зло — зачем связываться, кому нужны лишние головные боли, вон, по дорогам сколько бродит сумасшедших, юродивых и покалеченных, как их распознать, как им всем помочь, как вылечить, одному Аллаху известно. Нет, никто не поможет ей, в каждой семье есть потери и горе, не до Халимат теперь людям.

Хабла дошла до ограды двора и остановилась — заходить во двор хотя бы на шаг Айшат настрого запретила.

— Это ты окликнула меня? — спросила Айшат, обернувшись к ней у входа в дом.

— Нет, не бойся, сестра моя, я не стала бы окликать тебя.

«Чтоб у тебя язык отсох, нашла себе сестру», — обманывая себя ложным гневом, прошептала Айшат и посмотрела по сторонам. — Вокруг тишь: ни ветра, ни одной живой души, откосы и желтые обрывы молчат, точно задумались о чем-то своем, и им нет никакого дела до окружающих и не будет вовек». «Камни и сонные валуны, которые ринулись когда-то вниз по склону, остановились, им больше не вернуться обратно на свои насиженные места, но и вниз они не хотят, они будут лежать, медленно утопая в земле, их бока будут вечно зарастать мхом и покрываться беловатой

пылью, им ни до кого нет дела, в том числе и до меня, — подумала Айшат, и ей стало немного не по себе. — И никому до них нет дела так же, как и ей до других. Но почему так!» «Сколько добра я сделала людям, превратив свои десять пальцев в кормящие десять грудей для нуждающихся», — начала она свою обычную песню, но осеклась. В первый раз она неожиданно для себя подумала: а не обманывается ли она? Кто ее научил этому, с каких пор и почему она решила, что все обязаны ей, что она вправе собирать дань чуть не с каждого? Айшат, которая привыкла вытирать ноги о близких, окружавших ее всю жизнь, вдруг поняла, что она бесповоротно и окончательно потеряла сегодня всех — и сестер, и брата. Ей было больно как никогда, но эта мысль была реальностью. Не даром Хаким сказал ей недавно: «Более истинного «бальчибика», чем ты, в нашем ауле нет». «Что это значит?» — спросила тогда Айшат. «А значит это то, — отвечал Хаким, — что ты живешь, внушая соседям, что это благодаря тебе они существуют в природе».

Айшат помнила, как побледнела тогда, как ей нечего было сказать на это, потому что она уже видела — люди отдаляются от нее, обходят на улице стороною, не желая приветствовать, к ней не ходят не только по делу, даже просто поговорить не желают; она не помнит, когда ее последний раз называли по имени. Да пусть она хоть лопнет от гордости и чувства собственного достоинства, но без людей ей не прожить, это она понимала. И вот сейчас, в этом месте ей кажется, что уже дважды кто-то зовет ее по имени.

— Я тебя спрашиваю: это ты окликнула меня? — повысив голос, спросила она, снова поворачившись к Хабле.

— С чего мне обращаться к тебе, я же сказала, не окликала тебя, — ответила Хабла.

«Можно подумать, живот у тебя сведет, если и по имени назовешь», — рассердилась в душе старшая сестра.

— Теперь тебя никто не будет звать по имени, — неторопливо продолжала Хабла.

— Значит, по-твоему, это шайтан окликнул меня?

— Не знаю, возможно, что и шайтан. Обычно, шайтан, прежде чем наслать проклятье, окликает свою жертву по имени, и когда ты отвечаешь «да», он повторяет «ад навсегда».

— Об этом я знаю лучше твоего отца, просто я подумала, может, кто из близких позвал меня.

— Может кто-то и из близких, мало ли ты загубила их на своем веку.

От этих слов Айшат стало жутковато. В том, что Хабла не в себе – а Айшат в последнее время побаивалась, что разум Хаблы возвращается, – не было никакого сомнения, но ее пугало напоминание об умерших. Почему она напоминает о них, и напоминает не в первый раз. Что она может иметь в виду? Может, это голос того несчастного?.. Говорят, расстреляли его. Или голос одного из ее сыновей? Она попыталась мысленно вернуть, восстановить в памяти прозвучавший голос, и до нее дошло, что это действительно был голос Хызыра, младшего ее сына. Она еще раз с трепетом прислушалась к тишине, словно голос сына мог бы прозвучать снова, ей стало страшно: неужели это правда... У нее подкосились ноги и, прижав к груди чабуры, которые нашла на помойке, она присела, глаза ее тоскливо устремились вдаль. Неужели это не дождь, но черная кровь закапала на мою голову, на что намекал этот краснорожий Чиппо; Айшат, сидя на земле, заплакала.

С тех пор, как Айшат отправила обоих своих сыновей – Ильяса и Хызыра – к своему близкому родственнику, от них не было никаких вестей, хотя прошло уже два-три месяца. Старшего Ильяса со дня на день должны были мобилизовать на фронт, и она поспешила отправить его в горы, в дальний кош. Хызыру же не исполнилось шестнадцати, но всякое могло произойти, и его она отправила тоже, заступиться в случае чего за них было некому, ибо любой из высоких начальников, будь они не ладны, мог отправить вместо своего сына первого попавшегося юношу, о существовании такого произвола она знала, и никто ничего не мог сделать. Когда эти дела были завершены, сердце ее успокоилось, совесть не мучила, ведь она немало сделала и для «власти», хотя состояние ее от этого не умножилось, и скотина третьим рогом не обросла. Чем ответила ей «бласть»? Пожирала собственных людей, саму себя, не считал ли Ахмат, муж ее, себя правой рукой «власти»? Так она отрубила эту руку. А может, она пощадила их отца Темукку? Двух ее братьев и зятя Коркмаза, сгинувших на этой войне? Лучшие люди положили свои головы под сапоги этой «власти», а ей все мало: если не продаешь соседей и близких, не клеветешь на них, – жить не дают. А ведь сначала Айшат боготворила эту «бласть», была уверена, – она не даст в обиду никого, будет расчищать дорогу вольной жизни и пресекать всякую несправедливость. Ох, как же глупа она была тогда! На свете не бывает справедливой «власти», которая, находясь где-то высоко, могла бы видеть все. Каж-

дый должен заботиться о себе сам. Именем «бласти» разбрелись по всему миру и чинят немыслимые преступления какие-то злобные карлики, не имеющие в сердце ни Аллаха, ни каких-либо человеческих устремлений. Звери. И это ради них сыновья Айшат должны взять в руки оружие и окунуться в смертоносный огонь?

Маммат, двоюродный брат Айшат, был малорослым коренастым мужчиной, лет шестидесяти, очень малословным и абсолютно неграмотным, его кошара располагалась очень далеко от аула. От отары, принадлежащей колхозу, оставалось голов двести, но с появлением здесь партизан и это немногое таяло с каждым днем. Вместе с тем Маммат имел весьма смутное понятие о том, партизаны это или кто-то еще. Знал он только, что их человек восемнадцать, против кого они партизанят, против немцев или овец, не спрашивал; он лишь записывал расход поголовья, вырезая незатейливые засечки на своем посохе.

— Не слишком ли быстро вы поглощаете колхозную скотину, что я отвечу потом, когда за нее спросят? — поинтересовался Маммат как-то раз, обращаясь к двоим, пришедшим за очередной данью.

— За это не беспокойся, сошлешься на нас, да и отвечать тебе осталось только перед нами, — ответил один из них на диалекте жителей верховий.

— Да кто же вы такие, столь беспощадно пожирающие общественный скот! Не дам я вам больше ничего, — возмутился Маммат.

— Ну и кому ты тогда намерен отдать этот скот, братец? — спросил второй.

— Скот колхозный. «Бласт» поручила его мне. — Маммат был плохо осведомлен о том, что творится внизу, что ни колхозов, ни «бласти» больше не существует.

— «Бласт» здесь мы, советские партизаны, пойми наконец эту простую вещь, добрый человек.

— Вы партизаните, словно косарь, размахивающий серпом вместо косы. Души свои вы прячете здесь, не так уж я глуп, чтобы не видеть этого.

Один из пришельцев вскинул винтовку:

— Дурной язык погубил твою голову!

В эту минуту кто-то с треском выбрался из ближнего пролеска.

— Чего вы расшумелись там? — властно крикнул он, направляясь к ним.

— Кажется, он думает, что это овцы его отца, не хочет давать, — ответил черноусый паренек, вскинувший винтовку.

— Даст, даст... хочется — не хочется... Ты, видать, не знаешь меня, старик, — сказал вышедший из леса круглолицый человек, обращаясь к Маммату. На нем были офицерские сапоги, кожаная куртка и наган на поясе.

Маммат сразу узнал Хамалаю, но отвечать не спешил. Он слышал, что Хамалай плохой человек, но все же он был настоящим представителем «власти», твердым борцом с вредителями и, видимо, командиром этих людей, и Маммат пожалел, что не видел его раньше и не пожаловался на бесчинства, творимые с колхозным добром.

— Будь добр, скажи своим людям, чтобы не обращались со скотом, принадлежащим «власти», точно дикие волки, налетевшие на отару, — Маммат сказал так в надежде, что Хамалай оценит его радение и положит конец произволу.

— «Бласт» — это я, — ответил Хамалай без лишних предисловий.

— Значит, и овцы твои?

— Нет, овцы не мои, но распоряжаюсь ими здесь я.

Эти слова «командира», словно огнем, обожгли обнадежившегося Маммата.

— Значит, «бласт» понадеялась на тебя? — сказал он, не скрывая своего разочарования.

— Да, на меня. Ты доволен?

— Ну что ж, как говорится, если эфенди изнасиловал твою мать, жаловаться некому, — сказал Маммат. — Видимо, за этих и всех съеденных овец отвечать тоже будешь ты. Вот, здесь все посчитано, — и он поднял посох, словно собираясь ударить им Хамалаю.

— Перед кем бы я не отвечал, но это будешь точно не ты, — сказал Хамалай.

После этого разговора Маммату и его племянникам Ильясу с Хызыром не пришлось жить долго. На следующую ночь старший из братьев Ильяс услышал выстрел и выбежал наружу. Выстрел раздался близко, на территории стойбища, и Ильяс решил, что Маммат отпугнул какого-то зверя, приблизившегося к кошаре, но, как он ни смотрел в темноте, Маммата нигде не было. Он побежал за фонарем и после долгих блужданий нашел его. Маммат стоял, прислонившись к плетню, с черным пятном на груди. Он истекал кровью.

— Кто это был, ты видел?

— Оставь. Ты слишком молод. Забирайте свое и уходите отсюда...

— А кошара?

— Она не ваша. Ее хозяин теперь нашелся. Уходите...

* * *

На следующий день братья, как могли, схоронили Маммата и, положившись на милость Аллаха, вышли на дорогу. Они намеревались остановиться в районе Думалы и дожждаться вестей из села, но не успели удалиться от кошары и на расстояние выстрела, как перед ними неожиданно выросли три всадника.

— Ого, куда это вы собрались, выстроив перед собою колхозный скот?

— Эти коровы не принадлежат колхозу. Одна — та, что с теленком, — корова Маммата, две остальные наши, — отвечал Ильяс.

— Так, ясно. А теперь без лишней болтовни поворачивайте обратно и следуйте за нами, — грубо крикнул один из всадников. Мальчики знали его, это был тот самый Хамалай, который арестовал их деда.

— Чего уставились, поворачивайте! — снова заорал Хамалай. Хызыр испугался и прижался к руке брата.

— Нет, — ответил Ильяс, ничуть не испугавшись, — мы должны идти в село, отогнать нашу скотину и сообщить людям о гибели Маммата.

— Вы должны отогнать скотину к немцам? Это поручение Маммата, не так ли? — сказал Хамалай, подмигнув своим товарищам.

— Вы убиваете людей так же просто, как и немцы. Какая нам разница, — сказал Ильяс. Хызыр почувствовал, как у брата задрожала рука.

Хамалай замер. Двое его товарищей развернули коней и погнали скотину обратно. Вслед за ними бросился и Ильяс.

— Оставь, парень, душа важнее скотины, не спорь с Хамалаем, — сказал один из них вполголоса, попридержав коня около Ильяса.

— Хорошо, заберите наших двух дойных коров себе, а корову Маммата оставьте нам, мы вернем ее, — сказал Ильяс, снова обращаясь к Хамалаю.

— Ах, ты еще и торгуешься, — закричал Хамалай, пустив коня на братьев и едва не задавив Ильяса, — мы тут кровь проливаем за «сабет бласт», а эти бандитские выродки тем временем колхозное добро присваивают!

Хамалай ликовал в своем гневе. Ведь такого прекрасного случая избавиться от свидетелей больше может и не выпасть. Их престарелого деда — эфенди Темукку — и отца Ахмата убил он, теперь он убил и Маммата, ему не нужны свидетели, и потом, эти два щенка вырастут и отомстят за отца, рано или поздно они прольют его кровь, их никак нельзя оставлять в живых. Решив про себя их судьбу, он посмотрел на Ильяса долгим взглядом: в осанке юноши с едва пробивающимся пушком на лице уже сейчас чувствовались решительность и сила, его взгляд был острым и неотрывным; ох, как ненавидел Хамалай такие глаза, как болело его сердце, когда перед ним стоял красивый и сильный человек, с каким наслаждением он прострелит сейчас эту молодую широкую грудь, о этот сладчайший миг, Хамалай незаметно приоткрыл кобуру, от прикосновения к стали маузера по его спине пробежала дрожь — сейчас наступит желанный миг... Но Ильяс уловил движение Хамалая, он молниеносно вскинул из-за плеча старый дробовик Маммата, и в это мгновение раздался выстрел. Стрелял всадник, державший его на прицеле. Ильяс не понял, что с ним. Он повернулся к стрелявшему, на лице его было изумление, не мог поверить, что тот стрелял в него, а не в Хамалая.

С этого дня младший сын Айшат находился при партизанах. Хамалай не осмелился пристрелить его вместе с братом — не всем товарищам доверял в отряде, да и за отарой кому-то смотреть надо, обед готовить, воду с реки носить, дрова... Еще успеется, решил он.

Между тем Хызыр в отряде пользовался любовью и уважением. Люди понимали его безвыходное положение, возможно, нашлись бы и такие, что помогли бы бежать, но неусыпного ока Хамалая боялись все без исключения.

Днем Хызыр пас оставшихся овец, а по вечерам готовил еду, заквашивал айран, и прислуживал партизанам, ведение хозяйства в отряде полностью лежало на его плечах. Каждые три-четыре дня его вызывал на допрос лично сам Хамалай и задавал ему одни и те же вопросы. Казалось, Хамалай хочет убедить самого себя, что занимается важным делом, но Хызыр-то видел, чего от него добивается «командир».

В один из дней он, как обычно, был вызван на допрос, но на этот раз его отчего-то отпустили без конвоя. В глубине пещеры, кроме Хамалая у растопленного очага сидел еще один человек с карандашом и что-то быстро записывал. «...Восемнадцатого ноября наш партизанский отряд в результате четко спланированной операции вышел на груп-

пу бандитов, которые отгоняли колхозный скот к месту дислокации вражеских подразделений, — прохаживаясь взад-вперед, диктовал Хамалай. — На требование сдать оружие бандиты ответили выстрелами, и в результате завязавшегося боя нами было уничтожено двенадцать человек, а также один взят в плен, — здесь Хамалай испытующе посмотрел на Хызыра: да, не очень-то убедительно выглядел этот подросток, трудно было представить его вооруженным бандитом. — Кроме того, — с суровой решимостью продолжал Хамалай, — нами было захвачено оружия: пятизарядных винтовок — 12; гранат — 20, а также два кремневых ружья неизвестного производства. По нашим сведениям, попавший к нам в руки пленный имеет тесные связи с немцами, родом он из семьи контрреволюционеров. Результаты допроса прилагаю к настоящему докладу...» Остановившись на этих словах, Хамалай подошел к Хызыру и указательным пальцем приподнял ему подбородок:

— Итак, не бойся. Если ты скажешь все без утайки, с твоей головы не упадет ни одного волоска, — он посмотрел Хызыру в глаза. — Ну? Что молчишь, пухлощекий?

— Что я должен сказать, я уже все сказал, — устало и горестно ответил Хызыр.

— Как часто бандиты посещали кош Маммата?

— Я никого не видел.

— По сколько колхозных овец Маммат выделял им ежедневно?

— Кроме вас, овец у нас никто не брал. Я никого не видел.

— Маммат сам угонял их. Так? — Хамалай задавал вопросы один за другим, не ожидая ответов.

— К кому вы угоняли коров? К немцам или бандитам? Где находится ваша банда в данный момент?

— Коровы были наши... ту, что вы зарезали вчера — Маммата... коров мы гнали к себе домой...

— Ах ты, собачий сын, сколько ты еще будешь врать... — Хамалай наотмашь ударил его по лицу. Когда Хызыр поднялся на ноги, на его лице и в левом ухе показалась кровь, он молча поднял свою зеленую шапочку и отряхнул ее.

— Убирайся с моих глаз, щенок, мы еще поговорим с тобой! — кричал Хамалай с искаженным лицом. — Убирайся!

В эту страшную минуту Хызыр не мог понять замысла Хамалая, почему тот отпускает его одного. Он даже не мог понять, издеваются над ним или действительно отпускают в лагерь.

— Идти в лагерь?— с надеждой в голосе проговорил он.
— Дурмана, что ли, объелся? Не знаешь, куда идти?— Хамалаю мальчик больше был не нужен, пора было отправить его вслед за братцем.

Все еще не веря тому, что его отпускают одного, с трепетом в сердце он вышел наружу. Огляделся — никого. Овладев собою и не поддаваясь панике, спокойно направился к лагерю. По дороге и на подходах к месту никто ему не попался, у него бешено колотилось сердце, не верилось, что его отпустили одного. Хызыр остановился, прислушался — тихо, медлить больше нельзя — он отчаянно нырнул под откос. Бежать по заиндевевшей припорошенной траве было невозможно, он сразу же поскользнулся и кубарем покатился вниз. Очнувшись на самом дне ложбины, он обнаружил, что нигде не ушибся, отдышался и, поуспокоившись, без излишней суеты быстро стал подниматься на противоположный склон, пока не достиг нескончаемо длинного, острого, как хребет мула, гребня, по которому и пошел, все дальше и дальше отдаляясь от партизанского лагеря. Идти было легко, но куда? Куда ему идти, ведь он бывал в горах только с Мамматом или с братом, кто покажет теперь ему спасительную дорогу среди этих пустынных запорошенных склонов, пересеченных гибельными обрывами? Вспомнив о том, что здесь, в холодной могиле посреди гор навсегда оставляет брата, Хызыр дал волю слезам. Столько дней истязал его Хамалай, он не проронил ни одной слезинки, но сейчас, оставшись в одиночестве в этом холодном безжизненном мире, он плакал, в памяти закружились мельчайшие детали гибели брата, как он пытался за руку удержать Ильяса, когда тот начал оседать на землю, как, если бы удержав его, можно было спасти жизнь, не страх, не боль, а изумление в его глазах в последнее мгновение... Что это было? Надежда на то, чего больше нет? Или он хотел что-то сказать Хызыру в последний миг? Он теперь вспомнил и осмыслил, что из стольких единокровных горцев, бывших в партизанском отряде, ни один не заступился за него, не сказал слова в то время, как Хамалай непрестанно терзал его, выдавливая из него теплую душу... Все теперь вспомнилось ему: его унижением были и дни, когда он прислуживал партизанам, не заступившимся за невиновного брата, и ночи, когда он, сонный, подвергался бессмысленным допросам и избиению. Хызыр не заметил, как остановился и сидел на мерзлой земле, печальный, и некому было поведать о своем горе, кроме этой застывшей

горной пустыни, безмолвно и бесстрастно вззирающей на него.

Тяжкие думы его прервал какой-то странный звук: в абсолютной тишине, словно стук сердца под водой, послышался стук конских копыт. Мальчик вспомнил об опасности и сосредоточился: вокруг никого не было видно, но идти по такому гребню все же было непредусмотрительно, его могли бы заметить издалека, Хызыр свернул на правый, противоположный от лагеря откос и снова скатился вниз по мерзлой траве. Достигнув затянутого льдом ручья, начал карабкаться на следующий склон, с таким рвением и надеждой, словно, поднявшись на него, мог увидеть отчий дом. Хызыр карабкался вверх, преодолевая крутизну склона, но прошедший накануне мокрый снег превратился в сплошную ледяную коросту, удержаться на которой не было никакой возможности. Хватаясь руками за покрытый инеем типчак и каждый раз срываясь и сползая на расстояние куда большее, нежели ему удавалось преодолеть, он вдруг вспомнил склон, возвышающийся прямо за их домом и свою мать Айшат, кроме которой ни один человек не осмеливался в такую, как сейчас, погоду подниматься по нему вверх по мерзлому типчаку, чтобы сократить путь. Нынешний склон был круче того, но у Хызыра не было другой дороги, возвращаться назад и искать более удобный выход, не было времени, Хызыр начал подниматься наискось, но так оказалось еще сложнее, он снова сполз вниз. Не зная, как быть, что придумать, он лег ничком, всем телом прилепившись к земле, и открыл глаза: песок и камешки под хрусталем льда были видны отчетливо, как никогда. Вдруг он ясно услышал за спиной храп лошади. На противоположном склоне, уперев приклад винтовки в луку седла верхом на коне сидел Хамалай и наблюдал за ним. Он не спешил: человек, распластанный, как лягушонок, на мерзлом типчаке, был жалок и беспомощен, и наблюдать за ним доставляло ему особое удовольствие.

— Значит, к бандитам подался... Решил доложить, где прячутся партизаны? — Хамалай сказал это на случай, если вдруг в ложбине есть еще кто-то третий, кто бы мог видеть и слышать их. Первая пуля подняла брызги льда у самого уха Хызыра. Вторую он не почувствовал, но руки его перестали подчиняться ему, когда он попытался сделать усилие. «Может быть, я убит, но почему я не чувствую боли», — подумалось ему. Хызыр затих и прислушался к себе и вдруг животом ощутил холод земли, на которой лежал. Какая-то

странная пустота образовалась вместо спины, а под грудью растекалось что-то липкое, и Хызыр все понял. Он не узнал страха смерти, но пожалел, что мать не увидит, как он один погибает здесь. Он хотел позвать ее, но вместо голоса прозвучал только вздох, последний вздох пятнадцатилетнего Хызыра в этом мире, полном сладости и глухоты.

* * *

Да, Айшат уже давно не получала вестей от двух своих сыновей. Идти самой в горы женщине было несподручно, а попросить кого-нибудь из мужчин она не могла, с нею нарочь перестали общаться. Айшат никогда раньше не думала, что останется вот так в полном одиночестве, не думала, что это так горько. Утирая слезы, она посмотрела по сторонам, как бы ища кого-то: за плетнем, мерцая, словно керосиновый фонарь, все так же стояла Хабла. «И все же, кто мог окликнуть меня?— подумала она,— неужели действительно один из моих сыновей». Страх за них и предчувствие беды овладевали ею все больше, что ей было делать?

Простояв так немного, она подозвала Крыма и, отняв наконец от груди чабуры, которые, позабывшись, продолжала крепко прижимать к себе, протянула ему:

— На, возьми их, если руки еще не отсохли, и занеси в дом,— сказала она, и, приблизившись к куче мусора, начала вдруг судорожно ковыряться в ней. Ей удалось извлечь оттуда подметку и какой-то чулок, покрытый плесенью.— Чего уставился, ищи! — прикрикнула она, заметив, что Крым стоит и удивленно смотрит на нее.

— Что мне искать, мы уже переверорошили эту кучу вчера,— сказал Крым, пряча за спину прогнившие чабуры.

— Когда я говорю, что ты тронут умом и несчастен, никто не верит мне, не знаешь, где искать пользы, ждешь, пока счастье само свалится на твою голову,— Айшат еще что-то выковыряла из кучи и спрятала, Крым не заметил, что.— Люди слепы, не видят имущества, которое буквально под ногами валяется. Ну и пусть, мне больше достанется,— в ее глазах горел какой-то странный огонек, от которого Крыму стало не по себе.

* * *

Сельчане уже давно заметили странную привычку Айшат собирать гладкие камешки, стекляшки, поблес-

кивающие на солнце, кости и всякий вздор, но не придавали этому значения, да и спрашивать, зачем ей весь этот хлам, было как-то неловко.

— Везет тебе, ты везде побывала и видела семь сторон света, — сказала как-то одна из соседок, встретив ее на улице: уж очень хотелось взглянуть на то, что Айшат прятала в подоле, но и спросить она не решалась.

— Захочешь, и ты увидишь, — сухо ответила Айшат, не особо обрадованная встречей. Ей не нравилось, если кто-нибудь видел ее за этим занятием, кому какое дело, у каждого есть свои тайны и маленькие секреты.

После того, как они разминулись, соседка неожиданно нагнулась и подняла кость — треснутую лопатку.

— Аллах всемогущий и обо мне не забыл, — лукаво улыбнувшись, сказала она, обращаясь к Айшат.

Айшат сделала вид, что не услышала, только ускорила шаг. Придя домой, она вывалила содержимое подола на пол и нервно стала ворошить образовавшуюся кучу. Прошло какое-то время, прежде чем улеглось ее волнение; по-видимому, охватившая ее тревога, что кое-кто в ауле может обойти ее, была преждевременна: меня еще никому не удалось обойти, — улыбнулась она себе.

В доме не оставалось места, чтобы поставить стул и усадить человека, если бы вдруг кто-то решил посетить ее. Повсюду валялись ворохи полусгнившего старья: тряпки, обрывки ковров, дырявые носки — чего там только не было! Этот хлам возвышался по всем углам, на столе и подоконниках, даже под кроватью не было свободного места.

— Такого изобилия ни у кого нет. И я сама собрала все это, никто не помогал мне, — сказала она и посмотрела на Крыма. — Хочешь сказать, не так? Может, ты помог мне? Да, ты поможешь... Мне еще никто не помогал. Да и кто поможет в этом мире, где все подстерегают друг друга, как дичь.

Айшат, с трудом шагая среди гор тряпья и всевозможного мусора, углубилась в темный, как склеп, покой и через минуту показалась с фонарем в руках.

— Если бы еще можно было распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению... Да кто тебе позволит: ты собираешь, собираешь, не покладая рук, а они приходят и все отнимают в одночасье. Знаешь ли ты, — сказала она, порывисто повернувшись к Крыму, — что мое имущество уже четырежды распродали с молотка? Не знаешь, откуда тебе-то знать, несчастный... — Вдруг она присела и заплакала, поминутно утирая слезы грязным кончиком подола. Затем, словно опомнившись, резко поднялась на ноги:

— Все это надо перетащить туда и спрятать... подальше от завистливых глаз, — сказала она, показывая фонарем в склеп. — Нельзя допустить, чтобы имущество лежало в таком беспорядке... Ну, чего уставился, давай быстрее, поторопись, получишь от меня калач сегодня...

Крым ничему не удивлялся, он уже давно привык к этому странному занятию. Он полагал, что все это предназначается старьевщику-еврею в обмен на иголки, краски, резиновые мячики и всякие мелочи. Но вот беда: старьевщик уже давно не появлялся со своей клячей и скрипучей арбой.

— Айшат, а когда приедет старьевщик? — спросил Крым, сгребая в кучу желтые кости на полу.

— На что он тебе?

— Я хотел поменять что-нибудь на мячик, как ты думаешь?

— Еще чего, — возмутилась Айшат, — можно подумать, все это я собирала для того, чтобы приобрести тебе мячик... забот у меня больше не было...

Крым сконфузился.

— Оставь все! — вдруг скомандовала Айшат. — Успеется еще перетаскать все это. Надо пособирать еще на улице. Все, что занесем в дом — наше, а что не успеем, то проклято, нам принадлежать не будет. Пойдем быстрее.

Айшат схватила лом и лопату и вышла наружу. Неподалеку от дороги под откосом лежал огромный камень, Айшат возилась там неделю и перерыла под ним и вокруг него всю землю. Однако, несмотря на все усилия, камень не обращал на нее никакого внимания и с места не сдвинулся.

* * *

Волчица, засевшая за кустом барбариса, уже давно наблюдала за Алакёзом, нападать в открытую не решалась — еще свежа была в памяти охота, когда они не смогли свалить этого жеребца вчетвером, ее семья была раздавлена и втоптана в мерзлую почву, и волчице нельзя было рисковать собою, она должна осуществить месть, без этого ей нет жизни на этой земле, не напрасно шла по его следу все это время, ища его запах среди тысячи других запахов, наполняющих пространство, и провыла на луну и звезды столько ночей, оплакивая жажду мести.

После того злосчастного выстрела Кюркмаза волчица очнулась от смертного сна глубокой ночью, вокруг не было

ни одной живой души, пуля прошла навывлет сквозь шею, но жизнь не унесла. Всю оставшуюся ночь и день она провела недвижимо, но жизнь взяла верх, — протягивая по снегу красную цепочку, она доползла до места недавней схватки и утолила голод мясом одного из своих мертвых детенышей. Когда она обгладывала кости последнего из своих погибших сородичей, у нее уже нашлось достаточно сил встать на ноги, а если волчица смогла встать на ноги, прокорм для себя она найдет всегда: выбрав укромное место в овраге, кишашем хомьяками, мышами и всевозможными грызунами, которых без труда можно было хватать прямо у норы, она перенесла свои самые тяжелые дни.

Рана на шее заживала медленно. Даже когда она начала свободно двигаться и охотиться, шея оставалась перекошенной вплоть до следующей весны. Вернув себе прежние силы и ловкость, волчица сразу же приступила к поискам Алакёза, даже брачная тоска не заставила ее забыть об этом. Как невыносимо хотелось ей родить и вырастить своих новых волчат, с какой болью она, спрятавшись, наблюдала за волчьими стаями; ступив на их землю, она не могла прийти к ним в стаю, втайне надеялась, что один волк отделится и подойдет к ней, но ни один волк не услышал ее печального дыхания, тоска по стае со временем начала угасать, и она смирилась с этим. Однако желание искупаться в крови ставшего теперь родным гнедого не отпускало ее, она изнывала от этого желания, им двоим было слишком тесно на этой земле, вместе с ее лесами, ущельями и долинами. Бродяжничая от пастбища к пастбищу, от одного зимнего коша к другому, одинокая волчица нашла наконец нужный ей табун, — табун, запах которого она бы узнала среди тысячи других табунов.

Никогда еще ее желание мстить не было таким алчным: шерсть на ее спине поднялась дыбом, тело дрожало, но чувство осторожности и выдержки не подвело и в этот раз, — она скрылась в ложбинке с наветренной стороны неподалеку от табуна и стала наблюдать за людьми, когда они уходят и приходят, что у них на уме. Не было смысла просто бросаться на табун, нужно было вывалить внутренности именно Алакёза, а уж потом с табуном разговор был бы короткий.

Однако Алакёза в табуне не было, бегал какой-то короткошей сосунок, красовался, вообразив себя вожаком, иногда, беспокойно вытянув шею, пробегал значительное расстояние в сторону волчицы, но, поведив ноздрями, убежал

обратно и терялся в табуне. Он пока ей не был нужен, ей незачем было беспокоить табунщиков.

Страдая, пестуя свою ненависть, волчица провела весну. Затем прошло и лето, и осень, и наконец выпал первый снег, а нужный ей жеребец так и не появился. Когда табун двинулся зимовать, волчица решила не отставать и, прячась по кустам и пещеркам, последовала за ним, но после того, как лошади вошли в село, волчица их больше не видела. Куда и как они исчезли — тоже не заметила, не мог же целый табун испариться и пропасть в небе, словно облако!

Несколько раз попадались в окрестностях старые клячи, но Алакёз словно в воду канул: его не было. Удивляться не приходилось: если табун, от движения которого содрогалась земля, пропал бесследно, то что говорить об Алакёзе? Безднадежность стала подтачивать страсть волчицы, почти заменившую ей инстинкт, пора было уходить отсюда; бродить по одним и тем же местам вблизи людей не следовало, можно было и примелькаться. Однако что-то удерживало ее здесь, что-то возвращало ее обратно в эти места, даже когда она решительно удалялась отсюда. Может, она привыкла к этим местам? Она уже знала здесь каждый камень, каждую тропу, каждый лаз в сараях и заборах, она знала многих сельчан из тех, кто выходил в лес за дровами, в поисках заплутавшей скотины, а также иных коров и ослов, легкомысленно разгуливающих вдалеке от аула. Но на них она нападать не спешила, считала их своими и даже была готова защищать их от других хищников. Успеет. Мелкой добычи здесь было много, про голод она забыла. Конечно, порою было совсем уж невозможно оставить в покое заблудших по собственной глупости осла или пару овец, но в общем о своем присутствии здесь она старалась не напоминать. Да и люди по таким пустякам, как она убедилась, шум не поднимали. Легко ей здесь было. Она знала о людях и животных этого аула все, а они ее даже не видели. Она полюбила их как свою собственность, всех, включая кошек и собак, и пусть никто не смеет трогать ее собственность, захочет, будет оберегать, а нет — так перережет всех в один день. Даже собаки перестали раздражать ее, она различала их по голосам и знала, какая из них на что способна: все они, исключая двух волкодавов, рычали и гавкали ночами только из страха и чувства долга.

Но наступил день, когда народу в ауле вдруг стало много. Это ей совсем не понравилось. Положение усугубилось, когда случилось очень опасное происшествие: один из вновь

прибывших пустил молнию из странной вонючей палки и чуть не попал в нее. Она испугалась, не ожидала такого поворота и снова решила уйти: от таких страшных молний надо держаться подальше.

Поднявшись на близлежащий холм, она в последний раз окинула взглядом свою территорию и вдруг ее внимание привлекла одинокая лошадь, бредущая меж старых полуразваленных сараев. Что-то в ее образе показалось ей знакомым. Испытывая радость и страх потерять эту радость, она кинулась обратно, притаилась за камнем и, когда та приблизилась, узнала ее. Этой лошастью был Алакёз, это был он! Она подползла ближе, спряталась за барбарисовым кустом и смотрела на него – кровь кипела в ее жилах, она едва сдерживала себя, чтобы не броситься к нему сейчас же. Сколько троп она исходила, сколько трудов и выдержки стоило ей встретиться с ним, нельзя было пустить по ветру столько надежд и стремлений.

Из-под барбарисового куста волчица смотрела на жеребца так жадно, словно бесконечно соскучилась по нему. Она заметила, что он хромает на заднюю ногу и несказанно обрадовалась. Это был уже не тот жеребец, который сломал хребет ее матерому волку, этот был тихий и грустный, а грусть приходит тогда, когда уходят силы и молодость. Волчица уже не сомневалась, что сможет победить его. Решив подобраться поближе, она выползла из-под куста и укрылась за ближним камнем: отсюда ей было слышно дыхание жеребца, шорох переливающейся золотом гривы, ее охватила дрожь, и когда она уже сжалась перед броском, до ее ушей вдруг дошли звуки человеческой речи.

– Крым, сбегай, принеси тазик, – говорила женщина.

Мальчик скрылся за полуобрушенным склепом и через минуту появился с жестяным тазиком в руках. Женщина еще не успела пересыпать в тазик кукурузное зерно, как жеребец, вытянув шею, прильнул к нему дрожащими губами, волчица совсем близко могла разглядеть его широкую грудь и подрагивающую на спине кожу.

У волчицы подкосились ноги, и она снова прилегла на землю. Ее вдруг охватила тоска, она почувствовала всю полноту одиночества в этом огромном горестном мире, где оборвались все надежды, и она заскулила тихо, еле слышно.

А неподалеку, притихнув, сидели женщина с мальчиком и смотрели на жеребца, словно в жизни нет ничего более важного, чем этот поглощающий зерно травоядный. Но волчица ошибалась, она из-под своего камня не могла видеть

глаз этих людей, которые в равной степени вмещали глубину и печали, и радости.

Перед ними простирался синеющий склон, осыпаемый медленным снегом, с редкими кустиками барбариса и шиповника, краснеющего каплями подмерзших ягод, — видимо, этой осенью сельчане не смогли собрать их, не до этого было. Ягоды шиповника виднелись и в глубине пустых глазниц склепов. Крыму и в голову не приходило, что склепы такие большие и высокие, пока сам не побывал в этих местах вместе с Хаблой; снизу они казались маленькими белыми гномиками, которые разбрелись по всему склону. Некоторые спустились до самого аула, другие небольшими группками и поодиночке отправлялись вверх по склону, нашлись и такие, что ушли дальше и скрылись за горизонтом, — Крым даже встал на камень, чтобы проследить за ними.

— Хабла, а почему их называют склепами? — спросил он.

Почему склепы называют склепами, Хабла не знала, ей как-то не приходилось думать об этом, она помедлила с ответом.

— В склепах люди хоронили своих близких. — Видимо, предзимний холод давал о себе знать, она стояла ссутулившись, чекмень из потрепанного бархата висел на ней, как лохмотья, и скрадывал черты ее тонкой стройной фигуры.

— А теперь тоже хоронят? — спросил Крым, сползая с камня.

— Теперь не хоронят.

— Почему?

— Теперь склепов не строят, наверное, это трудно.

— Значит, теперь людей хоронят в могилах?

— Да, в могилах, — сказала Халимат и вдруг ей стало жаль себя: ведь для людей она умерла и к мертвым не попала, — кто она теперь, объяснить было трудно. Однако лить слезы и проклинать родственников не стала, ведь она получила то, о чем молила Аллаха: она жива, дитя ее почти всегда на виду...

Летними днями у Халимат проблем не было: под деревом или камнем переночевать можно всегда — возможности человека неиссякаемы. Да и сельчане в случае необходимости со двора не гнали. Ближе к зиме Фаризат звала ее к себе, но Халимат не захотела покидать отцовский двор; угол скотного загона за домом был вычищен, вымыт, плетеные стены замазаны глиной и завешаны кий-изами — спасибо соседям, помогли, — комнатка получилась

чистенькая и уютная, и никто не гнал ее отсюда. Казалось бы все хорошо, жизнь налаживается, но Крым – непрестанная тоска о нем не давала покоя ни днем ни ночью. Особенно в последнее время. Она давно смирилась с тем, что мальчик ей не принадлежит, но сердце снова предчувствовало беду, это предчувствие, смешанное с неопределенностью, беспощадно душило ее, она не знала, не могла понять, откуда ждать несчастья, со стороны Айшат или оно найдет к ним другую дорогу.

– Вот в этих могилах? – снова спросил Крым, показывая на небольшое древнее кладбище, раскинувшееся среди близлежащих склепов.

– Нет, сюда своих мертвых люди уже давно не приносят.

– Наверное, вдали от аула мертвым страшно?

– Кто знает, может и страшно. – Она взяла опустошенный тазик перед жеребцом и спрятала в глубине ближайшего склепа. «Мертвые могут бояться только Аллаха», – подумалось ей.

Хруст, издаваемый челюстями дожевывающего свой обед Алакёза, слышался далеко вокруг.

– А мертвые видят нас? – не унимался Крым.

– Да, видят, они все видят: что делаем, как живем и поступаем.

– Они выходят из склепов, чтобы посмотреть на нас?

– Может, и выходят. Но мы не можем их видеть, как они нас.

– Значит, я никогда не увижу своей матери. – Крым отвернулся от «несчастной сумасшедшей» и закрыл глаза рукавом. Халимат сделалось дурно, подкосились ноги, не в силах перебороть слабость, она осела на холодный камень. Если бы не боязнь напугать мальчика, Халимат зарыдала бы сейчас во весь голос, но загасив крик в самой глубине сердца, она нашла в себе силы говорить.

– Не говори так. Нельзя говорить такое, твоя мама не умерла.

– Умерла, я теперь знаю... – Крым, утерев слезы, повернулся, как всегда, к своему склону, всматривался до боли в глазах, но матери с развевающимися на ветру кружевами не увидел. Малыш, который прежде так спешил за нею, стоял на снегу одинокий, держа свою алую шапочку в руке. Со всех четырех сторон выл пронизывающий до костей горный ветер, вызывающий дрожь и отнимающий волю, и Крым, полный отчаяния и растерянности, стоял один, не зная, как ему теперь быть.

Весь день полк под командованием подполковника Маркова находился на марше. Согласно приказу, подразделение Маркова должно было очистить от врагов ущелье русла реки Черек и далее, не допуская задержек, двинуться в западном направлении. Надо сказать, Маркову не хотелось входить в ущелье — это грозило потерей сил и личного состава — правильное было бы обойти немцев с запада и подстеречь их на выходе. Когда Марков высказал свои соображения по этому поводу командиру дивизии, тот отчитал его, как мальчишку, — действительно, несмотря на то, что врагов здесь было немало, основное сражение разворачивалось в Нальчике, и задерживаться на обсуждении локальных стычек было по меньшей мере неуместно. Задача полка состояла в том, чтобы перебить разрозненные, укрепившиеся в высокогорных аулах группировки противника, чтобы они не успели организованно спуститься к равнинным землям и присоединиться к основным силам. Однако задача эта была не из легких, места здесь были труднодоступны, кишели бандитами, и неизвестно было, от кого ждать пули в спину, ибо и старики, и женщины, и дети, как считал Марков, были в этих местах бандитами.

Сам Марков был мужчиной невзрачным, с невыразительными чертами лица, среднего роста, лет за тридцать, голубоглазый, всегда аккуратно причесанный блондин с чуть вздернутым носиком и пухлыми губами, он производил впечатление человека спокойного и уравновешенного. Однако первое впечатление было обманчивым: это был истинный военный, привыкший рубить сплеча, от спокойствия и уравновешенности весьма далекий. Народы, населяющие землю, на которую его привели дороги войны, он не разбирал, ему было неважно, кто перед ним — кабардинец, балкарец, карачаевец или кто другой, — все они были для него черномазыми разбойниками и врагами, не знающими в этой жизни ничего, кроме пляски клинков, стрельбы. Даже гостеприимство и щедрость этих людей он воспринимал как признак недостатка ума и отсутствия бережливости. Полгода назад во время отступления он побывал в этих местах и останавливался со своими людьми в каком-то балкарском ауле. Сам он квартировал в доме четы престарелых горцев. Их хорошо встретили, были внимательны к ним и кормили по-царски. И сами хозяева, и соседи поочередно

резали скотину и пекли хлеб для офицеров и солдат, не различая людей по званию.

— Встречать таких щедрых и добросердечных людей мне еще не приходилось, — сказал как-то после обильного ужина двадцатипятилетний Дмитрий Петренко.

— Да, хычины у них, конечно, отменные, — отвечал Марков, ухмыльнувшись, — но сами они... ты уж извини меня...

На какое-то время у Петренко перехватило дыхание.

— Товарищ майор, — сказал он сухо, — эти люди изо дня в день кормят вас. Они ни разу не выказали неудовольствия даже взглядом. Как вы можете говорить такое?

— Не забывайте, лейтенант, — сказал Марков, остановившись и измерив Петренко строгим взглядом, — эти люди еще не отошли от своих варварских обычаев, и нечего благодарить их за жратву.

— В каждом доме этого аула на стенах висят фотографии сыновей этих людей, многие из которых — офицеры — командиры и политруки Советской Армии. Это, по-вашему, варвары? Вам не следовало бы говорить такое. Спокойной ночи. — Петренко отдал честь и, резко повернувшись, пошел прочь от него.

Марков хотел остановить младшего по званию, так называемого ему, но что-то сдержало его. Действительно, Петренко был прав: у этих людей хранились фотографии сыновей с офицерскими кубиками в петлицах. Одну из таких фотографий он долго разглядывал, что-то сильно раздражало его, да, да, это было точно так: острый взгляд и красивое лицо воина не понравились ему, «такой прирежет и бровью не поведет», — помнится, подумалось ему тогда. Что до него, то он их всех до одного загнал бы в штрафную роту, — там им место. В один из дней Ислам — старик, в чьем доме они жили, — долго глядел, как он, тогда еще майор, вынимает из огня и ест мясо только что разделанной овцы. Старик смотрел, любуясь, ведь и его сын где-то остановился вот так же, как и Марков, и так же его кормит другой старик, Аллах видит все, и не важно, где и кто делает добро их детям.

— Моя сын тоже на война, — сказал он Маркову, улыбаясь.

— Что-что, отец? — переспросил Марков по-русски.

— Наш плохой пацан на война... Тоже майор, — повторил старик, смутившись тем, что горд за сына, не хотелось, чтобы гость решил, что он хвалится сыном. Все же встал и

принес свой Коран, вынул оттуда фотокарточку и протянул Маркову.

— Твой сын, значит, майор? — Марков с неудовольствием вернул фото: «Когда мы опомнимся и перестанем носить на собственных плечах этих дикарей!..» — И сколько же ему?.. Твоему, говорю, сколько? — он постучал промасленным мизинцем по фотографии.

— Двадцать семь.

— Нашли кого производить в майоры. Докатились. — И он встал на ноги.

Старик не понял, чем вызвано неудовольствие гостя:

— Гриша, что-то ты совсем не ешь, — сказал он по-балкарски. — Кушит, пожалуйста, кушит... — добавил он.

Марков молча вышел на улицу. Ему казалась отвратительной даже мысль, что выходец из этих мрачных мест, где судьбою всех являются лишь камни и гиблые пропасти, смеет командовать в армии, в которой служит и он, не верилось, что его огромная и самая лучшая в мире страна может положиться на таких дикарей, как эти.

Григорий Марков родился и вырос в Перми. О Кавказе и народах, населяющих его, он слышал много разных историй и небылиц. Об их необузданной вспыльчивости и безрассудстве ходили легенды; говорили также, что эти люди — торгошники, мошенники и воры, не имеющие принципов ни в дружбе, ни в какой-либо иной привязанности, о культуре, традициях кавказцев, их укладе жизни, труда и общественного устройства Марков ничего не знал, да и знать не хотел. Он не различал их по национальности и не видел различия между народами Кавказа и Закавказья. В рассказы о революционном движении в этих местах не верилось, а с классической литературой прошлого века, благодаря которой российская общественность знала об этих краях, Марков, в связи с ее классовой враждебностью, знаком не был. Его возмущало, что революционная Россия, будучи сама в таком тяжелом положении, вытаскивает из трясины нищеты и безграмотности эти маленькие, бесполезные в деле мировой революции народы, кормит их, одевает, обучает грамоте, в то время, как у самих дел невпроворот, в мирное время он, как и многие другие, обвинял «младших братьев» во всем, даже если вдруг не удавалось найти в городском магазине колбасу нужного сорта. Когда немцы подошли так близко, что временами была слышна канонада боев, майор Марков стал подозрительным до потери самообладания. Он следил за женщинами, спускающимися к реке за водой, за

детьми, снующими по аулу, — все эти люди были бандитами и их пособниками, готовились встретить немцев и ждали сигнала, чтобы всем скопом нанести удар в спину. В доме, где жил и ежедневно ел хлеб, он не доверял хозяину: когда тот выгонял на выпас корову, Марков крался за ним, как кошка, если тот переговаривался с кем-то по пути, — после осторожно расспрашивал, кто тот человек, что говорит и т. д. Жители аула не могли спокойно сходить в лес за дровами, потому что подвергались за это жестокому допросу.

Как-то раз майор встретил старика с мальчиком, жителей соседнего аула, едущих на арбе, запряженной одним быком. Старик остановил арбу и поздоровался с ним и его товарищами, но майор, не ответив на приветствие, подъехал к арбе и заглянул в нее: там лежал связанный годовалый барашек и два полных под завязку мешка. «Все ясно: продовольствие бандитам. И середь бела дня они даже не боятся».

— Та-ак. Куда собрались? — спросил Марков, не слезая с коня, попеременно заглядывая в глаза старику и тринадцатилетнему мальчику, бывшему с ним.

— Здесь недалеко, — отвечал старик, — в Алашевку.

— А это кто с тобой?

— Это племянник, сын сестры... говорят, сын сестры непременно джигитом становится. — Старик улыбнулся, он заметил враждебность со стороны майора и хотел как-то смягчить ситуацию.

— По какому праву ты едешь туда? Ты что, не слышал приказ — с места жительства никуда не перемещаться?

— Слышал. Но я не могу не ехать. Сегодня невестка поминает годовщину моего погибшего брата, — старик опустил глаза, чтобы не выдать чувств, начинающих овладевать им: вспомнилось, несколько стариков, задержанных вот так, содержались в настоящее время под стражей.

— А если слышал, то почему ослушался!? — закричал Марков.

— Не присутствовать на годовщине близкого родственника у нас не полагается, это неприлично... У нас такой закон...

— У меня закон один — закон войны. Если сомневаешься, я докажу тебе это.

— У моей невестки никого, кроме меня, не осталось. Оба ее сына на фронте. Не задерживай меня, — насколько возможно мягко попросил старик.

Марков подмигнул своим товарищам, мол, знаем, на каком фронте они воюют.

— Ты давай, брось, сказки рассказывать будешь детям. Лучше признайся, везешь продовольствие бандитам; это облегчит твою участь.

— Бандиты-мандиты я не знаю... И вообще, как ты со мной разговариваешь, — вскипел наконец старик, прикоснувшись к рукояти кинжала и посмотрев майору прямо в глаза. «Ну и мразь же мне попалась, а ведь свой, да еще и в чинах», — чуть не вслух подумал он.

Майор воздержался, взвесив ситуацию, он понял, что самообладанию старика наступает предел, и дело само повернется так, как надо, не возбуждая сомнений у сопровождавших его солдат.

— Оружие где припрятал, в мешках?

— Какое еще оружие, это кукуруза... кукурузное зерно!

— Знаем, какую «кукурузу» возят в лес такие, как ты...

Обыскать!

Двое молодых парней — рядовые — моментально соскочили с лошадей и, взрезав один мешок, высыпали зерно на землю. В момент, когда потянулись за вторым, старик схватил наиболее расторопного за шиворот и, встряхнув пару раз, отбросил в сторону.

— Это что, отец твой вырастил кукурузу? Зачем на землю высыпашь, да разольется твоя черная кровь по земле! — вне себя от гнева сказал старик, поднявшись на ноги.

— А ну, тикай отсюда, бандюга, — опешил солдат.

— Это ты тикай, такого тикая и бандюгу, как ты, найти трудно...

Марков потихоньку достал пистолет и выстрелил старику в голову, почти в упор. Забытый в суматохе мальчик бросился к майору со скотным ножом, но получил удар сапогом в дыхло и растянулся поверх рассыпанной кукурузы. Очнувшись, он увидел направленные на него стволы и словно впервые — красные звезды на пилотках солдат. Всю жизнь, сколько он себя помнил, красная звезда была символом его счастья, свободы и гордости за себя и свою великую непобедимую Родину. В учебниках, в книжках, которые они читали в школе, всегда были рассказы и картинки о воинах с красными звездами на буденовках, он и его друзья гордились подвигами этих воинов, пели песни о них и с возрастом мечтали стать такими же смелыми, отчаянными и благородными, как они. Мальчик, лежа на земле, посыпанной золотыми зернами, смотрел на троих военных

и не мог понять, что здесь происходит, скорее всего, это были не те солдаты, за которыми они гурьбою бежали по улицам аула и чьи пилотки, увенчанные красными звездами, наполняли абрикосами и яблоками. Ему стало страшно, захотелось спастись: речка шумит у дороги прямо под откосом, если он успеет спрыгнуть под откос, можно затеряться в камнях, уйти вниз вместе с водою, он вскочил на ноги, но несколько коротких очередей оборвали его мысли, и он снова свалился на землю и перестал что-либо чувствовать.

Женщины, возившиеся у воды, услышав выстрелы, подняли вой, но пока сбежались люди, майор Марков и его товарищи были уже далеко. В дом Ислама он больше не вернулся — выслал за своими вещами двух солдат — и перебрался в Алашево. Вдоль дороги и на подходах установил пулеметчиков, можно было подумать, приготовился встретить врага, но еще не высохли могилы убитых им людей, как был получен приказ к отступлению.

* * *

В те дни майор Марков со своими людьми отступил в сторону Осетии. В ауле, где его поили и кормили, перед уходом по его приказу были подожжены дома «предателей», пятеро стариков, задержанных ранее в лесу за сбором дров, были расстреляны — не было времени разбирать, кто есть кто. Прошло четыре месяца, как теперь уже подполковника Маркова судьба снова занесла в эти места. Его дивизия, преследуя врага, продвигалась к Нальчику и далее к Черкесску, а там, присоединившись с 18-й и 46-й армиями, должна была выйти к Краснодару и полностью освободить край от гитлеровцев. Марков был расстроен, казалось, его оставили в стороне от важнейших событий, где можно было на виду у начальства проявить себя. Его одолевали сомнения: то ли ему не доверяют (где и когда он мог проколоться?), то ли, напротив, учитывая сложность задания, поручили его именно ему, Маркову, полагаясь на его тактические способности? Задание действительно было сложным, отсюда скоро не выбраться, Марков понимал это, опасность подстерегает всюду, но шумных помпезных побед не бывает — выслеживать врага, точно дикого зверя, не зная покоя ни днем ни ночью, куда сложнее, чем встретиться с ним лицом к лицу в чистом поле — ибо медленный огонь обжигает не менее мучительно, нежели быстрый. Как бы там ни было, Марков

достойно выполнит задание, перед началом операции были собраны все командиры батальонов и специальных служб полка.

— Нам приказано при содействии частей 9-й армии отрезать путь к отступлению и уничтожить силы противника, сосредоточенные разрозненными группами в районе Ардоно-Дигорской долины, — начал Марков, не отрывая глаз от висевшей перед ним карты. — По плану командующего армией генерал-майора Козлова, действия нашего полка должны охватить устья рек Черек — Малка, чтобы не дать немцам вырваться и ударить с левого фланга по подразделениям 37-й армии, движущейся к городу Нальчику, по пути следования через населенные пункты: Чикола, Хазнидон, Лескен.

Подполковник Марков перевел дыхание и окинул взглядом офицеров — Хуцашвили, Габидуллина, Кравцова... Ловкие, отменные вояки, не имеющие дурной привычки обсуждать приказы... Вот только Кравцов не вполне внушал ему доверие. Три месяца он служил в полку Маркова, его направили в полк вместо погибшего под Владикавказом Дмитрия Петренко, говорили, хорошо знает местное население и дороги. Но к чему Маркову эти всезнайки, не успел он передохнуть от этого зануды и правдолюбца Петренко, как вот ему сюрприз... Этот похлеще будет мужик, лет за сорок; в гражданскую командовал здесь отрядами, сформированными из балкарцев, принявших сторону большевиков...

— Противник имеет целью вырваться из ущелья и в районе Ардона или Алагира присоединиться к силам дивизии генерала Квига, направляющейся к Сталинграду; мы должны предотвратить это воссоединение...

Далее подполковник Марков пространно и нелицеприятно рассуждал о характере и нравах местных жителей, об артподготовке силами авиации и артиллерии и наконец поставил задачу лично каждому командиру, назначил даты и маршруты, после чего коротко бросил обычное «вопросы есть?».

— Есть, — встал со своего места майор Кравцов. — В нашем плане не учтена безопасность мирных жителей и их жилищ. И потом: мне не ясно, почему жители аулов ущелья должны считаться «в большинстве своем прихвостнями гитлеровцев?»

— В этом вы убедитесь сами, а что касается безопасности,

кому надо, спрячутся в горах, им не привыкать. Что еще не ясно?

— Это неверная постановка задания, товарищ подполковник,— сказал Сергей Кравцов.— Мы не имеем права беспорядочной стрельбой загонять в горы мирных жителей, тех же пахарей и скотников. Условия жизни здесь суровые, им дорого обойдется восстанавливать свои дома и хозяйство.

— Что значит — неверная постановка задания!— Марков, сам того не подозревая, несколько раз прошелся до дверей и обратно. Да, в Кравцове он не ошибся, зря он выгораживал его, когда Кравцовым заинтересовался НКВД, ох, как зря. Сергея Кравцова уже дважды не повысили в звании за то, что он совался не в свое дело. Ну да ладно, пусть выскажется, не будем ему мешать, мы дадим ему сказать все, что он думает, а потом посмотрим.

— Врагов народа ты считаешь землепашцами и скотоводами? А мы-то что здесь делаем, за что кровь проливаем? Мы, по-твоему, не за советскую власть воюем? — Марков вопросительно оглядел офицеров, ожидая поддержки.

— Советскую власть от них защищать не надо, они сами установили ее и сами проливали кровь за нее,— ответил Кравцов.

— Отставить, майор Кравцов!— сказал Марков и снова прошелся по комнате.— Никто не собирается причинять ущерб мирным жителям. Но это не значит, что мы должны таять и расшаркиваться перед каждым, кто угощает нас куском хлеба. По этому признаку мы не сможем отличить врагов от преданных нам и нашему делу людей. Ты полагаешься на то, что знаешь горцев по гражданской, но ведь и мы знаем их, и знаем в наиболее трудное для нас время — время, когда социалистическое Отечество в опасности,— продолжал Марков, особенно подчеркнув слово «мы» и снова вопрошающе глянув на присутствующих офицеров.— Ясно, ты благодарен балкарцам за проявленную ими когда-то доброту и хлебосольное гостеприимство, но для нас равны все народы как один, и за это равенство мы готовы перестрелять всех предателей и трусов. Я ясно выражаюсь?..

— Да, предателей и трусов... Но кто наверняка может знать, где предатель, а где наш?— Кравцов отошел в сторону, чтобы не возвышаться над Марковым, все же тот был начальником и старшим по званию.

— Мы можем знать,— ответил Марков,— небось, еще не

обманывались. Так, ладно, пустые разговоры отставить, война не ждет.

— Никак нет, товарищ подполковник, я еще не закончил, — снова встал Кравцов.

— Что еще? — нахмурился Марков.

— Мы даже не знаем, есть ли вообще немцы в пойме реки или они уже давным-давно убралась оттуда. Рано вести артподготовку и бомбить с воздуха. Надо послать разведку.

— Летчики отлично справятся с этой задачей, проводить разведывательные операции уже поздно, нет времени, — спокойно, без раздражения ответил Марков. — Если мы сейчас отправим разведчиков, через сколько дней они вернутся, и вернутся ли вообще? А немцы тем временем могут вырваться, объединить свои силы и помешать движению 37-й армии.

Надо сказать, Марков побаивался и не доверял Кравцову. Тот не раз выражал недовольство по поводу того, что Марков четыре месяца назад, когда стоял здесь, допускал произвол по отношению к местным жителям. Если этим словам будет дан ход, Маркову не сдобровать, и он понимал это. И насчет разведки Кравцов прав... У Маркова в левом глазу заиграл нервный тик, и он, прикрыв лицо руками, сел за стол. Да, Кравцов опасный тип, если его не остановить вовремя, то он сам осадит Маркова, и осадит всерьез и надолго. Однако существовало одно обстоятельство, которое могло сослужить хорошую службу: между частями 37-й армии по вине, как понимал Марков, генерал-майора Козлова была нарушена связь, а значит, какое-то время подполковник Марков был волен вести кампанию так, как почитает нужным. Нет худа без добра, противоречивые чувства, охватившие было его, тут же улетучились, он встал со своего места обновленным и даже несколько праздничным.

— Мы не сможем провести разведку лучше, чем это делают летчики, — сказал Марков, нарушив тяжелую тишину своим бодрым голосом.

— В горной местности разведку должна вести пехота, мы должны также расспросить местных жителей, — сказал майор Кравцов.

— Это лишние головные боли, не знаешь из-за какого камня или куста тебя пристрелят, — сказал подполковник Марков, — а нам нужна победа, и нужно, чтобы все вы возвратились домой живы-здоровы. Не так ли?

— Все так, — не унимался Кравцов, — но возвратиться с

чистой совестью. Во время движения вперед мы не должны повредить там, где могли бы избежать этого. История не прощает ошибки.

— История в руках победителя, — с пафосом сказал Марков, как если бы исход войны зависел бы от него одного. — А если ты, майор, боишься чего-то, передай командование батальоном Назарову хоть сейчас, война не любит тех, кто много рассуждает.

* * *

Крым проснулся от раскатов грома. Сейчас же обувшись в кожаные чуваки и накинув свою крохотную потрепанную черкеску, он выбежал во двор — на небе ни облачка, да и в это время года не бывает грозы, — это он уже знал. Однако гром не прекращался, земля под ногами дрожала, старый одряхлевший ишачок и бурый теленок в загоне неподалеку бесновались в ужасе, порываясь разнести плетеную ограду. У самого угла дома, уменьшившись, словно воробей, на колодке сидела Айшат.

— Что это гремит, отчего трясется земля и наш дом? — спросил у нее Крым.

— Это на голову «германов» обрушился кровавый ливень.

— А что, кровь может капать с неба, как дождь?

Когда Айшат подняла голову, Крым отпрянул: он никогда не видел на лице тети таких огромных глаз и столько ужаса, — он подумал, с ней случилось что-то страшное, неизвестное.

— Тихо, не плачь, тебе бояться нечего, это «германы» сбрасывают бомбы, — сказала Айшат.

Крым видел войлочные мячи — ими играли подростки вместо резинового мяча, но зачем они «германам»?

— Что это за бомбы? — спросил он.

— Бомбы «германов».

— И что же, одна из них попала в тебя? Поэтому ты такая испуганная?

— В твоего врага бы попала такая, — глубоко вздохнув, ответила Айшат.

— А куда они их сбрасывают, почему я не вижу?

— Кто знает, куда, зачем... Куда их «пьяная одурь» подсказывает, туда и сбрасывают, — как в бреду ответила Айшат, глядя на косогор, где она неизвестно зачем вырубилась деревце, которое теперь, высохшее, валялось за домом.

– Говорят, снизу сюда надвигается множество воинов, – снова проговорила она.

– Каких воинов, наших? – оживился Крым.

– Наших, ваших, какая разница? Что за польза от ваших – наших? Пусть разобьют эту пользу о свои головы.

– Теперь и сыновья твои смогут вернуться, да?

Айшат стала еще меньше. У нее если и были, то теперь окончательно иссякли силы и желание разговаривать. Ее опять начали посещать мысли о том, что все ей обязаны, а положиться не на кого, голова пошла кругом, мир вокруг улетучился, и неизвестно, чем бы могло все закончиться, если бы она, вдруг прозрев, с удивлением не обнаружила перед собою Kryма.

– Ты кто, мальчик?

– Я Крым, – поспешно ответил Крым, снова перепугавшись.

– Ты дитя моей несчастной сестры, кажется?

Мальчик не отвечал. Вдруг гром прекратился, эхом умчался вдаль, стало так тихо, словно на двор опустилось огромное облако ваты. Какое-то время звенело в ушах, пока в тишину не врезался вой старого волкодава.

– Кто-то идет сюда, я слышу шаги... он идет грабить, – Айшат встала в тревожном ожидании и внимательно посмотрела на Kryма, – беги отсюда.

Айшат торопливо засемила к дому, отворила дверь настежь и с трудом протиснулась через порог: слева вход загроможила куча разнообразных костей. «Да приумножит Аллах мое богатство», – прошептала она, с болезненной улыбкой глянув на кучу. Затем вдруг всплакнула: «Вот вернется мой старший, а к свадьбе уже все готово. А это для младшего», – шептала она, обратив свой взор вправо, где, загородив очаг, высилась вторая куча, состоящая из полусгнивших тряпок, обуви и всякого мусора... И для дочери моей единственной приданое готово. Каждая из них стоит барана, а то и тельца», – приговаривала она, с трудом пробираясь между круглыми гладкими камнями к своему темному закуточку. Там она зажгла фитилек своей маленькой керосиновой лампы и откинула крышку сундука, сорвала заплесневевшее покрывало и, приблизив свое тощее восковое лицо, осветила золотые монеты: «Вот мое вознаграждение за то, что я вскормила, вырастила и поставила на ноги столько людей, превратив мои тощие пальцы в десять неиссякаемых и животворных сосков. Сколько можно! На этом свете без вознаграждения даже к умирающему

никто головы не повернет, всемогущее государство не поможет одному сироте, выходит, одну меня Аллах лишил разума? Отдашь это Крыму, когда он вырастет и женится, сказала она... Кто она? Кто мог открыть рот и произнести эти гнусные слова? Сестра? У меня разве была сестра? Странно. А кто этот Крым? О ком говорят?» – Айшат прикрыла крышку и, присев на сундук, задумалась. «Не знаю такого человека, мне не знакомо это имя, не слышала... Нет, не слышала, никогда не слышала...» – шептали ее губы.

* * *

Крым был голоден, он ничего не ел со вчерашнего дня. Айшат уже давно не готовила и не разводила огонь, зола в ее очаге окаменела, казанок и несколько сковородок затерялись в куче хлама. Ждать от нее было нечего – а огненный глаз солнца уже давно глядел на него, возникнув над восточным склоном. Чувство голода напоминало ему о Хабле, и он с грустью вспомнил о вчерашнем дне, когда Хабла неожиданно вышла ему навстречу (а она всегда появлялась перед ним в самую нужную минуту) и заговорила:

– Ты голоден, мальчик мой? Молчи, вижу, очень голоден.

– Нет, не голоден, – опустив голову, сказал Крым.

Хабла, не слушая, взяла его за руку и повела к своему жилищу. Жильем служил ей отгороженный угол заброшенного сарая, но Крым, когда бывал там, чувствовал себя очень уютно. Плетенные из ореховых прутьев стены и вход были увешаны кийизами, очаг посреди комнаты с аккуратно изготовленной вытяжкой всегда был затоплен.

– Ты теперь не побираешься? – спрашивал Крым, разжевывая сладкую кукурузную халву и запивая ее свежим айраном.

– А что, я похожа на побирушку? – насторожилась Халимат и осмотрела себя с ног до головы испуганно: она очень боялась произвести отталкивающее впечатление на мальчика.

– Да нет, не похожа... Платочек на тебе новенький, пестрый такой, вот и не похожа.

– Как я могу побираться? Для здорового человека побираться – это мерзость.

– А сумасшедшим можно побираться? – Крым приостановил жевательные движения и внимательно посмотрел на Хаблу.

– А кто, по-твоему, сумасшедший?

Крым ничего не ответил, но продолжал краем глаза поглядывать на нее. Действительно, что-то изменилось в ней, она перестала выглядеть умалишенной, как это было раньше. Вместе с тем многие ее черты, голос, руки все более вызывали в памяти мысли об ушедшей матери.

– Ты так и не сказал, сынок, кого ты считаешь сумасшедшей? – снова спросила Халимат.

Крым хотел сказать: «Айшат», да не решился – нехорошо это – обозвать сумасшедшей, тетя как-никак.

Вспоминая теплые слова Хаблы, ее свежий густой айран, Крым порывался сбежать в село и найти ее, сколько времени он уже мыкается по двору, а Айшат так и не вышла, похоже, она и не помышляла заняться стряпней. Хотелось поподробнее узнать, почему так неожиданно вдруг начались и прекратились раскаты грома и гул, сотрясающий всю землю.

Отчего немцы сбрасывают свою «пьяную дурь»? Спросит у Хаблы, она наверняка знает. Если начнет приставать, пытаться покормить его – откажется, не может же он, на самом деле, ежедневно есть у посторонних, сколько можно, пора и честь знать... Так Крым пытался найти себе оправдание, когда уже бегом поднимался на склон, разделяющий аул и дом Айшат. Отсюда хорошо просматривался весь аул с его зигзагообразными улочками, прочерченными низкими каменными заборами. Прямой была только центральная улица. Была тишина, людей – ни одного, сновали только озабоченные «германы» во дворе бывшего правления. Крым не успел хорошенько присмотреться к ним, как появилась Хабла, ни живая ни мертвая от страха, и, схватив Крыма, сильно прижала к себе. Крым вдруг почувствовал, что соскучился по ней, руки ее показались такими родными, нежными.

– Кто мог отпустить тебя на улицу одного в этом аду, не побоявшись гнева Аллаха? – сказала, волнуясь, Хабла. – Пойдем, сыночек, не будем стоять на виду у этих нелюдей, брошенных своим Богом.

Они отошли и спрятались за лежащим неподалеку огромным, словно бык, камнем.

– Почему «германы» сбрасывают свою «пьяную дурь»? – спросил Крым, поглядывая на суетящихся немцев.

– А с чего бы им быть пьяными? Спасаются, как могут. Убегают.

– Как убегают? А зачем им убежать, куда?

– Вон посмотри, видишь? – сказала Халимат, показывая

указательным пальцем на дорогу, в месте, где она проходит берегом реки.

— Вижу,— ответил Крым.

Немцы, выстроившись в колонну, спешно покидали аул.

— И эти тоже сейчас уйдут, вот только того несчастного жаль, убьют они его...

— Кого ты называешь несчастным?

— Вон, видишь того мужчину? С медведями собрался гриши есть.

Во дворе правления Хаким спорил с одним из «германов», было похоже, что они не могут поделить коня. Оттолкнув Хакима, солдат схватил под уздцы его коня, но Хакиму такой расклад не понравился (ясное дело, не хотелось отправляться в дорогу на раздувшейся кляче «германа») и, выхватив обратно конец уздечки, он попытался запрыгнуть на своего коня. Однако солдат тоже не был согласен с этим: он схватил Хакима за шиворот и повлек в сторону от столь желанного обоими коня. Заметив потасовку, к ним подбежал еще один солдат и ударил Хакима прикладом по голове, освободившийся «герман» немедля вскинул винтовку и дважды выстрелил в распростертого Хакима. Дальше Крыму ничего не удалось увидеть, потому что Халимат схватила его и прижала к своей груди; через некоторое время, когда Крым посмотрел в ту сторону, двор был пуст, вдалеке виднелся хвост серой колонны, которую заглатывал последний поворот горной дороги.

* * *

Был солнечный день. Крым стоял, подставляя переменчивому ветру свое бледное осунувшееся лицо, и с наслаждением ощущал, как тепло каменистой земли проникает к нему в пятки сквозь прохудившиеся подметки чабур. «О, ангел мой,— зашептали его губы,— теперь ушли и «германы», позволь моей маме вернуться, пусть она быстрее обнимет меня! — мальчик слегка приоткрыл один глаз и глянул на склон: показалось, он видит женщину, блеснувшую серпом, но все же открыть глаза и посмотреть он не решился. Неподалеку мелькнула Хабла, вид у нее был оживленный и радостный, по воздуху пронесся аромат горячего хлеба.— Ангел мой,— снова зашептал Крым,— мне не нужна больше твоя Золотая чаша, пусть вернется мама. Вот мой дар тебе — мой золотой альчик, а твоим даром да будет возвращение моей мамы», — шептал Крым, порывшись

и карманах, достал и показал на вытянутой ладони большой бычий альчик.

Вдруг послышался шум и движение, словно по просьбе Крыма к нему ринулись не одна мама, но мамы и родственники всех на свете детей. Открыв глаза, он с изумлением увидел множество людей, спускающихся по склону козьими тропками — женщины с детьми на руках, молодые девушки, старики, подростки, — пешие, верхом на лошадях, на ослах...

— Откуда столько народу? — спросил Крым, почувствовав возле себя Хаблу.

— Возвращаются люди, которые скрывались от «германов».

— Моя мама тоже скрывалась от них? Она тоже идет?

— Нет, она пряталась не от «германов».

— А работницы, что ходили в поле, придут? Ведь они должны придти? — Крым до боли в глазах всматривался в толпу, выискивая маму, но ее не было, как не было малыша в красной шапочке, неизменно следовавшего за нею, вцепившись в ее развевающееся платье. А люди все текли стремительным потоком со стороны Алашевки, Сауту, Ухола, направляясь в аул, точнее к его центру, ко двору дома правления. Пообедав в молчании, Крым и Халимат тоже направились туда, заиграла гармонь, звуков которой давно не было слышно, и они так взволновали Крыма, шум, гомон, было видно танцующих старика и женщину, — минуту спустя танцующими был запружен весь двор, — стоявшие по кругу хлопали, и от звона ладоней очастливленных чем-то людей вздрагивал прозрачный утренний воздух.

— Смотрите! Алакёз! Это он, посмотрите, люди! — неожиданно сказал поднявшийся на ноги старик, и хотя голос его прозвучал тихо, празднество приостановилось, умолкла гармонь, и взоры обратились в ту сторону, куда показывал старик. Мгновение спустя на некоторых лицах появились слезы, люди притихли и смотрели на гнедого с безмолвным восторгом, как если бы увидели погибших сыновей аула, оставших из могил и неторопливо возвращающихся домой. Детвора, а вместе с нею и Крым, радостно побежала навстречу гнедому. Алакёз возвращался в аул, вполне буднично, словно все это время пассивно неподалеку, слегка прихрамывал, но этого как-то не замечали.

— Не ожидал, что Алакёз останется в живых, — сказал кто-то.

— А я же говорил: что может угрожать коню с вековой

родословной?— сказал еще кто-то не то в шутку, не то всерьез.

Алакёз шел неторопясь, изредка останавливался, убирая голову от назойливой детворы; глядя на него, люди не могли поверить, что это тот самый бродяга-жеребчик, которого они ласкали и откармливали, та злая скотина, которую ненавидели, перед ними был не просто Алакёз, но их утраченное счастье, их прошлое, вынужденное скрываться от людских глаз в мрачных пещерах и за стенами древних могильных склепов. Глядя на ковыляющего Алакёза, каждый боролся со своей скорбью, думал о своем и видел в коне свой особый символ.

* * *

Рев появившихся в воздухе самолетов возник так неожиданно и близко, что обескураженные внезапным их налетом аульчане, праздновавшие побег «германов», замерли в ужасе, словно замороженные, несмотря на то, что самолеты здесь видели не впервые. «Айрыпланы!»— заорал кто-то. В эту же минуту бешеный гром сорвался с ближайшей скалы и, сотрясая дома, пронесся над головами людей. Сразу же вслед за ним показались силуэты двух низко летящих боевых самолетов.

— Аллах велик, вот вернулись «германы»,— послышался женский голос.

— Не бойтесь, люди, это наши!

— Отчего тогда они такие свирепые...

Первый пошел противоположным берегом реки, второй, опустив левое крыло, начал круг прямо над аулом — люди увидели лицо летчика в очках и с головой, намертво обтянутой «кожаной шапочкой», внимательно осматривающего их; в следующую минуту раздалось два взрыва по ту сторону Черека, и оба «айрыплана», встретившись, снова начали круг над аулом; они взмывали вверх, затем, пикируя, снова проносились над самыми дымоходами, словно желая заглянуть в окна домов, выяснить, кто же там спрятался и что они там затеяли.

— Они, наверное, думают, «германы» еще здесь, поэтому так злятся,— прошептал кто-то.

Все говорили тихо, потому что «айрыпланы» могли слышать их и разойтись окончательно,— кто знает, какими словами может быть вызван их гнев, и не будет ли еще хуже.

Под самолетом, пролетающим над правлением, две параллельные трассирующие очереди, похожие на струи золотого дождя, поднимая пыль, прострочили двор: две женщины, находившиеся там, осели наземь, но никто не обратил на них внимания, многие еще не знали такого странного предмета, как пулемет. Но тут же поднялся вой, сливаясь с ревом моторов, он казался очень далеким; люди бегали, как насекомые, забиваясь в дома, углы, щели; золотистый дождь, поднимая полосы пыли, настигал их. В какой-то момент двор дома правления был усеян трупами.

* * *

Утреннее солнце поднялось высоко, глубоко отогнав тени оград и деревьев, но справиться с жгучим холодом и серебром инея на траве, крышах домов и сараев ему не удалось. Оставшийся до рассвета на улице скот сонно слонялся по улицам, лениво собирая солому и опавшие листья, оттаивая и распространяя медленный пар с заиндеветых боков. Склоны, покрытые вечным типчаком, переливались ярким иссиня-голубым цветом, они лежали, словно две утопившиеся гигантские ящерицы, прижавшись друг к другу; по бокам их ютилось несколько съезжившихся от страха крохотных аулов.

Никто не решался выйти из дому. Пора было позаботиться о скоте, встретиться с родственниками убитых, принять участие в хлопотах достойно похоронить мертвых, но люди были подавлены: где гарантия, что, когда они соберутся, опять не появятся «айрыпланы» и не начнут бомбить снова? Когда идет война, смерть приходит отовсюду. И что это были за «айрыпланы», ведь они видели, почему собрался народ — ушли немцы!

Однако возмущаться не стоит — лишняя суета; лишнее слово имеет длинный безобразный хвост.

— Говорят, сколь неуклюжа корова, а теленка ногой не прибьет, так что же они делают с нами! — причитала пожилая женщина, близкая родственница одного из убитых. Остальные, сидевшие у трупа всю ночь, посмотрели на нее с укором: страх владел ими.

Убитую женщину (ее звали Кермахан) боялись даже оплакать: почему ее выбрали из многих и уничтожили первой, «айрыпланы» не глупее нас, сидящих здесь, видимо, знали, что делают, видимо, был за нею грешок, было за что; такую оплакивать опасно. Кермахан (впрочем, как и вся

ее семья) никогда не бывала за пределами аула дальше речки.

Не было на свете уголка, где бы можно было спрятаться от всевидящего ока «власти», если «айрыпланы» даже со своей высоты смогли обнаружить врага народа; плакать сейчас, горевать по такой усопшей опасно, это может привести к дурным последствиям.

— Это не наше дело, «власть» знает, что делает, — строго сказала другая женщина. Платок прикрывал ей лицо до самых глаз.

— Никто ничего не имеет против «власти», она у нас одна, да псов у нее много.

Все снова с укором посмотрели на «необузданную» женщину, поднялся приглушенный ропот, надо было побыстрее заткнуть ей глотку, иначе беды не миновать; что она позволяет себе, когда за каждое лишнее слово может пострадать не только сосед, но и собственный сын.

* * *

Этой ночью Крым ночевал у дяди Болата. Даум с утра приказала никуда не выходить, Крым и не выходил, сидел, уставившись в окошко, высматривал Хаблу: должна же она появиться; вон, отсюда виден ее сарай. Что случилось с Айшат, было неизвестно, и Алакёз вчера, испугавшись чего-то, снова сбежал в неизвестном направлении. Все неизвестно в этом тоскливом мире, захотелось плакать, мама так и не вернулась, а теперь вот и Хабла пропала. Хабла, которая так нежна, внимательна к нему, заботится о нем, как мама... И вообще, зря говорят, что она сумасшедшая, неправда... Крым снова почувствовал, что сейчас заплачет. Кого он жалел? Себя или Хаблу? И чей такой мягкий голос мерещится ему, когда он прислушивается к себе, Хаблы или матери его Халимат? Бывает, его осеняет, и он, вспомнив маму, слушая ее голос, не может уловить разницу между ними. Крым выскочил во двор:

— Хабла!

Никто не ответил. Крым уже не сдерживал себя, плакал навзрыд.

— Айба, Айба, где ты? — вдруг вырвалось у него. Имя, которым он звал маму и которое уже давно перестал проносить.

— Что случилось, мальчик мой, я здесь, — сказала появившаяся в дверях сарайчика Халимат. Но увидев в каком

состоянии находится Крым, она быстро вытерла руки о передник — они у нее были в муке — и подбежала к нему.

— Не бойся, маленький мой, не бойся, я здесь, — скороговоркой заговорила она, еле сдерживая слезы. Крепко обняла его, Крым весь дрожал.

— Ты куда исчезла, — с досадой на себя и свои слезы сказал Крым, почувствовав, что несколько оплошал, показав свою слабость и малодушие.

— Глупенький ты мой, куда же я уйду, оставив тебя, не дай Аллах.

— Так ведь уходишь же, — буркнул Крым, окончательно придя в себя и отстраняясь от Халимат.

— Запомни, я всегда рядом с тобою, даже если отойду куда-нибудь.

— Вот Алакез ушел вчера и не вернулся.

— Не бойся, он от тебя никуда не уйдет. А если ушел, так скоро вернется.

— Он ведь меня очень любит?

— Конечно, ведь это конь твоего отца, — мальчик увидел, как с этими словами повлажнели глаза Хаблы. — А Узунбель, отец Алакёза, был конем твоего деда, — продолжала Халимат, — и дальше отец Узунбеля, Бииктуяк, был тоже прекрасный конь, на нем ездил отец твоего деда.

— А почему у Алакёза нет жеребчика?

— Будет и у него жеребчик, — ответила погрустневшая Халимат, хотя в душе сомневалась. «Как бы на Алакёзе не оборвалась эта славная порода», — подумалось ей. — Пойдем, я испекла хычины для тебя, — и взяла его за руку.

«Странно устроена жизнь, — думала Халимат, наблюдая за Крымом. Она была счастлива их сближению, все, что удавалось достать, откладывала для него, и Крым в последнее время не капризничал, прислушивался к ней, ел все, что она готовила, большего счастья для матери и не существует. Ну а люди? Почему они не дают мне называть Крыма своим сыном, хотя прекрасно знают об этом? Ведь не ослепли же они на самом деле, не утратили память; для чего им нужно, чтобы Халимат, несмотря ни на что, оставалась Хаблюю — этого мне никогда не понять. Даже самые уважаемые сельчане, когда слышат о том, что я Халимат, мать Крыма, смотрят как-то странно, слова по-человечески вымолвить не могут». Не так давно Халимат разговорилась со своей доброй соседкой Фаризат и между прочим сказала ей:

— Ты же знаешь, кто я, разве тебе трудно поговорить с сельчанами, хотя бы с близкими, об этом?

Фаризат тотчас сконфузилась и долго молчала.

— Халимат я кормила собственной грудью. Она была очень неглупой женщиной, — выдавила она из себя наконец.

— Значит, и ты не веришь мне?

Соседка опустила голову, ей не хотелось разговаривать об этом и казалось, будь эта женщина в своем уме, то уж, наверно, не старалась бы так выглядеть нормальной, вменяемой.

— Ну... Об этом трудно судить. Действительно, во многом ты похожа на Халимат. Так ведь я и говорила об этом людям и не раз...

— Ты же раньше меня сказала мне же, мол, ты не Хабла.

— Может, и говорила.

Обе умолкли. Халимат с горечью глотала слезы, Фаризат злилась. «Все заботятся только о себе — так всегда, — думала Фаризат, — вот возьми, сам в полымя, а меня освободи — так хочет сделать и эта несчастная. А окажись она и на самом деле не Халимат, меня саму сочтут сумасшедшей. И уже во второй раз».

— Аллах даровал тебе покой и свободу, недоступную для других, так зачем ты стремишься избавиться от нее, несчастная? — сказала снова Фаризат.

— Как это?

— Тебе лучше оставаться Хаблой. В этом мире больше всего страдают лучшие и умнейшие.

— У меня есть сын, вот в чем дело.

— Сейчас и ребенку не нужна здравомыслящая мать. Это лишние головные боли и дорога к несчастью. Судьба даровала тебе свободу, стоит ли убегать от нее, чтобы сразу же попасть в ловушку. Сегодняшний мир — это ловушка для людей, но тебя Аллах избавил от нее.

— Такую свободу Аллах пусть дарует врагу, — ответила Халимат.

Этот разговор вспомнился ей сейчас, она с умилением глянула на Крыма, поблагодарила Аллаха, но ему ничего не сказала — не хотелось понапрасну волновать мальчика. Вдруг снаружи послышался свист; все возрастающий, он обрывался громом, затем еще и еще. Треск и разрывы стали частыми, забившись в угол, Халимат прижала к себе Крыма, видимо, опять налетели «айрыпланы». Сейчас же задрожал сарай, послышался треск деревянных перекрытий, не выпуская из рук Крыма, Халимат выскочила на улицу.

Нет, «айрыпланов» не было, во всяком случае Крым их

не видел. Повсюду был слышен пронизывающий до костей вой и свист, показались черные дымы пожара; то там, то здесь сгорбленные сакли разлетались в щепки. Крым никогда не видел такого кошмара: по аулу во все стороны бегали обезумевшие люди; крики, вой, плач смешались в адском грохоте и не прекращались, а все возрастали, словно возвещая о конце света. Некоторые снаряды ложились на кладбище, и снизу казалось, что в воздух взлетают не вырванные куски мяса земли, а останки погребенных там сельчан, их разрозненные черепа и кости. Белые башни, которые, оцетинившись, столетиями возвышались над людьми, падали на колени, рассыпались в прах, уступая пространство страшным чудесам нового времени.

* * *

Алакёз едва успел отскочить в сторону, когда взрывом разнесло склеп, неподалеку от которого он пасся. В панике, не зная, что делать, бежать или оставаться на месте, он снова пытался спасти свою несчастную голову. Сколько ему пришлось пережить за это время? Над его ушами не раз сверкали страшные свистящие молнии, вчера ему на голову чуть не рухнула крыша конюшни, в которой он вздумал было отдохнуть — еле унес ноги, и вот опять... Ведь совсем недавно здесь было так тихо, спокойно, никто не трогал его, трава — хоть и высохшая — не вытоптана. Расстояние между живыми и мертвыми так велико, мертвые обосновали здесь свой отдельный мир, а живые там, внизу, — свой; отсюда к живым дороги нет, зато оттуда к мертвым дорога широка, свободна и всегда оживлена. По этой дороге никто не хочет ходить, один Алакёз бродит по ней туда и обратно, словно посредник между двумя мирами. Иногда, правда, появлялись двуногие из аула, приносили на деревянных носилках своего умершего и поспешно уходили обратно.

Страшные громы, выворачивающие куски земли и разрушающие склепы, не прекращались и даже, похоже, гнались за гнедым, который уже бежал от них по кладбищу, разбирая дороги. Вдруг с ним что-то случилось — он упал сначала на колени, потом повалился всем крупом; когда поднялся на ноги, почувствовал запах паленого; было не ясно: гриву ему подпалило или на самом деле так пахнет горящая земля. Он посмотрел по сторонам и увидел огонь: горела трава, пламя распространялось по всему кладбищу и очень быстро. Земля рвалась вокруг, волны от разрывов сби-

вали его с ног, но было удивительно тихо; видя все это как-то замедленно, он ничего не слышал; удивительно: ни свиста, ни грома, ни треска горящих деревьев; хотел убежать отсюда, но ноги не слушались, передвигался он плавно, медленно как во сне, хотя старался изо всех сил. Алакёз снова укрылся у стены одной из белых башен склепа. Спустя какое-то время верхушка башни без единого звука начала осыпаться, и он, отпрянув, поплыл дальше. Тут-то он и увидел волчицу: она лежала на обугленной поросли с наполовину обожженной шкурой и часто-часто вздрагивала. Но даже несмотря на это, глаза ее не утратили алчного света, непокорности и решимости. Она заметила, что Алакёз ранен, и это укрепило ее решимость; запах крови, вытеснивший все другие запахи, царящие вокруг, приводил ее в бешенство и наделял невероятной силой; она бросилась вперед. Но Алакёз тоже был готов к этому и, отскочив на ровную площадку, изготовился встретить ее. Едва началась схватка; рядом раздался грохот, и волчицу отбросило в сторону, точно бесформенный клубок шерсти. Раздалось еще несколько взрывов, потом еще. Они учащались, не прекращаясь, один за другим. Одуревший, ничего не слыша, не понимая, куда бежать, как бежать, жеребец закрутился на месте. Неожиданно волчица, видимо, обезумев, залезла к нему прямо под живот в надежде укрыться. Так они вдвоем, ошалевшие от страха и непонимания происходящего толклись, не сходя с места, волчица то и дело прижималась к задним ногам жеребца. В какой-то момент, наверное, обнаружив, что это не самое лучшее укрытие, она выбежала оттуда, но ужас происходящего был так громаден, что она тотчас забилась обратно. Алакёз не видел и не слышал, но чувствовал под собою терпкий запах ее опаленной шерсти. В какой-то момент у него вдруг открылся слух; почувствовав, что пришел немного в себя, он изо всех сил помчался к ближайшему заросшему типчаком склону прочь от кладбища. Очень скоро он уже семенил далеко вверху, по козьим тропкам. Была тишина, неужели он снова не слышит? Навострил уши, посмотрел вниз — гром прекратился, ветер уносил черный дым, и земля уже не отбрасывала вверх свои рваные куски. Белых башенок склепов не было, вместо них лежали бесформенные кучи обожженных камней. Тихого мира больше не существовало, только запах жженного камня и волчица, бегущая к нему теми же козьими тропами. Алакёз расслышал ее частое с хрипом дыхание, по воздуху про-

носся запах волчьей шерсти, и Алакёз приготовился к схватке.

* * *

На рассвете к Алашевке с одной ротой подошел подполковник Марков. Остальные подразделения были брошены по соседним аулам – Ухол и Сауту. Алашевка ютилась над Уллу-аулом, прямо на откосе, как ласточкино гнездо, и было достаточно бросить вниз ее камни, чтобы они раздавили жилища нижнего Уллу-аула. Позаботиться о судьбе этих двух поселений Марков решил лично.

Однако какое-то смутное, непонятное ему самому сомнение терзало его все утро. А надо ли было разделяться и ни свет ни заря, гнать людей в теснину? Ведь можно бы и переждать, пока при свете дня не выяснится, что там происходит; батарея Габидуллина поработала неплохо – вряд ли теперь предстоит бой и необходима внезапность. Эти сомнения не рассеивались и раздражали его, видимо, поэтому захотелось сорваться на ком-нибудь. Он машинально оглядел солдат и офицеров и вдруг заметил, что не видно Сергея Кравцова. Почти опередив участвовавшее сердцебиение, пришла мысль: он забыл – Кравцов был разжалован и отдан под трибунал им самим накануне. Да, хорошо, все бы хорошо, но помимо Кравцова нашлись еще недовольные, двое ротных, их он тоже разжаловал и отправил – нарушение дисциплины, военное время... Черт! Получается слишком много; а вдруг дело повернется иначе, когда дойдет до командира армии? Три офицера... Вдруг усомнятся, спросят, почему? Так ли уж правильно и честно он служит вождю и отечеству? Беспokoили и разведчики: они не возвращались, хотя уже истекло отпущенное время. Но чего он ждет от них? Благоприятных новостей или дурную весть? А может, лучше, если они вообще не возвратятся? У подполковника снова участилось дыхание, действительно, куда подевались эти два молодца, неужто погибли? Марков поднялся на ноги.

– Разведчики не появились? – по его озабоченному виду было ясно: он волнуется.

– Нет еще, – ответил один из солдат.

Прохаживаясь туда-сюда, подполковник поймал себя на мысли, что лицемерит перед солдатами, старается выглядеть взволнованным, якобы беспокоится за двоих парней. Ему стало стыдно перед собой, это поведение напомнило ему Хамалая, хотя некоторые черты этого Хамалая, его же-

лание беспрекословно подчиняться, не думая и ни в чем не сомневаясь, нравились Маркову: в трудное для страны время только такие и нужны.

Хамалая с его отрядом они встретили несколько часов назад случайно. Решив, что это бандиты, Марков приказал открыть огонь, и из девяти человек Хамалая осталось четверо. Да кто их знает, и, впрочем, какая разница, бандиты они или партизаны, с этих не убудет, Марков не жалел о случившемся; поскольку ответного огня не последовало, оставшихся четверых привели и выстроили перед подполковником.

— Кто старший?— спросил Марков.

— Командир партизанского отряда я, Хыйсаев Ханафий. Вы приняли слишком поспешное решение, погибли пятеро партизан, — сказал Хамалай.

— Партизаны, говоришь?— ухмыльнулся Марков. Диковинно ему было слышать в этих местах слово «партизаны». — Быстро же вы меняете волчью шкуру на овчинку. Однако волк везде остается волком.

— А вам, я смотрю, выгодно называть нас бандитами, когда по вашей вине положили пятерых, — с гневом сказал человек в изношенном тулупе и со звездой на папахе, стоявший рядом с Хамалаем.

— Чего, чего?— Марков с изумлением посмотрел на него. — Уберите его... в расход.

— Я из НКВД,— заспешил человек со звездой на папахе.

— Я сказал: в расход!

Марков, поразмыслив немного, поуспокоившись, вновь обратил свой взор на Хамалая. Тот стоял бледный, казалось, на него напал столбняк.

— Таких, как вы, вооруженных бандитов еще много там?— спросил Марков, показывая на ущелье.

— Мы сотрудники НКВД, я лейтенант, вы должны помнить меня, мы не раз встречались раньше, — судорожно заговорил Хамалай.

— Думай, что говоришь, среди бандитов у меня знакомых нет и не могло быть... И не будет,— ответил Марков, хотя тоже помнил Хамалая: еще перед оккупацией Хамалай часто приезжал из Нальчика и бывал в их расположении в ауле. Не раз, сидя в доме Ислама, им приходилось и обедать за одним столом. Но признавать ошибки было не в правилах Маркова, и он жестом показал своим людям, чтобы те побыстрее убрали его отсюда.

Со времени этого допроса минуло уже два часа, из-за восточного склона блеснуло солнце, а разведчики все не появлялись. Марков приказал снова привести Хамалаю. За это время у него так изменилось лицо, что казалось, того подняли с постели после тяжелой продолжительной болезни. Эта забавная перемена не ушла от внимания Маркова.

— Значит, говоришь из НКВД?— с улыбкой глянул на пленного Марков.

— Так точно, товарищ подполковник. Бандиты — наши общие враги, товарищ подполковник. — Отчеканил Хамалай, хотя вид у него был довольно жалкий; по нему было видно: он готов на все.

— Много ли бандитов в этих местах? Как много? Как они вооружены? Тебе, поди, лучше знать об этом.

Хамалай задумался: ясно, того, что здесь их нет вовсе, говорить нельзя, Марков не поймет этого.

— Есть. Есть бандиты и бандитское отродье, товарищ подполковник, их отпрыски. Надо быть начеку, товарищ подполковник!

— Доколе мы должны опасаться, быть начеку? Не лучше ли вырвать с корнем это зло? Ты, будучи сотрудником НКВД, как на это смотришь?

— Точно так, товарищ подполковник, — ответил Хамалай, задрожав отчего-то всем телом.

— Ты, наверное, и дома, где живут бандиты, их семьи или пособники, знаешь?

— Я в НКВД не новичок, товарищ подполковник, конечно, знаю, — говорил Хамалай, хотя еще не представлял себе, чьи дома будет показывать.

Беседа с Хамалаем еще не закончилась, когда Марков услышал, что вернулись разведчики и приказал позвать их.

— Ну, что видели, что выяснили? — обратился он к одному из них.

— В ауле старики, женщины и дети, — доложил старший, — немцев нет.

— Это и все? Ну и губошлеп ты, кому, интересно, могло придти в голову послать тебя в разведку, — разочарованно произнес Марков.

— Товарищ подполковник, мы обыскали все, побывали во многих домах и не встретили ни одного человека, который бы не обрадовался, узнав, кто мы, — сказал его напарник, низкорослый рыжий солдатик.

— Тебе слова никто не давал, заткнись! Вы обманулись, как две курицы, позарившиеся на просо в ловушке. А здесь

народ хитрый, я уж знаю, поверьте. Красиво говорят, одной рукой хлеб протягивают, а в другой – нож... Обоих под стражу!

На этот раз Марков сам подобрал разведчиков; старшим пошел сержант, знакомый ему еще с начала войны. Этот сержант был доносчик и отличался невероятной тупостью. «Я очень надеюсь на тебя, отнесись к заданию со всей ответственностью», – шепнул он ему, проводив их до тропы, ведущей в теснину.

* * *

Белое солнце, разгоняя утреннюю свежесть, проникало во дворы, узкие улочки и пыталось захватить даже самые укромные уголки задворок. Похоже, зима проигрывала окончательно, дороги высохли добела, и в воздухе пахло весной. Двое красноармейцев в шинелях и ушанках цвета земли крались по верхней улочке Уллу-аула, затем спустились на нижнюю, там, помедлив, снова направились вверх, глухо шаркая кирзачами о торчащие всюду камни. Было тихо, аул казался необитаемым, кое-где дымились дома еще со вчерашнего пожара, с подветренной стороны слышался запах гари и пепла. На некоторых завалинках, как каменные истуканы, сидели старики. Их взоры были опущены, им не на что было смотреть, они привыкли к бедствиям, следующим одно за другим, и этот день был таким же. Все в руках всемогущего Аллаха, и не им обсуждать промысел Создателя.

– Видишь этих нелюдей? Была бы возможность, они бросились бы на нас, как дикие звери, и разорвали бы в клочья, – сказал сержант, кося глазом на безмолвно сидящих стариков.

Напарнику его не исполнилось и двадцати, хотя был он на фронте уже два года. Всякое слышал этот паренек о кавказцах, чему верил, чему не очень, ну а некоторые байки о них казались и вовсе небылицами, но на этот раз он действительно испытывал страх, многое казалось ему здесь зловещим.

– Старики сейчас везде такие смурные, – отвечал он все же спокойно, не поддаваясь нервозному тону сержанта.

– Не смотри в их сторону, – прошипел сержант.

– Почему?

– Здешние люди – что бешеные псы, в глаза посмотришь, бесятся и бросаются на тебя.

- Что-то не нравятся они тебе. Обидели, что ли?
- Да нет, не обидели. Но чего от них теперь ждать – вот что надо выяснить.
- Что-то мне не верится, чтобы наши советские люди желали причинить зло нам, советским солдатам.
- Ты думаешь, кроме немцев, у советской власти врагов нет. Ты очень доверчив, нельзя так жить, такая доверчивость равносильна измене Родине, – сказал сержант, скрыто, исподволь заглядывая во дворы и в окна.
- Да что мы бродим здесь взад-вперед, нет здесь никого, кроме этих стариков да баб, – раздраженно выпалил наконец молодой солдат.
- Ты стариков этих да баб только и видишь. А бандиты что тебе, выйдут навстречу веселые, радостные, дескать, друзей-товарищей встретили?..
- Бандиты, товарищ сержант, не дурнее нашего будут по домам сидеть. Их в лесу, в горах искать придется.
- Отставить разговоры, солдат.
- Парень ничего не ответил. Так они дошли до моста у околицы, где встретили двух мальчиков одиннадцати-двенадцати лет. Те ехали верхом на ослах, снаряженных вьючными седлами с прикрепленными к ним аккуратно смотанными длинными кожаными ремнями и топориками. Сержант остановил их, и те слезли с ослов.
- Куда собрались? – спросил сержант по-русски, поглаживая маленького и пушистого, точно болонка, ослика, прильнувшего, воспользовавшись остановкой, к соскам ослицы.
- Мальчики не понимали русского языка, но слово «куда» оживило их, и они, жестикулируя, показали в сторону леса: «за дровами, мол...»
- Сержант сделал вид, что не понял.
- Мальчик говорит, что идут за дровами, – пришел на помощь молодой, разглядывая подтянутых чистеньких мальчиков.
- И ты веришь этим щенкам?
- А почему бы не верить? Смотрите, какие чистенькие и аккуратные. Должно быть, очень трудолюбивые.
- Нашел трудолюбивых... Тебя что, в детстве лошадь копытом по башке огрела? Пойми, такие малые дети не смогут даже загрузить ослов дровами, неужели не ясно? – сказал сержант, продолжая поглаживать ослика. – Они идут в лес – либо к отцу, либо к братьям сообщить о нас. Вот в

чем дело. У тебя нет никакого оперативного опыта, глаз не наметан, тупой ты.

Сказав это, сержант неожиданно резко схватил длинные уши ослика, и напрягся, словно изготовился повалить его на бок.

— Не кажется тебе, что это очень сильные животные? Как ты думаешь?.. — сержант крепко хлопнул ослика по спине. — А чего это он так дрожит?

— Холодно ему, замерз, — сказал рыжий.

— Как это он может мерзнуть в эдакую теплынь, скажешь тоже?..

— Это нам с тобою тепло, а он — не видишь? — только родился, слаб еще. Оставь, не дергай.

— Только родился, говоришь? Ослы слабыми не бывают, дружище.

Сержант слегка навалился на его пушистую спину, затем закинул ногу и начал потихоньку придавливать к земле. Осленок, возрастом в неполный месяц, широко расставил свои крохотные копытца и всхлипнул. Но сержант сдвинул ему бока обеими ногами, не давая вырваться вперед или повалиться набок. Наконец, дергаясь и вздрагивая, осленок повалился наземь, ударившись при этом мордой о придорожный камень. Теперь он был похож на прошлогоднюю овчинку, брошенную кем-то у обочины. Один из мальчиков подбежал и, обняв осленка за шею, попытался поднять его, но когда понял, что это уже ни к чему, повернулся и с ненавистью устремился к солдатам.

— Ты что сделал... Что ты наделал... Да я же тебя!.. — мальчик, не сдерживая более рыданий, схватил и швырнул в сержанта камень, который просвистел у того над самым ухом. Пока мальчик тянулся за вторым, сержант моментально вскинул автомат и нажал на спусковой крючок.

— Змеи ядовиты одинаково — что большие, что маленькие.

— Отставить, отставить! — рыжий солдатик подался вперед и схватил сержанта обеими руками, пытаясь сдержать его. Тот вырвался и снова потянулся к автомату, но был сбит резким ударом кулака в скулу.

— Ах, вот ты как. А я и раньше подозревал, что ты предатель, — присев на камень, проговорил сержант слабым обреченным голосом.

— За убийство будешь отвечать перед трибуналом, — тяжело дыша, ответил рыжий.

— Отвечать будешь ты, прямо здесь, не сходя с места, и только передо мною. — Сержант направил на него автомат

выше пояса и дал три короткие очереди. Затем он прикончил второго, онемевшего от ужаса мальчика, и бросился бежать.

Во время бегства сержант слышал голоса, несколько человек с криками бежали к этому роковому месту и видели карабкающегося по верхнему отрогу Алашевки сержанта.

— Убили! Убивают!.. Там убивают наших! — задыхаясь, взревел сержант, еще издаലെка завидев выскочившего навстречу подполковника Маркова.

* * *

Подразделения, направленные в Ухол и Сауту, равно как и оставшиеся у Алашевки, начали быстро стекаться в долину. После сообщения о гибели разведчика никто из личного состава не задавался вопросом, кого они идут уничтожать, для них не существовало ни бандитов, ни стариков, ни женщин, ни детей, ни разницы между ними. В долине раскинулись аулы — логова врагов и предателей, каждая пуля или штык, миновавшие горца сегодня, завтра достанутся кому-то из красноармейцев. Первой жертвой, попавшейся на пути войск в Алашевке, оказалась пожилая женщина с трехлетним полным мальчиком. Побросав ведра с водой, она хотела бежать, но невидимая пуля быстро остановила ее неуклюжий бег, последние несколько шагов она, не выпуская руки пухлого малыша, прошла на коленях. Сбитый с ног мальчик-буруз тотчас поднялся на ноги и с плачем стал озираться по сторонам, словно ища свою оброненную шапку, пока чей-то штык не сделал его вялым и равнодушным. Словно вышедшая из берегов река, распространялись и проникали в глубь аула солдаты. Пули настигали женщин и стариков, собак и скотину и в щепки разлетались колыбельки с младенцами. Солдаты казались бешеными, но сельчане не сразу поняли, что их убивают, стояли у своих заборов и ворот, как замороженные, с недоумением глядя на оседающих, падающих на колени людей, на тех, кого уже нашла пуля. Затем начали раздаваться крики о помощи, страшные крики, возвещающие о великом бедствии, кричали в основном женщины и дети — старики умирали молча. Эти страшные крики и вопли заполнили все пространство, все углы, каждую щель, заглушив сотни выстрелов и взрывов, они носились в воздухе, и было не ясно, где они раздаются — в Сауту, в Уhole или в Алашевке. Эти крики оскорбляли самое небо. Смертный час наступил для

всех, они истекали кровью, некому было заступиться за них — отцы, братья, мужья и сыновья были далеко, защищали их от смертного огня где-то на далекой, непонятной теперь уже войне, и напрасно женщины, увидевшие своих младенцев поднятыми на штыки, звали их, никто не мог придти к ним на помощь.

Вскоре крики стали редеть и утихать, отчетливее слышались автоматные очереди и разрывы, но постепенно утихали и они. Солдатам предстояло теперь внимательно осмотреть подвалы, задворки и канавы: после всего случившегося здесь никто не должен был остаться в живых.

* * *

Двоих солдат в своем дворе Ислам увидел сквозь щель плетня, сидя вместе со своей престарелой хозяйкой в маленьком плетеном глинобитном амбарчике для хранения початков кукурузы. Он сплел его года четыре назад, но теперь амбарчик пустовал, поскольку Ислам в этом году не ездил за покупками на равнину в Кабарду, не до этого было. Ислам не позволил бы себе прятаться, но Азиза, жена его, ни в какую не согласилась прятаться одна и оставалась на улице до тех пор, пока Ислам не полез вместе с нею. Солдаты не заметили их, прошли мимо и пропали из поля зрения — видимо, обыскивали дом. Почувствовав, как дрожит Азиза, Ислам повернулся к ней — лицо ее побледнело до неузнаваемости.

— Не бойся ты так, самое страшное, что может случиться, это то, что нас просто убьют, — отчетливо сказал он.

— На все воля Аллаха.

— Если ты еще в состоянии понимать это, держи себя в руках.

Через минуту послышался звон битого стекла и сразу же за тем две короткие очереди. Чуть приглушенно, видимо, стреляют в доме, — подумалось Исламу. Потом двое солдат снова появились во дворе. Шли осторожно, озирались, вздрагивали от каждого шороха. Остановились около курятника, прислушались. Чтобы не оставлять сомнений, один из них выбил дверцу и выстрелил вовнутрь. Тем временем второй двинулся к плетеному амбарчику. Ислам увидел этого человека с ног до головы, его обветренное лицо, облезлые нос и уши, дыру ствола, указательный палец правой руки, который тот не снимал с курка ни на секунду. Парню было лет тридцать. Помедлив немного, он почему-то

засомневался и, подойдя вплотную, прильнул к щелочке. К той же. Их глаза встретились. Так они смотрели, не отрывая друг от друга глаз, слыша дыхание друг друга, — смущенные застывшие глаза солдата и слезящиеся проникнутые страхом глаза старика.

— Есть там кто-нибудь, чего прилип? — заговорил второй, направляясь к амбарчику.

— Нет, нет, никого нет, пошли отсюда.

— Нет, говоришь? — и он на ходу дал несколько очередей, — есть — не будет, а нет, так черт с ними, несколько граммов свинца — невелика потеря...

Азиза почувствовала, как горячие пули коснулись ее толстой заплывшей ноги, однако первой ее мыслью было — что с Исламом.

— Эй, человек, тебя ранило? Ты жив? — прошептала Азиза. Хотелось закричать, позвать на помощь, но вокруг, кроме двух удаляющихся солдат, никого не было.

— Эй, человек, ведь ты всегда был так вынослив; приободрись.

Азиза глухо заплакала, вздрагивая своим дородным телом; Ислам молчал, было похоже, что он больше не жилец на этом свете.

— Приди в себя, пуля пробила тебе плечо, от этого не умирают, — говорила она, пытаясь казаться бодрой и спокойной. Или тебя ранило еще куда-то?

Ислам горел и дрожал, он был ранен в пах, но молчал, не желал говорить об этом своей супруге. Оба видели, как кровь стекала по его ногам и остывала на земле, но оба делали вид, словно не замечают этого. Ислам внимательно посмотрел в глаза своей старухе: «Слава Аллаху, она жива и не скулит; когда приходит беда, женщины часто оказываются выносливыми и более жизнестойкими. Если я умру сейчас, она закроет мне глаза, она омоет меня и похоронит...» Но тут же начал раскаиваться: он сразу же подумал о себе, но на кого он оставит старую раненую женщину, кто поможет ей, кто, если понадобится, похоронит ее, если у него на глазах вооруженные люди истребляют (или уже истребили) все село? Ведь вокруг стало так тихо. Неужели, кроме нас двоих, никого не осталось? Сейчас, когда вместе с моей медленной кровью истечет моя жизнь, она останется одна, на всем свете одна, ведь это великий грех я беру на себя, оставляя ее, покидая этот мир. Позабыв свою боль, он глянул на свою старуху, лихорадочно подыскивая утеш-

тельные слова для нее, но где теперь найти такие слова, возможно ли...

Вдруг послышались голоса, сквозь щель плетня они увидели двоих военных, пробирающихся вдоль забора мимо их двора. Одним из них оказался Марков, — Азиза так обрадовалась, словно увидела вернувшегося с войны сына. Теперь они спасены! Она расскажет командиру — их недавнему гостю, — какой немыслимый произвол учинили в ауле солдаты, командир не допустит этого, он прекратит убийство невинных безоружных людей... Азиза выбралась из амбарчика и, влача по земле свою исковерканную, никчемную теперь ногу, устремилась за ними.

— Гириша, Гириша, подожди, боль твоя да будет моею, остановись, Гириша...

Подполковник Марков резко повернулся и замер, столь настороженный, словно услышал за спиною выстрел. Он, конечно, сразу же узнал эту женщину, некогда свою хлебо-сольную хозяйку.

— Гириша, что это... как это понимать, что я вижу, что вы делаете?.. — Но вдруг она увидела в дрожащей руке Маркова пистолет. Ее осенило, она сразу все поняла...

Григорий Марков глядел на женщину, одной рукой она прикрывала раненую ногу, одежда и обувь ее были в крови. «Сопляки, щенки мокрожопые, — зло подумал Марков, — не могли добить эту старую суку...» Первая пуля попала ей в живот, — Азиза охнула и тяжело повалилась набок, но в голос не произнесла ни звука. Вторая пробила ей левую грудь. Азиза умерла безмолвно, не издав ни одного звука.

После долгих усилий Ислам вывалился из плетеного глинобитного амбарчика и долго (или ему показалось долго) лежал, скрючившись, на земле. Наконец, собравшись, он поднялся, и ему удалось сесть и опереться о плетень. Со стороны было похоже, что он приглядывается к чему-то вдали, внимательно следит за чем-то, что находится с той стороны реки. Он не заметил подошедшего осторожно подполковника. Ему сейчас незачем было замечать кого бы то ни было, он был ничто; человек, на глазах которого убили собственную жену, — ничто. Он должен был умереть давно, чтобы сегодня не опозорить этот дом, — дом, где смеялась любимая женщина и раскачивалась колыбель сына... Ислам почувствовал запах пороха из ствола Маркова и посмотрел на этот ствол. Как странно было смотреть на оружие, оборвавшее жизнь женщины, вырастившей ему сына.

Ислам полулежал недвижим, у него не было сил даже

плюнуть в лицо убийцы, да и ни к чему это было: плевок — не пуля, башку не пробьет.

— Что, старина, не хочется умирать? А придется. Все мы под смертью ходим, — сказал Марков с сожалением.

Марков говорил по-русски, но Ислам понял его. Ему нечего было ответить, он ждал, сейчас ему хотелось умереть, и слова Маркова отсеяли ненужные сомнения, незачем было оставаться жить в истребленном ауле. Если его не убьют сейчас, то потом он умрет с большими муками. Отныне здесь никто не подаст воды, никто не позаботится о нем, да простит Аллах, но умереть сейчас — это мгновение лучше, чем умирать долго тяжелораненым и одиноким, увидеть жуткие последствия истребления родных и близких. К нему пришло успокоение. Поутих и огонь раны. Он решил, что не надо ничего говорить, не надо обращать внимание на лица, окружавшие его, на все, что находилось за пределами его вялых тускнеющих дум. Впервые он воочию увидел осознанное беспредельное зло, оно пришло к нему и отняло у него все. Но ведь не сегодня же появилось оно, ведь он знал и раньше: осознанное зло существует давно, очень давно, столько же, сколько существует и сам человек. И будет существовать дальше, но Исламу до этого дела мало, потому что отныне его не существует, Аллах велик и ставит пределы всему, Аллах прекратит все страдания и мысли. Больше Ислам не будет видеть этих нелюдей, не услышит выстрелов и воплей гибнущих людей. Слышались частые выстрелы, но уже где-то далеко, у верхней околицы. «Они уничтожают людей повсюду: от края до края, вопли и стон не утихают даже в соседних дворах. Ну а эта несчастная, — Ислам повернулся в сторону, где пристрелили Азизу, его старуху, — не издала ни одного звука, и к лучшему — не пришлось долго мучиться...» Людей убивают всех без разбору... Неужели солдаты все до единого такие же, как и этот, — Ислам поднял глаза и посмотрел в лицо Маркову. — А ведь и его вскормила грудью мать, не должен он быть таким простым, обыкновенным на вид человеком. На лицах таких людей должно стоять тавро, некая печать, что-то должно отличать их от других людей, так не бывает... «Нет, все-таки всех они не перебьют, — подумал вдруг Ислам, — большинство жителей этих мест находятся на войне, они не могут погибнуть все, хотя бы каждый второй вернется обратно. Вернется, волею Аллаха, и мой сын... Как вернется? Куда вернется, к кому? — на мгновение Ислам потерялся, — или сын мой, не подозревая ни о чем, попадет в руки

этих же людей?» Как бы пытаясь убедиться, что это возможно, он встрепенулся и, подняв свое вспотевшее лицо, посмотрел на Маркова. Тот медлил: возможно, память о хлебе-соли мешала ему выстрелить. Нет, нет. Исламу нельзя умирать сейчас, Ислам почувствовал раскаяние за то, что с минуту назад желал себе смерти и молил Аллаха об этом. Нет, он не может умереть сейчас, он должен встретить сына, сделать что-то, как-то избавить его от всего этого... Ислам приподнялся и, опираясь на одну ногу, пополз прочь от Маркова. Пуля пробила ему спину между лопаток ровно посередине, когда он почти дополз до трупа Азизы. Ислам застыл, хотел повернуться, но вторая пуля свалила его на труп жены. Сначала ему показалось, что он упал в темный влажный грот, но затем что-то осветило грот, он приподнялся на четвереньки и увидел тонкий, как шелковая нить, луч света. Где-то в недосыгаемом далеке он упирался в одиноко бредущего человека, который светился и сам, словно шел по охваченной паром траве. Старик вдруг признал в нем своего ушедшего когда-то на фронт сына. «А-а-а, это ты, парень? Как хорошо, что ты вернулся», — сказал Ислам тихим голосом. Но огненный человек продолжал идти своей дорогой и совсем не собирался поворачивать к нему. Не обращая внимания на промелькнувшую обиду — как это понимать, столько не виделось, а он идет себе, даже голову не повернет! — старик продолжал: «Ладно, если не можешь, хоть подожди, я сейчас сам...» Ислам легко, словно птица, вылетел из своего уставшего, отягощенного болью тела и узкой, ярко освещенной тесниной устремился к нему. Однако он сейчас же заметил, что не может приблизиться к сыну — тот удалялся от Ислама гораздо быстрее, чем он приближался к нему, хотя летел, как ему казалось, чрезвычайно быстро. Не смог-таки старик достичь своего сына — тот вскоре сделался совсем тусклым и наконец исчез вовсе.

* * *

Хабла, крепко прижав к груди Крыма, неслась вверх по селу, не разбирая дороги... Куда, к кому, как спастись, спрятаться — этого она не знала, подумать о чем-то у нее не было времени. Пулеметные очереди, треск ружей и вопли раненых гнали ее неизвестно куда, ибо они же звучали и впереди, и справа, и слева. Ее дикий бег посреди уничтожения, ужаса и огненного ада казался бессмысленным и неправдоподобным, но стоять, прижавшись к камню со своим

сыном, чья жизнь представляла собой единственный смысл ее пребывания на этом свете, и ждать смерти она тоже не могла. В ее обезумевших глазах мелькали чьи-то дворы, повсюду по углам, у порогов, под окнами валялись трупы и умирающие люди, и Хабла не могла и подумать спрятаться в этих домах, перешагнув тела мертвых и умирающих сельчан; в какой-то момент она узнала свой дом, она узнала его по лицу обезумевшего брата Болата, который сидел на полу, зажав ладонями голову, тут же лежала жена его Даум, как-то неприятно, неестественно распластав руки и ноги, у кровати, уронив руку в лужу собственной крови, лежала их тринадцатилетняя дочь. Хабла, не помня себя, выскочила из этого дома и снова понеслась, не разбирая дороги. Кто-то окликнул ее: «Халимат, скорее сюда!» Хабла не обращала внимания на окрики, но ее вдруг пронзила мысль: кому-то ведь пришлось в голову хоть в смертный час назвать ее по имени, да поможет Аллах этому человеку!..

Голос раздавался из окна ближней сакли и принадлежал Фаризат.

— Давай быстро, в подвал! — В какой-то комнате она залезла под кровать и открыла дверцу в полу.

Халимат опустила в открытый проем Крыма и спустилась вслед за ним. Дверца захлопнулась и стало темно. Фаризат, похоже, осталась снаружи, спряталась под кроватью. Не успев отдышаться, Халимат услышала какую-то возню и хныканье грудного ребенка.

— Кто здесь? — прошептала она.

— Джангушь, — ответил из темноты женский голос. Слышно было, она кормила младенца грудью.

Долго ли сидели они так в страхе и ожидании наилучшего, но им казалось, прошла вечность.

Вдруг наверху неожиданно послышался топот и резкие, грубые голоса. Сколько их — двое, трое? — было не ясно; словно бы дожидаясь именно этой минуты, младенец оторвался от груди и захныкал снова. Мать намертво зажала ребенку лицо, однако случившееся случилось, солдаты замерли, прислушиваясь, и после недолгой паузы обстреляли все углы и закутки комнаты, Халимат в оцепенении не смогла даже убрать ногу, когда сквозь щели в деревянном покрытии пола на нее закапала теплая кровь Фаризат. Несколько капель ее крови застыли и на неоперившейся голове мертвого младенца. В ужасе, не понимая, что делает, Джангушь забыла и продержала его с крепко зажатым ладонью лицом слишком долго. Малыш задохнулся.

Чувство времени в подвале утрачивалось. Халимат не могла бы сказать наверняка – полдень теперь или вечер; Но надо выходить; грех не взять из рук матери мертвого младенца, и надо как-то утешить ее, нельзя столько времени держать в этой сырости и Крыма. Снаружи не было слышно ни единого звука. Халимат попыталась приподнять подвальную дверцу, но отяжелевший труп Фаризат намертво прижал ее. Вдвоем с Джангушь они постепенно распатали ее, и Халимат выбралась наружу. Была черная, как никогда, ночь, Халимат, дрожа от страха, долго стояла во дворе, но ничего не услышала, а увидеть невозможно было даже соседних домов. Или это огонь ада ослепил ее? Да, так оно и было, постепенно ей стали открываться видения тлеющих домов вокруг; пожарища Сауту, Алашевки отдавались в небе красной зарницей – она обильно поила красной водой голубые травы ущелья, и как чудесно стало видно все вокруг: каждый куст барбариса на дальнем склоне, каждый камешек... Почему так? Халимат не верила своим глазам и всматривалась все пристальней и вдруг поняла, что видит тени ползущих вверх по склону людей. «Все спасаются, бегут в лес! Одна я, глупая, оставила несчастного ребенка в этом аду!» – Она бросилась обратно в дом, помогла выбраться оставшимся в подвале Крыму и безучастной ко всему, окаменевшей от горя женщине, судорожно взломала осиротевший сундук Фаризат, и, достав оттуда кисейную ткань, обернула младенца. Ковыряя лопатой мерзлую землю, Халимат все прислушивалась, надеясь уловить хоть какой-то отзвук человеческого голоса, но ничего, кроме дальнего треска выстрелов, не было слышно. Неужели под этим тяжелым небом остались только они втроем? Что ей делать с Крымом, куда податься? И как ей думать о спасении, когда весь народ, среди которого она выросла и жила, уничтожили? Время и грех – две самые тяжкие ноши человека. Можно сейчас бросить всех и спасти себя и своего сына, бежать от греха подальше, попытаться уйти от времени. Но грех протяженнее времени, его несмываемый след не способна прервать даже смерть. Даже если не настигнет тебя, настигнет твоих потомков... Халимат глянула на Джангушь – та, облокотившись о стену, бессмысленно глядела на крохотную, величиною с башмачок, могилу. Она ничего не слышала и не видела, ей больше ничего не надо было в этой жизни, но надежды Халимат еще не утратила – ее сын был жив.

Взяв за руки сына и несчастную, впавшую в оцепенение женщину, Халимат тронулась в путь. Прижимаясь к каменным заборам, темными закоулками, замирая при каждом шорохе, они достигли, наконец, верхней околицы села. Вдруг она почувствовала, как вздрогнул у нее на руках мальчик. Она прижала его к себе сильнее и долго не могла произнести ни слова.

— Все хорошо, не бойся, родной, — шепнула она, справившись с собою.

— Кто здесь?

Халимат посмотрела в темноту, откуда раздался мужской голос, но ничего не смогла увидеть.

— Я Халимат, а ты кто? — отчетливо проговорила она, удивляясь сама себе, что впервые назвалась своим именем, а не Хаблой.

— Халимат? А я Кашто.

— Кашто? — лишь бы что-то сказать, замирая от страха, переспросила Халимат.

Она знала Кашто. Это был белесый худощавый мужчина, вместе с семьей жил за речкой; но что он здесь делает, как он попал сюда? Халимат не стала спрашивать, было, наверное, и у него свое горе.

Сначала промелькнула тень и исчезла, затем совершенно с неожиданной стороны бесшумно возник сам Кашто. Появились еще какие-то тени, словно призраки, потом еще... Все они были загнанными, несчастными, обезумевшими от страха людьми с окрестных сел.

— Пока не зайдет луна, не шевелись, ты слышишь меня, сестра?

— Слышу.

Пробираясь сюда в тени заборов и пролесками у межей огородов, Халимат и не заметила, как ярко светит луна. Словно живой слиток серебра, прилепившийся к небу, висела она, осматривая каждую складку, проверяя на ощупь каждый предмет и пытаясь проникнуть в непроницаемую для нее тень. Никогда еще она не казалась Халимат такой отвлеченной, словно злоязычный сосед, соглядатай и предатель. На одном из перекатов склона она осветила верх острога, как кончик веретена, валуна, тень которого напоминала исполинских размеров чучело. Это видение вдруг больно напомнило Халимат о сестрах.

— Кашто, слышишь, Кашто...

Кашто не ответил.

— Айшат тебе на глаза не попадалась, случаем, может, что слышал о ней?— зашептала она снова.

Слышал Кашто или нет, но ответа Халимат не получила. В этот момент тишину ночи разорвало несколько винтовочных выстрелов. Они прозвучали рядом — видимо, беглецы были замечены. Халимат изо всех сил прижала Крима к земле. Выстрелы звучали все чаще и все ближе, и наконец невидимые пули занулили прямо над головой. Несколько пуль ударили в близлежащие камни и отняли всякую надежду на случайность. Да, эти пули не были шальными. Пронзительно закричала какая-то женщина и сразу вслед за ней ребенок.

— Эй, чего разлеглись, уснули, что ли, нас всех перебьют, спасайтесь!— закричал Кашто и, поднявшись во весь рост, бросился в противоположную от выстрелов сторону, к гребню холма, на склоне которого они прятались. Не успел он сделать и третьего шага, как рухнул на спину. Но случившееся с Кашто уже не могло остановить несчастных: у подножья холма поднялся шум и переполох, и стар и млад беспорядочно ринулись вверх по склону, не чувствуя под ногами заиндевшего черным инеем типчака. С плачем, воем, перекликаясь и падая, топча друг друга, неслась эта жалкая толпа, раздражая тени, которые, шарахаясь и кривляясь, неотступно следовали за нею. Словно проснувшись, затараторил пулемет. Трассирующий красный стебель легко нащупал бегущих, и от его прикосновения моментально застывали даже тени. Это был старый пулемет, знающий и умеющий грызть теплое человеческое мясо, испробовавший на своем веку грудь и спину многих людей. Видел он падающими и тех, кто в порыве кровавой мести шел напролом с оружием в руках прямо к нему. Но таких жалких, совершенно безоружных, не умеющих ни спастись, ни издавать криков отчаяния и гнева, врагов у него еще не было. Такой пищей он еще не питался. Возможно поэтому он звучал сегодня особенно празднично, его пьянило обилие крови, ему было очень сладко. Куда спешили эти старики, держа свои жалкие души в дрожащих ладонях, женщины, то и дело скатывающиеся вниз? Отчего они бежали по совершенно ровному, ярко освещенному полнолунием склону? Неужели они хотели спастись от него? Странными казались эти нелепые враги старому пулемету; он придумал себе забаву: на минуту задерживал свое огненное дыхание, а когда кто-нибудь из них, карабкаясь, подползал вплотную к тенистой складке в надежде спастись, снова изрыгал огонь.

Это было очень забавно, никто не мог спастись от него. Одна фигурка остановилась — кто это?.. Это убитая молодая женщина, она долго стояла на месте, пытаясь аккуратно, чтобы не ушибить, положить на землю своего младенца, но все же выронила его и покатила вниз. Младенец, барахтаясь и теряя пеленки, заскользил вниз, но на лунной поверхности склона живому не спрятаться, жаден и скор был старый пулемет до всего живого.

* * *

Халимат осталась лежать на земле, она не поддавалась общей панике и суматохе. Неподалеку лежала Джангушь — долгое время она стонала и бредила, но теперь затихла. Лицо ее стало восковым, потускневшие глаза устремились в небо. Надо было закрыть ей глаза, но Халимат боялась пошевелиться, она смотрела на Джангушь и едва сдерживала рыдания — куда, к кому были обращены ее глаза с последним укором? К горам? К небу? Или к Халимат?

Голоса слышались рядом, в соседнем огороде или в ближайшем дворе. Халимат, очнувшись, только теперь поняла, что стрельба давно прекратилась, луна зашла, и вокруг стало черным-черно. Она нащупала притихшего Крима и прижала его к себе еще сильнее.

— Ты заметил? Там кто-то шевелится, — спрашивал один из говоривших.

— Как это шевелится? Где?

— Ты что, ослеп? Вон там.— Халимат узнала этот голос, она слышала его много раз, голос Хамалая она узнала бы из тысячи других, но не могла поверить, что этот пес, лакающий человеческую кровь, может быть так ненасытен. Как мог он поступить так по отношению к своим односельчанам! Халимат услышала щелчок передергиваемого затвора.

— Не надо, не стреляй, может, какой-то несчастный ранен, — снова заговорил первый голос.

— Помочь раненому — святое дело.— Выстрел, как нож, скользнул по горлу черной тишины. Затем еще один. Халимат не почувствовала боли, но ей вдруг стало не по силам держать в объятиях вырывающегося Крима, мышцы и все тело обмякли, ее против желания уносил леденящий сон, она уже не слышала, скорее чувствовала, как плачет сын, дергая ее за чекмень.

Волчица устроилась в тени барбарисового куста и, расположившись поудобней, осмотрелась окрест. Что ей было высматривать, чего ждать? Ничего хорошего не сулил ей этот край, но покинуть сейчас нагретое собственным брюхом место тоже не хотелось. Ее потянуло повить, она, прижав уши, подняла морду: но вой, вырвавшийся из ее глотки, не был воем волчицы, а скорее напоминал небольшую шавку, заскулившую где-то невдалеке. Она была голодна. Никогда она еще не дрожала так, даже в лютые морозы. Или страх отнял у нее волю?

Но тут вдруг по ущелью прокатились выстрелы, она быстро затрусилась прочь от этого места, но отошла не очень далеко: найдя удобный валун, спряталась за ним и, наострив уши, начала наблюдать — что бы это значило, чем это может грозить ей. Треск выстрелов не прекращался, даже наоборот, они стали раздаваться невыносимо часто, заглушили все остальные звуки в природе; заподозрив, что двуногие вышли по ее душу, волчица затрусилась дальше в гору, свернула в балку и остановилась возле знакомой пещеры. Прятаться там она не стала (люди знают и посещают любые пещеры), выбрала небольшую сопку, чтобы иметь хороший обзор, прилегла на ней. Стрельба не прекращалась, но слышалась она здесь приглушенно и весьма отдаленно. Очень скоро она привыкла к выстрелам и перестала обращать на них внимание. Вздремнула даже. В какой-то момент она встрепенулась: голоса, звуки шагов и треск хвоста под ногами неуклюжих двуногих, — она не ошиблась: по балке пробирались люди, от них не исходил страшный запах железа, и волчица не стала убегать; напротив, люди спешили, спотыкались, и было ясно, они сами спасали свои души. Что за страх гнал их? Ведь не стрельба же — стреляют они в волков и оленей, волчица никогда не видела, чтобы двуногие стреляли из этих вонючих железных палок друг в друга.

Переждав это печальное шествие многих испуганных людей, волчица свернулась клубком и уснула снова. На этот раз ее разбудила собственная печаль, невольно заскулив, она вскочила на ноги — ей приснились ее волчата. Вокруг висела тяжелая холодная тишина, снова напомнившая ей о ее беспредельном одиночестве. Она тихо протяжно завывала, потому что была волчицей, каким-то образом привыкшей к человеческому жилью, запаху его кизячного

дыма, духу и мычанию теплой скотины, принадлежащей человеку. Но как вернуться туда? Для чего они подняли такую продолжительную стрельбу, ведь это очень опасно! Нет, она никак не может сейчас приблизиться к человеческому жилищу. Возможно ли это, останется ли она в живых, если пойдет туда? Поколебавшись еще немного, волчица все же встала и направилась к своему излюбленному месту под барбарисовым кустом, привычка взяла свое. Но не успела она выйти на знакомый склон, как обнаружила, что под ее кустом покоится человек, или прячется; как-то странно прижался щекой к ледяной земле, словно пытается зарыть свою голову в землю; лежит тихо, не шевелится, не выдает себя ни одним движением. Волчица зарычала и приготовилась напасть первой. Человек не пошевелился. Озадаченная волчица обошла его и встала с подветренной стороны, понюхала воздух, пытаясь понять, что же он все-таки затеял? Да, сомнений не оставалось, этот человек не мог причинить ей вреда, потому что был мертв и издавал запах смерти.. Подойдя ближе, волчица понюхала чабуры и воротник овчинного тулупа мертвого человека — так любившая убивать и привыкшая к крови, она в смущении отошла от мертвеца. Она никогда не видела убитого двуногого. На затылке и воротнике застыла кровь, один глаз мертвого человека остался открытым и смотрел прямо на волчицу, словно человек просил у нее помощи. Волчице стало страшно, ей захотелось поскорее бежать отсюда, но она почему-то осталась. Она не раз видела этого человека: с посохом в руках он часто ходил по этим местам, сопровождая двух своих рябых коров и теленка; волчица как-то даже выслеживала его, позарившись, на ветреного игривого теленка, однако человек этот был очень осторожным и предусмотрительным, он и сейчас подозрителен, вон, не сводит с нее глаз. А может, и скотина его здесь, неподалеку? Обеспокоившись, желая узнать это пообстоятельнее, она обыскала все близлежащие заросли, но коров и теленка не было, — повсюду валялись убитые люди, кто как, в самых невероятных позах, словно кто-то незримый одновременно и неожиданно остановил их движение, и они мгновенно замерли. И почему у них у всех открыты глаза? Волчицу пугали ледяные глаза этих двуногих. Даже их детеныши, маленькие двуногие, были убиты и лежали здесь с открытыми глазами. Волчица поспешила покинуть это странное место. Она поднялась на самый верх склона и прилегла там, наблюдая, как всегда, долину, заселенную людьми.

Крым, истощенный от слез, сидел с отсутствующим взглядом, уныло глядел на Халимат и ничего не мог поделать, хотя понимал, что надо искать помощи. Что делать, куда идти, где искать ее? Вздрагивая от каждого шороха, шелеста опавшего листа, прячась при звуке неожиданно вспорхнувшей птицы, прижимаясь к земле, — так он провел ночь и встретил утро. Никогда он не мог представить себе, что придется вот так бояться и прятаться от людей. Насколько он знал, и дети, и взрослые боялись волков, оборотней, медведей, шайтанов и джиннов. А сегодня Крым, прячась от людей, почти не обратил внимания на волка, который прошел этой ночью совсем рядом.

Вдруг со стороны села донеслись звуки человеческого голоса.

— Айба, Айба, не спи! — ничего хорошего от каких бы то ни было людей ждать не приходилось. Единственным человеком, который помогал ему, была Айба, Халимат, и он очень не хотел, чтобы она так крепко спала. Село уже не было селом, его захватили вооруженные люди, предварительно истребив всех жителей. В живых остался только Крым, найдут — убьют и его.

— Айба, Айба, не спи, Айба! — закричал он снова, дергая Халимат за подол, и заплакал.

Плач Крыма слышался очень отдаленно, и Халимат подумала: «Где он, как он забрался в такую даль?». Глаза открыть она не смогла, а быть может, они у нее были открыты, но она ничего не могла видеть. «Не спи!» — снова кричал мальчик издали. «Кажется, он спустился в долину. Или, наоборот, поднялся на вершину склона? — смутно подумала Халимат. — Отчего он плачет? Голоден, наверное, или замерз?.. Нет, замерзнуть в такую изнурительную жару он никак не мог...»

Не в силах больше выносить раскаленный ветер, обдувающий ее со всех сторон и раскаленное ложе, на котором кипело ее тело, Халимат попыталась приподнять голову и хотя бы подставить другую щеку. Но, видимо, ей это не удалось, обжигающий зной не ослаб. «Неужели я лежу на раскаленных углях или просто прислонилась к затопленной печке? Неужели в этом мире никто не сжалится надо мной, не протянет стакан воды?.. А, собственно, почему именно сейчас должно произойти то, чего не было от начала времен? — шептала Халимат, хотя ее пересохшие губы

не разомкнулись ни разу. — Человек обречен быть одиноким. Тень — единственный спутник его и товарищ. Тень, которая умеет быть и великой, и маленькой, никогда не покидает его при жизни, ни в зное пустыни, ни в глухом поле. И если она исчезает, испаряется, то что делать несчастному человеку в этой кипящей желтым песком пустыне? Нечего. Он исчезает сразу же вслед за ней...» Халимат снова услышала отдаленные окрики Крыма: «Айба, Айба, почему не приходят твои сестры, где они теперь?»

Халимат, находясь в жаркой полудреме, была поражена тем, что Крым произносит имя, давно забытое даже ею самой. Долго ее мучили и стар, и млад, не желая называть настоящим именем и не позволяли делать этого Крыму. Она ничего никогда не просила у односельчан, только чтобы они признали ее. Нет большего счастья, чем иметь свое собственное имя...

— Айба, Айба, где твои сестры, почему они не идут к нам на помощь, — снова и снова кричал Крым.

Халимат отчего-то стало весело, она улыбнулась. Удивительно, как кричит этот ребенок, он никого не боится. Ее вдруг посетило счастливое озарение, на душе стало легко и спокойно. Она легко поднялась на ноги и посмотрела в небо. Там облака, аккуратно сложенные одно на другое, как подушки, медленно колебались, раскачивались, как на волнах. Халимат прикоснулась к ним ладонью — они оказались горячими. Но Халимат не стала отступать, а прямо полезла вверх; скручивая края облаков, словно перевясла, она удобно держалась за них и легко поднималась все выше и выше. Вдруг снова:

— Айба, да где же пропали твои сестры!

Халимат очень хотелось ответить, сказать ему что-то важное, но не удавалось, голос не слушался ее. Она глянула вниз и увидела необозримый голубой простор склонов, сплошь покрытых типчаком, и Крыма, бегущего куда-то; он то и дело падал, вставал и бежал снова. Но ведь это же Крым... Крым, быстро возвращайся, я здесь! Крым, не прекращая бега, кричал снова и снова: «Где твои сестры!»

Неожиданно у Халимат оборвалось одно из перевясел, и она полетела вниз. Ударившись оземь, она не почувствовала боли, земля была мягкая, словно покрытая орлиным пухом, но снова горячая, невыносимо горячая. Слова, которые слышались издали, словно эхо, вдруг зазвучали над самым ухом.

— Айба, да где же твои сестры, где! — Крым плакал.

— Твои сестры? Мои?..

Халимат наконец-то разомкнула губы, ресницы ее стали подрагивать.

— Моих сестер убили их братья, — прошептала она.

— Эти люди с винтовками — твои братья?

Халимат ничего не ответила. На ее ресницах застыло несколько жемчужин. Слезы вернули ее в сознание, и теперь она снова задумалась, как быть с Крымом.

— Твои братья убьют и меня, — мрачно сказал Крым.

— Не бойся, сын, ты еще мал, тебя не тронут, — прошептала Халимат.

Крым молча глядел на трупик младенца на противоположном склоне. Хотелось сказать, чтоб она не лгала ему, но он промолчал.

* * *

Сергей Кравцов долго стоял у развороченной могилы отца. Попасть сюда раньше он не имел возможности — выполнял приказ подполковника, вместе с другими людьми прочесывал окрестности, пролески, пещеры. К счастью, поднять оружие против мирных жителей ему не довелось: в связи с трехсуточным арестом, объявленным подполковником Марковым, Кравцову было приказано сдать оружие как раз на все время «операции по очищению ущелья от бандитского элемента». Кравцова лишили звания майора, в этот час он толком и сам не знал, что его ждет, кто он теперь — рядовой из разжалованных, арестованный, и будет ли его судить трибунал? Каким-то образом его слова перестали что-либо значить. Даже этот, — Кравцов украдкой глянул на стоявшего неподалеку ефрейтора, — рожу отворачивает. А ведь еще три-четыре дня тому назад у него при одной только встрече с Кравцовым дыхание перехватывало. Да, упасть, да прямо под ноги подчиненному — врагу не пожелаешь. У него ефрейторские лычки, приставлен присматривать за Кравцовым, на котором теперь даже погон нет.

Сергей обошел и другие могилы. Весной сорок первого он был здесь, могилы были ухожены все до одной. Над каждой высился надгробный камень, дерево у могилы отца цвело белыми цветами. Теперь вместо кладбища его окружала вся в рытвинах земля, перемешанная с человеческими костями и осколками могильных камней.

— А что, здесь лежит твой отец? — прямо перед ним стоял ефрейтор.

– Лежал. Теперь, как видишь, не лежит, – ответил Кравцов, но голос его звучал, как будто говорит не он, а кто-то другой.

– А говорил, из большевиков.

– Говорил, что ж из этого?

– Чего же он тогда здесь лежит, вот с ними?

Поняв, что хочет сказать ефрейтор, Кравцов рассвирепел.

– Кто же здесь похоронен, по-твоему?

– Ясно кто. Бандюги всякие там...

– Не человек ты, Корягин, безмозглая скотина, – сказал Кравцов, отворотившись от него.

– Рядовой Кравцов, вы нанесли оскорбление старшему по званию!

– Я для тебя, Корягин, майор Советской Армии, запомни.

– Был майором, а теперь арестант и в моем подчинении.

В этот момент в другом конце села слышались выстрелы. «Раненых добивают», – подумал Кравцов и заторопился, сам не зная куда. Торопиться ему было действительно некуда, сделать что-нибудь он все равно бы не смог. Однако шагов своих не замедлил. Мальчика в круглой шапочке и коротеньком тулупчике он заметил еще издали. Удивительно, как он до сих пор оставался в живых. Мальчик возился у труп женщины, то дергая ее за полу платья, то прижимаясь к ней. Плакал.

– Айба, Айба, нас идут убивать, очнись...

Кравцову послышалось «айда, айда...»

– Уцелел, гаденыш, – крикнул ефрейтор, вскидывая винтовку, – хлопну его, как клопа...

– Ну и зверь же ты, Корягин, – сказал Кравцов, живо отвернув в сторону ствол винтовки в руках ефрейтора.

– Ему же полегчает.

– Дети-то есть у тебя, ты пожелаешь им такого облегчения?

– Велено же стрелять, – сказал ефрейтор, смутившись. Однако винтовку убрал.

Приглядевшись, Кравцов понял, мальчику не больше четырех лет. Рукава и шапочка его, упавшая на брови, были в крови; увидев вооруженных людей, мальчик обеими ручонками закрыл глаза и втянул в плечи голову, – разбудить Халимат, которая могла бы спасти его, не удалось, и теперь он ждал выстрела и немедленной смерти.

– Альчик... Мальчик, мальчик, не бойся, ты не бойся... – скороговоркой, словно татарин, заговорил Кравцов. Раньше,

общаясь со здешними горцами, он знал немало слов на балкарском, но теперь позабыл их и в волнении говорил первое, что под язык попадет.

— Не плачь, не плачь, — тараторил он на ломаном балкарском, медленно, без резких движений подбираясь к мальчику. Однако тот в последнюю минуту встал и бросился бежать. Поднявшись на кромку, поскользнулся и на животе покатился вниз. Поскользнулся, ступив на типчак, и Кравцов, но, катясь вниз, быстро нагнал его и мягко взял на руки... Мальчик был не тяжелее цыпленка. Кравцова вдруг охватила такая жалость к нему, к себе, к отцу, над могилой которого надругались, ко всем, терпящим унижения в этом мире, — что на глаза навернулись слезы, он не разбирал дороги перед собой. Кравцову вспомнилось, как много лет назад, сидя верхом на коне, он поднял вот так же к себе на руки маленькую девочку. Имя ей, помнится, было Зулейха, такого же возраста, только смуглая, меднолицая, с играющими на ветру завитушками кудрявой огненно-рыжей головы. Девятнадцатилетний Сергей Кравцов входил сюда, в этот аул, в составе четырнадцатого красноармейского конного отряда; воины, джигитуюя, соперничая друг с другом, красовались перед жителями аула; из всех детей, высыпавших тогда им навстречу, он выбрал именно ту золотоволосую девочку, посадил ее на шею своего коня; нежно, боясь ушибить, придерживал своими обветренными огрубевшими на ветрах руками. Позже, бывая здесь на могиле отца и в гостях у фронтовых друзей, он видел ее, знал, что она вышла замуж и родила сына. Она не была ему близка, не была и сестрой кому-нибудь из его фронтовых товарищей и, вероятно, мало чем отличалась от других горянок. Если бы в эту минуту Кравцов прошел немного дальше, до противоположного склона, в одном из трупов с затвердевшими в мерзлой крови золотистыми локонами он узнал бы ее.

* * *

Едва заслышав стрельбу, Айшат мигом залезла в курятник, но прошло совсем немного времени, как она пожалела об этом: курятник — дело ненадежное, его плетеные стены пуль не остановят, и любому, кто зайдет во двор, он бросается в глаза первым. Курятник есть курятник. Айшат вспомнила о глубокой нише в своей комнате — вот, где ее никто не обнаружит, да и потом, какой толк прятать здесь свою дурную голову, если ее тем временем могут обворовать? Что

она сможет сделать, сидя здесь, если ее обворуют? Абсолютно ничего, пусть потом рвет хоть волосы на голове, хоть траву, проросшую в навозе, — разницы никакой. Жива она останется или убьют ее, а находиться она должна возле своего имущества. Вдруг ее обокрали уже, а она сидит здесь, как курица безмозглая, представления ни о чем не имеет. Айшат почувствовала, что исходит потом, в глазах потемнело, зарябило, кровь ударила в голову, и голова сейчас же отяжелела; не сознавая, что делает, она выскочила наружу. Выстрелы слышались уже совсем близко, но Айшат утратила всякое чувство опасности и самосохранения и, как одержимая, бросилась к порогу своего дома. Она с волнением стала оглядывать кучи гладких, обглоданных дождями и временем костей, каменьев и тряпья, загромоздивших очаг, углы и вход; в каком кошмарном мире выпало жить ей! Отовсюду угрожала опасность ее добру, каждый норовил похитить его и утащить к себе... Все это надо бы спрятать. Сейчас же. Но куда она денет столько добра? Таким количеством его (чего здесь только нет!) можно было бы обеспечить все село. Выстрелы на улице снова напомнили об опасности, она залезла на кучу и, уже лежа, с усилием толкнула дверь в свою темную келью. Дверь немного подалась, и Айшат с прилипшими к платью костями и всяким сором протиснулась туда, ввалилась, как стог сена. Здесь ей было хорошо, она лежала без движения, прислушивалась: звуки стрельбы постепенно стихали и через какое-то время прекратились вовсе. Поуспокоившись, Айшат подняла голову и с удовольствием заметила, что ее окружает кромешная тьма. Подползла к своему старинному сундуку и со сладостным волнением ощупала попеременно один за другим все его четыре холодных угла. Она также ощупала холодные камни стен своего закутка, прислонилась горячим лбом к гладкому камню и так отдыхала. Не было слышно ни выстрелов, ни криков, ни стонов людей, не нужны ей люди, никто никому не нужен в этом мире, только эти стены, эта пещера спасет ее душу; велик Аллах, даровавший ей эту тишину и спасение! Она ничего никому не должна! У человека есть только один долг — спасти свою душу и обеспечить себе сытую безбедную жизнь. В темноте тускло блеснул жестяной уголок сундука. Что значат брат, сестра? Может, в детстве бывает брат и сестра. Тогда человек еще слеп, ничего не смыслит, не осознает того, что ему нужно, но потом каждый своей дорогой идет сам. Когда увели Ахмата, мужа ее, кто из братьев-сестер пошел за ним, кто пролил

слезу за него? Никто не пришел, страх за свою душу крепко держал их. Айшат вдруг стало весело, она засмеялась и начала ползать из угла в угол. В радости, в застолье — одна семья, одна родня, а беда — заяц в камыш, лиса в нору.

Вдруг прогремел выстрел. Прямо у порога. Что это? Быть может, Крыма настигла пуля, когда он, пытаясь спастись, забегал в дом? А может, Хаблу? Чего ей здесь надо, не обо мне беспокоилась небось, когда шла сюда? Но неожиданно ей пришло в голову, что дочь ведь ее оставалась в отцовском доме одна. Что если?.. У Айшат сперло дыхание, и где-то на самом дне сознания родился страшный крик, но крикнуть она не осмелилась. Нет, нет, даже если сто пуль разнесут ее грудь, дочь она не оставит. Нет. Дрожа всем телом, она начала дергать дверь от себя и обратно, но, видимо, куча с той стороны не давала проходу — дверь не открывалась. Оставив ее на минуту, Айшат задумалась: может, и к лучшему? Чего ради она, прекрасно спрятавшись здесь вместе со своим сундуком, должна, словно мотыль на гибельный свет, лезть туда? Ведь там убивают! Да и что она, дочь-то, разве маленькая? Не понимает, что надо сидеть тихо, а не бегать туда-сюда? Айшат начала злиться на дочь, на ее незадачливость. Но сердце не успокаивалось, она снова подергала дверь: проклятая, никогда не откроется, если надо. Она оставила дверь в покое. Да и что толку, ценой своей смерти дочь не воскресишь. Сколько людей гибнет теперь, чем я лучше? От судьбы никто не уйдет, если Аллаху угодно, пуля меня настигнет и в другом месте, не следует самовольно торопить смерть.

Утешив себя, Айшат начала заботиться о благоустройстве ночлега. День сейчас или ночь, она не знала, да и ни к чему ей было знать об этом.

* * *

Айшат не спала всю ночь, каждый шорох с улицы заставлял вздрагивать ее. Утро сейчас или вечер, до этого ей дела было мало, но лежать так уже не было сил, сырость и какая-то гниль у изголовья совершенно замучили ее. Была одна щель на улицу величиною с черный пятак, но она была заткнута и открыть ее Айшат все же не решилась.

Неопределенность, невозможность предпринять что-либо начали злить ее. Она попыталась разобраться в себе, понять, которая из окруживших неприятностей мучает ее теперь больше всего, но ничего не выходило. Хотя, скорее всего,

дело было в том, что ее мучали голод и жажда. Сколько дней еще терпеть ей эти мучения? Кто поможет ей, разве придет кто-нибудь, поинтересуется ею, принесет воды? Как бы не так! Все озабочены только собою, спасают свои шкуры, негодяи, дармоеды!.. «Бедная, несчастная я женщина! — горестно запричитала Айшат. — Глупая, чем я занималась всю жизнь, на кого тратила свою молодость и жизнь, кого поила своим сладким белоснежным молоком, где они теперь эти люди, ни один не пришел, не поинтересовался, жива ли я, что теперь делаю, как чувствую себя. Кричи, не кричи, хоть надвое тресни от крика — никто не услышит».

Айшат не любила гостей и вообще видеть кого бы то ни было у себя дома, но то, что никто не вспомнил и не пришел к ней в трудную минуту, удручало ее, обида не умещалась в сердце. Пока обида не поостыла, она решила капельку вздремнуть. Вздремнула. Проснулась, тяжелая, разбитая, будто проспала всю жизнь, и в первое же мгновение почувствовала сильную жажду. Все под ней и вокруг было влажным от сырости, сам воздух пещерки давил на нее, словно огромное влажное одеяло, но жажда при этом была невыносима, она горела. Ей казалось, она не может разлепить свои горящие губы, но они непрестанно шептали «воды, воды...» В ушах зазвенела сладчайшая мелодия ручья — сомнений не было, это звенел ручей, бегущий со склона у ее дома. Ее личный ручей, с которого, сколько помнит себя, набирала воду. Немного выше, за скотным двором, был и родник, его зеркальный глаз светился сейчас в темноте, Айшат зарыдала, но у нее не было слез, чтобы плакать; и плач ее походил на грубый скрежет. Этот родник выкопал и облагородил ее отец, но кто сейчас наберет для нее один глоток из этого родника, кто окропит этой водой ее больные потрескавшиеся губы? «Жизнь моя — колесо, отвалившееся от арбы на опасном отрезке пути и покотившееся под откос. Где ты разобьешься, в какой пропасти сгинешь?» — причитала Айшат. — Но почему, почему так? Разве не бывает, чтобы отцепившееся от оси колесо ровно и неторопливо катилось прямо по дороге? Айшат попыталась встать, но тут же поникла снова. Земля, которая казалась такой сырой и холодной, была теперь горячей и обжигала живот. Воды! Во что бы то ни стало нужен был глоток воды. Айшат подползла к двери и, ухватившись за нее снизу ослабевшими пальцами, начала дергать ее, расшатывать. Дверь теперь, казалось, захлопнулась намертво. Ей вдруг стало жутко от сырости и темноты, которая царила здесь и которая так радо-

вала ее совсем недавно. Она стала проклинать отца и Ахмата, мужа своего, за то, что они так добротнo выложили эти стены, «пусть сгниют их надмогильные доски и обрушатся им на лицо вместе с землею; Халимат, бедная, несчастная моя сестра, Халимат, выпусти меня отсюда, открой эту проклятую дверь...». В надежде услышать чьи-нибудь шаги она приложила к двери ухо: дверь звенела прозрачным и призрачным звоном далекого холодного ручья.

* * *

День был теплым, трудно было поверить, что сегодня зимнее утро. Дворы и улицы аула подсохли и побелели. Скот и всевозможная живность, давно не кормленная, слонялась в голодной полудреме; обычно в такое солнечное утро женщины выносили во двор своих малышей в колыбельках, раскачивая их, вязали, пряли и судачили на улице. Но последние два-три дня на улице было тихо: ни детских возгласов, ни сельчан, снующих по соседям. Подполковник Марков приостановил избиение безоружных сельчан, зазывал через посредников тех, кто успел спрятаться в горах и лесистых балках, устроил небольшой митинг и обещал помочь в начинаниях, в переходе к мирной жизни. Оставшиеся в живых потянулись к своим разбитым домам, но до покоя было далеко; не различая дня и ночи, они обмывали и хоронили мертвых. Сшить саван каждому не удалось — мертвых оказалось намного больше, чем живых, рыть могилу каждому по отдельности тоже не удалось, — запретил Марков, ему не нужны были свидетели, количество свежих могил получилось бы удручающим. В первый день солдаты стащили трупы в близлежащий овраг и засыпали землей, остальных стали сжигать — ветер разносил зловоние кипящего жира и паленого мяса. Примерно на третий день после бойни у дома Айшат появились двое солдат на арбе и увидели нескольких стариков, копающих могилу. Поглядев на их испуганные лица, солдаты не стали мешать им, расспрашивать, отчего это они хоронят вблизи жилища; один даже взял лопату, намереваясь помочь им, но земля была мерзлой, и пришлось оставить эту затею. Оба осмотрелись и прошли в сторону сарая. Потом вернулись, зашли в дом. Сколько всего перевидели эти люди за последнее время, но то, что открылось их взору на этот раз, не вмещалось ни в какие ворота. «Наверное, это дом сумасшедшего, — решили они, или есть на свете что-то такое, чего им не

понять, некий скрытый смысл есть в этом ворохе костей и камней?— Никогда не знаешь, чего ждать от этих поганых кавказцев, на какие только ухищрения не способны эти люди. Поди, пойми их!» Брать было нечего, вещи, а точнее лохмотья, которые висели на деревянных кольях, вбитых прямо в стену, и натянутых всюду веревках не вызвали у них никакого интереса. Открывать единственную дверь, ведущую, как им казалось, в другую комнату, отпала всякая охота, но все же для очистки совести они разгребли гору мусора и вдавили дверь вовнутрь. Увидев там женщину, еще живую, они, преодолевая отвращение, выволокли ее на улицу, положили на землю, приподняли ей голову и прислонили к стене. Они никогда бы не поверили, что этой женщине нет и сорока восьми. Перед ними была шамкающая, доживающая последние дни старуха, обветшавшая, со сморщенным, величиною с детский кулак, бледным лицом, покрытым прелой соломой волос... Они не могли знать, что женщина поседела за три дня. Через какое-то время Айшат открыла глаза и посмотрела вокруг, однако этот взгляд не был осмысленным взглядом живого человека. Айшат не была в состоянии увидеть и понять, что эти люди с угрюмыми лицами в нескольких шагах от нее хоронят ее единственную девятнадцатилетнюю дочь.

* * *

Подполковник Марков, оставшись один в здании правления, долго не мог сосредоточиться, собраться с мыслями и в раздумье смотрел в окно. Пару недель назад у этого же окна стоял немецкий офицер, так же, как теперь Марков, мерил шагами комнату, прохаживаясь из угла в угол. Перед появлением немцев, Марков тоже бывал здесь, обсуждал с коммунистами и руководителями местных колхозов вопросы, связанные с обеспечением войск продовольствием — мясом и маслом. Кто мог подумать тогда, что события будут развиваться столь стремительно; теперь он побил врагов, выгнавших его отсюда так недавно, победил бандитов и разрушил их логово; не скоро остынут даже камни, по которым он гнал их. «Отныне жизнь должна быть налажена», — размышлял подполковник, остановившись у окна. Кое-где суетливо сновали солдаты, но из местных жителей он никого не заметил. Это обстоятельство несколько расстроило его, ведь он с самого утра ждет их, чтобы провести очередное собрание. Если они так лояльны к советской власти,

то почему прячутся, почему не появляются по первому требованию? Если советская власть вернулась к ним в горы, то это должно быть праздником для них, разве не так? Дикари! Не прошло и минуты, как у только что вполне довольного собою подполковника чисто выбритое лицо пошло красными пятнами, он негодовал. С ними по-хорошему нельзя, они не понимают человеческой речи, только силой можно заставить их быть мирными и покорными. Марков пнул табурет, потом еще и еще, пока не разбил его в щепки. Что они готовят теперь, какую хитрость задумали, не поспешил ли он остановить расправу?

Марков посмотрел на себя со стороны и задумался об излишней своей гуманности, она может привести к непростительным ошибкам. Эти мысли привели его к решению, что в этом ущелье надо бы уничтожить всех до одного, и тогда власти могли бы рассчитывать на мир и порядок. Нельзя проявлять слабость и мягкотелость при осуществлении такого важного задания, ведь он человек государственный, он защищает здесь интересы советской власти; ради государства, ради свободы и счастья всех советских людей он не должен был поддаваться жалости и останавливаться на полпути, он обязан довести свое дело до конца. Марков ни на минуту не сомневался, что в этот трудный для Родины час он вправе карать и миловать любого, он вправе самостоятельно решить судьбу враждебных аулов. Ведь лично себе он не ищет ни малейшей выгоды, старается ради отчизны. Однако подполковник Марков был из тех, кто люто ненавидит несправедливость, был мягок сердцем и умел прощать, да не учел, что на этот раз взвалил на плечи себе бремя уж слишком большой ответственности. Страна — ни конца ни края, на просторах ее столько всяких народцев-инородцев, и все ищут себе места под солнцем, сладкой, безбедной жизни. Много здесь темных, несознательных, немало и врагов, отъявленных вредителей. Это судьба, предначертанная историей, миссия, возложенная на них, — собрать всех темных, голодных и обездоленных и построить им общий дом. Надо понимать, все братья и сестры не могут быть равными, одинаковыми. Когда один будет честно служить, трудиться во имя ближних своих, второй обязательно окажется бездельником, третий — вором. Сколько волка не корми, а все в лес смотрит, хотя, конечно же, было бы неплохо — охраняй он этот дом. Чтобы содержать такой большой дом, чтобы в его прекрасном саду не разгулялся ветер и не свалил бы дерево братства, глава дома не должен

дремать, забывать своих обязанностей, ответственности перед его жителями, даже если бремя этой ответственности тяжелее, чем камни. Даже лошадь под тяжестью ноши, бывает, больно заденет седока копытом. А случается, и гриву стелет под выпавшего из седла, чтобы как-то смягчить ему падение.

Марков прикурил папиросу и отошел от окна. Он чувствовал себя бесконечно усталым, разбитым, кости ныли, словно с него только что сняли ярмо. Потягиваясь, разминая кости, он обратил внимание на свои ноги — сапоги стоптаны, перекошены, носки плоские и притупленные — подполковник смотрел на свои сапоги, словно увидел их впервые. Если бы все люди на земле жили, как братья, разве дошел бы он до такого позора? Как мог выглядеть настолько неопрятным он, Марков, — подполковник Советской Армии!

Да, все эти годы Марков был тягловой лошастью, к тому же вез он изо дня в день чужую поклажу. Разве это справедливо — горбатиться за других, да так, чтобы, собачьи морды, своих сапог собственными глазами не узнать! Сейчас он должен был погрузить в кипящую кровавую пучину всех, однако же не сделал этого. Кто оценил его? От кого Марков слышал хоть одно слово благодарности? Ни от кого. Да они на коленях должны ползать перед ним!.. Но ничего, у Маркова и без них есть единомышленники, они поймут и оценят его. Вот он — человек с портрета с аккуратно зачесанными назад волосами на низком лбу не отвернулся и даже улыбнулся покровительственно Маркову. Не было у Маркова более близкого человека. Да и не нужен был. Это он дал подполковнику власть и благословение во всех делах его, он и утешал и направлял Маркова в минуты отчаяния. Он был опорой ему в его многотрудных государственных делах.

Марков, несколько удовлетворенный, собрался с мыслями и вышел во двор, но тут злоба снова начала завладевать им: в этом районе аулов было много; если бы с каждого из них прибыло хотя бы по десять-пятнадцать человек, толпа не уместилась бы во дворе. Но здесь не наберется даже ста человек, и главное — все потерявшие счет годам древние старики да женщины. Где остальные? «Нет, борьба еще не окончена, эти дикари не поняли, что пора смириться», — подумал Марков, глянув между прочим на своих людей, скучающих то здесь, то там. Заметив среди них Хамалая и Чиппо, знаком велел подойти. Те поспешно приблизились

и встали рядом: от грязного, цвета земли, тулупа Чиппо отвратительно несло гнилью, Маркова с самого начала тошнило от этого человека, но Хамалаем он положительно был доволен. Хамалай, конечно, был вороной, кружащей над падалью, зато всегда был готов выклевывать глаз себе подобным, замысел подполковника понимал с полуслова, приказы выполнял с особым рвением.

— Товарищи, дорогие сельчане, — начал свою речь Марков, — сегодняшний день — это великий день, великий праздник для всех нас. Нами уничтожены и изгнаны немецко-фашистские захватчики, а также их пособники, бандиты и предатели, и восстановлена советская власть, наша народная власть...

Среди собравшихся стояла гробовая тишина, никто не проронил ни слова, не поднял головы. Слова «советская власть» никого не окрылили, как ожидал того Марков... Как, разве не она, советская власть, вытащила их из мрака и небытия, заставив забыть свои склепы и мрачную старину? Разве не она накормила и отогрела этих несчастных? Вернувшийся им эту власть старший брат стоит перед ними вытянувшись в струнку, а им наплевать... О чем они, интересно, думают?

— Теперь никто не посмеет вырвать из ваших рук вашу власть. Живите спокойно, трудитесь и отныне вам некого бояться, не от кого прятаться. — Марков чувствовал, как его слова, точно маленькие кругленькие камешки, катились куда-то, под откос, не задерживаясь на этом плоском дворе ни на секунду. Подполковник искал на лицах собравшихся хоть какое-то движение, хотя незадолго до этого рассчитывал услышать бурные рукоплескания и приветствие.

— Мы знаем, — продолжал подполковник, багровея, — среди вас скрывается еще немало вредителей и бандитов, но знайте: мы постепенно уничтожим и их. Мы никому не позволим поднять руку на нашу советскую, подлинно народную власть. Вы должны верить в это. С сегодняшнего дня мы восстанавливаем колхозы: армия, очищающая от врагов вашу землю, нуждается в продовольствии. Мы должны открыть школу — советская власть не позволит, чтобы советские дети были безграмотными. — Марков перевел дыхание. Старики и женщины в трауре молчали. — Мы должны избрать председателя, кто им будет, зависит от вас, выбирайте. Решать вам.

Чиппо и Хамалай уныло захлопали в ладоши.

— Что ж, если предложить некого, я рекомендую товари-

ща Касаева, — сказал Марков, положив руку на плечо Чиппо. Он будет руководить, пока не начнут свою работу райком и месткомы. Возражения есть?

Кое-кто переглянулся, по толпе пронесся шепоток, выдающий изумление и некоторое беспокойство.

— Ладно, больше тебе он вреда все равно не сделает, — вполголоса сказала одна из женщин по-балкарски, и тишина на дворе воцарилась снова.

* * *

Проснувшись, Крым осмотрелся, но вставать не стал — не хотелось терять нить сладкого сна, который он видел. Или, может, это был не сон? Какое-то странное видение? Крым прикорнул снова.

Вниз по голубому склону шла женщина, босая и просто-волосая, с болтающейся котомкой за спиной.

— Ведь ты моя мама? — спросил Крым, как только та приблизилась к нему.

— Я Хабла, — ответила женщина и положила ему на голову ладонь.

— Ты же говорила, что ты Халимат, а не Хабла.

— Я раньше не была Хаблой, я стала ею теперь, — сказала женщина. Крым увидел — она роняла слезы.

— Но почему ты превратилась в Хаблу, ведь ты же моя мама?

— Теперь все женщины стали Хаблами, разве ты не знаешь этого, мальчик? Бездомных, бредущих по дорогам женщин называют Хаблами.

— А я? Я тоже бездомный?

— Ты не должен расстраиваться, у тебя есть Алакёз. Он отвезет тебя, куда пожелаешь. Видишь его? Он ждет.

Крым оглянулся и увидел коня, радостно погладил его мягкую, едва осязаемую гриву, удивляясь себе, как это он раньше его не приметил.

— Хайда, садись и езжай, — сказала женщина, придерживая его за локоть.

— Я уже не маленький, сам взберусь. — Крым и не заметил, как очутился на коне легко и свободно. Алакёз пошел, сразу же перейдя в галоп, понесся по голубой траве, теснина выровнялась, превратилась в сплошную бескрайнюю степь, и Крым смотрел на непостижимую линию горизонта. На ней спустя какое-то время Крым увидел непонятный предмет, похожий на небольшой кувшин. Крым

ехал быстро и приближался к нему, когда предмет вдруг зашевелился, им оказался живой человек, и через минуту Крым уже мог разглядеть черты лица этого человека, одежду и короткоствольную винтовку в его руках. Этот человек был не из их села, Крым узнал в нем бежавшего недавно «герман апицира». «Апицир», не говоря ни слова, вскинул винтовку и прицелился в Крыма, но выстрела не прозвучало — Алакёз раздавил его, словно прогнившую копну сена. Тут же навстречу ему вышли еще двое — Чиппо и солдат с красной звездой на пилотке. Со словами «ты отравил колхозные покосы, теперь ты никуда не уйдешь от нас, сейчас же слезай с Алакёза...», они оба направили на него оружие и угрожали смертью. Крыму вовсе не хотелось слезать с коня, он остановил и повернул Алакёза, но с обратной стороны снова возникли Чиппо и похожий на Маркова солдат. Куда бы Крым не поворачивал коня, повсюду перед ним вставали Чиппо и Марков. Теперь они были повсюду, перебегали с места на место, неожиданно замирали на месте, словно торчащие из земли колья плетня, и их становилось все больше и больше, — Крым и моргнуть не успел, как равнина превратилась в заросший типчаком овраг, окруженный кишачными человечками со всех сторон. Алакёз силился проломить или перепрыгнуть ограду, сплетенную из многочисленных шевелящихся Чиппо и солдат, похожих на Маркова, уйти от них, но выхода не было, и Алакёз поскакал по кругу. Типчак вдруг превратился в густые высокие заросли, и они со свистом жестоко хлестали Крыма по лицу, бедрам и босым ступням. Потом они вышли вдруг на обледеневшую отаву, и Алакёз под ним поскользнулся и упал на передние колени, ударился о землю грудью. Поднялся и упал снова, потом еще и еще раз. Вдруг молодая отава высохла, и склон покрылся сплошным голубым, словно молочная сыворотка, льдом. Теперь Алакёз, весь взмыленный, вообще не мог встать, как ни упирался всеми четырьмя копытами и мордой. В эту минуту Крым вновь заметил множество человечков, похожих на Чиппо и Маркова. Они вращались, юлили по льду, словно маленькие деревянные волчки и сейчас же заполнили всю округу. Крым наблюдал за ними с изумлением, не испытывая страха, но вдруг ближайšie из них покраснели и начали скакать из стороны в сторону красными злыми куколками. Крым вскрикнул и проснулся... И даже когда понял, что это всего лишь сон, жуткие куколочки мелькали перед глазами, преследовали его, и Крым с головой спрятался под одеяло.

Когда и эти страхи рассеялись, Крым откинул одеяло и осмотрелся: сколько он не просыпается в этом чужом доме, а привыкнуть к нему никак не может. Проснется – перед глазами убогое, узкое, как щель, окошечко и обшарпанная дверь. Зачем этот добрый русский человек привел их с Халимат в чужой дом? Что им делать здесь? В родном доме никто не посмеет притеснять их, а здесь чего ожидать, Бог знает. Даже угол в сарае Халимат подошел бы им больше – там хоть не так холодно. Или отцовский дом Крыма. Вчера Крым бегал к нему, видел – окна и дверь выбиты, но все равно перебраться туда было бы куда удобнее, чем оставаться здесь. Но что делать, оставить Халимат и просто уйти никак нельзя. Крым подумал о высоком мужчине. Русском. Это он со своим товарищем принес их сюда и приходит к ним каждое утро и по вечерам. Приходит также и один человек в странной белой одежде. Им Крым доволен: чувствуется, что тот пытается помочь им. И высоким русским (Крым ни разу не называл Сергея Кравцова по имени) тоже доволен. Однако странно, с какой целью они привели их с Халимат сюда, а не домой? Или они решили, что мы бездомные какие? Крым присел на кровати и всмотрелся в лицо спящей Халимат. Он не мог знать, что ночью раненая женщина не смыкала глаз. Неожиданно в памяти промелькнуло видение, что когда-то давно он вот так же, как сейчас, сидел уже напротив своей матери. Это видение промелькнуло лишь на мгновение, но обеспокоило его, показалось, что эта раненая, разбитая женщина вполне могла бы оказаться его матерью. Она всегда напоминала ему маму, но на этот раз сомнения Крыма рассеялись окончательно, он воспрял духом, словно на самом деле дождался свою маму. «Айба, Айба», – позвал он, в надежде разбудить ее. Но тут же запнулся и залился слезами. Ну зачем, зачем мама не идет домой, зачем она лежит такая жалкая и беспомощная в этом неопрятном полуразрушенном доме?

На пороге появился чернолобый щенок; не решаясь войти, он начал скулить, виляя хвостом и даже всем телом. Крым надел штанишки, влез в тапочки Халимат и, отломив краюху черного хлеба, оставленного накануне русским солдатом, кинул щенку. Тот проглотил, не разжевывая, и снова жалобно-заискивающе уставился в глаза Крыму. Крым опустил на одно колено и погладил щенка: очевидно, в этом дворе щенок был единственным существом, оставшимся в живых, – Крым каким-то образом понял это. «Ты такой маленький, а конура у тебя вон какая большая, –

заговорил Крым, поглаживая щенка за ухом, – думаешь, мы заняли ее насовсем? Не бойся, мы уйдем, у нас тоже есть свой дом...» Щенок, словно обидевшись, убрал голову в сторону и опустил уши. «Значит, и ты считаешь нас бездомными бродягами», – обиделся Крым и оттолкнул его.

Крым слышал уже не раз, что всяких бездомных, не имеющих, как говорится, ни кола ни двора, все презирают. Дом и семья дает человеку и гордость, и уважение. И теперь Крым реально почувствовал страх перед будущим: соседи и прохожие будут считать его бродяжкой, жалеть и говорить друг другу – вот, мол, дом его не уцелел, теперь бродяжничает, бедняга. Крым не согласен жить так, он уже не маленький, и перебиваться в чужом доме, на чужих харчах не намерен.

Крым быстро вернулся в комнату, снова глянул на Халимат – проснулась ли? Больная коснулась его локтя рукой, пересохшей и легкой, как птичье перо.

– Проголодался?

– Нет, – сказал Крым, опустив голову.

Халимат уловила печаль в движении и голосе мальчика, но говорить что-либо не было сил.

– Почему мы здесь, у нас что, нет своего дома? – чуть помедлив, спросил Крым.

– Мальчик мой, у кого теперь есть дом?..

– Он что, разрушен?

– Разрушен или не разрушен... какая теперь разница... –

Халимат лежала на спине, потухший взгляд ее был обращен в сторону, и она не могла видеть, какой панический страх и неприязнь мечтятся на лице Крыма.

«Допустим, она Халимат, а не Хабла какая-нибудь, но тогда чего она разлеглась неизвестно где, почему не идет к себе домой, – думал он с обидой и неприязнью. – Мама никогда не допустила бы такого, она была красива, умна и чистоплотна. Да и раньше с чего бы она ютилась в углу какого-то сарая (хотя, надо признать, там ему было совсем неплохо). Что думать, кому верить? Поверить ли этой ненормальной, утверждающей, что теперь ни у кого нет своего дома? – Крым украдкой глянул на женщину: кожа вокруг глаз у нее почернела и нос был какой-то не такой, скорее похожий на нос Айшат. Нет, эта женщина совсем не похожа на «Айбу». Она похожа на Айшат».

Мучаясь сомнениями и болью детской души, Крым вышел из дома. Склон горы (а может это просто незнакомый холм) был совсем рядом, сливаясь подножием с ближай-

шим огородом. На нем не было ни тропинки, ни женщины, ни мальчика в красной тюбетеечке, спешащего за нею. Кто-то говорил Крыму, что это просто два деревца, но где теперь эти два деревца? Гигантским плугом было перепахано лицо склона, и все — камни, деревья — потонуло, провалилось сквозь землю.

Над селом тоже висело безмолвие. В прежние дни в этот час дымоходы дышали во всем ауле. Синеватый дым от огня, растопленного сухой березой и кизяком, поднимался над каждым домом и на безветрии аккуратными перекрученными ровницами мерно, не спеша, поднимался вверх, где, соединившись, повисал благополучным облаком. Запахи пекущегося хлеба и хычинов, доваривающегося мяса густо обволакивали дворы и улицы, внушали покой и уверенность в будущем, в своей Родине — здесь, в ее заботливых объятьях, он будет расти и, когда будет угодно судьбе, станет большим, крепким мужчиной, здесь он найдет и свое счастье. Прозрачная вода реки, разноцветные камни ее берегов и дна, деревья, тропинки голубых склонов принадлежали Крыму. Но теперь он не видит даже дыма над своим аулом, дома его сверстников, соседей и близких опустели, не видно ни души и на улицах. Где хотя бы одна из тех мосек, что так радостно бежали к нему, облизывали, здороваясь, его руку, путались под ногами... Едкий запах горелого человеческого мяса, костей и прогорклого жира носился над аулом, пропитав развалины, каждый угол, каждую щель каменных заборов, но Крым не обращал на него внимания. Он искал своих друзей — встретить бы хоть одного из мальчиков или девочек, не может быть, чтоб они разом исчезли, пусть дома заброшены, но должны же где-то они быть. Наверное, они собрались на солнечной стороне, играют в мельницу или альчики. Некому было сказать сейчас Крыму, что мать его смертельно больна и не может встать на ноги, что кости и чабуры этих сорванцов вот уже несколько дней дотлевают в недрах дальних тлетворных оврагов, отдавая ветру смрадный запах тлена и гибели.

* * *

Головы быков с широко расставленными глазами были огромны. Серповидные рога белолобого были остры и устремлены вверх, у второго — бурого рога свисали вниз по обе стороны. Грудью, словно два плоскодонных каяка, они медленно рассекали пространство, лениво подпирая мощными короткими ногами белую дорогу, ни на минуту не прекра-

щая жевать свою жвачку. Чем-то они были недовольны и мешали друг другу неравномерным движением. Уступив дорогу быкам и груженной доверху камнями арбе, Крым стоял на обочине, пока арба со скрипом не миновала его. Присев на самом высоком краю повозки, словно петух, сидел погонщик — сын Чиппо — и смотрел в никуда. Вдруг, увидев на обочине Крыма, он оживился и зашелестел кнутом. Сын Чиппо, как и сам Чиппо, был коротышкой и вдобавок хромал на одну ногу. Задрипанная, облезлая, как всегда, шапка над обвислыми ушами была украшена красной звездой — даже когда арба, скрипя и ноя, проплыла мимо и удалилась довольно далеко, ездок продолжал смотреть на Крыма, рискуя свернуть шею, настолько он был взбудоражен и раздражен этой встречей и под конец уже издали погрозил кулаком. Сын Чиппо слыл в ауле нужным, работающим и незлобивым парнем, поэтому Крым не ожидал от него такого, но то, что серьезно грозить кулаком малышу смешно и неприлично, было ему понятно и он чуть не рассмеялся.

Эта несчастная арба снова везла камни с недостроенной мечети, и везла она их именно к вновь возводимой школе. Однако глядя на ее движение, на то, как она переваливалась, взвизгивая, с боку на бок, трудно было поверить, что она когда-нибудь достигнет своей цели.

* * *

Сергея Кравцова подполковник Марков ждал долго. Два часа прошло, как он выслал за ним своего адъютанта — ни слуху ни духу, черт его побери. Марков стоял у окна, глядя на суровый аскетичный пейзаж; жить стало скучно, упорная затяжная борьба с бандитами, на которую он так рассчитывал, не состоялась — как-то быстро они выдохлись, не дав ему даже развернуться как следует; в аулах стало тихо, безлюдно, как раз это-то и не устраивало Маркова, он предпочел бы беспорядки и стычки — вдруг из штаба приедет начальство, как он объяснит тишину и бездействие, для чего он здесь? Отсюда-то дороги он перекрыл на какое-то время, по крайней мере, но как, под каким предлогом задержать тех, кто захочет приехать из района? Утечка информации и лишние разговоры ему ни к чему, многие приветствуют то, что он расчистил местные дороги, но законников-буквоедов тоже немало, эти ради очистки совести и на эшафот могут отправить. Несладко приходится тем, кто выполняет на вой-

не грязную неблагодарную работу — кому охота мараться в крови? Так ведь сами и набросятся, как шакалы, если вовремя следы не замести. Ну ничего, телега доноса запрягается обыкновенным четвероногим конем, — такого коня Марков в состоянии найти и сам.

Подполковник подошел к столу, на котором лежал составленный им самим секретный доклад, отобрал бумаги, написанные нынешним утром, и углубился в чтение. По его данным, подразделения, действующие под командованием подполковника Маркова, такого-то числа, месяца и года вступили в бой в Черекском ущелье с бандитами, и с небольшими перерывами бой продолжался двое суток. В результате было уничтожено и захвачено в плен около семисот бандитов; потери «с нашей» стороны были несущественны...

Остановившись на этой цифре, Марков усомнился: а стоит ли давать такие цифры, не сочтут ли это преувеличением, вдруг решат проверить? Убитых было больше, вместе с детьми перевалило за тысячу человек. Однако оставил. Список представленных к награде начинался с фамилии сержанта, ходившего на разведку, следующим шел Хамалай. Документы командованию обычно доставлял тот самый сержант — другим Марков не доверял. Этот гусь обязательно вскрыет бумаги заранее. Увидев себя первым, начнет молиться от благодарности своему командиру, как бы бедняга лоб себе не расшиб. Хамалай, который будет провожатым, и того хуже. Но Хамалай хорош своей беззаветной преданностью Маркову и его делу, несмотря на то, что сам из горцев. Единственной проблемой, отравляющей жизнь Маркову, был Сергей Кравцов. Судя по разговорам, Кравцов написал и отправил в штаб рапорт по поводу последних событий в ущелье. Правда это или нет, надо быть начеку. Если он не заткнет рот Кравцову, делу будет дан ход — недругов у Маркова тоже хватает; время такое, все смотрят за всеми, выслеживают друг друга...

Мысли его прервал появившийся в дверях Кравцов. Собственной персоной. Зашел, не приветствуя, подтянул под себя табурет и сел. Помял в руках свою ушанку, но не найдя места для нее, положил себе на колени. У него сильно поредели волосы, мешки под глазами почернели, внешностью — и лицом, и худобой — он был похож на человека, перенесшего тяжелую болезнь. «А ведь каким был подтянутым, деятельным офицером, — невольно подумалось Маркову, — по находчивости и оперативности ему не было рав-

ных в полку, называл меня в насмешку «замороженным», да что толку, далеко он пошел?»

— Что-то ты плохо выглядишь, дружище, — приирительным тоном обратился к нему Марков.

Они уже давно знали друг друга. Дружили даже. Были на равных, оба майоры. Но судьба распорядилась так, что Марков быстро поднялся, а Кравцов выбрал черную робу. Однако сейчас лучше эту рану не ковырять, об этом не надо.

— Да и ты не очень, — ответил Кравцов, не отрывая глаз от красной скатерти стола.

— Ну, я другое дело. У меня забот много. Поболе твоего будет, как думаешь?

— Не спорю. Но теперь прошло время обсуждать нам с тобою, у кого забот больше, а у кого меньше, да и заботы у нас разные.

— Не понял. Что ты имеешь в виду? — насторожился Марков.

— Руки у нас по локоть в крови, и этому нет никакого прощения.

Марков закурил.

— Тому, кто боится крови, на войне делать нечего. Зря ты взял в руки оружие, незачем оно тебе, пусть враг топчет родную землю, — ответил наконец Марков.

На осунувшемся лице Кравцова на миг промелькнула улыбка, но Марков заметил ее и решил, что Кравцов вздумал поиздеваться над ним. Это взбесило его, но виду он не подал.

— Говоришь то, чего не думаешь, — сказал Кравцов. — Не такие болваны — ни ты, ни я, чтобы не знать, где враг, а где наш, советский человек.

— Ты меня к себе не приписывай, — четко произнес Марков, — у тебя свое на уме, ты безответственный легкомысленный человек. Нечего прибедняться, если бы ты был патриотом, если бы думал в первую очередь о своей стране, тебе бы даже в голову не пришло сказать такое.

— Оставь страну в покое. Ты истребляешь народ этой страны, а пролитую кровь его пытаешься повесить на него же, — сказал Кравцов спокойно, не повышая голоса.

Марков слушал, бледнея, не в силах скрыть дрожь в руках.

— Для нас обоих будет лучше, если ты будешь думать, прежде чем языком трепать. — «Думай, не думай, а пожалеешь», — говорили тем временем помутневшие глаза Мар-

кова. — Если будем оплакивать каждого убитого врага, стра-
ну спасти будет некогда.

— Конечно, теперь, после всех событий, кроме как врага-
ми ты их называть не будешь.

— Люди, с которыми проблем и всяких головных болей
больше, чем пользы — враги, кто бы они ни были. Когда
защитаешь Родину, никакой народ не имеет значения.

— И даже русский?

Марков смешался. Вопрос был прост, но для него он
явился совершенно неожиданным.

Марков откинулся в кресле и, задрвав голову, провел в
раздумье довольно много времени. Да, он не скрывал ни от
себя, ни от кого бы то ни было, что русский народ является
авторитетом для всех прочих. Русские объединили, одели-
обули и накормили множество других народов — больших
и малых — и стали опорой им в дальнейшем существова-
нии. Если понадобится, русские имеют полное право потре-
бовать отдачи у любого из этих народов. Но вместе с тем и
сами русские не смеют поднять руку на державу, на вели-
кое советское государство. Нет на земле такого народа, ка-
кой бы нельзя было принести в жертву во имя советской
родины. Как же этот болван не поймет такой простой вещи?
Марков положил на стол руки с крепко сжатыми кулака-
ми, на его напряженном лице заиграл тик...

— Если придется встать перед выбором, я выберу совет-
скую родину, — твердо сказал подполковник. — Пусть вы-
живает государство, а народ, — он размножится снова; вре-
мя лечит, унижения и гибель вскоре забудутся.

— А разве нация, народ, сознательно унижающий дру-
гой народ, не унижает самое себя? Однако оставим это —
с русским народом у тебя нет ничего общего, такие, как ты,
и позорят русских, — сказал Кравцов со злобой, уже не сдер-
живая гнева.

Подполковник резко встал на ноги и отвернулся. Тихие
безлюдные улочки за окном, казалось, тоже укоряли его
родную советскую власть и державу своим отчужденным
безмолвием. Это была вражеская неприязнь, потому что
никто не смел перечить делам, чинимым от имени совет-
ского государства. А Кравцов? Кто сейчас Кравцов? Один из
многих его подчиненных, ничто, соломинка на пути разру-
шительного колеса войны. Странно, отчего это я спорю с
ним, понапрасну трачу на него слова, когда в моих руках
сила, власть и возможность раздавить его? Или я забыл свой
долг перед советской родиной и предаюсь пустословию о

какой-то вшивой человечности? А может, я просто боюсь его? — Марков повернулся к Кравцову. На нем не было никаких регалий, никаких даже знаков отличия, все у него отнято, Кравцов — ничто, никто ему не поверит.

— А ты, как я понимаю, нерусский, так, что ли? — спросил подполковник тихим, потускневшим голосом.

— Русский, в этом-то вся и беда. Считаю, здесь я потерял свое лицо, — уже бесстрастно отвечал Кравцов.

— За свою страну, за советскую родину русских погибло больше, чем кого бы то ни было. И все они, по-твоему, потеряли свое лицо?

— Руками русских ты совершил массовое убийство женщин, стариков и детей. Это убийство будет висеть теперь на совести русского народа.

— Это бандитское племя уничтожалось руками не только русских солдат. Среди нас были и грузины, и татары, немало было и своих «балкаров». Почему ты считаешь, что ты чем-то лучше их? — Лицо Маркова снова стало звереть, на покрасневшей шее его вздулись вены.

Кравцов поднял голову и насмешливо посмотрел на Маркова. «Боящиеся ответственности похожи друг на друга все, как один», — подумалось ему. Он и раньше видел: люди, оправдывающие свои грязные дела, всегда тянут за собой других.

— Нет, подполковник, такой уловкой ты ни перед кем не оправдаешься. Позор, постигший нас по твоей вине, не разделишь поровну с другими, его не смоешь никакими бедствиями, никакими переменами, — сказал Кравцов.

— А что, лучшие люди из русских не гибли за счастье других народов? — словно не слыша Кравцова, продолжал давить Марков.

— Так ты за это мстишь? Убиваешь женщин, чьи сыновья и мужья погибли и гниют на наших общих фронтовых дорогах, убиваешь в их же домах? Да? За это?.. — Кравцов запнулся, вспомнил свою престарелую мать, отца, погибшего на этой земле. Еще в гражданскую...

— Ты уничтожил простых крестьян, которые утешали себя простым ежедневным трудом, — сказал Кравцов упавшим голосом после долгого молчания. — Они, что сирые дети, у них нет возможности оплакать и отомстить свое унижение, как это делают большие народы. Об их несчастье мир не узнает, как это было в Белоруссии и Украине. Малый — он везде мал, каждая облезлая собака зарычит на

него. Если твое мужество так велико было перебить их, то почему ты не обратил его против немцев...

— Думай, что говоришь, если под трибунал не спешишь! — злорал Марков, швырнув окурок на пол.

— Все мы пойдем под трибунал. Хотя какой трибунал определит нашу вину? Даже если превратимся в могильные камни для убитых здесь, мы не смоём нашей вины. Или ты думаешь, спасешься? Они останутся лежать, а ты спасешься?..

— Да они сами рады были перегрызть глотки друг другу...

— Лучше не говори об этом, оставь. Это еще хуже.

— Не понял...

— Мы отняли у людей все человеческое, что в них было, сделали так, что они будут жить, не доверяя друг другу, боясь друг друга. Что можно ждать от солдат, которые жгут трупы детей, как хворост? — Кравцов встал и настезь открыл окно. — Ты слышишь зловоние? Запах горелого человеческого мяса и костей еще не исчез.

— Солдат везде выполняет свой долг. В белых перчатках не повоюешь.

— Если завтра будет приказано расстрелять тебя, ни один из этих солдат не воспротивится. Многие будут и сами рады привести приговор в исполнение.

— Меня? Меня, советского офицера, выполняющего приказ, расстрелять?! — Марков укоризненно с полуулыбкой посмотрел на Кравцова. — Ну да ладно, если Родине угодно, чтобы меня расстреляли, роптать не буду.

— Да ты и не смеешь роптать. И дело вовсе не в этом.

— А в чем же?

— Такие, как ты, никогда не устают рыть яму ближнему, даже зная, что вслед за ними будут столкнуты туда сами.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь «такие, как ты»? Разве не такие, как я, беззаветно служат своему народу, не зная покоя ни днем ни ночью?

— Такие, как ты, унижают других от имени русского народа и хотят жить в окружении людей, стоящих на коленях, вот, что я имею в виду, — сказал Кравцов и, прикрыв окно, сел на свое место.

— Ты не любишь свой народ, — сказал Марков, — но я тебе говорю: все они должны молиться на русских!.. Все! Чтоб ты знал.

— Человек, стремящийся унижить другого, сам унижен. Иначе не бывает. Вот почему мы стали здесь все такими,

по первому приказу, не сомневаясь, стреляем друг в друга, по первому «фас» готовы вцепиться в глотку друг другу, словно бешеные псы. Такая участь ждет каждого, когда народ, люди разучились уважать себя, перестали за людей себя считать.

За словами Кравцова ничего не последовало. Марков закурил, отошел от стола и, повернувшись спиной к Кравцову, посмотрел в окно. Со спины он казался маленьким усталым стариком, сгорбленным под тяжестью собственной безнадежной грусти. На что ему надеяться в этой жизни, на кого обижаться, если даже Сергей Кравцов — офицер — отказывается понять его. Пусть он и лишен звания, погон, но ума-то его никто не лишал. Государство! — Какое страшное наваждение: завтра оно легко может казнить его, живого человека и преданного офицера, за выполнение им же самим данного приказа. Что оно такое, это государство? Видел ли он лицо, поступь этого государства? А ведь всю свою жизнь он живет и действует во имя этого самого государства. Почему какой-то неудачник, сломленный грозной машиной, могуществом и неумолимостью государства, может перечить ему? Отчего Марков спорит с ним на равных, словно бы не уверен в своей правоте? А может, я и правда не уверен? Почему я так хотел услышать слова утешения от него? Даже от него. Да есть ли хоть один человек, сказавший ему слово утешения, есть ли хоть один человек, который доверял бы ему хотя бы в разговоре? Не было такого человека.

— Говорить красиво, угождать людям легко, — сказал Марков, собравшись, — быть верным Родине, своему государству — вот, что трудно. Под тяжестью его мощного кулака живем все мы. Если он поднимется, не останется места ни человеку, ни человечности.

— Что такое государство? Ведь это те же люди. Поднимают и опускают этот внушающий тебе ужас кулак такие же, как и ты. Причем же здесь государство?

От этих слов подполковник ухмыльнулся, но затем сразу же сжал свои пухлые губы и внимательно посмотрел на Кравцова: «Что ты понимаешь в этой жизни, — говорили его глаза, — ежели б ты понимал что-нибудь, не был бы таким жалким, без чинов, ни рыба ни мясо... Конечно, кто же тебя такого допустит к коллективному управлению этим кулаком. Неужели все, кто испытал удар этой машины, такие вот... как этот? Нет, этот кулака пока не испытал. Он ощутил лишь указательный палец кулака-государства, ука-

зующий на него, чтобы все знали, кому теперь быть растерзанным».

— Ты прав, государство, наше государство, состоит из людей. Из таких, как я. Судьбу свою оно доверило таким, как я. И мы должны оправдать это доверие, иначе — смерть.

— А по мне, так это государство — мертвец, — сказал Кравцов спокойно.

Услышав эти слова, Марков побледнел и напряженно умолк. Этот человек — Кравцов — перешел все границы. Он посмел хулить государство в присутствии подполковника Советской Армии. А ведь сегодня даже у стен есть уши!

Марков вскочил, открыл дверь и глянул окрест. К счастью, никого не было. С Сергеем все ясно, но опасность состояла в том, что слова эти говорил он в присутствии подполковника Маркова, такое упущение не прощается. Что он ответит, когда его спросят, как он мог позволить такое?

— Забудь этот разговор. Забудь теперь, сейчас. Считаю, я глух, я ничего не слышал. — Подполковник некоторое время помолчал. — Я должен был бы отдать тебя под трибунал, но Бог тебе судья. Да и потом, ты похож на очень усталого человека. Поезжай домой на побывку, увидишься с родными... Я отпускаю тебя.

— Я и сам хотел попросить вас об этом, — сказал Кравцов, вставая, — сегодня-завтра подам рапорт.

— Нечего тянуть, оставь рапорт сейчас и иди.

— Но, скорее всего, товарищ подполковник, сюда я больше не вернусь. Постараюсь перейти в другую часть.

— Дело твое.

— У меня есть просьба.

— Слушаю.

— Разрешите взять с собой мальчика. Его зовут Крым.

— Он сирота? Или постой... не сын ли он той женщины, которую ты выхаживаешь?

— Не знаю, скорее всего, нет.

— Кто же против, забирай, хоть троих.

* * *

Рванувший было с вершин ветер, оказавшись в долине, поутих, рассеялся по дворам, по улочкам, колотил распахнутые настежь двери домов, заставляя жалобно скрипеть их, проникал сквозь разбитые окна и, обшарив комнаты, вырывался обратно. Некому было помешать его произволу. Добрался он и до длинного платяя бесстрастной женщины на верхней улице, потрепал ей одежду и сообщил запах гари и

паленых костей; но той было все равно, на ее лице не было видно чувств, для нее не существовало ни радости, ни горя. Кошка ли голодная ласкается к ней, собака ли радостно носится вокруг нее, она не замечала. Растрепал ей ветер и длинные, абсолютно белые волосы.

Это была Айшат, хотя узнать ее было бы очень трудно. Изо дня в день, не зная усталости, все снова и снова ходила она по чужим дворам, заглядывала в окна, переворачивала помойки и, не найдя ничего (она не запоминала места, где уже не раз побывала), с проклятиями шла дальше. На этот раз Айшат искала для себя хорошую обувь. Вчера или позавчера она нашла в одном из этих дворов детский ботиночек и шапочку и тотчас отнесла к себе. Айшат, хотя и позабыла многое, но то, что где-то здесь неподалеку живут ее родственники, и рядом отцовский дом, помнила. Частые помутнения рассудка, как правило, продолжались у нее недолго. Двери ее дома были открыты настежь, окна разбиты; впрочем, в комнатах она почти не бывала. Она перестала задумываться, нет ли где родных, соседей, и что с ними теперь случилось. Раньше память у нее была получше. Однажды, когда она зашла в одну из комнат, перед ее глазами, словно вспышка, возник Болат, брат ее, и сразу же вслед за ним Халимат. Когда-то в этой комнате смертельно больная, умирающая сестра завещала ей Крыма; в этой комнате Айшат приняла от сестры золото, приданое и все имущество ее, обещая достойно вырастить и воспитать Крыма... Как могла она прельститься, взять у сестры плату за то, что принимает на руки ее сына? Что склонило ее к такому позору, какого не знал никто среди людей, живущих рядом с ней? Может быть, новые порядки, новая «бласть» научили ее этому? А ведь она на весь мир растрезвонила о своем великодушии, о том, что пригрела и кормит несчастного сироту, когда взялась воспитывать Крыма, вверенного ей умирающей сестрой, родной сестрой! Эти непривычные мысли охватили и ошарашили ее, как гром среди ясного неба, в голове все смешалось и закружилось, чтобы не упасть в обморок, она присела на старый отцовский топчан. Неизвестно, долго ли она сидела так, но когда оказалась на улице, в голове ее было свежо и пусто. Уже ничто не отягощало ее сердца. Но стоило ей войти в дом отца, как сердце неожиданно воспламенялось какой-то неосознанной грустью, она мучилась, искала, пытаясь ухватить хоть одну из тех странных мыслей, разобраться хотя бы в одном из тех

чувств, которые во множестве роились в ней, кружили ей голову, но затем все снова меркло, и оставался лишь страх, непонятный и неосознанный страх, возникающий в отцовском доме и охватывающий все ее существо. Со временем она научилась справляться с этой напастью, некий голос, выражающий все семь инстинктов, шептал ей: «Не входи, не входи, держись подальше от этого дома...» — и она не входила. Во дворе страх не преследовал ее, и она спокойно, деловито складывала свои находки здесь и подолгу любовалась огромной кучей, состоящей из обуви, головных уборов, всевозможного тряпья и одежды. Больше ее в этой жизни ничто не интересовало, от созерцания своего кургана Айшат получала достаточное удовлетворение, желания ее исчерпывались и блаженное спокойствие обволакивало ее сонное существо. Или, может, это было не удовлетворение, а песня-плач сошедшей с ума женщины, обиженной и брошенной всем миром и самим Аллахом.

Сегодня ее добычей был один-единственный детский чувячок из коричневого бархата, с вышитыми мишурными рантиками на носке и пятке. Видимо, обронил его какой-то мальчик с правой ноги, бежал, сорванец, и обронил. А может, девочка. Их носят и девочки. Айшат сама шила такие двум своим сыновьям и дочери, когда те еще не сознавали разницы между мальчиком и девочкой, — всем одинаковые. Айшат долго разглядывала чувячок и положила его на самый верх. Куча была широкой и высокой, как хороший стожок сена, и состояла не из лохмотьев, а из вещей годных и приличных одеть каждому человеку. Детские ботинки, чабуры, тапочки, шапки и шапочки всех разновидностей, шаль, платки шелковые и всякие — чего здесь только не было! Эти вещи Айшат собирала повсюду, они висели на ветках, валялись у трупов или, украденные ветром, покоились под откосами, на дорогах.

Вдруг она поймала себя на том, что внимательно изучает всю обувь. Она вдруг поняла, что ищет здесь обувь своей дочери, и горько заплакала. Ведь она очень давно не видела дочери и не слышала вестей от двух своих сыновей. Она вспомнила о могиле на своем дворе и заподозрила что-то неладное: для чего эта могила там, ведь никто ничего не говорил ей. Тогда зачем она ищет ее обувь здесь? Спешит оборвать надежду? Сыновья — если они погибли, то где, где их кости? Они разбросали свои кости по дороге домой, когда спешили к матери, или донесли их до аула? Обуви, которую шила своими руками, она здесь не видела. Нет, не ви-

дела... Айшат, вся дрожа, прошла и села на колоду, оставившись неподвижным взором на свое добро. Детей, которые носили эту обувь, больше нет, даже костей их не осталось. Она попыталась определить кого-нибудь из аульских детей по обуви или шапочке, но тут же сознание ее начало заволакивать чем-то легким и приятным, она сейчас же забыла обо всем и улыбнулась, глядя на вещи сельчан, тех самых, что разбили ей сердце, унизили ее, смешали с грязью... Почему я сижу здесь! Жду, пока кто-нибудь опередит меня?

Она вскочила и бросилась за ворота: там, на дорогах, на склонах и в оврагах еще много добра, сколько она натаскала его, а видишь, все не успела, сейчас же надо бежать туда и собирать, собирать вещи – все до одной принести сюда.

* * *

Женщина шла тяжело, то и дело останавливаясь и хищно озираясь по сторонам. Невидимый груз давил ей на плечи так, что она горбилась под ним, с трудом переставляя ноги. Подвязанная кое-как грязная засаленная косынка на голове выдавала ее неопрятный вид, ветер терся о ее длинный подол, ощупью пробираясь выше, лохматил ее белые-белые волосы, трепал и пушил их, развлекаясь. Куда же шла она? Ей было все равно куда, она поминутно забывала об этом.

Шла она, шла и остановилась, увидев вдруг перед собою сына Чиппо. О том, что он возил камни разрушенной мечети к месту будущего строительства школы, Айшат уже давно забыла, а сейчас ее внимание привлекла опрокинутая арба.

– Почему ты опрокинул арбу, бездельник? – крикнула Айшат, взяв со спины завязь сбившегося с головы платка и запихнув его под мышку.

Сын Чиппо, шестнадцатилетний балбес с прыщавым лицом, некоторое время в медлительном сомнении сопел, не поворачивая головы: стоит ли вообще отвечать выжившей из ума женщине? Но беспечная молодость осилила глупую ни к месту надменность, и он повернулся к ней:

– Это не я опрокинул ее, она сама опрокинулась, – сказал он и, взобравшись на арбу, начал лениво вываливать камни на дорогу.

– А-а-а, твой отец, значит, опрокинул ее?

– Ты оставь мою арбу в покое и займись-ка лучше своей, – сказал сын Чиппо, ворочая туда-сюда неуклюжий камень.

– Стала бы я тут стоять, разговаривать с тобой, будь моя арба удачливее твоей.

Сын Чиппо с изумлением посмотрел на женщину: дура-не-дура, а что-то еще соображает. Он спрыгнул на землю и подкатил соскочившее с оси колесо, взялся за ось, поднатужился, – но не смог оторвать ее от земли.

– Оставь пустые разговоры, помоги лучше, – сказал он, повернувшись к ней.

– А что, слабее меня здесь никого нет, чтобы помочь тебе? – Айшат все же бросила на камни свой платок и подошла.

– Нет, как видишь.

Оба, упершись друг в дружку лбами, схватились за осевую перекладину, поднатужились, но у них снова ничего не вышло – ось слегка пошатнулась и осталась на месте.

– Оставь, мы не из тех, кто мог бы починить арбу, – сказала Айшат, закидывая платок на плечи, – пойду я...

Парень с грустью глянул ей вслед: «Если даже и ты уходишь, то теперь мне точно никто не поможет», – подумалось ему, но окликать и говорить ей что-то вдогонку он не стал.

* * *

Сергей Кравцов сидел поникший, чувствуя спиной холодную влажность стены, к которой прислонился, но встать, поменять место не спешил. Комната с единственным окошечком была чистенькая, аккуратно прибранная, но тепла и уюта в ней не было, несмотря на то, что кизячный огонь в очаге приятно ласкал лицо. «Она тоже плоха», – вслух сказал Кравцов, глядя на больную Халимат.

Кравцов сам выбрал эту саклю и два-три дня назад с помощью солдат перенес сюда Халимат. Он не знал, где живет эта женщина, где ее дом, и ничего достоверно не мог узнать о ней по сей день. Люди, которых он расспрашивал о ней, толком ничего не могли сказать – мать ли мальчику Крыму Халимат (они также называли ее Хаблой) или нет, а если нет, то почему мальчик не отходит от нее? Много еще не мог понять Кравцов: если у Крыма есть живая мать, то он не может забрать его с собой, грешно это. Об Айшат – тете Крыма – ему рассказывали, но саму ее он еще не видел. Кравцов исподволь следил за Халимат, хотел, чтобы она объяснилась с ним, но Халимат не способна была говорить, хотя глаза уже открывала. Если бы даже заговорила,

Кравцову не верилось, что она выживет, она не вставала на ноги и непохоже было, что встанет. Но даже если она поправится, что она сможет сделать для мальчика? Большинство сельчан убиты, что ждет остальных – никто не знает, вряд ли в этих местах жизнь скоро нормализуется и войдет в обычную колею, – не верил в это Кравцов. Так почему он сомневается? Боится согрешить? Не для того же, чтобы бросить теперь, он вырвал мальчика из смертельного огня, спас ему жизнь. На совести Кравцова висит ответственность позаботиться о спасенном ребенке и дальше обозначить его дальнейшую судьбу, его будущее. Кравцов не думал сейчас о том, что разлучает Крыма с родными, лишает его отчизны, он думал о том, что Крым должен обучиться русскому языку, получить образование и достойную профессию – это самое главное для человека, считал Кравцов. Если б у него была возможность, он бы собрал и повез с собой всех детей разоренного аула, а не только одного Крыма.

Присевшая на кровать в ногах Халимат соседка ничего не понимала из того, что говорил Кравцов, однако следила за ним с большим вниманием, опустив голову, кивала, всячески выражала восторг его речам – видимо, ей было очень неловко перед ним за свое невежество. Если что-то доходило до нее, она сейчас же поддерживала разговор, разбавляя свою балкарскую речь скудными вкраплениями известных ей русских слов.

– Поверь, я ничего не могу сказать о ней толком, они часто слонялись вдвоем с мальчиком, Хабла с мальчиком, это все, что я знаю... Туда далеко, в Арсей *, что с ним будет? – мучительно вопрошала она. Это была Ханий, родственница Халимат, женщина лет шестидесяти.

– Все хорошо будет, – говорил Кравцов, пытаясь подобрать слова, понятные для Ханий, – ты не бойся.

– Плохо или хорошо, он должен остаться на земле отцов. Пусть с ним будет то же, что и со всеми нами. – Ханий говорила, не отрывая глаз от Халимат, словно желая понять, слышит ли та их разговор. – Однако мне до этого дела нет. Лишь она, бедняжка, могла бы сказать, что ему делать, а чего не делать.

Может, Халимат уловила, что речь идет о ней с Крымом, она шевельнулась, словно желая что-то сказать.

– Ты чего, боль моя, проснулась? – спросила, приблизившись к ней, Ханий. – Забеспокоилась, кажется.

* А р с е й – Россия (балк.)

Больная ничего не смогла сказать, но от слов Ханий у нее сильнее забилося сердце: Кравцова она заметила еще вчера, видела она и то, что он приносил хлеб и сахар; заметила, что часто ласкает Крыма; возвращаясь с улицы, держит его за руку. Но все это не радовало — не нравилось ей присутствие военного. Зла от него, похоже, ждать не следовало, но беспокойство, страх и постоянное напряжение уже давно не оставляли ее. Человек этот, хоть и не мусульманин, зла не делает, смотрит за ее сыном, заботится о нем, что же тогда беспокоит ее? Особенно сегодня. Кажется, когда Крым выходит за дверь, она его больше никогда не увидит. Крым потеряется, никогда не сможет вернуться обратно. Раньше такого страха, такого странного предчувствия у нее не бывало. «Могу поклясться, они сговорились о чем-то, — вдруг осенило Халимат. — К несчастью, и уши проклятые ничего не слышат, руку бы поднять, платок отодвинуть... Но если я и глуха, то не совсем, слова Ханий хоть отчасти слышу, жаль, слов русского языка не понять, если и услышать...»

У Халимат не было сил заплакать в голос, но слезы тихо скатывались по ее впалым щекам.

— Чего ты, несчастная? — встала Ханий. — Не бойся, Аллах велик, ты поправишься. Все у тебя будет хорошо. — У соседки тоже на глаза навернулись слезы, она всхлипнула, но вовремя замолкла. Кравцову жаль было раненую женщину, он опустил голову. Надо было уйти, но он оставался на месте. Не зная, как быть, волнуясь, он заговорил:

— Скажи ей: как только она поправится, я привезу мальчика.

Ханий вопрошающе посмотрела на Кравцова. Ничего она не поняла, но чтобы не оставлять его без ответа, сказала по-балкарски:

— Что ты, твоей вины здесь нет, не ты же стрелял в нее?

Халимат на ноги не встанет, это ясно. Не завтра, так послезавтра раненая умрет, и мальчик будет брошен, останется на улице, так разве справедливо будет оставить малыша? Кому он нужен, эти несчастные еще не скоро смогут поднять свои горемычные головы, до него ли им будет!

— Ты скажи ей, пусть не боится... Он там в школе учиться будет, человеком хорошим станет, — взволнованно сказал Кравцов.

Из слов Кравцова Ханий поняла только «школа» и «хороший». Не поднимая горестных глаз, она сказала:

— Что делать, нет у нас ни крыши над головой, ни надежды — никто не знает, что ждет нас...

Она осеклась. Хотелось сказать: «Как можно стать «хороший» неизвестно где, расставшись с родными краями», — но страх перед будущим и связанной с ним ответственностью — что она будет делать с Крымом, если русский оставит его здесь? — сдержал ее, да и вообще лучше и безопаснее всего теперь соглашаться с ними, мало ли что...

* * *

Рослого русского солдата с четырехлетним мальчиком на руках, покидающего аул, провожали отрешенными взглядами аульчане, попадающиеся кучками то там, то здесь по завалинкам и углам разбросанных улочек. Куда, для чего уводит сироту этот человек? Многие дети погибли и осиротели теперь в ауле, и горевать особо по поводу Крыма не было сил.

— Ладно, чего беспокоиться, как бы там ни было, но у него хоть будет за кого держаться, — почти шепотом сказала женщина, наблюдающая за ними из-за каменной ограды. Думала, она здесь одна, но Суйдум, оказавшаяся тут же рядом, услышала.

— Ты права, много добра, может, и не сделает, но с голоду и холоду, во всяком случае, мальчик не помрет, — сказала Суйдум, не поворачиваясь.

Женщине у ограды послышался укор в словах Суйдум.

— Оу, умереть мне, ты здесь, дочь Туменовых? — сказала она, застеснявшись, и вышла из-за ограды.

Суйдум, высокая статная женщина, уныло стояла, глядя вслед удаляющемуся военному с Крымом. Она была родом из Алашевки, вырастила большую семью, двое сыновей ее были на фронте.

— Лучше бы я была в аду, горела в огне, — сурово ответила Суйдум.

Обе умолкли. Знала жительница Уллу-аула, почему изводит себя Суйдум, заглядывая в каждый разрушенный дом, рыская по углам. Боясь разбередить душевную рану, она долго ни о чем не спрашивала, но надо было проявить хоть какое-то внимание к несчастью ближней, и она не удержалась:

— Все еще не слышно ничего о девочке?

— Нет, — ответила Суйдум, прослезившись, и спрятала лицо, чтобы не разрыдаться. Она нуждалась в утешении, но как, какими словами можно было утешить ее? Как исце-

лить разрывающееся сердце матери? Женщина с Уллу-аула не знала таких слов. Их просто не существовало в природе.

— Разве мало детей похоронили мы за последнее время? — сказала она, не зная, что еще можно сказать.

— Да, не мало, — сказала Суйдум, вздохнув, — не мало. — Перед ее глазами снова во всех подробностях — в который раз! — предстали события, произошедшие три дня назад. Плач, крик трехмесячной девочки слышался днем и ночью, и не было на свете звука, который мог бы заглушить этот плач.

* * *

Алашев Индрис вернулся в первые месяцы войны раненым, негодным к строевой службе. До войны он был чабаном и по возвращении сразу же перебрался в кошару. Время тяжелое — трудоспособных мужчин было мало, и Индрис лишь раз в два-три месяца мог спуститься в село, повидать детей. Так и жил. Когда пришли немцы, он угнал овец и держал их в недосыгаемом для них месте, а прослышав о том, что немцы покинули ущелье, оставил скот под присмотром двух своих товарищей и отправился в село. Переночевав дома, засобиравшись обратно, — еще не видно было утренних сумерек, и он решил перед дорогой повозиться по хозяйству: нарубил дров на неделю, сложил их под навесом, принес из сарая немного сена, сводил к речке на водопой скотину, — мало ли чем можно было облегчить жизнь хозяйке хотя бы на день. Тем временем солнце уже поднялось высоко — «эх, увлекся, обманул товарищей, зря пообещал, что приду рано», — забеспокоился он; и день случился какой-то странный, не по себе ему как-то было с утра, нехорошее предчувствие подтачивало его. Седлая коня, услышал приглушенные выстрелы откуда-то со стороны речки. Прислушался, вдруг заметил бегущего верхом аула солдата, поглядел на него, силясь понять, что же все-таки происходит. Не ко времени было задерживаться, надо было спешить, его ждали люди, но что-то сжимало сердце, не смог он уйти. Захотелось глянуть на детей, и он зашел в дом.

— Эй, человек, что с тобой? — поднялась навстречу Ачилий, жена его.

— Ничего.

— Что-то ты побледнел, — сказала Ачилий, женщина лет двадцати шести. На столе уже было накрыто, и теперь она у колыбельки кормила грудью трехмесячную дочку. Топ-

чан Ахмата, старшего сына, стоял в темном углу, и было незаметно пока, проснулся тот или еще спит. Однако Ахмат видел все: и пламя в очаге, и дымящийся казанок, и белую пухлую грудь матери. Кто бы оставил его в постели до сих пор – скотину по утрам на водопой водил он, и лишь из-за присутствия отца появилась возможность полежать, прикидываясь спящим. В ногах у него валетом спала трехлетняя сестренка Аминат – ей этого сладкого утреннего сна запретить пока никто не смел.

– Мне не дает покоя сон, приснившийся этой ночью, – сказала Ачилий, оторвав от груди младенца и покачивая колыбельку.

– Что за сон? – спросил Индрис.

– Словно бы наш аул размыло и целиком унесло паводком.

Индрис снова побледнел, насторожился и как-то странно посмотрел на жену.

– Да ладно тебе, это же просто сон, сон – он и есть сон, и мать и отец ему сон, чего ты испугалась?

Индрис поднял с пола маленький чабур Ахмата и присел у единственного окошка. Так он сидел долго в раздумье, разминая в руках чабуры сына, пока совершенно не вымягчил их, словно вату. Вдруг за дверью послышался топот, и тотчас в дверь сильно заколотили. Затем кто-то из пришедших ногой вышиб дверь, и в дом вошли трое – энкавэдэшник Хамалай и двое русских солдат. Индрис поспешно поднялся на ноги:

– Проходите...

– Входите, пожалуйста, будьте гостями... добро пожаловать... – оторопела Ачилий.

В тот же миг, не успел Индрис договорить обычное приветствие, автомат в руках Хамалай вспыхнул ярчайшим, словно молния, пламенем на конце ствола, ослепив Ахмата, высунувшегося из-под одеяла. Пули разнесли грудь и лицо Индриса. Индрис – мощный, грузный человек – схватился рукой, за подоконник и, беспомощно прикинув к стене, сполз на пол. Ачилий с пронзительным воплем бросилась к мужу, но автоматная очередь прострочила ей черными пуговицами всю спину до самого пояса. Ахмат видел, как разлетелись в разные стороны эти страшные пуговицы и некоторые, превратившись в пятна, прилипли к ее спине. Затем все трое быстро выбежали, и все затихло. Затихло или Ахмат оглох? Через какое-то время он услышал, как в колыбели, надрываясь, плачет трехмесячная сестренка. Ах-

мат не понял, давно ли она плачет так, оцепеневший от страха, он лежал под одеялом без движений. Ребенок никак не мог понять, что только что убили его родителей; он не поверил бы, скажи ему сейчас кто-нибудь об этом. Его отец, сильный непобедимый мужчина, он воевал, никто бы не смог свалить его. Но почему мама не обращает внимания на разрывающуюся от плача сестренку? Ахмат вылез из-под одеяла, оделся и подошел к ней:

— Амма *, вставай, отчего ты лежишь так? Мне страшно. — Ахмат подергал ее за плечо, попытался поднять ее.

Но ни мать, ни отец не двинулись с места. Вдруг он почувствовал тепло под ногами, глянул вниз и все понял. Страх не давал ему выйти из лужи липкой крови, и, стоя так, он заплакал, закричал нечеловеческим голосом, словно дикий зверь. Завыла и вторая сестренка, их общий вой смешался и вытек наружу, во двор, на улицу, разлился по дорогам, прося людей о пощаде и помощи.

Ахмат резко остановился, когда вдруг увидел, что маленькая сестра посинела и уже задыхается, исходя плачем. До него вдруг дошло, что теперь в доме старше никого нет, отвечать за все ему, и он быстро утер слезы.

— Успокойся, не плачь! — сказал он средней сестре, решив начать с нее. Но та не унималась.

— Успокойся, я сказал! — крикнул он угрожающе во второй раз.

Затем он прикрикнул на нее и в третий раз, дал ей затрепину и начал раскачивать колыбельку — эту унять было куда сложнее, ни окриков, ни ласковых слов маленькая Айшат не понимала. Мама говорила, что ребенку много плакать нельзя, иначе он заболит дифтерией. Что такое дифтерия, мальчик не знал, но боялся ее и начал делать то, что обычно делала мама: развязал лямки, освободил сестренку от одеяльца и вынул сыппа **. Ребенок сейчас же с удовольствием потянулся и поднес к губам сжатые кулачки, а когда Ахмат вытащил его из мокрого тряпья и положил на подушку, то и вовсе заулыбался и сейчас же затянул свою «песенку». Но передышка Ахмата продолжалась недолго: ребенок расплакался снова. Что ему было нужно? Он надеялся, что, может, мама все же услышит и займется сестренкой. Но мама больше не шевелилась. Ахмат долго выдержат не мог и заплакал снова; плача, ходил по комна-

* Амма — уважительное обращение детей к матери.

** Сыппа — костяная трубка из голени овцы для стока мочи из люльки.

те, достал с полки над печкой кусок масла, который отец принес вчера с кошары, и поднес к губам Айшат. Та прильнула к маслу и начала обсасывать его губами, поуспокоилась. Appetit ее все возрастал, «непохоже, – думал Ахмат, – что этот человечек когда-нибудь насытится». В эту минуту в дом забежала растрепанная и растерянная Суйдум, бабушка Ахмата. Она не стала причитать, терять рассудок или сознание при виде мертвых сына и невестки. Не обращая на них внимания, словно они просто прилегли отдохнуть, она сразу начала одевать трехлетнюю Аминат.

– Одевайся, одевайся теплее! – сказала она, обращаясь к Ахмату, взяла на руки Аминат. Затем в раздумье посмотрела на грудного ребенка. С обеими на руках они вряд ли спасутся, отчего-то выбор ее остановился на старшей. «Ну а эту крошку не тронут, какой толк убивать грудного ребенка? Не вечно же будет продолжаться избиение, Аллах велик, вернемся и за ней», – решила она.

– А Айшат вот так тихонько полежит, пока мы вернемся, – сказала она, чувствуя, как сгорают и плавятся ее внутренности.

Не мог еще понимать смысла слов бабушки Ахмат, но в глазах его – как он поглядел на нее – горел укор и гнев. От обиды у него сперло дыхание, и он заплакал.

– Не плачь, сынок, с Айшаткой ничего не случится, пока мы не вернемся сюда, – сказала Суйдум.

– Нет, я ее одну здесь не оставлю, – сказал Ахмат.

– Хорошо, тогда я возьму Аминат, а ты поднимешь на спину Айшат. – Какое великое облегчение почувствовала Суйдум, благодаря мужеству внука? Она крепко привязала платком младенца к спине Ахмата. – Хайда, быстрее, теперь от меня не отставай.

Оба быстро вышли на улицу и скоро оказались на дальней околице села. Куда они шли, как собирались спастись – Суйдум не знала, позже стало ясно, что они выбрали неверный путь. Должно было идти прямо в лес, вместо того, чтобы шарахаться из стороны в сторону от частой стрельбы. Лес был недалеко. Но голова Суйдум в эту минуту не сообщала, она решила отчего-то, что несчастье, постигшее Алашевку, обойдет Уллу-аул стороной – там, что ни говори, село огромное, никакие убийцы не посмеют вторгнуться с оружием в такое большое село. Может, от быстрой ходьбы у нее отнялся слух, но выстрелов в Уллу-ауле она не слышала. Суйдум остановилась, когда увидела, что идет с детьми по палевым травам; с тропинки, ведущей вниз из Алашев-

ки, было видно солдат, суесящихся во дворах и на улицах Уллу-аула. Теперь были слышны крики и стрельба, малейшее промедление — и солдаты увидели бы их. Кто-то из детей должен был спастись, Суйдум больше жалела Ахмата, мальчик все время отставал, и ей захотелось освободить его от непосильной ноши:

— Положи Айшатку здесь, а сам прыгай в овраг и низом беги в лес, — сказала она, показывая на сухую траву в тени валуна, и сделала к нему движение снять ребенка со спины.

Ахмат резко отпрянул в сторону.

— Воля твоя, но поверь, с ней ничего не случится, положи ее вот здесь.

— Нет, не положу ее «вот здесь», — озлобился Ахмат. И заплакал. Ему жаль было и бабушку, понимал, что она в безвыходном положении и не знает, как быть, как спасти хоть кого-то из троих. Неожиданно близко послышались голоса, и три солдата промелькнули в ближайших зарослях. Ахмат спрыгнул в балку и, затерявшись в кустах, бросился вверх к Алашевке. Суйдум бросилась за ним, но вскоре упустила его из виду, да и бежать так у нее не было сил; тяжело дыша, она тут же притаилась в зарослях. Слышала, солдаты прошли мимо нее вверх и где-то там же раздалось несколько выстрелов.

С тех самых пор, не зная ни дня ни ночи, ищет она своих внуков — Ахмата и Айшат, которой не исполнилось и трех месяцев. Никто ничего не знал о них. Неужели в тот злосчастный день солдаты догнали и убили их?! Суйдум сторала заживо оттого, что сама-то осталась жива, не получила даже царапины. А внуков загубила. Но кто знает, вдруг Ахматик еще найдется, надежда ее пока не угасла окончательно: еще не все вернулись из лесу, Аллах велик и милосерден, вдруг ее осиротевшие внучата остались с теми, кто еще в лесу?

* * *

— Что она говорит? — спросил Марков, повернувшись к переводчику.

— Она говорит, у нас принято вставать; когда здороваетесь с женщиной, — ответил переводчик.

Голос переводчика показался знакомым Айшат. Она его слышала раньше, кажется, здесь же, в здании правления. Но этого гладко выбритого лица с аккуратно зачесанными

назад волосами она все же не вспомнила. Ясно, человек этот приехал откуда-то снизу, но что он был именно тем энкавэдэшником, что заставлял ее ставить подписи на лживых доносах, она, конечно, не вспомнила.

Марков изумленно посмотрел на Айшат. Несмотря на то, что волосы ее были седые, растрепанные и спутанные, от рубища несло гнилью, она не была старухой, сколько ей лет, гадал Марков, сорок? Пятьдесят? Чиппо говорил, что она смелая, уважаемая женщина, многие сельчане прислушиваются к ее мнению, заглядывают в рот. Марков посмотрел в ее маленькие, глубоко посаженные глазки и подумал, что, может быть, у нее и с головой, не все в порядке. И это нечто ищет к себе уважения!

— Мы живем в советской стране и знаем, кому оказывать почет, а кому нет, — сказал он, презрительно оглядев ее с головы до ног.

— Какая бы это страна ни была, пусть она провалится сквозь землю, если в ней не оказывают уважения женщине.

— Спроси у нее, — обратился к переводчику Марков, — она хоть знает, с кем разговаривает?

— Не суетись, прекрасно знаю, ты «герман апицир», — ответила Айшат. — Ты допрашивал меня как раз здесь же, помню, хорошо помню.

— Я вижу тебя впервые, — сказал Марков поспешно.

— Да нет же, приводили меня сюда, говорили «герман апицир» вызывает, я же помню. Не было дня, чтобы меня не вызывали сюда.

Подполковник резко встал и, почему-то озлившись на переводчика, крикнул:

— Кто она, откуда взялась, что не может отличить офицера Красной Армии от вражеского! Она в своем уме?

— Будь сдержанна, сестра. Это офицер, который изгнал отсюда немцев. Он офицер Красной Армии, уж это-то ты понимаешь, — сказал переводчик.

Айшат подняла голову и долгим взглядом оглядела Маркова.

— А-а, помню. Он бежал отсюда, но что-то вернулся слишком быстро. И новых бед наделал.

Марков утратил дар речи. Прошелся по комнате. Надо было остыть, не давать воли гневу, охватившему его. «Эта женщина сумасшедшая или говорит нелепицу специально, дразнит меня. Плохо и то, и другое — глупость собеседницы не делает чести подполковнику. Чего она добивается,

что ей нужно? Почему она, глядя в глаза советскому офицеру, говорит так самонадеянно? Или правда, она не видит никакой разницы между мной и немецким офицером?» Марков подвинул табурет вплотную к Айшат, присел, положил руки вдоль колен и нагнулся к ней:

— Скажи, для тебя, правда, нет разницы между немецким офицером и офицером Красной Армии? — осторожно спросил он.

— Как, нет разницы? Очень даже есть, — с готовностью ответила Айшат. — Но здесь я видела только «германов», а «апициров» Красной Армии пока не видела. Давно хочу спросить, почему эти кровожадные ненасытные псы устроили здесь расправу? Вы для этого здесь находитесь или того не знаете?

Марков выпятил нижнюю губу и с сожалением покачал головой, хотя слова Айшат не вызвали в нем никакого сожаления; он решил не внимать больше словам сумасшедшей и не нервничать. Не спешил он и распорядиться о том, чтобы вышвырнули отсюда эту дурочку; напротив, ему стало вдруг чрезвычайно весело, он повернулся к писарю и с глумливой гримасой, прищурившись, кивком головы велел тому записывать все подряд, не пропуская ни слова. Что за дело, казалось бы, ему до дурочки, путающей немцев с красноармейцами, однако она далеко не дурочка, и даже, как говорили, смелая, отчаянная женщина. Все она понимала, говорила разумно и умышленно, чтобы унижить, опозорить подполковника. Все они здесь такие, чего ему бояться? Разве не прав он был, когда уничтожал людей, не признающих своей советской родины. Не прав он был бы, когда б не сделал этого. Родина не простила бы ему, поступи он иначе.

Обрадованный Марков посветлел лицом и выглядел словно заново родился. Закурил. Эта женщина, сидящая перед ним, не была человеком. Она была животным. Марков мог бы арестовать ее, мог бы поставить к стенке. Но полезных для дела животных не убивают, за ними присматривают и даже холят — подполковник нежно посмотрел на Айшат и мягко улыбнулся. Мягко ступая, подошел и присел рядышком.

— Я вызывал тебя не для того, чтобы спорить с тобой, нам незачем упрекать друг друга, — сказал подполковник задумчиво. — Мне нужна твоя помощь.

В комнате воцарилась тишина. Все присутствующие

повернулись к Айшат с напряженным вниманием: что она теперь скажет?

Айшат, не слыша и не чувствуя тишины, сидела довольная собой, словно жизнь ее наконец-то приняла счастливый оборот.

— Скажи, сестричка, в вашем ауле, в этих местах, уважающих «германов» больше, чем красноармейцев? Много их? Кого из них ты знаешь? — спросил Марков, пододвигая к себе бумаги на столе. Потом вдруг передумал и быстро отодвинул их обратно.

Исхудавшее лицо Айшат вытянулось и стало казаться еще более исхудавшим. Маленькие желтые глазки неподвижно застыли в своей глубине, ее как будто осенило что-то, она догадалась о чем-то таком, чего не мог понять Марков, и посмотрела на него с усмешкой.

— Не в первый раз вы обуваете обе мои ноги одним чабуром с просьбой сдать моих младших сестер и братьев.

— Снова ты путаешь белое с черным, — не спеша сказал Марков, ничуть не меняясь в лице. — Сегодня я вижу тебя впервые. И об услуге прошу тебя впервые.

— Такие, как ты, много раз допрашивали меня — этого сдавай, этого оставь...

— Я не такой, как они.

— Все вы хвост одной собаки.

Переводчик не стал переводить этого. Марков заподозрил, что ничего хорошего в его адрес сказано не было, и настороженно посмотрел на переводчика:

— Ну-ка, спроси у нее, — быстро спросил Марков, — кого она называет младшими сестрами и братьями, и много ли у нее здесь таких сестер и братьев?

Айшат медлила. Может, и не поняла, о чем спрашивал русский, но слова переводчика о «сестрах» и «братьях» опечалили ее, глаза увлажнились, она утерла их старым грязным подолом и, вздохнув тяжело, сказала:

— Много было у меня сестер, много было у меня братьев... И односельчан у меня было много. Всем им я была старшей сестрой. — Все это она проговорила медленно, задумчиво, глядя куда-то вдаль, поверх головы подполковника.

— Да где же они теперь! — крикнул Марков, потеряв всякое терпение.

— Одних я погубила, сама выдала вам на расправу, остальных ты умертвил без моей помощи. Теперь я осталась одна, придет одиночество и к тебе. На исходе дни твои. А

может, ты уже остался один? А? Признайся. — Глаза Айшат стали вдруг бессмысленными, она как будто стала искать что-то, шарить глазками по углам и застыла, уперевшись ими в дверь, словно за дверью кто-то стоял.

«Да она и впрямь ненормальная», — подумал подполковник и спросил с издевкой:

— А они что, не хотели, чтобы ты была старшей сестрой, так выходит? — Марков решительно не знал теперь, что с ней делать. Заставить расписаться? Но в чем? Она не назвала никаких имен, а то можно было бы и заставить, кто потом будет выяснять, сумасшедшая она или нет, кому это нужно?

— Как это «не хотели»? Аллах, Аллах. Я была им и матерью, и старшей сестрой, а молоко и хлеб матери, того, кто вырастил и поставил на ноги, у нас никогда не забывают.

— Ты, что ль, была односельчанам матерью, старшей сестрой, вырастила их, вскормила молоком, давала хлеб-соль?..

— Ты удивлен? У нас такой закон, — ничуть не смутившись, отвечала Айшат, глядя прямо в глаза Маркову.

«Если у вас такой закон, то почему нам не досталось ни крохи от него?» — захотелось крикнуть Маркову. Он встал на ноги и начал быстро ходить по комнате до двери и обратно. «Какой толк орать и спорить со спятившей женщиной? Или с этим... — Марков с ненавистью посмотрел на гладко выбритого вылощенного переводчика. — Сотрудник энкавэдэ, а ведь тоже из них. Как ему доверять? Что им объяснять? Да если собрать их всех в одном месте, скучить, словно овец, да заорать во всю глотку: «Я!.. Нет, Мы! Мы ваши старшие братья и сестры! Мы просвещаем вас, кормим, одеваем! — все равно ведь, все равно ведь не поймут. — У Маркова кипела кровь в жилах, он не знал, на что, на кого злиться — на эту женщину, что, словно сова, осторожно присела на краю табурета, или на всех, на весь этот дикий народец? — Если вот эту, эту, которую и человеком-то даже назвать трудно, вы почитаете как старшую сестру, то мне — вашему старшему брату — вы должны поклоняться, вы должны быть готовы принести себя в жертву ради меня, если понадобится. Вы должны жить, засыпать и умирать с моим именем на устах. Разве не так? — Марков оглядел женщину, окинул взглядом весь ее жалкий оборванный вид и покачал головой. — Они меня здесь с ума сведут — эта темная полоумная женщина заставляет меня так нервничать! Интересно, она говорит серьезно или попросту дурачит, издевается надо мной?.. Хотя чего ждать от полоумной, — при-

сев на табурет и несколько поуспокоившись, думал Марков, — чего от нее еще ждать...» И что удивительно! Многое из того, что роилось в голове этой темной, да еще и сумасшедшей женщины, совпадало с мыслями самого Маркова — именно с теми, от которых он так страдал! Почему, откуда, зачем она, сумасшедшая женщина, относится к людям и говорит о них так же, как Марков, — герой войны, каких поискать, заслуживший не мало наград и доверие Родины. Словно кукушка, многократно приумножая слова и мысли Маркова, повторяла она: «Я старшая сестра всем, живущим здесь, я вырастила их, поставила на ноги, вывела в люди...» Эти слова, как после затрецины, звенели в ушах. «Или, может, безумие навеяло на нее эти мысли? Скорее всего безумие», — краснея, шептал Марков. Ему захотелось побыстрее прекратить этот разговор, он пододвинул бумаги и сказал:

— Подпиши вот здесь и иди.

Голова Айшат вдруг начала медленно опускаться на грудь, она затряслась всем телом... Последовавшую затем истерику, крики, вопли она уже не слышала.

* * *

Не решаясь выйти за порог, отчаявшийся Чиппо долго сидел, неотрывно глядя на гаснущий огонь очага. Одна из стен его приземистого домика с земляной крышей и подслеповатыми окнами была разрублена большой косою трещиной во всю высоту, в которую, пытаясь проникнуть внутрь, подвывал ветер. Чиппо был один — где находилась теперь жена, было неизвестно: то ли спаслась, сбежав к родственникам в Кабарду, то ли нашла свою смерть на острие одного из русских штыков. Сын занимался извозом камней к вновь строящейся школе и не показывался со вчерашнего дня.

Плохие дни наступили для несчастного Чиппо. Все мечты, окрылявшие его еще так недавно, рассыпались прахом. Конечно, быть председателем колхоза было бы прекрасно, куда желать большего! — не важно, нравится это кому-нибудь или нет. (Хотя, надо признать, слишком многие были недовольны его новым назначением.) Чиппо не задумывался, как и сколько он сможет сделать на своей новой должности, но одно он знал точно — подавить недовольных силенок у него хватит. На то и должность — к ней не нужны ни ум, ни образование, ни талант. Чиппо видел: люди не обсуждали человеческие качества тех, кто состоял на

должности, не задумывались, чем тот или иной начальник заслужил такую честь, они просто поклонялись им. Чиппо очень рассчитывал на это, но вдруг оказалось так, что его слова ничего не значат — днем и ночью непонятные, недосыгаемые для него люди, неизвестно откуда прибывающие, растаскивали имущество колхоза как хотели, абсолютно не обращая внимания на живого председателя. Со всех пастбищ и скрытых кошар удалось собрать 26 тысяч голов мелкого рогатого скота, 2 тысячи крупного и свыше тысячи лошадей, однако к их распределению председатель не имел никакого отношения. Чиппо был словно чучело на своем посту — всем распоряжался какой-то молодой человек, приехавший из района; Чиппо и представления не имел, кто это. Скажет: гони в район столько-то — Чиппо скотину и гонит. Но самый ощутимый ущерб колхозу причинял Марков. «Весь скот, находящийся здесь, принадлежит армии!» — говорил он. Буквально на днях они с группой командиров самостоятельно выбрали пять коров-трехлеток и, никого не спрашивая, зарезали. Чиппо, обиженный, что его хотя бы поставили в известность, пошел к Маркову, но тот даже не снизошел поговорить с ним, просто повернулся и пошел дальше. Какой-то шустрый малый, бывший там с Марковым, скомкав, швырнул в сторону его жалкую шапку и сказал: «Иди, деда, за своей шапкой», — и, между прочим, вызвал этим остроумным поступком взрыв хохота. Со всех сторон какие-то люди обирали, грабили колхоз, но при этом никаких бумаг, расходных документов никто не давал. «Не такой уж я дурак», — взбунтовался, наконец, в разговоре с самим собой Чиппо; в конце концов, что он скажет, когда с него спросят по всем счетам, куда подевался скот? Председатель колхоза Чиппо, а разоряют колхоз, поедают скот эти (хотя Чиппо еще пока не представлял себе, кого он имеет в виду, говоря «эти»). Так сидел Чиппо в крайнем замешательстве, не представляя, как теперь быть. Был бы он нормальным человеком, его слушали бы хоть краем уха; видимо, в шутку поставил его председателем русский командир. Беспокоила его теперь еще одна вещь, — он похолодел, когда осмыслил ее окончательно. Ведь он работал на немцев, одежду их даже носил, хотя не мог бы вспомнить сейчас, чтобы причинил кому-нибудь за это время зло. Уходя, они отказались взять его с собой, даже не пристрелили — видимо, и человеком-то не считали. Пришли «эти», поубивали всех, попавшихся на глаза, — виновных и невиновных. Сын Касая Чиппо спасся — в огне не горит, в воде не тонет.

Но странно, почему они не арестовали его, не стали мучить — дескать, на немцев работал, предатель! Ничуть не бывало, ведь никто не сказал вслух, что Чиппо — это собака, которая хочет поменять хозяина, влево косит косою, вправо — срезает серпом. Почему? Или обе стороны не воспринимают его, не считают человеком? Впервые в жизни ему в голову пришло спросить себя: «Кто я?» Кто я, что не смог сделать зла ни той, ни другой стороне, что никто даже разозлиться на меня не может? Кто я? Шавка? Веник переусердствовавший? Или несчастная тварь, не имеющая для опоры ни камня, ни деревца? Чиппо встал и подошел к стене у двери — там вправленный в каменную кладку покоился осколок зеркала. «Чем я хуже? — нагнувшись к нему, проговорил Чиппо, — такие же, как у других, пара глаз и пара бровей, как у других». Сказать честно, своим обескровленным, сморщенным, без всякой растительности, лицом он всегда был недоволен, и глаза его как-то не светились спокойствием и рассудительностью; испуганные, бегающие, они вращались в соленой влаге, словно не зная на чем остановиться. Правильно, так и должно быть: у людей, умеющих правильно подпереть спиной жизнь, глаза должны быть такими — испуганными и бегающими. Кому от этого было плохо? Вон, меня аж председателем сделали, так почему они ведут себя так, словно за человека меня не считают, ведь не из-под заборного камня я появился? Чиппо еще долго не мог оторвать взора от осколка, рассматривая свое лицо; был не мало огорчен, заметив, что брови у него поредели и дужки век были красные.

Прервал его какой-то пустяк: на спине неожиданно зачесалась экзема, и он поспешно направился к камню, который, словно рог, одиноко торчал из стены, и остервенело начал чесать спину. Вспомнил своего небольшого роста отца, в коротеньком из невыделанной кожи тулупчике, с грушевидным носом, с торчащими в разные стороны ноздрями... Ни разу не видел он отца прилично одетым и обутым. Первое, что делал отец, когда просыпался, — это чесал об этот самый камень свою спину, — чесал до тех пор, пока лицо не покраснеет. Позже, когда и у маленького Чиппо на спине появились гниды, он поставил у похожего на рог камня стульчик, чтобы сын мог дотягиваться и чесаться. Теперь он был полновластным владельцем рогообразного камня, и никто не мог оспорить его прав на этот камень. Долго отчего-то задержался сейчас согбенный Чиппо у этого острого камня. О чем он думал теперь, забывшись, — об

этом камне, доставшемся ему в наследство, или о самом отце, научившем его так удобно чесаться, — сказать трудно, да и вообще мыслей в лысой голове Чиппо обычно было немного, и никто бы не поверил, что они у него могли пребывать в движении, не давая друг дружке проходу. Но одна неугасимая мысль или, скорее, искорка все же мучила его сейчас, занозя мозг, словно ишачья колючка: кем был его отец, почему его так презирали, считали оборванцем и мерзавцем, не признавшим ни одной из двух вер? Почему Чиппо унаследовал это презрение? За что? Пытаясь избавиться от этого презрения, Чиппо мыкался, кидался из одной крайности в другую, когда мог, причинял боль близким, бывало, пытался ладить с ними и по-хорошему — не вышло. Остался в отчуждении. Так где же находится эта проклятая дорога, ведущая к чести, достоинству и уважению, о которой они без конца болтают? Между какими камнями, берегом какой реки она простирается? Или отец его Касай навсегда перекрыл ему эту дорогу? Вместе с отрезанным пупком только что появившегося на свет Чиппо был отрезан и путь к честной достойной жизни? Крайняя тоска и горе подступили к самому горлу, голые веки Чиппо повлажнели, и он так и стоял, согнутый, схватившись слабой рукой за торчащий из голой каменной кладки рог. А если теперь уедут и «эти», кто за него здесь заступится? Больше всего Чиппо надеялся на Маркова, единственного, кто поначалу обращался с ним, как с человеком. Но и Марков теперь часто проходит мимо, словно не замечая его, особенно если встречается на виду у селян. Чиппо тянется к нему, ищет его участия и дружбы, чтобы Марков советовался с ним и это было заметно, чтобы люди видели: Марков считается с ним, но боль презрения и одиночество давили на него, как каменная глыба, все больше и тягостнее. Чиппо не был так глуп, чтобы не замечать этого. И теперь у него оставался один-единственный выход: стать необходимым Маркову, чего бы ему это ни стоило, и уехать отсюда вместе с ним. Чиппо одел свою солдатскую шинель с медными пуговицами — что ни говори, она делала его похожим на военного, — опоясался широким ремнем, — хотелось выглядеть как можно более мужественным, но торчащие из-под длинных полов шинели чабуры никак не способствовали этому, напялил солдатскую ушанку и выпрямился. Теперь пора действовать, и его думами всецело овладел Алакёз, с давних пор не дававший ему покоя. Даже в неуважительном к себе отношении сельчан он отчасти винил Алакёза. Сколько раз во сне

и наяву он стремился оседлать этого коня и прогарцевать на нем на виду у односельчан, так чтивших Алакёза. Тогда, глядишь, и они бы поласковее стали, оценили бы! Но эта трижды проклятая скотина... Сегодня он должен во что бы то ни стало решить: или он, или Алакёз. Такие вот намерения были у Чиппо. Сам он, может, ездить на нем и не будет, но отдаст Маркову, поменяется с ним на его коня, скажет: извини, мол, другого подарка не нашел, но вот возьми от лица председателя колхоза, весь аул преклоняется перед этим конем, пусть теперь преклоняются перед тобой. Так и скажет. Маркову понравится, не может быть, чтобы не понравилось. Такой подарок любому по душе придется. И пусть для односельчан он всего лишь сын Касая, — Марков возвысит его.

* * *

Увидев Чиппо, Марков сделал вид, что очень торопится. Даже поздороваться ему некогда. Ненавидел Марков этого колченогого плюгавого карлика, особенно когда он, и впрямь вообразив себя председателем, пытался вмешаться в разговор о делах хозяйства. В такие минуты хотелось прямо прикончить его, но Чиппо был нужен, пока Марков здесь, лучшего подставного лица ему не сыскать.

Почувствовав, что Чиппо мнетя, желая сказать что-то, подобострастно заглядывает в глаза, Марков заговорил первым.

— Я слышал, солдаты испытывают недостаток в еде. — Подполковник метнул на «председателя» суровый угрожающий взгляд. — Если это так на самом деле, не одобровать никому. Я покажу вам, как устраивать саботаж.

— Табариц Марков... — заторопился Чиппо.

— Я тебе не товариц, сукин кот.

— Охо, да какая разница... — Чиппо смешался и запнулся. — Жители аула отдадут последнее, хотя и сами живут впроголодь. Ежедневно они режут по три телки и больше двадцати овец. Оставшееся с ночи мясо солдаты есть не желают... Нам не жалко... Вот... если не верите, сейчас... — Чиппо вытащил из глубокого до самого колена кармана замусоленную сложенную вчетверо бумажку и протянул подполковнику.

По мере того, как Марков вчитывался в нее, лицо его багровело все больше. По подсчетам председателя, на питание солдат по сегодняшний день было отпущено тысяча двести голов мелкого и триста — крупнорогатого скота.

– Значит, скот, которым вы откармливали бандитов, ты приписываешь нам... – Марков разорвал бумажку и швырнул ее ошметки в лицо председателю. Затем он резко выхватил пистолет и с силой ткнул стволом в лицо Чиппо, запихал ему в рот дуло – у Чиппо тотчас же по губам и подбородку потекли окровавленные слюни.

– Я вам покажу, как советскому офицеру счет предъявлять! – заорал Марков. – Еще раз увижу у тебя в руках бумажку, сделаю так, что твои поганые кости будут валяться среди ваших поганых камней.

Чиппо, обтирая рукавом губы, забился в угол. Он теперь казался еще меньше. Его затянутые влажной завесой глаза сейчас не видели ничего, кроме тени офицера. Сколько он уже прожил на белом свете, покинув чрево матери, но от обиды, что природа не наделила его физической силой, он заплакал впервые. Заплакал горько, душа его горела. Когда бы были в нем мужество и гордость, он превратил бы харю Маркова в кровавое месиво. От этого всепоглощающего желания в нем вскипела кровь. Кем он был сейчас? Маленьким беспомощным и безропотным человеком маленького беспомощного народа. На кого надеяться ему, кому поведать свои горести? У себя на родине, среди своих, он никогда не пользовался уважением, его никогда не считали человеком, ни во что не ставили. Понадеялся на «совет бласт», был ее рабом и холопом, но люди отвернулись от него с омерзением, и эта же «бласт» обвинила его в том, что он перестарался и сорвала с него шапку, которую сама и нахлобучила ему на голову. Пришли «германы», и что же? Стали вытирать о него ноги. Что поделаешь, есть такая штука – жизнь: не смог он рисковать и погибнуть, как другие, – уж очень хотелось жить. Теперь он пресмыкался перед ним, Марковым, – этот унижал его гораздо хуже, чем «герман апицир», сделал из головы Чиппо подставку для своих сапог... Чиппо никогда подолгу не задумывался и до сих пор не замечал, что вокруг много народов и людей, жизни и судьбы которых не сложились, и он, плача, прижимался к углу с такой силой, словно хотел проломить его и вырваться наружу, на волю, освободиться... Не было на свете человека, который бы заступился за него, под кого только он не подлаживался, как только не унижался в стремлении угодить сильным мира сего, – ни один из них не прикрыл его несчастной головы шапкой. Да и что удивляться несчастью Чиппо, когда бедствие загнало в угол целый на-

род. Но что такое народ – ему легче, – ведь они делятся своим горем друг с другом.

Однако еще теплился в душе Чиппо один замысел – Алакёз. Если он сможет с помощью Аллаха укротить жеребца и преподнести его в дар Маркову, кто знает, может, Марков смягчится сердцем, посмотрит на него другими глазами, поможет, а может, и с собою возьмет – на что ему надеяться, оставаясь здесь? И потом, есть ли хоть один человек, которого не скинул с себя Алакёз! Разве не стал калеккой бедняга Касай, отец Чиппо, свалившись с Узунбеля, породившего Алакёза? Быть может, эта же участь постигнет и подполковника, Алакёз может так счастливо отомстить за обиду Чиппо! От этих мыслей Чиппо съежился еще больше, словно подполковник мог бы их подслушать.

– У меня к тебе хорошее дело есть, товарищ офицер, – сказал Чиппо.

Марков удивленно посмотрел на него: что хорошего может предложить эта бесформенная тварь?

– Говори, – сказал он, не желая ждать, но и не уходя пока.

– Никто, кроме тебя, недостойн ездить на коне, которого называют Алакёзом. Я хочу, чтобы этот конь достался тебе, с этим желанием я его пока припрятал, держу в стороне, – продолжал Чиппо, обрадовавшись, что удалось привлечь внимание Маркова.

Подполковник закурил и искоса глянул в сторону Чиппо: интересно, с какой целью на сей раз врет этот мерзавец? Алакёза никто ни от кого не прятал – Марков знал это, – лошадь сама паслась на виду у всего аула, держась на определенном расстоянии, словно дразня людей, никого не подпускала к себе ближе ей самую установленной дистанции. Действительно, это была очень красивая стройная лошадь. Особенно на высоте, если смотришь на нее с низины. В час, когда солнце уходило на запад, разливающаяся буркой грива Алакёза лакала красную воду заката, гладкие бока пылали огнем и озаряли, казалось, всю округу. Конь это или какое-то другое чудесное существо, удивлялся Марков, глядя на Алакёза и ревнуя его к жителям аула. Смущенный зрелищем прекрасного огненного коня, он порою чувствовал почти мистический страх: конь этот казался немым свидетелем и проклятием всему происходящему здесь по воле Маркова; пробовал он и подстрелить Алакёза, но давно привыкший к свисту пуль Алакёз лишь отбегал на безопасное

расстояние и демонстративно продолжал пастись, то отдаляясь, то приближаясь снова.

Даже от Чиппо не смог скрыть своего волнения подполковник Марков сейчас, как скоро речь зашла об Алакёзе.

— Почему до сих пор на нем никто не ездит? — спросил он и поглядел в окно, надеясь увидеть жеребца на его обычном месте.

Чиппо смутился, у него язык не поворачивался сообщить, что на этом коне может ездить верхом только один человек — Крым. Ребенок.

— Я сам не раз пытался, — сказал он наконец, — но односельчане не хотят этого.

— А почему они позволяют жеребцу эту вольность, он что, с неба свалился или пришелец из другого мира? — спросил Марков усмехнувшись, хотя ни веселиться, ни шутить у него желания не было. Он чувствовал некую неведомую для себя силу, скрытую в образе и поведении этого коня. Что это за сила, почему местные жители считаются с нею? Или не считаются, может, я просто обманываюсь, переутомился? Мало ли лошадей повсюду — кляч, иноходцев. С чего это он стал так много думать о нем? Непонятно. Не нравится, и все тут. Но почему, почему он просто не любитесь столь красивым животным!

— А правда, что за жеребцом, не отходя ни на шаг, бродит волчица? Что говорят сельчане по этому поводу? — спросил он.

— Чистая правда, — ответил Чиппо, обрадованный возможностью сообщить подполковнику об этом чудесном обстоятельстве.

— И давно она бродит за жеребцом?

— Давно. С тех пор, как лишилась своей волчьей семьи. А теперь, похоже, они даже сдружились.

— Как может сдружиться волчица с жеребцом, истребившим ее семью? — удивился Марков, и в голове его сверкнула мысль: побежденный ничем не может навредить победителю, сильному и безжалостному. Победенному остается лишь пресмыкаться и выслуживаться перед победителем. Быть ему рабом, и навеки. Так же должны пресмыкаться и служить Маркову все оставшиеся здесь в живых. А как же иначе!

— Я в этом мало разбираюсь, — волчица была главой семьи и пришла, чтобы напасть на табун. Но события обернулись так, что она потеряла свою семью; теперь ходит пресмыкается перед жеребцом-убийцей, — сказал ничего не

подозревающий Чиппо. Откуда было знать ему, что этот рассказ может огорчить Маркова.

Марков нервничал, что-то не сходилось: по диалектическим законам природы все должно было получиться наоборот.

– Так почему же все-таки волчица не может победить этого жеребца, а?

– Я человек темный, ничего не могу сказать, – отвечал Чиппо, понутив голову.

Марков внимательно смотрел на Чиппо, ждал, скажет ли тот что еще. Но Чиппо молчал.

– Почему ваши говорят, что Алакёзу не то двести, не то триста лет, что это значит? – снова спросил подполковник.

– Пустое говорят, – сказал Чиппо, махнув рукой, – люди склонны нести всякую чушь, кто их слушает. Не надо обращать внимания.

– Похоже, ты просто хочешь успокоить меня?

– Да ладно. Жеребец он и есть жеребец, чего там...

Марков больше не слушал Чиппо. Действительно, лошадь есть лошадь – хорошая, плохая ли, пускай говорят, какое дело ему до обыкновенного животного? Но, признаться, мысли об этом животном становились уж слишком навязчивы. Или он сошел с ума: стал верить слухам, бытующим в этих местах? И почему эти люди говорят о каких-то столетних родовых корнях этого коня, когда сами родились не далее как вчера, благодаря революции? Марков глянул на Чиппо, как на новорожденного. «Как они смеют почтительно говорить о прошлом, позабыв о своей матери – советской власти, – с возмущением подумал Марков, пройдясь по комнате, – да еще и речь о животном – пятьсот, тысяча лет! Да у них, я смотрю, опасные амбиции, – не ожидал, не ожидал, не собираются они признаваться, что это именно советская власть раскачивала колыбель, в которой они покоились несмышлеными. Бесхвостые ящерицы. Даже не бесхвостые, у них еще не появилось даже маленьких ростков этого хвоста, который можно было бы обрубить теперь. Они не могут понять, что они только начали вылупляться, лишь носы их показались из треснувших яиц. Не то чтобы не могут – не хотят. А это не так уж просто. С этим надо бороться, это надо вырезать, вырвать с корнем». Но как? Все, что от него зависело, он сделал, и что толку? Сознание не висит, словно женская коса; было бы так, Марков живо подрезал бы ее. Знать бы где, в каком месте у человека прячется сознание – оно заключено не только в

сердце или мозгу, — но где же тогда? В семи изгибах шумного Черека? В Алакёзе? Этого не узнаешь, — размышлял Марков, присев на табуретку.

— Ну что ж, пусть будет по-твоему, от хорошего коня никто не откажется, — сказал наконец Марков, положив руку на плечо Чиппо. — Собирай людей порасторопнее. Я тоже пойду с вами.

* * *

Алакёз не обратил внимания на трех всадников, приближающихся со стороны аула. Стоит себе, подставив солнцу спину, греется. Алакёз в последнее время заметно похудел, вид у него теперь был несколько унылый, шерсть взъерошена, на боку косая белая полоса — след от удара кнутом. Такая же точно полоса тянется от загривка и теряется где-то под животом. Неподалеку за камнем притаилась волчица, наблюдает за ним; время не пощадило и ее: она исхудала, шерсть у нее тоже взъерошена, глаза ее, всегда безошибочно выбирающие жертву, потускнели и слезились даже от слабого ветерка. Нижняя губа, похоже, была порвана, отвисла и слегка подрагивала.

Волчица не спускала с Алакёза напряженных глаз, но на бросок не решалась. В ее глазах не было слепой жажды мести или предвкушения кровавого пира, — утратила она остроту сильных инстинктов, как утратила когда-то в чистом поле своих волчат; с тех пор уже успели позеленеть и пожелтеть травы, но предсмертный вой ее чад не покидал ее слуха ни днем ни ночью, носился над покрытыми типчаком склонами. В какой-то миг, не в силах терпеть этот вой, она напряглась, подтянула живот, но мышцы ее одрябли, какая-то неведомая сила давила ее, прижимала к земле, словно огромный камень, что-то неведомое, сильнее ее, мешало решительному броску. Нет, утратила она жажду мести, и мягкая шея коня со спокойной медленной кровью не кружит ей больше голову. И вой, вой, невыносимый вой звенел в голове, как проклятье, отовсюду слышался он — из-под земли, от камней, повисал на ветках ближних деревьев. Откуда он, зачем? Быть может, она ошибается? Быть может, это вовсе не вой ее умирающего волчонка, а предсмертные вопли человеческих «волчат», который она со страхом слышала на протяжении дня и ночи? Этот вой так же, как и сейчас раздавался тогда отовсюду, она с ужасом носилась, перебегая от одного человека к другому и не могла

понять, что происходит, ничего не могла сделать; умирающие человеческие «волчата» выли точно так же, как ее собственные, теперь она не могла различить их – вот почему эта кошмарная песня забилась под камни и впиталась в траву и землю, по которой ходит волчица, вот почему она не оставляет волчицу...

В эту минуту в воздухе пронесся запах железа. Волчица живо посмотрела на Алакёза – тот мирно стоял, опустив голову. Волчица отпрянула в сторону и, словно предупреждая о надвигающейся беде, протяжно завывала в небо.

Всадников этих Алакёз заметил давно, но, полагая, что они проедут мимо, особого беспокойства не проявлял. Насторожили его запахи: одним из них был Чиппо – его запах он помнил, – но остальные были ему незнакомы. Лошади под двуногими незнакомцами были очень худы и немощны, слабы на подъем, а под Чиппо хромал известный в табуне обжора и беспутный в прошлом жеребец, с завидным упрямством пытавшийся увести табун... Остроту зубов Алакёза, должно быть, тот тоже помнил неплохо.

Когда всадники подъехали близко, он поднял голову, прижал свои маленькие острые ушки и замер. Поискал глазами среди приближавшихся мальчика. Крыма он давно уже не видел, как не видел и женщину, часто кормившую его овсом. Они что, забыли Алакёза? Или, может, сгорели в огне, выходящем из железных труб? Жеребец, тяжело вздохнув, почему-то обиделся на мальчика. Однако, не теряя надежды, еще раз внимательно осмотрел всадников. Крыма не было. Не было мальчика. Алакёз почувствовал, как ослабел, как мутная лень и безразличие овладели им, но эти трое шли к нему, и поняв это, надумал бежать. По седловине, шедшей поперек горы, он пробежал немного и остановился, озираясь. Не было ни прежней резвости, ни сил. Казалось, земля, которая его воодушевляла, кормила и согревала, вдруг отказалась от него и отняла силы. Он будто завис в воздухе, тщетно пытаясь коснуться копытами травы и камней. Всадники подъехали к нему и остановились. Алакёз не двинулся с места, стоял, смотрел на них, можно было подумать, что он силится понять, о чем говорят эти неприятно пахнущие железом люди.

– Да, он же весь какой-то облезлый или, может, больной? – произнес Марков упавшим, утратившим все радужные надежды, голосом. Даже разозлился: вместо золотокрылого скакуна ему предлагали уставшую жить клячу. Как на такой лошади, со шрамами от пуль на боку и крупе,

он появится перед людьми? Брехня все это, не сберегли бандиты государственное добро.— Подполковник, подойдя близко к Алакёзу, стеганул его кнутом по крупу. Он посчитал себя обманутым и хотел на ком-нибудь сорвать злость. Алакёз, встрепенувшись, слегка присел и, повернув голову, посмотрел на Маркова. Лишь теперь, заметив блестящие золотые погоны, удивился. Такой же человек, помнится, подходил к нему, подолгу стоял рядом, осторожно пытаясь погладить круп, потеревить за холку. Жеребец знал ласковое и просительное к себе обращение, но чтобы подойти и сразу — кнутом,— такого он не помнил. Если даже и было, не помнил. Пока жеребец в растерянности не знал, как поступить, Чиппо, подойдя, взял его за гриву: «Алакёз, бедный Алакёз», — произнес он ласково. Алакёз не шелохнулся. Поведение жеребца обеспокоило Чиппо: неизвестно, что он задумал на этот раз, но таким оторопевшим и смирным его никто никогда не видел. Если лошадь норовиста, брыкается и рвется ускакать, это понятно, но если человеку удастся усмирить животное — оно твое, седлай и прыгай ему на спину. Чиппо был не из тех, кто не разбирается в лошадях, тем более коль скоро речь шла об Алакёзе. Он не стал его седлать, накинул на жеребца уздечку и протянул ее конец Маркову. Подполковник же, видя недоумение Чиппо, почувствовал, как в груди расплывается едва осязаемый пока холодок опасности; уздечку брать он не стал.

— Да он же дохлый какой-то, что ты мне его суешь,— проговорил Марков.

— Нет, хороший, он как шайтан,— сказал Чиппо.

— Нашли мне тут трехсотлетнего Шайтана... Вначале сам покрасуйся на нем, сочинитель лошадиных фамилий.

Чиппо, не желая выдавать свое неумение молодецки вскочить на коня, искал глазами возвышение, и найдя его, попытался подтянуть туда лошадь. Лошадь не противилась, но, ощутив тяжесть Чиппо на спине, прижала уши, и, покружив, застыла на месте. Большие черные глаза ее забегали, шерсть, взлохмаченная и свалывшаяся, придававшая ей неряшливый вид, разгладилась, голова, вдруг ставшая какой-то маленькой и востренькой, поднялась, как у изготовившейся к атаке змеи. Касай увидел, что Алакёз, как взрывчатка, готов взорваться. Он понимал, если это произойдет, Чиппо не поздоровится. Даже хотел крикнуть «Слезай!», но воздержался.

— Ну, что он у тебя застрял, словно вкопанный! — с эти-

ми словами Марков, подойдя поближе, огрел Алакёза рукоятью кнута промеж ушей. Жеребец, сорвавшись с места, устремился поперек склона — то ли ускакал, то ли, словно испугнутый орел, полетел. Марков был потрясен. Он не мог разглядеть, касаются ли вообще копыта лошади земли. Он видел лишь хвост жеребца, развевающийся на ветру, и съжившегося, маленького, с белесой головой, Чиппо.

Алакёз вернулся так же быстро, как и исчез. Подъехав, демонстративно — «Хватит с меня!», — он резко остановился и, вскинув крупом, сбросил седока. Чиппо, скользнув по шее Алакёза, упал и быстро покатился вниз по склону. После этого жеребец порысачил еще немного вокруг и, взяв направление на обратную сторону горы, устремился туда галопом. Марков не раз видел необъезженных жеребцов, их дикий нор. Но, глядя на Алакёза, он никак не мог поверить собственным глазам. Так и смотрел. То ли жеребец несется по склону, то ли вся гора пришла в движение вместе с деревьями и камнями. Казалось, все предметы вокруг вдруг обрели крылья и устремились вслед за жеребцом. У Маркова закружилось, задвигалось все перед глазами, стала уходить из-под ног земля, лицо покрылось испариной, тело онемело. Он уже готов был вывалиться из седла, но подъехавший быстро Касай поддержал его.

— Что с вами, товарищ подполковник?

— Ничего, ничего... проклятье, — прошептал Марков, — он, хитрец, упал, наверняка туда, куда должен был упасть я.

Оба посмотрели вниз по склону и поискали глазами Чиппо, как будто тот готовил им засаду, и сам в нее угодил. Чиппо лежал возле большого камня без признаков жизни.

Вдруг послышался гул, задрожала земля. Оба всадника насторожились. Взгляды их были направлены в сторону поросшего густой альпийской травой склона, была видна линия, где он сливался с небом. В этом месте, в низких облаках, скрылся Алакёз. Теперь он снова появился и несся обратно. Он несся, как несется разъяренный воин навстречу рукопашной схватке. Увидев развевающуюся на ветру гриву, широкую грудь, вздутые ноздри бешеного коня, Марков попятился. Земля дрожала, словно бежал целый табун. Подполковнику показалось, что этот гул надвигается откуда-то из глубины, из недр земли, точно белоснежные горы начали рушиться, и камни сплошным потоком движутся на него. «Что за чертовщина», — подумал подполковник, протягивая руку к кобуре. В самом деле, может,

Алакёз действительно ведет за собой табун — табун, вызванный из глубины веков. Не веря своему суеверному страху, Марков посмотрел вдаль, как если бы смог увидеть этот самый табун, выплывающий из немыслимого адского тумана.

Марков прицелился в голову жеребца и выстрелил три раза. Звук выстрелов, как ему показалось, поглотил гул земли. Он прицелился еще раз, но Алакёз достиг расщелины на склоне, и там, развернувшись, устремился вниз по склону; его больше не было, он исчез. Лишь запоздавший рокот рассеченного ветра отозвался свистом в ушах Маркова.

* * *

Оба всадника, спускаясь вниз, остановились около Чиппо. С первого взгляда было ясно, что, скатываясь, он налетел на камень. Кровь, сочившаяся на затылке, обильно окрасила рубаху. Голова неестественно прижата к плечу. У несчастного не было сил поднять глаза и посмотреть на подошедших. В глазах у него рябил редкий кустик барбариса и сгущалась мгла.

— Он жив, надо помочь.

— Без нас найдутся. Пусть лежит, он же хотел, чтобы вместо него вот так лежал я, — произнес Марков равнодушно. — Поехали.

Осознав, что всадники уехали, Чиппо долго не мог сосредоточиться и четко рассмотреть кустик барбариса. Затем послышался неторопливый цокот копыт. Он ощутил голову Алакёза, склонившуюся над ним и обнюхивающую его. Чиппо не чувствовал злости к нему. Он пытался отвести взгляд от барбариса и посмотреть на него, он хотел посмотреть на горизонт, еще куда-нибудь, но ему не удавалось, силы оставили его. «Не стали они помогать мне, — подумал он с горечью. — Если бы кто и помог, так односельчане». Но и с ними он прожил не так, не вызвал бы он в них сострадания. Даже сейчас. Видимо, каждый умирает той смертью, которую заслужил. Ее заслуживают при жизни. Не было у Чиппо на свете ни одной живой души, человека, который мог бы оплакать его. Он понял, что жизнь покидает его. Воспоминания о прошедшем нахлынули беспорядочной чередой. Он спешил вспомнить многие, давно забытые события, как будто хотел зацепиться за что-то, как будто это что-то могло вернуть его к жизни. О чем или о ком были эти мысли — никто уже не узнает. Может, он думал о том, что напрасно не старался быть полезным людям, среди ко-

торых родился, воспитывался и жил. Видно, несправедливо, бесполезно прожил он в этом мире: с чего бы односельчане отвернулись от него, бросили? Корова никогда не задавит своего теленка. А может, умирающий Чиппо мучительно жаждал увидеть кого-нибудь из односельчан? Чтобы поплакать вместе, чтобы тот увидел, понял, как ему больно, что недолгий век его прошел в одиночестве, без друзей и близких. Чиппо был слаб, прожил, словно воробей с перебитым крылом, хромой и гонимый...

Чиппо со стоном попытался выпрямить вывернутую ногу. Не вышло. Поэтому или нет, Алакёз подошел к Чиппо ближе. Так близко, что Чиппо ощутил его горячее дыхание. Мягкие, теплые губы касались лица, как бы лаская его. Алакёз стоял, пока не почувствовал, что кожа на лице Чиппо стянулась, а лоб остыл, и отошел от мертвеца. Один глаз Чиппо был полузакрит, а другой, помутневший и остекленевший, смотрел на него, как будто прицеливался. Что стремился увидеть этот глаз? Какую мерзость он еще хотел увидеть в этом мире? Пропади все пропадом, все, что не давало ему покоя в этом мире, в мире, в котором любой считал его ниже себя и этим убил все лучшее, что было в его сердце...

* * *

Мягкий, пушистый весенний снежок шел долго. Он аккуратно накрыл белой скатертью дворы и крыши. Белоснежными подушечками лег на валуны и заборы. Халимат, намотав платок на голову, долго осматривалась во дворе. Белизна снега слепила глаза, ни вблизи, ни вдали не видать ни одного черного клочка земли — белым-бело. Красиво было все и чисто. Белое безмолвие охватило всю округу. На улочках никого. Не видно, чтобы сосед зашел к соседу. Хотелось бы поговорить с кем-нибудь, облегчить тревогу в сердце. Никого не видно. Заходить к кому-нибудь она не хочет, стесняется. Уже наскучила всем своими тревогами. Нет дома в округе, где бы она не спросила о Крыме. В это тяжелое время каждому своих забот хватает. Ей давно сказали, что Крыма забрал с собой русский солдат. Что за солдат, какой солдат и где он живет? Кто ей даст ответ на эти вопросы? «Где бы он ни был — жив, — и одному этому ты должна быть рада», — успокаивали ее. Когда вокруг сгнуло столько детей, такие слова должны были радовать Халимат, и она была благодарна соседям. Девять месяцев рана не давала ей подняться с постели. Истощенная болезнью

она не могла выйти далеко за пределы своего двора. Давно уже не топила печь. И теперь она все еще слаба: ее донимает кашель, и эти ноги, если бы они были послушны, она бы дошла до края земли в поисках Крыма.

— Что за человек был этот солдат, зачем ему понадобилось уводить мальчика? — донимала Халимат родственницу.

— Поверь, очень благородный и воспитанный был этот русский. Если бы не он, и ты бы не выжила.

— Ах, как жаль, знать бы, где он.

В ауле много опустевших домов. Халимат могла бы выбрать любой из них. Отцовский дом тоже не был поврежден. Однако Халимат продолжала ютиться в сарае. Кто знает, вдруг Крым вернется. Надеялась, если вернется, то обязательно к тому месту, к которому привык. Поэтому она и не решалась покинуть сарай. Подолгу Халимат выстаивала и во дворе казенного дома. Но подполковник не возвращался. Сельчане говорили, что только он может знать фамилию и место жительства солдата. Советчиков и сочувствующих много, а толку нет. Аллах разве что поможет.

Сейчас, еле передвигая ноги по мягкому снегу, она зашла к Айшат. Айшат, как оказалось, выглядела еще несчастней, чем Халимат.

Переступив порог и ничего не видя в темноте, кроме груды костей и камней у входа, она остановилась, прислушиваясь.

— Есть тут кто? — подала она голос. — Где ты?

Раздался кашель. В углу, около очага, она наконец различила силуэт Айшат. Та, завернувшись в старое тряпье, лежала, засунув руки в остывшую золу.

— Бедная, что это ты делаешь, — заплакала Халимат.

— Не видишь, грею руки. — Айшат даже не взглянула на гостью.

— Да чтоб так грелись те, кто нам зла желает! — Халимат вышла во двор и начала разбирать плетень, наломала сколько могла хворосту и зашла обратно. Поискала и нашла спички. Отсыревший хворост долго не хотел разгораться. Когда пламя набрало силу, она принесла, выковыряв из-под снега, березовые дрова. Постепенно огонь начал высвечивать темные углы комнаты. Теперь можно было разглядеть и Айшат. «Бедная моя сестра, обманутая шайтаном, — подумала Халимат. — Глаза впавшие, лицо серое. Видать, долго не протянет». Халимат вновь всплакнула. Потом встала и повесила котелок на цепь очага. Картошки,

чтобы приготовить что-нибудь быстро, не нашлось. Нашелся кусочек сушеного мяса и одна пригоршня фасоли.

— Ты кто такая и что ты хочешь? — отчужденно проговорила Айшат, оживая в тепле.

— Что, не узнаешь, да простит тебя Аллах?

— По-моему, ты Хабла, — в свете огня было видно, как зло блеснули глаза Айшат. Она изучающе смотрела на Халимат. В этом взгляде не было ничего, кроме холодного безумия.

— Неужели ты все позабыла, бедная моя. Это не очень хорошо.

— И о чем бы ты хотела не дать мне позабыть? Я родилась сегодня! Я вышла из этого огня, разве ты не видела? И вернусь я в этот огонь.

«Твое счастье, что с ума сошла, а иначе неизбежно гореть бы тебе в аду», — подумала Халимат.

— Я твоя сестра, не видишь?

— Сестра? Какая еще сестра? Теперь нет всяких там сестер, братьев. Ты Хабла, я узнала тебя. — С этими словами Айшат зарыдала в голос, закрыв лицо руками и покачиваясь.

— Из пяти сестер и трех братьев остались только мы двое. Все в руках Аллаха, — сказала Халимат.

— Ты Хабла, — сказала Айшат, вытирая глаза.

— Ну да, конечно, всегда, когда тебе было надо, ты делала из меня Хаблу. Оставь. То, что я Халимат, ты знаешь лучше нашего отца.

— Ты хочешь убедить меня в этом? — сказала Айшат с сарказмом. — Если не веришь, поди-ка сюда. — Айшат, волоча полы длинного, старого платья по грязному полу, засемила во двор.

— Посмотри-ка туда, — женщина направила свой тонкий указательный палец на косогор в конце огорода за домом. — Вон там стояло дерево. Ты его там видишь теперь? Ты была этим деревом. Вечно ты пялилась на мой двор, потому я его и срубила. Нет тебя. Ты не существуешь.

— Да ладно тебе мучиться, подумаешь, дерево срубила, корни-то целы, даст Бог, прорастет, — сказала Халимат, зайдя в дом и устраиваясь на табуретке перед очагом.

— Ты пришла забрать свои золотые украшения. Нет их у меня, ограбили меня наши братья.

Халимат промолчала. Подумала, может и правда, кто теперь остался неграбленным.

— Я уже перестала думать о доверенных тебе золотых

украшениях, не переживай. Если бы доверие ценилось, разве мы дожили бы до такой жизни. Мы все, братья и сестры, были поручены друг другу, — проговорила Халимат с грустью. Она не раз видела свое золото — кольца, сережки, пояса — у женщин, считавшихся родственницами. Ни одна из них не сказала: «На, возьми, это твое». Но не это ее огорчало. Недавно у одного из двоюродных она случайно увидела золотые часы Коркмаза. Старинные часы. Большие, как круглая деревянная чаша. Это было единственное из того, что оставалось, что было дорого ей, и что она хотела оставить Крыму. Если отцовские часы не достанутся сыну, если ими будет любоваться кто-то другой, разве это справедливо? Плохая это примета.

Думая обо всем этом, женщина вновь вспомнила мужа и сына, к глазам подкатили слезы, она начала всхлипывать и не могла остановиться, как будто только сегодня их потеряла. А ведь этому родственнику она тогда сказала: «Отдай часы, что хочешь возьми, а часы верни Крыму!»

«Кто же сказал тебе, что я чем-то хуже твоего мужа?», — ответил он просто.

Хоть и спятила Айшат, слова ее не так глупы. Не осталось у людей веры в сердце. Братья, сестры — это пустой звук. Что же происходит с людьми? Неужто конец света? Но раз так, разве не должны люди, напротив, стать добрее, внимательнее друг к другу? Неужто шайтан вселился в их души, и вещи стали для них дороже веры?

— Ты пришла, чтобы под любым предлогом забрать свое золото, — сказала Айшат, как бы вздрогнув от чего-то, и испуганно прижавшись к стене. — Даже эта Хабла пытается издеваться надо мной! — запричитала она и начала истерично бить себя по коленям.

— Не так уж ты и спятила, чтобы не узнать меня, и причитания твои — сплошное притворство, — ответила Халимат. Сельчане знали уже (или перестали скрывать), что Халимат не Хабла, и что она вовсе не сумасшедшая. Не хотели признавать лишь родственники. Те, кому удалось урвать что-нибудь из ее добра.

— Никакой радости тебе не будет от того, узнаю я тебя или нет. Твое золото забрало государство. Догони его и отними. Хотя можешь и не стараться. Оно же будет растить твоего сына, — сказала Айшат, не отрывая светящихся глаз от пламени. Слова ее на этот раз были как будто осмысленны и грустны, как у совершенно нормального человека.

Халимат захотелось обрадоваться, последние слова Айшат, казалось, дали какой-то лучик надежды, это ее оживило. Может, золото в руках этого солдата, который забрал Крыма? Эх, если бы это было так! Тогда, если сердце у солдата не каменное, мальчик с голоду не помрет.

— Выходит, золото взял этот русский солдат? — спросила Халимат заискивающе, как бы боясь спугнуть едва затеплевшуюся надежду.

— О каком это русском ты говоришь?

— Который Крыма с собой забрал.

— Никакого русского не знаю. Говорю же тебе, государство забрало.

— Ты, бедолага, кого называешь государством?

— Посмотри на эту дуру! Говорят тебе, что ты Хабла — обижаешься. Лишь она живет, не ведая и не понимая, что такое государство. Счастливая.

— Государство — это человек? — снова спросила Халимат, не веря, что полоумная сестра под государством имеет в виду государство.

Айшат, как бы стыдя, долго смотрела на нее, удивленная. Как можно не понимать такие простые вещи?

— Государство — не человек, — отрезала она наконец.

— А что же это?

Айшат раскинула руки, как будто собиралась обхватить что-то большое, и помолчала, словно не знала, что сказать.

— Оно велико, как Аллах, — сказала она наконец.

— Замолчи, не гневи Аллаха, и так мы у края пропасти! — воскликнула Халимат. Айшат засмеялась, обнажив безобразно желтые зубы, казавшиеся огромными из-за больных, стертых десен. В этот миг она действительно была сумасшедшей.

— Не Аллах довел нас до этого, вот это государство, о котором я говорю, и погубило нас, — сказала Айшат, перестав смеяться. — Аллах один и живет на седьмом небе. А государство и день и ночь у нас в доме. Как домовый. Что бы ты ни делал — все видит, все знает.

— Бедная ты моя, шайтан овладел твоей душой, — сказала Халимат, чувствуя, как ком горечи вновь подкатывает к горлу.

— Нет, нет! Какой шайтан? Прочел молитву — и он, несчастный, исчез. А государство — оно везде — на кровати, под кроватью, может тяжелой глыбой навалиться на грудь и лишит тебя дыхания.

— Но как же тебе удалось сохранить жизнь, несчастная

моя сестра? — спросила Халимат. Глаза ее уже ничего не видели от подступивших слез. Сестра действительно спятила и не понимает своего несчастья, и как теперь дальше жить, то ли идти искать сына, то ли остаться ухаживать за сестрой?

— Оно оставляло меня в покое, когда я поступалась частичкой своей веры. Но требовало поступаться слишком часто, пока не отняло ее у меня всю, без остатка... Оно отняло веру и взамен оставило мне мою никчемную жизнь.

Обе женщины сидели молча. Халимат перебирала уголья, чтобы не показывать полные слез глаза. Айшат, удивив из чугунка недоваренный кусочек мяса, тщетно пыталась разжевать его.

— Значит, того русского, что увел Крыма, ты тоже не видела? Интересно, как он выглядит? — настороженно спросила Халимат.

— Крыма? — Айшат с трудом наконец проглотила недожеванный кусок, тупо уставилась на сестру. — Причем здесь Крым? Я же объяснила тебе какое оно есть. Что о нем спрашивать? Захочет — заменит собою весь мир, захочет — заставит дрожать все село, а захочет — превращается в огромную куклу. Когда становится куклой, оно ничего не хочет понимать, ничего! Ходит и орет лишь одно слово. А самое отвратительное — оно превращается в маленький, тесный чуланчик, засовывает тебя туда и там тебя держит. Ни сесть, ни лечь там невозможно. Я там пробыла три дня. А ты? Ты счастливая. В доме Хаблы государство не жило. А у меня? У меня не было ни одного спокойного дня...

Женщины вновь умолкли. Почему-то Халимат почувствовала дрожь в спине. Ей показалось, что кто-то смотрит на нее из-под кровати. «Удивительно, — думала она, — раньше боялись шайтанов и всяких там джиннов. А теперь эта сестра навеяла страху с этим «государством», только шепотом и говорит о нем».

— Замолчи, хватит болтать глупости, прекращай. Успокойся, — сказала Халимат, — я не собираюсь у тебя ничего брать. И обиды у меня к тебе тоже нет.

— Зачем мне молчать, твое золото унесло государство. Попробуй, забери его обратно.

— Можно подумать, у него сейчас других забот нет, как только копаться в твоём сундуке. Ты просто путаешь что-то, несчастная ты, — сказала Халимат, делая вид, что ничего

не понимает. Незачем и бессмысленно было разговаривать сейчас о государстве.

— Поверь, ковырялось оно у меня в сундуке, — заплакала Айшат, вдруг расстроившись, — будь оно проткнуто отравленной пикой. Оно даже в кровать нашу, словно мужчина, лезет. Оно, словно ветер, веет над нашим селом, обшаривает самые потаенные, скрытые уголки — нет никакой возможности на улицу выйти. Ты говоришь, зачем ему золото? Да не то что золото, оно пробило мне темечко и высосало мозг. Вот, посмотри, если не веришь! — Айшат положила голову на колени Халимат. — Вот, посмотри, не верит она...

Халимат мягко, едва заметно погладила ладонью ее голову. Волосы сестры поредели так, что их можно было пересчитать; мягкие, словно оперение птенца. Маленькая, с кулачок, голова растаяла, словно соль.

— Ну ничего, рана у тебя уже зажила. Поправь платок, хватит, не плачь, унывать не надо. Никому не миновать предначертанного Создателем нашим Аллахом — единым, великим и всемогущим, у всех печать его на лице.

— Аллах ничего не предначертал. Все предначертало государство. Мы видели, оно сильнее Аллаха; что оно не отняло у нас? Что оставило нам — сыновей, дочерей, веру?

— Что бы у кого бы ни отняло оно, тебе не надо было вмешиваться в дела его, растрепав платья свои, падая на колени. Уж очень старалась ты, таскалась за ним, — сказала Халимат тихо, словно самой себе.

Но Айшат услышала и, подняв голову, зло посмотрела на нее. В ее взгляде, казалось сейчас, не было проблеска разума. Халимат стало не по себе.

— Да, таскалась, не остановилась и перед тем, чтобы унизиться, пресмыкаться перед ним. Подумай, ведь я была вапшей старшей сестрою. Из-за вас я делала все это. Откуда же я знала, что государство не влюбит тех, кто чуть ли ни грудью своей выкармливают, выхаживает родных и единоплеменников. Оно сказало, что нет старших, кроме меня. Видишь, пробило мне голову и вылило мозг наружу. Верую мою, словно паук-кровосос, высосало, оставило меня ни с чем, никчемной. Государство коварно: оно хочет, чтобы все мы были, как стадо баранов.

Халимат была немало удивлена словам сестры. Сошла она с ума или нет, но никто бы не решил наверняка, что все сказанное ею — глупость. Кто знает, может, она еще сможет обрести рассудок: такое помутнение, бывает, случается с теми, кто раздавлен горем. Ее слова о государстве устраша-

ли. Что за джинн овладел ею, отчего она никак не может отстать от этого государства, что эта несчастная пытается объяснить ей?

Халимат раздумывала, но решительно не знала, что теперь делать с сестрою, чем помочь ей. Сидеть так тоже было нельзя — нужно было искать дитя, ходить, спрашивать — все легче; надежда ее еще не угасла.

— Пойдем со мною, что бы ни случилось, будем вместе держаться, — сказала она наконец.

— Куда ты зовешь меня, какой круг ада я еще не прошла? — разозлилась Айшат.

— В старый сарайчик, в котором я живу. Там тепло. Есть и дрова.

— Нам не дадут жить вместе.

— Кто? До нас уже давно никому нет дела.

— Государство не даст. Чтобы его не гневить, каждый должен жить одиноко, подобно дереву на пустыре.

* * *

Когда Халимат вышла на улицу, снег уже перестал, и небо прояснялось. Камни на заборах вспотели, и черный грунт дороги курился, словно ожившие дымоходы. Прозрачный пар поднимался ввысь, рассеивался. В этих местах всегда так: с утра может идти снег, но после обеда куры могут купаться в песке.

Халимат шла медленно, можно сказать, ощупью. Дойдя до здания правления, она вошла — благо, в этой конторе давно не сидел Марков. Как она ни старалась, ей не удалось довести до его ума то, что было нужно — кто-то донес ему, что она тронутая, и как только она появлялась, Марков, не слушая, выгонял ее. Теперь здесь ошивается гладенький энкавэдэшник. Появляется на несколько дней и исчезает снова. Халимат не знает, как его зовут, но в лицо помнит: именно он руководил отправкой в центр арестованных эфенди. Идти к нему со своей просьбой она не хотела, боялась, но делать было нечего — кто ей скажет, где Крым?

Когда она, переступив порог, оказалась в помещении, лоцный энкавэдэшник встал подчеркнуто вежливо и велел ей присаживаться. Женщина долго молчала, не зная с чего начать. Измученная горем, она не осмеливалась поднять голову и посмотреть в сторону этого гладколицего. К счастью, заговорил сам хозяин.

— Кого из твоих убили немцы? Отца, брата, родственников?

Назови их имена. Всех. Ничего не скрывай, — сказал он, взяв бумагу и выказывая готовность писать все, что она скажет. По тому, как в его пальцах ерзал карандаш, видно было, что он торопится.

Но Халимат словно язык проглотила. Она будто и не понимала, о чем он спросил. Что за разговоры о немцах? Или пока она болела эти самые немцы успели вернуться и снова уйти?

— Немцы убили двух-трех человек, — тихо сказала она. — Больше я ничего не знаю. Или они снова вернулись?

— Где ты находилась, когда они отступали, уничтожив здесь более тысячи человек? Или забыла? — Гладколицкий не скрывал своего удивления. Карандаш в его пальцах замер.

— Но ведь они не немцы были, парень хороший, они были красноармейцами. Среди них были и наши энкавэдэшники. Своими глазами видела. Сама от них скрывалась.

— Хочешь сказать, тебе неизвестно, что немцы могут переодеваться в форму красноармейцев? — гладколицкий уже плохо скрывал свое раздражение.

— А что мне должно быть ведомо? Почему русские войска, среди которых были и энкавэдэшники-балкарцы, вместо немцев убивали детей и женщин? Разве не они должны были защищать нас от врага?

Гладколицкий побагровел. Халимат видела, как рыжие ворсинки на его лице ошетинились. Он посмотрел на женщину злобно.

— Ошибаешься, сестра. Зря ты стараешься приписать грязные дела немцев красноармейцам. Ты повторяешь слухи, распространяемые нашими врагами. Советую больше об этом никому не говорить. Государство этого не потерпит. — Он зашагал по комнате туда и обратно, стараясь взять себя в руки.

Услышав угрозу, Халимат снова впала в уныние, и язык ее снова онемел. Она убрала руки с колен, не знала, куда деть их, и никак не могла выправить края своего платка. Она вспомнила слова своей тронутой умом сестры: «государство выдавливает дыхание из людей и сжигает детей, словно хворост».

— Что это такое — государство, парень? Объясни мне, — сказала она, несколько оправившись от смятения.

Гладколицкий улыбнулся и, смеясь, пристально, с укором, поглядел на женщину:

— Хочешь сказать, не знаешь, что такое государство? — Гладколиций положил обе руки на стол и задумался. «Как это объяснить неграмотной женщине? Напугать ее и тем самым заставить забыть о своей хитрости. Или дать желаемые ответы на ее вопросы?»

— Государство — это великая вещь. Нет на земле такой души, которую бы оно не могло достать рукой и увидеть глазами.

— Но разве у этого великого государства нет других дел, кроме того, как выслеживать и убивать людей и причинять боль живым?

— Не то говоришь, сестра. У меня нет ни времени, ни желания слушать твою вражескую агитацию. За стремление приписать изуверства немцев красноармейцам ты, конечно же, горько пожалеешь. Я человек государственный. — Гладколиций снова взял карандаш и стал нервно теревить в пальцах. — Лучше скажи, кого из твоих уничтожили немцы.

Халимат умолкла в страхе. И словно удивляясь тому, что наконец-то поняла, что такое государственный человек, посмотрела на гладколицевого украдкой.

На его лице проступили жестокость и равнодушие. Было как-то неловко и стыдно столько времени находиться перед этим человеком и не заметить этого. Теперь лицо этого парня не казалось ей гладким. «Точно он переболел желтухой», — подумала она. Так или не так, но на этом пергаментном лице глубоко и сильно отпечатались следы многих убийств. Он выглядел так, словно только вчера поднялся из могилы. Он смотрел на нее змеиными глазами, словно притягивая жертву, холодно и неподвижно. «Верно, — думала она, — этот человек никого не пожалеет». Стало быть, уверяла она себя, государственными людьми называют таких; в сердце у государственного человека не должно быть жалости, участия к чужим бедам. Или же у этих людей Аллах вырывает из сердца все человеческое?

Халимат еще долго мучилась сомнениями и скрытно поглядывала на гладколицевого энкавэдэшника, как на чудовище. Он был похож на отколовшегося от стаи голодного зверя, исхудавшего от долгого недоедания, и теперь, придя в изобильное место, точившего свои зубы, чтобы исполнить волю пославшего его в эти края вожака.

Халимат сильно испугалась. Нет, не за себя, за Крым. Нельзя быть арестованной, нельзя умереть, покуда не найдется Крым. Но ведь и после того, как она найдет его, она

должна его вырастить, поставить на ноги. Что делать, если так ей суждено? Эти люди, называемые государственными, не успокоятся, пока не истребят и не искалечат всех людей. Только вот как быть с детьми, с теми, кому еще расти? Если бы Крым выжил и достиг возраста, когда бы мог защитить себя. Чего бы ждала тогда Халимат, в тот же день добровольно легла бы в могилу. Только теперь она не может, теперь Крым один, как перст, а сколько государственных людей подстерегает его! Халимат попыталась смягчить энкавэдэшника.

— Не осудите вы нас, темных. Вы люди ученые, не придавайте нашим словам значение. Это так, от темноты... Кто уничтожил людей — немцы, красные, — кому теперь какое дело? Я беспокоюсь о другом. И к вам пришла в надежде... что вы мне поможете...

Гладколиций вдруг подобрел, в сердце его появился какой-то непонятный ему порыв, и он посмотрел на женщину почти ласково.

— Говори, я помогу, если смогу.

— У меня сыночек потерялся, звали его Крым.

Гладколиций задумался, то ли о чем-то вспоминая, то ли готовя ответ женщине. «Мало ли детей пропало в этом краю, — думал он. — Но никто еще не приходил просить, чтобы я им воскресил мертвого ребенка, чтобы я вытащил его из могилы».

— О каком ребенке идет речь? Когда он потерялся? — Гладколиций был разочарован пустым разговором.

— Ходили слухи, что его взял с собою русский боец... Когда здесь была резня... Никто не помнит его имени. Мог сказать их командир, но... — командиром она называла Маркова. — Да, он мог сказать, куда увезли мальчика, но где теперь Марков?

Гладколиций понял, что речь идет о живом ребенке, и несколько смягчился.

— Но почему до сих пор не искали ребенка?

— Я ведь болела, в постели лежала. Да и где бы я его искала?.. Если увезли его.

— А зачем теперь искать? — серьезно спросил энкавэдэшник. — Если его увез с собою красноармеец, это же очень хорошо! — «Сколько детей тут было убито, — подумал про себя. — Сотни!» К тому же легко ли было искать некоего Маркова и переписываться с ним. Где он найдет время для этого? А если он и предпримет какие-то поиски, что о нем

подумают? Кто его отец, кто мать? В такой ситуации любой неверный шаг может ввергнуть его в бездну.

— Тут хлопот не оберешься, сестра. Не переживай, найдется.

— Как вы так говорите! Ведь ты же... Разве ты не горец! — взмолилась она.

— Я тебе не горец, я человек государственный, — жестко сказал гладколицый.

— Я ведь многого не прошу. Скажи только, где тот командир? Или напиши сам, пусть он сообщит нам, где находится Крым.

— Тебе не нравится, что сыночка твоего увел с собой русский солдат? Ты что, стыдишься русских? — Теперь было очевидно, что гладколицый ищет повод выгнать женщину или еще хуже — арестовать ее.

— Я никого не стыжусь. Я боюсь, что сыночек мой потеряется.

— Значит, по-твоему, тот, кто попадает в руки русских, теряется, пропадает? Почему же он должен пропасть? Так, объясни мне! — Энкавэдэшник снова сделал грозный вид, и лицо его побагровело. Так он смотрел на женщину с минуты и решал ее участь. Халимат же, не зная, как теперь быть, стояла с опущенной головой. Она незаметно вытирала глаза краем платка.

— Ты чьей будешь? — догадался наконец спросить гладколицый. — Скажи, как твоя фамилия.

— Я из рода Коркмазовых....

— Как зовут?

— Халимат.

— Я спрашиваю настоящее имя?

— И настоящее и ненастоящее так. Халимат.

Гладколицый все понял. Он издал звук, похожий на стон или вздох, крепко сжал губы, широко, словно хищная птица, растопырил пальцы, и, сцепив их, хрустнул косточками. Затем скрестил руки на груди:

— Ищешь глупее себя?

— Как это?

— Ты ведь Хабла! Скажи, что не Хабла?

— Верно, и так меня называли. Наверное, по ошибке. Поверьте, я Халимат.

— В этом селении нет никого по имени Коркмазова Халимат. Есть Хабла. Женщина ненормальная. Но у нее не было детей.

— Совсем не так, поверьте. Я Халимат. И муж мой по-

гиб на фронте. Должно быть, тебе положено искать пропавшего ребенка солдата, погибшего на войне.— Халимат чувствовала себя теперь не так скованно.

— Ты теперь можешь болтать все, что угодно, но сразу же, как ты сюда вошла, я вспомнил, что ты Хабла. Иди, бедная, иди своей дорогой, здесь не место для твоих видений.

* * *

Халимат спускалась по большой дороге к мосту над рекой и там коротала свои долгие дни. Она зорко поглядывала на дорогу, а когда появлялась редкая подвода, глаз не отрывала от нее в надежде увидеть там какого-нибудь красноармейца. Говорили в селе, что того солдата, который увел Крыма, звали Сергеем. Рыжий такой. Если бы вдруг Халимат довелось его встретить, она бы его не узнала, но ведь он мог узнать ее,— он же приносил ей еду и всякие травы, когда она лежала раненая и лечилась здесь, в ауле. Как знать, Аллах велик, вдруг он окажется на подводе, идущей сюда из низины. Вот если бы на дороге показался грузовичок, такой, на каких ездили сюда раньше солдаты, там он мог бы оказаться наверняка. Но в это время в этих местах грузовики не появлялись. Устав стоять, она отходила от моста и присаживалась у обочины дороги; так и проводила она дни свои до наступления темноты. Пора было уходить, но она все еще надеялась, что появится еще подвода, а если повезет, и грузовик. Но теперь в ущелье властвовала темнота, даже пеших трудно было встретить. Дорога, черная и безмолвная, лежала перед нею равнодушно.

Однажды, после долгого ожидания, она увидела, что у развилки в сторону аула повернула машина, и обрадовалась так, словно увидела в ней Крыма. Она не могла устоять на месте и побежала навстречу. Она бежала по дороге навстречу пыльному грузовику, зовя его и размахивая высоко поднятыми руками.

Машина не проехала мимо, остановилась, обдав ее густой пылью. Водитель машины, молодой солдат, удивленно посмотрел на женщину через окошко. В кузове сидели солдаты с винтовками и, молча, так же глядели на нее. Между тем Халимат, убедившись, что машина на самом деле остановилась, стала бегать вокруг нее. Она пристально вглядывалась в лицо каждому солдату, искала того рыжего. И найдя такого среди них, вперила в него глазами, то ли узнав его, то ли спрашивая ответа.

Рыжий солдат тоже удивленно смотрел на женщину, кажется, измученную долгой дорогой или, может быть, долгой болезнью, но пока ничего не говорил. Только потом смущенно спросил:

— Что, мамаша, надо?

— Сергей надо, — сказала Халимат, чувствуя, как в сердце светлеет надежда.

— Какой Сергей? Сергеев много, как фамилия?

Халимат растерялась, не зная, что говорить.

— Ты Сергей, пожалуйста, — сказала Халимат, еле сдерживая слезы.

— Нет, я не Сергей. Вот его Сергеем зовут. — Рыжий солдат показал на соседа. Тот оказался черноусым невысокого роста парнем.

— Да, я Сергей, — признался черноусый солдат, устало улыбнувшись. — Что хотела?

— Маленький мальчик потерял. — Халимат показала рукой рост мальчика. — Он был такой, маленький еще...'

— Нет, мамаша, не видели, — сказали несколько солдат.

Халимат видела, как они прятали от нее лица, и хотела им сказать что-то ласковое, но машина тронулась и она осталась стоять на середине дороги.

* * *

Халимат не вернулась в аул. Она еще долго стояла посреди дороги и смотрела туда, где за поворотом скрылась машина. Потом отошла, прижалась к большому камню за дорогой. В ауле ходили плохие слухи. Кто-то говорил, что всех собираются выселить из аула, другие опровергали их. Но ведь плохие вести всегда сбываются. Если она не найдет Крыма, как встретит его в том мире? Вдруг пошли слезы, и она сильнее прижалась к камню. Она плакала тихо, прижавшись к камню своей высохшей грудью и худыми дрожащими руками. Поплакав, она оторвалась от камня и, не помня, что делает, пошла вниз по дороге. Она не знала, куда идет, кого хочет встретить. Но и возвращаться домой, сидеть в одиночестве в четырех холодных стенах, коротать дни, смысла не было. Тот, которого звали командиром, будь он проклят, может быть и в самом деле живет в Нальчике, как говорят. Теперь, пройдя довольно большое расстояние, она поняла, что должна дойти до Нальчика живой или мертвой. Мир не без добрых людей, кто-то же должен встретиться по дороге, кто мог бы помочь ей. Ведь больших ко-

мандиров не так много в мире, кто-то покажет ей – вот он, Марков, большой командир. Уже по дороге вниз появилась еще одна надежда: надо искать Крыма там, где ходит много солдат. Аллах смилостивится, и она вдруг увидит рыжего солдата, ведущего Крыма за руку. Ясно же, думала она, облегченно вздыхая, солдат взял мальчика с собою не для того, чтобы убить. Стало быть, хоть изредка, он, наверное, выходит на улицу вместе с мальчиком. Как бы там ни было, что бы ни случилось, Крым жив! Халимат поверила своим мыслям, ей стало легче. Она двинулась увереннее.

Несмотря на то, что стояли только первые весенние дни марта, солнце грело хорошо. Дружно таяли снега в горах, и талые воды уже подняли воду в реке. Грохот мутной курившейся реки перекрывал все звуки, и ей часто приходилось останавливаться, чтобы прислушаться, нет ли где шума машины или идущей в город подводы. Но не было на этой дороге ни всадника, ни пешего. Эта пустынность большой дороги не предвещала ничего хорошего, было страшно. «Куда подевались люди, – сокрушалась она, – или все живые затаились от меня? Мне в отпущение?» Нет, уже сколько времени она идет, но еще не встретила никого, кто бы шел вверх или вниз. Что-то зловещее было в этом, какое-то таинственное знамение, хотя Халимат ничего не чувствовала и не знала. Но что с того, если б и узнала? Что бы она изменила? Забота теперь у нее одна – найти Крыма.

Была ли когда-нибудь жизнь без беды и забот?

И все же она всячески подбадривала себя, даже сняла свой тяжелый черный платок. Было жарко, и платье теперь показалось ей слишком длинным, она одной рукой чуть приподнимала и придерживала его подол, все убыстряя шаги.

Так и шла она до вечера, никого не встретив в дороге. Но когда сгустились сумерки, исчезли придорожные холмы, ее начал одолевать страх. Назад дороги уже не было, если б даже и решила вернуться домой, в село она бы не успела. Надо было срочно искать укромное место, чтобы переждать ночь. Когда же наступит утро, она снова продолжит путь.

Нет, Халимат хорошо знала эту дорогу, можно сказать, всю округу. Если и собьется, должна знать, что где-то поблизости она найдет жилище, кош, чтобы переночевать, ведь ныне как раз время окота. И людей там будет премного. Даже женщин. Что не заставляет делать безысходность и бедность! Тем более в пути.

Халимат преодолела робость и пошла в кош. Но, вопреки ее ожиданиям, никто там ее не встретил. Лишь две собаки преградили ей путь, неуверенно лая, от безделья, кажется. Только спустя долгое время кто-то появился у дверей накренившегося ветхого жилища пастухов и окликнул ее по-кабардински.

— Кто там не ко времени, кого ночью носит...

Халимат, хотя и не очень разумела по-кабардински, но все же поняла, что говорил пастух.

— Нет, нет, я не представляю никакой опасности, — сказала Халимат.

Пастух неуверенно зашагал навстречу, досадуя, что в такое позднее время в кошаре появилась женщина, прогнал собак и приблизился к ней. Это был старик лет шестидесяти. Он пригласил ее в кош, и они вошли.

— С верховьев, наверное, — осведомился кабардинец, видно было, что он сочувствует ей. «Знаю, что тебя гонит, но что толку, помочь-то все равно не смогу», — было написано на его лице. Он чувствовал себя как-то неловко и молчал.

И Халимат не знала с чего начинать. Эту кошару она знала, но пастух ей был незнаком. Раньше здесь жили пастухи-балкарцы, и овец, и всякой живности бывало очень много. Один из пастухов даже приходился родственником Халимат. Теперь же покосившийся каменный домик коша походил на какую-то жалкую птицу, у которой повредилось крыло, и она упала на этот каменистый склон. И кошара была теперь одинока. Даже нельзя было назвать ее кошарой, до того она была бесхозная, заброшенная. Халимат решила, что заблудилась. Оттого не знала, как быть дальше. Губы пересохли, трудно было выговорить слово, но молчать все время тоже было нельзя.

— Раньше здесь была кошара балкарцев, — сказала женщина, с трудом выговаривая слова. — Что-то не видно пастухов. Не видно и овец в загоне...

Она еще хотела из вежливости добавить, что такая же беда постигла и их, но раздумала. Завладевшая вдруг сердцем страшная догадка перекрыла ей дыхание, и она тихо помолилась.

Старый кабардинец поглубже посадил на лоб свою круглую тяжелую шапку, перевесил руки на свою палку и покачал головой. Женщина заметила, что у него влажные глаза, и как-то опасливо отвела свой взгляд от него. Оба замолчали надолго.

— Нет теперь в этих местах балкарских пастухов, — сказал старик. — Перед рассветом тут были солдаты энкавэдэ и погнали их вниз к дороге. Куда их погнали и почему — я не знаю. Скотину тоже погнали в другие кошары. Меня же прислали сюда на время, просто охранять кош, покуда его не переведут совсем. — Кабардинец говорил вперемешку на кабардинском и балкарском.

В коше еще долго стояла тяжелая тишина. Не было нужды спрашивать, не на что было и отвечать. Было похоже, что у ночного сторожа тоже есть свое горе, и оно давит его все сильнее. Она поняла своим смятанным умом, что ее сородичей, покуда они не оправались от одной беды, постигла другая, более страшная беда. Теперь эта новая беда обещала совсем уничтожить их, стереть с лица земли. Нет, она не знала, какой она будет, эта беда, то ли сам Создатель гневался на балкарцев, то ли властелины страны невзлюбили их, — трудно было ей разобраться. Она вдруг испугалась своих мыслей, попыталась прогнать их прочь — права ли была она, когда личная беда заслонила ей весь свет? Халимат, кажется, даже привстала. Как же она, когда все аулы в горах, все люди стонут под общей бедою, лелеет свою беду, как куклу, прижимая к груди, и бродит по пустынным дорогам? Она ругала себя, ей было стыдно перед старым кабардинцем, словно она убежала от своих односельчан. Ведь в горах во всех аулах люди сейчас плакали, стонали у своих родовых камней, она же ищет ночлег, а с рассветом собирается снова скитаться по дорогам. Или каждый переживает свое горе поодиночке? Наверное, надо просить Бога, чтобы он не послал людям беду. Можно отнять у людей волю, возможность что-то предпринять, но никому нельзя мешать молиться Богу, просить справедливости. Ведь ее постигло то же бедствие, что и весь народ, не ее одну выбрала судьба, чтобы испытать горем. Она песчинка среди людей, и ее ли одну пощадит буря?

— Ходят недобрые слухи о том, что балкарцам не разрешают покидать свои аулы. Правда ли это? Если правда, то каким же образом ты сумела уйти? — так спрашивал одинокий сторож. Он начинал беспокоиться, чутко прислушивался к шорохам даже еле слышимым. Он знал, как неожиданно появлялись ОНИ, обшаривая все вокруг, не прячутся ли тут балкарцы. Как было его осуждать, чтобы он смог сказать, если бы вдруг нагрянули ОНИ и нашли бы тут беглую женщину... Кажется, и она вдруг почувствовала

эту опасность, нависшую над стариком. Она встала, подобрала подол платья и тихо сказала:

— Не осудите, пойду я...

Кабардинец, то ли подумал, что слишком откровенно дал знать о своем беспокойстве, то ли пожалел женщину, — поспешно встал. Халимат увидела, как дрожат его руки. Он, молча, этими дрожащими руками завернул в край платка женщины холодный черствый чурек с сыром. Халимат поблагодарила за доброе подношение.

— Куда же на ночь глядя ты пойдешь, я лучше провожу тебя куда-нибудь в безопасное место, — сказал старик. — Поблизости имеется пещера. Там сухо. Горцы там подолгу живали.

Халимат и сама знала дорогу к этой пещере. Она находилась в двух часах ходьбы отсюда, под скалами, тянуцимися вдоль аула над рекой. И правда, пещера была удобна, оттуда хорошо обозревалась вся дорога, идущая с низины, и люди, идущие по ней. И она была не очень глубокая, там поместилось бы не более четырех человек. И сенная подстилка там, кажется, совсем недавно обновлена. В самой середине очаг, над очагом висит цепь, а на цепи и казанок. Халимат потрогала казанок, в темноте она ощутила, что казанок не пустой. По-видимому, пастухи поставили на огонь мясо, но сварить не успели, нагрязнули ОНИ и, как сказал тот кабардинец, погнали их вниз, к дороге. Или же сами издали заметили краснопогонников и успели уйти в лес.

Как бы там ни было, Халимат вздохнула облегченно. Она пристроилась в глубине пещеры, прижавшись к ее холодной стене. Так она встретит утро. От долгой ходьбы руки, ноги ее ныли, все ее тело просило покоя, сна, но не спалось. А ночь была длинна, рассвет никак не наступал. Но что она будет делать, когда наступит рассвет? Обратного в село побегит или же продолжит свой путь? Нет, что бы ни случилось в мире, она должна найти своего ребенка. Если бы было с кем посоветоваться... Нет, не было у Халимат в этом мире никого, кто бы мог указать ей верную дорогу и утешить ее. Здесь, в холодной пещере от безысходности маялась и стонала Халимат, а где-то в неведомых краях плакал ее ребенок. Жив ли он, помер ли? Что случилось с тем русским, который увез его? Как же он, этот русский, может содержать чужого ребенка, когда люди и себя-то не могут обеспечить... А вдруг, отчаявшись от нужды, он прогнал его, Крыма, маленького, бросил где-нибудь. словно щенка.

эт не двигался с места, волк ли, собака ли. В страхе женщина еще сильнее прижалась к стене пещеры.

— Пошел, пошел, — вскричала она в испуге.

— Не бойся, Халимат, я отец Крыма, — услышала она в ответ.

— Коркмаз, это ты? — Женщина в сильном испуге закрыла лицо. Тут же запоздало вспомнила она, что нельзя разговаривать с мертвецом. «Наверное, пришел пригласить меня к себе, — подумала она. — Нет, клянусь Аллахом, куда не будет у меня вести о мальчишке, не пойду. Зря он старается, бедный».

— Жизнь сладка, Халимат, я это знаю. Как бы трудно не было, человек хочет жить. Могильная земля тяжелее, чем трудности жизни. Но не бойся, я пришел не для того, чтобы пригласить тебя. Я услышал твое проклятье.

— Э, мужчина... у меня к тебе нет обиды.

— Нет, есть. Ты об этом уже сказала. И все же, я не по доброй воле своей оставил молодую жену, семью и пошел воевать. Это страна нас позвала. А кто не повинуется ей, тот... что и зерно, попавшее в жернова.

— Значит, то, что вы называете страной, — это два жернова, один на другой, чтобы, крутясь, все перемолоть? Значит, все мы всего лишь зерна, попавшие между ними? — так вопрошала женщина, стоя у дальней стены пещеры.

— Точно так, — ответила тень, промелькнувшая у входа. — Все мы пребываем между жерновами. Кто-то раньше перемеливается, кто-то позже.

— Но ведь ты говорил, что наша страна не такая? Врал, стало быть?

— В стране все равны. Никто никого не любит, кроме себя, — сказала тень. — Человек не стоит даже цыпленка.

— Ну да, мы это испытали, еще предстоит, наверное, многое испытать. — Халимат будто говорила сама с собою. — Что тогда бласт? Ты мне объясни, мужчина, что есть наша бласт? Как ее понять? Она — слепой вол или же камень, который на кого упадет, того и раздавит? Или же скала, у которой нет ни зрения, ни чувств? Кому же мы служили все эти годы?

Тень замолчала надолго. Халимат изредка слышала тяжелый вздох. Так ей во всяком случае казалось.

— Я и сам не знаю, что она такое, — сказал Коркмаз после долгого молчания. — Не знаю с чем ее сравнить... Страна, бласт, государство... Это много народов, кто-то из них мал и слаб, кто-то многочисленней и мощней. Вот что:

государство — это то, что заставляет малых и слабых работать, а многочисленных и мощных делает еще многочисленней и мощнее.

— Как же тогда получается? В стране, как и в лесу, сильный съедает слабого?

— Нельзя сказать, как в лесу... Государство ослепляет большие народы, чтобы они не видели, что творят.

Воцарилась тишина. Халимат боялась, что Коркмаз вдруг захочет войти в пещеру. Ведь она помнила — Коркмаз мертвый. А привидения, говорят, уносят с собой своих избранников. И все же она не могла так долго безмолвно глядеть туда, где появилась тень Коркмаза.

— И в этот раз... когда ты явился... я не могла увидеть твое лицо. И теперь не могу разглядеть тебя выше пояса... — сказала она.

— Ты не сможешь увидеть меня выше пояса...

— Почему же, отец Крыма? — Халимат, содрогаясь, привстала даже.

— Выше пояса всего себя я отдал государству.

— Да, да, бедный. Я вспомнила, ты мне сказал в тот раз. Не думай, что я все забыла.

— Светает. Пошли, уйдем вместе.

— Не торопи меня, — ответила Халимат. — Я пойду с тобой позже. Сначала я должна найти ребенка.

— Ты его не найдешь, — глухо сказал Коркмаз. — Ты его не найдешь, не мучай себя.

— Найду! — сказала она уверенно. — Аллах велик, найду.

Халимат проснулась от своего крика. Она увидела — перед пещерой кто-то топтался. И пока она собралась с мыслями и подала голос, человек перед пещерой нагнулся, и она узнала старого кабардинца.

— Сестра, не кричи ты так, вдруг услышат вооруженные люди... Большие машины уже снуют вверх и вниз... Лучше, чтобы ты ушла отсюда.

* * *

Халимат еще не успела выйти из пещеры, когда услышала гул мощных моторов. Судя по тому, как они натужно ревели на подъемах, грузовики были тяжело загружены.

Хотя и наступали утренние сумерки, вокруг пещеры еще было темновато. Ущелье, не ведая о той железно-чугунной беде, которая с гулом надвигалась на горные аулы, медленно безмятежно пробуждалось. На той стороне ущелья над

склонами плыли, светлея и разбредаясь, переночевавшие в этих местах тучки. Теперь уже, подгоняемые первыми утренними лучами, они спешили уйти в небо, соединиться с общим кочевьем. Но молодой утренний диск все еще не оторвался от своего гнезда и только расплескивал свое золотое сияние вот-вот уже готовое сбегать молоко.

Судя по тому, как падали лучи на ущелье, день обещал быть ясным, теплым.

Халимат, прижимаясь к камням, незамеченной вышла из пещеры. Отсюда она смотрела на дорогу. Да, машин было много, даже казалось, что по узкой крутой дороге тянутся не движущиеся предметы, а растянулась огромная черная цепь. Грохот в этот час оглушал все живое в ущелье. Даже шум реки. Задрожал и камень, за который пряталась Халимат. Она попыталась сосчитать машины, но это было невозможно. Одна колонна, тяжело поднимаясь, исчезла за крутым поворотом, сразу же вслед за нею появлялась другая. Халимат видела только те машины, которые проезжали по долине, или на какое-то время останавливались там. Большие, грязные грузовики, а в них — вооруженные солдаты. Все сидели, им, наверное, было очень холодно, потому что они плотно прижимались друг к другу. Еще она заметила, что эти люди, штыки на винтовках которых чернели, как зубы неведомого чудовища, были очень усталые, сонные, от того очень равнодушные. В эту минуту она вспомнила Кюркмаза: верно он говорил, что страна сначала ослепляет своих людей, чтобы они не видели, кого протыкают этими штыками. Кого может пожалеть ослепленный сонный человек с оружием в руках? Могут ли они иметь сестру, брата, ребенка? Иначе как же страна могла в одночасье уничтожить целые аулы? Только слепой, сонный, озлобленный человек мог спокойно, даже злорадно глядеть, как люди, заколотые штыками, стенают и кричат в предсмертных муках...

Халимат отступила к другому камню. Но теперь дрожал и тот камень, несмотря на то, что был прислонен к скале, вдруг задрожала и сама Халимат вместе с камнем. «Ты ведь искала солдат, вот они!» — сказала Халимат себе. — Тьма-тьмуца, тысячи... Спешат в аулы. У кого-то из них на коленях, наверное, сидит и Крым. Бедный мой ребенок... Ноги подкосились у Халимат, она сползла вниз, держась руками за камни. Только потом, когда удалился грохот машин, она последовала за ними, но не по дороге, а по склону. Она так спешила, что не замечала, как с головы

сползал платок, как платье рвалось о кустарник в ключья, ей казалось, что если она будет идти по склону, то успеет прийти в аул раньше машин.

Наконец взошло солнце. Все вокруг осветилось золотым солнечным светом. Халимат мимолетом замечала, как набухали почки на кустах, в ложбинах, под все еще лежащим настом звенели первые капли весенних вод. Незаметно стало пригревать солнце; Халимат удивилась столь раннему появлению мух. В это время года никто их не мог видеть, даже на южных склонах. Но протекали прозрачные мутные ручейки на дне ложбин, а в кустарниках жужжали мухи. Только теперь Халимат заметила, что на ее голове давно нет платка.

Солнце поднялось довольно высоко, когда она увидела первую машину, груженную людьми. Солнечные лучи, ударяясь о лобовое стекло этой машины, делали ее похожей на зверя, уносящего свет. Вместе с этим видением исчезла и надежда на то, что плохие вести не сбудутся, что жизнь в ее родном ауле не прекратит своего существования. Но этот уходящий пожар оставлял за собою лишь пепел, и не было смысла идти дальше. Теперь хоть бы она и полетела, в этом не было бы пользы. Если даже она спустится вниз и бросит свое уставшее тело под эту машину.

Халимат опустила на землю и, может быть, в последний раз зарыдала.

Теперь по каменистой дороге вниз, подпрыгивая и тяжело грохоча, крытые машины шли одна за другой. Но Халимат уже не слышала их шума. Теперь они были что камни, скатывающиеся со склона. «Может, я оглохла», — подумала она. Но в следующее мгновение до ее ушей долетел детский плач вперемешку с женским. Мать и дитя плакали где-то, но их плач отдавался здесь, на склоне. Может быть, она слышала свой плач? Это Крым плакал где-то поблизости вместе с нею?

Халимат перестала плакать. Теперь ей хотелось спуститься вниз, навстречу машинам и увидеть лица тех, кого они уносили. Она так и сделала. Спустилась и встала у дороги. Но машины уносились так быстро, что она никак не могла различить лица, узнать кого-нибудь. «В какую из них втолкнули бедную Айшат?» Она поняла, что ищет ее среди закутавшихся в черные платки женщин. К тому же вооруженные солдаты не давали людям в машинах поднять глаза, оглянуться. Нет, нигде не было ее, бедной ее сестры Айшат. Оторвавшись от уходящих машин, она уви-

дела на дороге беспорядочное стадо бегущего за машинами скота — коровы, лошади, ослы, собаки. В гуле этом смешалось и мычание коров, ржание коней, лай собак... Животных, оказавшихся рядом с машинами, отгоняли прочь, но они искали хозяев и приближались снова. Собаки проворнее остальных следовали за грузовиками, тяжкий этот хвост тянулся от самого аула, обдаваемые дорожной пылью, поднятой машинами, они бежали до тех пор, пока не падали бездыханными. Халимат по собаке узнала, в какой машине ехали ее соседи. Тихий, незлобный был этот пес, знал и ее, ласково ложился к ее ногам. Но от его мирного нрава не осталось и следа, грознее и неотступнее всех других собак бежал он, пытался даже вспрыгнуть на высокий кузов. Один из солдат, сидящих у заднего борта, пытался пристрелить его, но промахнулся, и он продолжал свой смертный бег. И когда солдат снова прицелился, сидящий рядом старик схватился за ствол винтовки, по-видимому, просил, чтобы солдат не убивал такого замечательного пса. Но солдат вырвал ружье и прикладом ударил старика. Тот согнулся и осел и больше не пытался помешать солдату. После следующего выстрела пес очень высоко подпрыгнул, закрутился, как юла, и упал в придорожную пыль. Пес еще бился в судорогах, когда следующая машина проехала по нему.

Халимат уже ничего не видела, не слышала. Почему-то она пошла вверх, в сторону опустошенных аулов. Идя вслепую, она вдруг ясно увидела красную, с белой отметиной на лбу, корову. Это была корова ее брата Болат, с надоя она давала ведро молока, большая, дородная, с широко раскинутыми рогами. И брела она тяжело, неся полное вымя молока. «Куда же ты собралась, — сказала Халимат, коснувшись рукою ее белой отметины. — Кого ты просишь, чтобы подоили тебя, освободили твое вымя? Хозяин твой Болат и хозяйка твоя Даум умерли, им нет дела до тебя». Красная корова с белой отметиной на лбу стояла перед нею, и глаза ее тоже были мокрые. Она несла молоко, но подоить ее было некому.

Машины непрерывно неслись мимо них. Слышался смех вооруженных людей, но корова не обращала на них внимания, ей просто очень хотелось, чтобы эта женщина, седая и потерянная, подоила ее и выпила молока, чтобы жизнь продолжалась... Так они стояли долго и не заметили, что последняя тяжело груженная машина уже давно проехала, и пыль, поднятая ею, давно осела. И тогда Халимат тронулась с места. Корова не пошла за нею, а направилась вверх по

склону, туда, где согнанные с дороги животные собирались небольшими группками. Халимат оглянулась и увидела, как вокруг красной коровы собрался другой скот, словно животные спрашивали у нее новости. Но та не поднимала головы, как не поднимала головы и Халимат. Они шли в разные стороны, но никто — ни скотина, ни сумасшедшая женщина — не знали, куда бредут.

* * *

Когда Халимат вышла на дорогу в аул, она увидела как весь этот домашний скот пошел вслед за нею. Разноцветное и разнородное стадо последовало за нею, словно за пастухом. Халимат видела, как животные, приближаясь к ней, приобретали уверенность, успокаивались. Они останавливались у трупов животных, обнюхивали их и шли дальше. Дорога всюду была в черных пятнах — была ли это кровь животных или людей — Халимат не знала. Больше всего удивляла и пугала непривычная в ущелье тишина, словно не людей отсюда увезли, а саму жизнь, потому что тишина эта была неестественна, даже река вдруг замолкла. Халимат шла внутри этой замкнутой тишины и сама не нарушала ее. Усталости не было никакой, лишь тишина мягко обволакивала ее. Раньше вот эта речка была очень говорливая и несла с собою все голоса ущелья; Халимат любила прислушиваться к этим голосам. Она слышала шум крыльев пролетающих над нею птиц, шорох трав, — все, все в этом ущелье имело свой голос. — неужели и голоса они, прицепив к штыкам, унесли с собою? Там и тут валялись распоротые матрацы, посуда и всякая домашняя утварь. Халимат не подходила к оставшимся вещам. Она дошла до одинокой яблони в своем дворе и обняла ее. Стук собственного сердца был единственным звуком, который она услышала. «Оказывается, это люди заставляют все кругом петь и звенеть, — подумала она. — Или же дыхание земли и тех, кто качает колыбель, и деревьев, растущих вдоль каменных заборов — едино? Как едины их корни?» Раньше она никогда не думала о таких вещах. Сейчас, обнимая старую яблоню, она вдруг осознала, что это люди делали жизнь полной, шумливой и певучей в суровых теснинах гор. Чем сильнее Халимат обнимала дерево, тем учащеннее билось ее сердце. И в дереве, и в ней самой бьется одно сердце! Если не так, то почему же как только она отходит от него, сердце его перестает биться, и дерево умолкает. «Умрет яблоня,

умру и я», — думала она. Она поверила в эту мысль и уже не могла отойти от яблони.

Уже днем она заметила, что не все вооруженные люди покинули аул вместе с его жителями. Еще и машины оставались. Халимат видела, как эти люди обходили дома, собирали имущество, что оставалось в них, и грузили в машины. Она поняла, что если попадется им на глаза, они тут же пристрелят ее. Но могли и не тронуть: то, что она умела говорить по-кабардински и просить подавание, могло спасти ее.

И тогда она, осмелившись, оторвалась от яблони и пошла прямо ко двору родительского дома, вошла в сарай. Он еще не был разворован, да и нечего там было воровать — кто позарился бы на старый кийиз, матрац с многочисленными заплатками, да на такое же одеяло. Выносили из домов другое: женщины с самого рождения собирают дочерям приданое, надежно хранят в сундуках; также берегут старинные серебряные пояса, газыри, кинжалы для сыновей, черкески. Все это осталось нетронутым в сундуках и чуланах. Так что нечего было вооруженным людям рыскать в старом сарае Халимат, для них тут ничего не было.

Не успела Халимат отдышаться в сарае, прийти в себя, как зашли двое солдат.

Один из них сейчас же упер штык в тощую грудь изможденной женщины.

— Откуда пробралась, кто такая, как сумела укрыться?! — вопросы солдата сыпались так, что растерянная и напуганная Халимат и рта не могла раскрыть. Да и не понимала она, о чем ее спрашивают. Впрочем, и солдаты не нуждались в ее ответах.

— Выходи, — приказал тот, что допрашивал ее. — Кому сказано, живо! — и вытолкнул ее прикладом во двор.

«Сейчас убьют, — подумала она. — Тот, кто попадает в руки людей «бласти», не спасается. Что ж, пусть...» Но тут же промелькнула мысль о ненайденном ребенке, и это вернуло ей силы. Она резко повернулась к солдатам:

— Табариш апицир, маленький мальчик потерял...

Солдаты посмотрели друг на друга.

— О чем она? Должно быть, здесь еще кто-то прячется. Наверное, сын, — сказал тот, у которого погоны были поярче. — Не спеши, надо ее допросить.

Офицер отослал одного из солдат куда-то, и тот вскоре вернулся с гладколицым, уже знакомым энкавэдэшником.

— Снова ты, — сказал краснопогонный, войдя во двор. —

Ведная, почему ты не отправилась вместе со всем аулом? — спокойный, он не казался таким суровым, как в тот день.

— Быть тебе всегда здоровым, я не скрывалась. Мне надо узнать какую-нибудь весть о сыне... дитя мое... Судьба такая, наверное, предписано мне...

Хотя Халимат и не понимала всего, что гладколиций говорил офицеру, но догадалась: речь идет о том, что она снятившая женщина, ходит по аулам, собирает милостыню, тем и живет. Ее зовут дурная Хабла... Но офицер не унимался. То ли имел приказ никого не оставлять в живых, то ли все это ему порядком надоело. Он кричал на всех. Но в конце концов махнул рукой и сказал:

— Пусть бродит, и без нас подохнет.

А гладколиций тем временем подошел к Халимат вплотную и тихо спросил:

— Одиннадцать мужчин ушли в лес. Может быть, ты заметила их, знаешь что о них?

— Быть тебе всегда здоровым! Как я могла заметить их! — сказала она.

* * *

Что ни говори, а жизнь дорога. Ведь сама виновата, как тур, учуявший запах ружья, упрямо бежит навстречу смерти. Еле волоча непослушные ноги, она добралась до отцовского двора и присела на порожек. Солдаты снуют по домам, найдя что-нибудь стоящее, тащат и складывают в кузов грузовика, сгоняют в одно место разбредшийся скот. На все это Халимат смотрела с безразличием. Двое солдат, перешагнув через нее, вошли в дом отца. Но, видимо, до них там побывали, они вышли во двор с буркой Болата, лопоча что-то по-своему, повертели ее, бросили на землю и ушли.

Тревога за Айшат не выходила из головы. Если бы она находилась в одной из машин, увозивших сельчан, Халимат бы опознала ее. Как ни всматривалась она, похожей на Айшат женщины, не увидела. Сомнение одолевало Халимат, какое-то недоброе предчувствие поселилось в душе, слышался ей голос Айшат, взывающий о помощи. Тревога нарастала так, что притупились думы о сыне.

Не вытерпела Халимат, не стала дожидаться, пока уйдут увлеченные грабежом солдаты. Если они оставили тяжело больных и обезумевших (а скорее всего, так оно и было), кто позаботится об Айшат? А может быть и так, что она умер-

ла... Ее охватила дрожь; сама, не ведая как, она вышла на дорогу, глаза ее ничего не видели. Дорога, которую она раньше преодолевала за короткое время, казалась ей дорогой на край Земли.

* * *

Айшат, скорченная, лежала в своем дворе. Халимат в надежде увидеть человека, который мог бы помочь ей, машинально оглянулась по сторонам, затем, поняв всю тщетность, тихо встала около нее и прочитала молитву. Найдя маленькую ножную подушечку, подложила ее под голову Айшат. Уложила на спину. Выпрямить конечности уже не было возможности. Проведя ладонью по лицу, попыталась закрыть ей глаза. Один глаз как будто бы закрылся, другой же открывался снова. Мутный, круглый, как черная монета, устремленный к небу глаз не хотел слушаться. Одна рука, сломанная в трех местах, в три изгиба была прижата к боку, другая – было видно, что перед смертью она спешила расстегнуть пуговицы на груди – была прижата к сердцу. Так казалось Халимат, и она еще раз попыталась выпрямить руку – окоченевшая рука не поддавалась. «Как она умерла, несчастная, когда», – думая об этом, Халимат увидела спекшуюся кровь под ладонью на груди. Штыком или пристрелили? – догадаться было трудно. Она стала внимательно ощупывать сестру и обнаружила, что многие места ее тела были странно мягкими, как вата; до нее дошло, что труп полон спекшейся крови. Поняв это, горько заплакала, будто увиденное до этого был всего лишь сон, а теперь, на ее глазах, вооруженный солдат глумится и убивает ее сестру. «Что же ты могла такого сделать, что тебя пришлось убивать так долго...» – причитала она. Ее плач был обращен не к этим снующим туда-сюда в поисках скарба солдатам. Ее плач был обращен к родным горам, к склонам, к деревьям, к камням, как будто они все вместе могли прийти и помолиться над телом мертвой сестры. Халимат изводил и мучил жуткий, не желающий закрываться глаз. Открытый и круглый, как черная монета. – «Что ты хочешь еще увидеть...» – плакала Халимат. – Прожила остаток жизни в ожидании и страдании, не веря, что оба твоих сына погибли в один день. Единственную дочь застрелили на пороге собственного дома. От мужа, считавшегося хребтом новой власти, так и не дождалась весточки...». Да, конечно, были люди, которых Айшат хотела бы увидеть перед смертью. Кому, как ни ей, с такой мутной тоской одного страшного

глаза, смотреть в небо. Лежи теперь, бедная, несчастная моя, и успокойся навеки — все они тоже умерли. Умерший, говорят, в могиле находит покой. Но и там несчастная сестра моя не найдет покоя: незакрывшийся глаз ее, устремившись сквозь могильные доски, будет вечно искать тех, кого сестра так хотела увидеть в последние мгновения жизни. Даже вылетев из могилы и став ласточкой, этот глаз в этом мире уже никого не увидит.

* * *

Силы быстро покидали Халимат, и она выпрямилась, чтобы перевести дыхание. «Несчастливая сестра моя, даже земля озлоблена на тебя, не поддается, — сказала она. — Не знаем мы, когда нас застигнет беда, когда заплатим смертью своею; возмнив себя железным деревом, ты пыталась валить чужие деревья. Я прощаю тебя, пусть Аллах простит тебя за грех твой». Но сейчас же Халимат пожалела о своих словах: какие могли быть грехи у бедной женщины, перенесшей столько несчастий? Халимат снова начала рыть могилу: земля была каменистой, — тяжело было ей, больной, истощенной. Есть ли, кроме нее на свете женщины, роющие могилу собственной сестре? Быть может, она, Халимат, первой пригубила, прикоснулась к той страшной чаше, которую позже до дна выпьет ее несчастный народ? Халимат еще не догадывалась, не могла знать, сколько ее соотечественниц будут тосковать желанием вырыть могилу близким, но тела их будут брошены без савана и слов прощания на съеденье степным птицам и шакалам.

Похоронив сестру, Халимат заметила, что сил совсем не осталось, она даже не может поднять руку поправить плавок. Надо было подумать о ночлеге, дойти до отцовского дома, но как? Всюду снуют солдаты, любой может пристрелить ее, не задумываясь. Видно, придется ей заново стать сумасшедшей, заново стать Хаблой: «государственные люди не трогают дурачков и сумасшедших, ты счастливая», — помнится, говорила бедная Фаризат. И сегодня ее пощадили только за это. Она должна жить, найти и спасти Крыма, пусть даже ценою нищенства и безумия. Нищих и сумасшедших теперь много; бродят они из села в село, из города в город, их-то никто и не трогает. Она станет одной из них.

Этот странный замысел утешил Халимат. Она помолилась и поблагодарила судьбу и Аллаха. Неспроста высочайшее провидение вырвало ее из общества, неспроста люди

пустили слух, что она сошла с ума, эта долгая и жестокая беда обернулась для нее счастьем.

Так, сидя меж двух могил, она предавалась своим размышлениям. Куда идти теперь? Если войти в дом, какой-нибудь заблудший мародер, не разобравшись в темноте, гляди, пристрелит ее. Странно, что всю жизнь она была такой трусихой, боялась джиннов-шайтанов, волков, медведей и всякого вздора. Как это все теперь казалось глупо по сравнению с тем, что может сделать человеку человек. Бойся человека, старайся не попасть на глаза человеку. Пока не найдется Крым, Халимат должна жить. Халимат должна жить, даже если сто штыков пронзят ее живот и сердце. Нет у нее такого права — умереть и обрести желанный покой под землей, спрятаться от произвола, творимого человеком человеку. Слишком большая роскошь теперь вечный сон и могила. Каждый человек обязан перед смертью избавиться от грехов, вернуть все земные долги, и пока Халимат не выполнит своего долга, она перенесет все, даже то, чего бы погнушалась собака, она знает, она готова к этому. И в запредельном мире ей будет что ответить отцу своего сына...

Осмелев, Халимат вошла в дом Айшат, развела огонь, пыталась найти что-нибудь поесть. Сон был легким, как мгновение — мгновением.

* * *

Завершив утренний намаз, Халимат осталась сидеть, вставать не хотелось. Первые косые лучи заиграли на стеклах и, как в лучшие времена, напоили стены золотой водой, согрели жесткую шерсть турьего намазного коврика. Слава Богу, нечистые руки не дотянулись до этого намазника, его добыл для нее Кюркмаз, муж ее. А так, в течение года, всю ее скитальческую пору, она исполняла молитву где попало, где застанет время, снимала с головы платок и стелила. Да простит Аллах, просила, чтобы имени у нее не отбирали, не звали ее Хаблой, но он один знает и решает судьбы живых и мертвых. Вспомнились слова Фаризат: «Государство уничтожает умных и лучших из нас, но не трогает дураков. В таком мире лучше быть Хаблой». Она была права, после лучших были уничтожены братья и сестры, а потом и весь аул, и все аулы вокруг. А сколько раз уже смертная чаша миновала Халимат? Не потому ли, что Халимат оказалась хуже и дурнее всех? Или эта участь досталась ей во имя счастья Крыма?

В ауле, по сравнению со вчерашней и позавчерашней пустотой, стояла относительная тишина. Где-то вдалеке еще воздвигались с отгрузкой бревен — раздавались приглушенные звуки. Халимат вышла на улицу: казалось, все живое унесла эпидемия чумы и очень давно, ибо сакли стояли с дырами вместо окон и дверей, словно черепа с пустыми глазницами.

Халимат направилась в глубь аула в поисках кукурузы или хотя бы отрубей. Надо было найти Алакёза — жив ли он, она не знала; его могли поймать и увести мародеры — всякое могло быть. У одного из слепых домов Халимат почувствовала теплый запах куута * и остановилась у порога. Зайти было трудно и боязно, но иного выхода не было. Из поваленного, пробитого штыком мешка, лилась кукурузная мука, как из раны. Она с большим трудом подняла его и прислонила к стене. Видимо, кто-то приготовил его в дорогу, но по какой-то причине взять с собою не сумел. В углу была высыпана целая гора жареной кукурузы. Прося прощения у хозяев и Бога, она взяла немного в надежде найти и покормить несчастного коня, который тоже сирота и жертва собственной красоты и величественной иноходи.

Благодать пусть сопутствует хозяевам — живы они или мертвы.

Она обшарила развалины башен и склепов, но Алакёз ее там не ждал, и, не теряя надежды, Халимат пошла вверх по склону, надеясь найти его в подскальных пролесках. Она дошла до подножия верхних скал, но жеребца нигде не было. Голову начали наводнять самые плохие предчувствия, она неумоимо шла дальше вдоль подножия скал, как вдруг, ощутив на себе взгляд, вздрогнула и остановилась: под барбарисовым кустом, удобно устроившись, на нее неотрывно глядел большой косматый пес. К счастью, во взгляде пса не было ничего враждебного, — напротив, пес сам нуждался в помощи. «Покорми меня, неужто не узнаешь?» — говорили его глаза, как показалось Халимат.

Что тебе дать, бедняга... — начала Халимат.

Пес купился на мягкий голос Халимат, заскулил, как щенок; подошел, виляя хвостом, облизал ей ноги, обувь. Затем вдруг поднял голову и завыл. Тотчас же где-то поблизости послышался ответный вой, за ним еще, и еще... — из скальных щелей, оврагов, зарослей подавало голос несчетное собачье племя, вся округа превратилась в сплошной

* К у у т — мука из жареной кукурузы.

собачий хор, — Халимат стояла, оцепенев от ужаса, как в кошмарном сне. Но они не собирались причинять ей зло, они плакали, роптали и жаловались ей на свои проклятые опустевшие дворы, свои владения, утрату хозяев. Многие из них погибли в борьбе сначала с солдатами, а потом, защищая имущество от воров и мародеров, и сейчас, израненные, хромые, искалеченные, побежденные, они не уходили, следили за своими дворами на расстоянии. Об этом они хотели поведать Халимат, узнав ее и разделяя с ней горе и отчаяние изгнания. «Я здесь, я здесь, мы никуда не ушли», — говорили они, и когда Халимат поняла это, ее охватила такая тоска, что она стояла и плакала с ними, словно одна из них, не помня себя в этой все возрастающей кошмарной песне.

Алакёз сразу же заметил Халимат: двинулся было навстречу, но тут же остановился. Он здорово натерпелся за два прошедших дня. Какие-то жадные вредные двуногие долго шумели и возились в ауле, а потом на сытых здоровых лошадях гонялись за ним по склонам. Заарканить его пытались даже. Но ничего у них не вышло. И теперь он не решался показываться на открытой местности, не было гарантии, что они не появятся здесь снова, не стоит лишний раз выходить из леса. И походка у Халимат была какая-то неуверенная, она как-то нерешительно озиралась по сторонам, то и дело останавливалась, что-то подозрительное просматривалось в ее поведении.

Недоверию и осторожности жеребца пришел конец, когда до его ушей донесся еле слышный ласковый, до боли знакомый голос Халимат: «Алакёз, Алакёз, где ты...». Больше ничто не могло остановить Алакёза, все обиды и недоразумения, так долго заставлявшие быть его изгоем, улетучились в один миг. Он тихо, взволнованно заржал и выбежал на поляну.

— Бедный, да ты стал похож на тягловую лошадь для перевозки соли, — шепотом говорила Халимат, обнимая и поглаживая шею коня.

Алакёз щекотал ее лицо бархатными губами, как в прошлом, ожидая, требуя угощения, но протянутую в ладони жареную кукурузу есть не спешил. Мягко положил голову ей на плечо и вздохнул. Грустным был конь, не было в нем прежней прыти и непосредственности.

— Не нравится мне твой вид и настроение, Аллах свидетель, — сказала Халимат.

Алакёз мотнул головой и показал ей свои глаза: «Разве

ты не видишь, сколько бед перенес я за все это долгое время, где ты была? И видела ли ты кровавый след на утреннем росистом типчаке, тянущийся за мною? А раны на шее и спине с правой стороны?»

Видела Халимат, видела. Видела, что люди ни перед чем не останавливались, охотясь за ним, не знали пощады, видела. В волнении она гладила шею жеребца, выдергивала репейки из гривы; понимание того, что она ничем не может помочь ему, приводило в отчаяние. «Что же мне с тобой делать, несчастный ты мой, — шептала она, — отчего так дрожишь, бессловесный, родной?»

Мягкий голос женщины был приятен Алакёзу. Он понимал сострадание, попытался воспрять, оживиться. Не смог. Тело не слушалось. Жилы, натянувшись, лишь болью и дрожью отдались в его тонких ногах. Алакёзу казалось, что он, бросив вызов судьбе, воинственно ржет и роет землю копытом. С пересохшей глоткой, с горящим от жажды телом, он хочет устремиться к источнику. Однако он напрасно себя обманывал: он не ржал воинственно, и тонкие копыта его землю не рыли. Он стоял, будто нагруженный тяжелой ношей, с поникшей головою. Он походил на отжившую свой век старую скотину. Вспомнив, как жеребенком носился наперегонки с ветром, вздохнул. С теплотой вспомнил, как однажды, на всем скаку сорвался с обрыва, и как бурные потоки Череха несли его. Этот случай, в последнее время, что-то часто стал приходить ему на память. Что это, старость одолевает его? Сколько ему лет — восемь, десять? Или же его жизнь вечна? Может, его печалит то, что его постоянно преследуют и загоняют, как гоняет ветер облака на небе?

— Не горюй ты, страдания и трудности — это еще не смерть; да и смерть лишь может оборвать жизнь, но остановить вечное течение времени не в силах, — сказала Халимат, успокаивая Алакёза. — Если наше прошлое не будет растоптано, жизнь возродится вновь, пустит новые ростки, это всегда было и будет так.

Прошлые, прошедшие века родного народа, вдруг воплотившись в образ жеребца, предстали перед Халимат. Она почувствовала потепление в сердце, хоть на короткое мгновение испытала сладость ощущения счастья.

Халимат обняла шею Алакёза, слилась с ним как со своею найденною судьбою. Почувствовала его тепло. Тот тоже прислушивался, поднимая голову. Так они постояли, каждый вбирая в себя несчастье другого и думая о том, придет-

ся ли им еще свидеться на этом свете. Потом, спохватившись, поругала себя за дурные предчувствия. Жеребец принадлежит Кокмазу, его лелеяло все село. Произвол, который сломил многих и многих уничтожил, вырвал с корнем, не миновал и его. Не поддался, выдержал. Она поняла, что именно это осветило радостью ее сердце. Не могла она поверить, что с Алакёзом может что-нибудь случиться, что его свободная в своем бесподобном полете жизнь может оборваться. В какой момент это ее осенило — давно, сегодня или прямо сейчас, она не могла сказать определенно, несмотря на то, что всегда относилась к жеребцу благосклонно, желала ему многих счастливых лет. Много воспоминаний и мыслей кружило в голове женщины. На некоторое время позабыв все свои несчастья, она явственно ощутила, как слившись с Алакёзом в единое целое вместе с холмами, кручами, горами, камнями устремилась куда-то в общем потоке. Она поняла что-то такое, чего никто раньше не мог понять, словно у нее по-новому открылись глаза на жизнь. Да, было что-то такое под солнцем, что притесняло людей, — большая, подавляющая, злая сила. Эта сила, вырвав людей из родных мест, пытается задушить народ и опустошить и саму землю, где он живет. Но у родной земли тоже есть сила, она сопротивляется, не дает себя вытоптать, не она ли этот орел, который парит над горами и теснинами, не она ли слышится цокотом копыт по родным просторам — спросила себя женщина, глядя, как жеребец неспешно жует кукурузу.

— Ешь, бедняга, ешь, — ласково прошептала Халимат, жалея Алакёза, поглаживая его. (Хруст жующего кукурузу коня успокаивал ей сердце; и деревья, и вся природа вокруг была тихой, стараясь не мешать кратковременному счастью Халимат.)

* * *

Волчица, удобно устроившись в тенистой прохладе дерева, уже давно наблюдала за женщиной, нежившей гнедого жеребца. Женщина эта, как всегда, была худа, как всегда, от нее пахло сажей и зерном. Как ни странно, но этот чуждый запах — запах зерна и гари — был ей приятен, потому что запах крови, впитавшийся в траву, камни козьих тропок и листья деревьев опьянял ее, отбивал все остальные запахи. Не то чтобы запах крови был отвратителен ей, но насытившись, утолив жажду дымящейся живой кровью

жертвы, она нуждалась в отдыхе, в наслаждении сладкими и полнующими духами леса. Непрерывный густой запах крови притуплял ее обоняние. Непонятным образом волчица истосковалась по запахам сельского быта — хлеба, жареной кукурузы, спелых абрикосов, — куда подевались теперь эти запахи? Она скучала по ним. Она скучала по людям, по голосам их домашних питомцев. Странно было все это, странно и как-то грустно. Да, волчица была уже не там, сердце ее смягчилось, стало податливо, не было больше в нем неистовой кровавой алчности.

Халимат, как и все, знала, что волчица жила рядом с Алакёзом, неотступно следуя за ним, что Алакёз давно свыкся с нею, и не могла понять, представить себе, какой таинственный смысл может быть сокрыт в этом. Ведь самим Богом конь и волк разделены непреодолимой пропастью, как добро и зло, так как же они могут держаться вместе? Или она ошибается, быть может, добро и зло — ветви одного дерева и время от времени переплетаются между собою? Зло, сделав свое дело, прячется где-то рядом, словно змея, спящая под подушкой, и, дождавшись своего часа, снова выходит наружу? А разве жизнь не устроена именно так? Халимат снова обняла шею Алакёза. «Эх, обманываешься, мой Алакез, — шептала она, — нельзя мириться с волчицей, никогда она не будет тебе сестрою так же, как и ты ей братом». Ничем она не могла помочь теперь своему любимцу, — отвести его в село — все равно что столкнуть его в пучину поднявшейся, взбесившейся реки — всюду рыскали алчные вооруженные люди, не дали бы там ему покоя; нет, не сможет она избавить его от единственной спутницы и подруги — серой волчицы. Не было у этого коня своего угла, крыши над головою. Леса, голубые горные склоны и подножия скал будут теперь твоим домом и неотступно следующая за тобой волчица — твой единственный попутчик и свидетель. Но не отчаивайся, среди живущих под солнцем и луною едва ли найдется кто-то, за кем бы не следовала своя волчица.

Уллу-аул от леса и теснины был отделен плодовым садом. Именно с той стороны послышалась беспорядочная стрельба, то нарастая, то заглушаемая ветром. Позже каскад выстрелов перенесся в сторону моста, на самый верх села. «За кем на этот раз закрываются последние двери», — думала Халимат, чувствуя боль новой, пока еще неосознанной утраты. Ей не хотелось думать об этом, но догадка пришла сама: «Одиннадцать парней спрятались где-то здесь, в

лесу», — говорил гладколицый. Да, это по ним стреляют, больше здесь убивать некого. Она вспомнила: как-то раз ночью слышала, как под окном крадучись ходили какие-то люди; тогда она в страхе затихла, но теперь было ясно: это были те подростки, которые по какой-то причине хотели встретиться с нею, или люди, преследующие их. Халимат направилась туда, словно ее присутствие там могло бы спасти их. Добравшись до старой мечети, она притаилась под яблоней: отсюда было видно, как солдаты бежали по мосту к солнечной стороне теснины. Когда они скрылись из виду, треск выстрелов раздавался где-то у старой мельницы, потом у разрушенной башни и разбросанных за нею валунов. Как ни напрягала глаза Халимат, но разглядеть там что-либо ей не удавалось, зато вверх устьем реки также быстро двигались солдаты, человек сорок или больше, считать было трудно. «Отчего же они выбрали солнечный склон, — переживала Халимат, — не легче ли было уйти обратно — там лес и скалистая теснина... А может, бедняги хотят уйти в Безенги, надеются, что беда, настигшая нас, не дошла туда?» Перевал в соседнее ущелье хорошо просматривался, но и там Халимат никого не увидела. А может, они давно ушли отсюда, и эти псы стреляют и суетятся без толку, пыталась утешить себя Халимат, хотя сердцем понимала — обмануть себя гиблыми мыслями ей не удастся. Аллах пусть не забудет их, только Он, единый и милосердный, сможет помочь им, ибо в этом мире, где сильный непременно давит слабого, уже никто не в состоянии помочь ближнему.

Когда выстрелы утихли, и вооруженные люди начали стекаться к мосту, а потом, выстроившись в колонну, направились вниз по дороге, она зарослями бросилась к солнечной стороне склона.

* * *

Таштуев Омар полулежал, оперевшись о камень, обессиленный, не чувствуя холода земли и камня, быстро проникающего в кровь и кости. Шапки на нем не было — где-то обронил, гладко приглаженный чуб пропитался потом и казался еще более гладким, матово переливался на солнце, словно стекающая с головы растопленная смола. Когда он стал различать предметы вокруг, оказалось, что прямо перед ним лежит распростертое тело мальчика. За ним чуть дальше еще двое. Еще шестеро были разбросаны по всей поляне, их он видел смутно, не мог оторвать взгляда от того,

что лежал прямо перед ним. Если бы не простреленная голова, можно было бы подумать, что юноша просто прилег отдохнуть. Ноговица на левой ноге сползла до ступни, из разбитых чабур торчали посиневшие пальцы. Из одного кармана перелатанных штанов наполовину вывалилась корка хлеба. Круглая каракулевая шапка его, видно, покати-лась вниз по склону, но передумала и остановилась недалеко от хозяина. В остекленевших глазах мальчика, обращенных к Омару, не было ни злости, ни предсмертного недоумения, напротив – они говорили об умиротворении и счастливом сне. Мальчику было не больше пятнадцати. Это-то обстоятельство и перевернуло в нем что-то, отбило охоту держаться за жизнь. Когда он с оружием в руках преследовал «бандитов» в общей горячке боя, метился, стрелял, он чувствовал себя нужным человеком, защищающим свое государство и советскую Родину, как и все остальные, участвующие в этой операции. Но когда наступила развязка, и он увидел кого они преследовали, ему не хотелось верить своим глазам. Он несколько раз обошел всех убитых, заглядывая в лицо каждому; наверное, ему хотелось увидеть хоть одного взрослого мужчину, «матерого бандита», чтобы хоть как-то успокоить совесть, но все они были обыкновенные безоружные мальчишки, ни один из них не пережил пятнадцатилетнего возраста.

Товарищи его с чувством исполненного долга пересчитали убитых и, построившись, пошли своей дорогой. Ни один из них не обратил внимания на Омара, не позвал с собою, словно его не существовало. Он сделал свое дело и больше им не был нужен, задача была выполнена.

Омар остался один. Вспомнился вдруг отец.

Сейит Таштуев был известный в Верхней Балкарии революционер, воевал в гражданскую, затем боролся за установление советской власти в родном ущелье, итак, оставаясь «слугой народа», дожил до счастливой старости. Младший брат Сейдуллах, не достигнув двадцатилетнего возраста, был призван и погиб на войне с немцами. Похоронку – «... погиб смертью храбрых», – они получили весной 42-го. Сам Омар вступил в партию в девятнадцать, и тогда же был принят в НКВД. Двенадцать лет он преданно и беззаветно служил Родине в рядах НКВД, выполнял приказы старших по званию беспрекословно, не задумываясь и не задавая лишних вопросов. Вспоминая теперь свою жизнь, он судорожно искал оправдание своим поступкам, чтоб они обрели хоть какой-то смысл, но не находил. Партия пору-

чала ему только одно: охотиться на людей, обвинять их и уничтожать, стирать с лица земли. Партия других дел ему не поручала. Государство и партия, к которой он всецело прирос корнями своего сердца, вырвала с корнем весь его народ и бросила сохнуть на чужбине, не переставая при этом клясться братством и дружбой всех народов. Где теперь мои несчастные мать и отец, всю жизнь прослуживший верой и правдой родной партии, куда, в какую пустыню загнали их, постаревших и немощных? Омар не был сентиментальным и редко вспоминал родителей, но наступил момент, когда ему абсолютно не за что было зацепиться в этой жизни, ведь теперь он сдал последних и был не нужен, и его, как собаку, вышвырнут вслед за ненужным государству народом, и это не все! — там он, офицер НКВД, не найдет себе родных — их у верного пса партии быть не может.

Омар долго взвешивал в ладони маузер, приставил его к виску, но не решился, не так легко было преодолеть мгновение, за которым навсегда меркнет свет солнца.

* * *

Халимат перешла мост и прошла немного выше, когда снова услышала выстрел. Она замерла, но выстрел не был таким, какие раздавались прежде, он был одинокий, короткий и скорее напоминал хлопок. Халимат пошла дальше, ей казалось, что звук ее шагов буквально раздирает тишину, воцарившуюся в долине. У камня сидел человек. «Бедняга», — прошептала Халимат, как если бы назови она его по имени, все грехи Омара перекочевали бы к ней. Омар сидел у камня, чуть склоня голову, и как будто спал. Бледные пальцы правой руки свисали, слегка касаясь травы, рядом с ними чернел, притаившись в зелени, как потерявшееся точило, тихий маузер. Засохшую кровь на щеке Омара Халимат заметила не сразу; смерть не обезобразила всегда гладко выбритого лица Омара, он выглядел даже лучше, чем при жизни. Прямой нос несколько заострился, брови и черты лица обозначились четче, было похоже, что он задремал и вот-вот очнется. Халимат закрыла ему глаза; почувствовав жесткость ресниц, отметила про себя, что он был, оказывается, молод, не в возрасте, как казалось. Она погладила и прикрыла глаза мальчику рядом, который неотрывно глядел на Омара, выпрямила вдоль его тела руки. Затем осмотрела всех, распростертых здесь же, это было не трудно, все они были убиты на одной опушке, лишь один лежал

поодаль, тот, что стремился уйти к Безенгийскому перевалу. Все лица были знакомы ей — это были сыновья, чьи родители погибли во время марковской «зачистки». И остались они здесь, наверное, потому что не с кем было ехать, не хотелось на чужбине побираться по родственникам, и без них обнищавшим.

Халимат аккуратно перевернула погибших на спину, поправила на них одежду. Саваном им были умолкнувшие горы и небо. Только бесхозный Черек, неся скорбную весть, с шумом спешил на равнину.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Старенький облезлый грузовичок с натужным ревом полз вверх по высеченной в скале дороге. Потрескавшиеся, давно облупленные доски бортов были плохо укреплены и гремели на каждой колдобине. «Что им там делать, если наверху уже давно никто не живет?» — удивился про себя Кравцов, взбираясь на борт и поднимая за руки пасынка, но выяснять не стал, — с транспортом повезло, ну и ладно, да и какое ему до этого дело. Из Ставрополя в Нальчик они добрались быстро, без проблем, там переночевали и спозаранку вышли на дорогу. Дальше ехать было не на чем, и когда чернявый шофер притормозил и за два червонца согласился взять их, — это было действительно удачей. «Куда вы, что вы там потеряли?» — спросил он, больше из напускной строгости, чем его действительно могло интересовать это, и соответственно Кравцов также сделал вид, что не слышал. В кузове, кроме двух брезентовых настилов, ничего не было; устроившись на них, отец с сыном крепче оперлись спинами о борта и были довольны.

«Камень, видать, возят, — решил Кравцов, глядя на каменную крошку, рассыпанную по всему кузову, и разбитые, оцарапанные борта кузова. — Неужели еще с тех пор не разобрали жилища, десять лет прошло?» Машину сильно трясло на колдобинах, ворох пыли то и дело поднимался со дна кузова.

— Крепче держись, Кирилл, — сказал Кравцов, повернувшись к мальчику.

— Ты тоже держись, папа, — Кравцову было приятно, что мальчик называет его «папой». Ведь он не был рядом с Кириллом десять лет: на третий день по прибытии в Ставрополь его арестовали, после этого он отсидел десять лет. С

первого дня жена Кравцова взяла заботу о Крыме на себя, хорошо относилась к нему, любила, воспитывала, ничем не обделяла и для удобства переименовала его Кириллом. Интересно, помнит ли Кирилл свое настоящее имя?— Кравцов пока не спрашивал. Да и стоит ли ворошить прошлое, еще неизвестно, как он отнесется к этому. Может быть, не стоило отправляться в эту поездку, но ведь это был его долг,— он обещал показать Крыму места, где он родился, обещал после войны, когда Крым подрастет и жизнь вокруг нормализуется, привезти его обратно. Но кому он вернет теперь Крыма? Мать ли та раненая женщина Крыму или нет, было неизвестно, да и вряд ли она выжила. Я обещал и выполню свой долг — показать мальчику родину, а расставаться с ним не буду, да и жена не выдержит этого. У Крыма здесь никого не осталось.

Оба — и отец, и сын — были задумчивы, почти не общались между собой. Когда миновали Голубые озера, дорога показалась очень опасной, и Крым оживился. Завидев бездонную пропасть, он побледнел, крепче вцепился в борт и в чрезвычайно сильном волнении начал смотреть по сторонам. Крым сильно изменился за эти десять лет. Бледность сохранилась, как в детстве, но черты лица переменились; он был долговяз, худощав, с густой кудрявой шевелюрой, черноглаз и в общем выглядел нормально, если не считать носа, разросшегося вширь и немного покосившегося в сторону. Кравцов вспомнил день, когда впервые вместе с Крымом покидал эти места. Крым, едва научившийся говорить, тогда плакал, бился в истерике, без конца оборачивался, не желая расставаться с родными горами.

А теперь с ужасом смотрел по сторонам, впившись пальцами в борт, как напуганный зверек. Испугался, видать, вида бездонной пропасти. Неужели он ничего не вспомнит?

— О чем ты думаешь, сынок?

— О чем же, как не об этих горах?— отвечал Крым.— Какая дикая и суровая красота.

— Нравится тебе здесь?

— Да, очень.

— А где тебе больше нравится — там, у нас на равнине, или здесь?

— Наверное, все же там — у нас,— ответил Крым, немного подумав.

Кравцов просветлел лицом; Кирилл смотрел на его вытянувшееся постаревшее лицо: странно, для чего отец при-

нев его сюда? Разве Кирилл родился здесь? А если он здесь не родился и никогда не жил, то почему эти места и дорога кажутся ему знакомыми? Или, может, у гор такая особенность — так и должно казаться? Ему хотелось расспросить отца обо всем этом, но он пока не решался. Кравцов чувствовал, что Крыма одолевают сомнения, хотел начать разговор, но нелегко ему было говорить об этом, нелегко было справиться со своими сомнениями. Да и чего он боялся? Его совесть была чиста. Если бы он не забрал осиротевшего, брошенного на произвол судьбы ребенка, кто знает, что бы с ним теперь стало. Целый народ был перемолот этой беспощадной государственной молотилкой; где теперь этот народ? Возможно, стерт с лица земли, уморен голодом и холодом, кто бы при таком раскладе пощадил Крыма.

— Ты узнаешь эти места, вид их говорит тебе о чем-нибудь? — начал Кравцов.

— Кажется, я уже видел это где-то. Очень давно, — ответил Крым, прислушиваясь к шуму Черека, блеснувшего на минуту и снова затерявшегося в теснине. — Что-то я не вижу здесь людей, и домашнего скота тоже не видно, а дома, вон, стоят. Поселок какой-то, видать...

— Здесь уже давно никто не живет, — сказал Кравцов, приподнявшись. Тотчас же ветер сорвал с его головы старую шапку. Кравцов посмотрел, как она приземлилась в кустах на обочине, но останавливать машину, поднимать шума не стал.

— Как это не живет? — удивленно посмотрел на Кравцова Крым. — А где же тогда хозяева этих домов?

— Их нет. Они переселились в другие места.

— На равнину?

— Может быть.

— И что теперь?

— Их переселили в далекие земли, очень далекие.

— Кто?

— Наше правительство. — Кравцову не хотелось говорить об этом с Крымом, и он не стал вдаваться в подробности.

Крым не придавал значения слову «переселили». Люди всегда переселяются в поисках лучшей доли. И потом, правительство — коль скоро переселило отсюда людей — знает, должно быть, что делает.

— Ты тоже в Ставрополь переселился отсюда? — спросил он Кравцова.

— Нет, — ответил Кравцов, — я пробыл в этих местах совсем недолго.

– Интересно, если и я родился в Ставрополе, то почему эти места кажутся мне такими знакомыми?

– Я объясню тебе это потом, попозже.

Крым не стал настаивать, его внимание привлек появившийся у дороги на въезде в Ухол старик. Облокотившись о каменную ограду, он смотрел на грузовик, как на необыкновенное чудо – видно, редко появлялся в этих местах транспорт.

– Вот, есть же здесь люди! – Кроме старика Крым заметил двух подростков – мальчика и девочку.

– Это бродяги, пришедшие со стороны.

С просторного плато Ухола открывался вид на другие аулы: прилепившись к склонам, они на небольшом расстоянии друг от друга расположились по всей солнечной стороне долины.

* * *

Халимат с самого восхода солнца стояла на мосту, не отрывая глаз от бурлящей горловины ущелья. Прошло неполных три месяца со времени ее последнего паломничества в Нальчик, где она обошла все улицы, провожая взглядом чуть не каждого встречного мальчика. Она понимала, что за столько лет Крым, конечно же, вырос и изменился, но полагалась на свое материнское чутье – лишь бы его увидеть, и все стало бы ясно. Ее знали учащиеся и учителя всех городских школ, сторожа и дворники, и считали ее умалишенной нищенкой. Так она, по существу, и выглядела со своей кумыкской котомкой и одетая в тряпье, неприкаянно встречающая зависимым взглядом прохожих, стоя где-нибудь в сторонке. Как-то раз один прилично облаченный мужчина (по-видимому, директор школы) остановился возле нее.

– Кто ты, кого ты здесь ищешь? Вижу, стоишь здесь каждый день с утра до вечера, – мягко спросил он.

Халимат давно отвыкла от серьезного к себе обращения и поэтому долго не могла собраться с мыслями.

– Почему ты постоянно ходишь здесь, ищешь кого-нибудь?

– Мальчика своего ищу, поверьте. Кто его забрал и где он теперь, я не знаю, – ответила Халимат взволнованно, наполовину разбавляя свою русскую речь балкарскими словами.

– Давно он потерялся?

– Да, давно. Его забрал военный, с тех пор минуло уже десять лет.

Директор школы с сочувствием посмотрел на нее, слегка покачал головой. Детей-сирот в школе было много, но чтобы кто-то из них был балкарцем, он не помнил.

— Сколько лет мальчику?

— Теперь ему четырнадцать будет.

Директор школы провел ее по классам, однако Крыма там не оказалось. Он помог ей посмотреть и по другим школам, водил ее несколько дней, но все безуспешно. После этого Халимат оставила школьные дворы в покое, но и в безлюдном ауле находиться было тоже невмоготу. Куда ей было податься, где искать, что предпринять? За прошедшие годы Халимат исходила все русские селения, ей были знакомы все дворы этих селений и люди, живущие в них. Последняя поездка в Нальчик ей тоже ничего не дала, и теперь ее дни проходили здесь, у перил моста, над бурным потоком. Она сама не знала, чего ждет здесь, уповала лишь на милосердие Аллаха, надежды не теряла. За послевоенные годы в аул возвращались с фронта солдаты и офицеры, не знавшие о разрушенных домашних очагах и бедствии, постигшем их родных и близких. Они помогали Халимат, прежде чем ехать в Азию, раздобыли ей корову, вскопали и обработали огород. О Кюркмазе, муже ее, никто ничего не слышал.

* * *

Солнце уже было в зените, смотрело сквозь раскаленный воздух, но Халимат не чувствовала жара его огненного глаза, свежий ветер с теснины, собирая ледяную влагу потока, овеивал ей лицо прохладой. Халимат отставила веретено, работа не шла, ей не давал покоя приснившийся накануне сон: необыкновенно красивая птица села ей на плечо; Халимат, изумленная, долго стояла так, прервав дыхание, не решаясь шевельнуться, хотя желание погладить птицу было невыносимо велико; затем — то ли она неловко пошевелила плечом, то ли еще почему-то — птица улетела, покружила над селом и села где-то в недоступном месте — Халимат не заметила, где именно. Сон был хороший. Скорее всего, сегодня для нее будут новости, хорошие новости. Об этом говорят и особое вдохновение с утра, и хорошие предчувствия, переполняющие сердце.

Халимат еще не обдумала значение сна, когда на дороге снизу, надсадно ревя, появился грузовик. У нее тотчас все оборвалось внутри, сердце бешено заколотилось и перехва-

тило дыхание. Ноги и все тело стали ватными, и если бы она обеими руками не схватилась за перекладину, повалилась бы на бревенчатый настил. Увидев находящихся в кузове мужчину и парня лет тринадцати, она вдруг заплакала, тут же выругалась на саму себя, успокоилась и, перебирая руками перила, словно измеряя их длину, двинулась навстречу.

Кравцов сразу узнал ее, но остановился вдалеке — он был потрясен видом этой женщины, что стало с нею за эти одиннадцать лет! Когда он выхаживал ее, это была стройная, с тонкими чертами лица, двадцатипятилетняя девушка. Но теперь перед ним стояла седая, словно старуха, женщина, одетая в заштопанное тысячу раз тряпье, сплошь покрытое заплатками, в ее внешности не осталось ничего, даже отдаленно напоминающего ту раненую женщину, за жизнь которой он боролся тогда с таким усердием. Кравцов был смущен, он не ожидал и не рассчитывал встретить ее здесь. Как она могла выжить? Да и выжив, почему оказалась здесь, а не в изгнании? Встреча была нежелательной, ведь не для этого Кравцов приехал сюда; он приехал посетить могилу отца.

— Крым, — прошептала Халимат, — Крым, мальчик мой...

— Отец, кого эта женщина зовет? — Халимат четко услышала его голос. Продвигаясь к нему, она оступилась и припала на одно колено.

Кравцов пожал плечами в ответ и, увидев, что женщина оступилась, подбежал помочь ей:

— Что с вами? Вставайте же.

Халимат, вытянув руки, снова устремилась к Крыму.

— Крым, мальчик мой, ты не узнаешь меня? — сказала Халимат, но тут же осеклась, осознав нелепость своих слов. Что ей было говорить и делать? Ничего другого ей в голову не пришло. В ее памяти в мгновение пронеслось прошлое, как от нее оторвали сына в трехлетнем возрасте, бессердечие людей, помутнение рассудка, как затем ей снова было суждено потерять его; не удивительно, разве он мог запомнить ее, узнать спустя столько времени?

Каким-то образом она все-таки дотянулась до него, обняла и так плакала, не чувствуя ни себя, ни времени.

Крым стоял в недоумении, опустив руки, словно плети.

— Чем я заслужила это, чтобы Аллах распахнул передо мною двери неба, — причитала Халимат, — как вырос ты!..

Халимат гладила лицо Крыма своими шершавыми ладонями. Поведение этой женщины смущало Крыма, но слова

ее напоминали что-то далекое и забытое, чем-то знакомым из детства веяло от этих слов. Но что могло быть знакомым ему в этих безлюдных заброшенных местах?

— Пап, она все время о чем-то говорит, я не понимаю. — Кирилл посмотрел на Кравцова, взглядом призывая его сделать что-нибудь.

— Голос у тебя совсем изменился, но глаза и брови остались те же, Аллах свидетель, — продолжала Халимат.

— Его зовут Кириллом, — сказал Кравцов, подойдя к ней вплотную.

— Ты говоришь Кириль? А что, очень неплохо: Кириль, — заспешила Халимат, — а ты, наверное, Карабчов, так?

Кравцов было немало удивлен: несмотря на произношение, фамилию его она назвала верно. Откуда ей было знать это?

— Меня зовут Сергеем Андреевичем, — сказал он, смущаясь, словно его кто-то мог сейчас уличить во лжи.

* * *

Длинный приземистый домик Халимат был аккуратно выбелен, стекла, словно только что вымыты, во дворе — ничего лишнего, все прибрано и выметено. Неподалеку от сарайчика в тени пряталась от жары пара овец, были и куры. Кравцову показалось неправдоподобным увиденное, не верилось, что эта нищенка может вести такое хозяйство. Он хорошо помнил — этот дом далеко не был похож на полуразрушенную саклю, где когда-то оставил ее умирающей, откуда забрал с собою Кирилла. В какой-то момент он даже усомнился, да она ли это на самом деле?

— Ты всегда жила в этом доме? — спросил он, показав рукою на выбеленный дом.

— Да, это дом моего отца. Крым тоже родился в этом доме, — отвечала Халимат.

Услышав родное имя Кирилла, Кравцов нахмурился и оглянулся, ища глазами сына. Тот слонялся по подворью, рассматривая хозяйственные постройки. Кравцова беспокоило все, что могло напомнить Кириллу о прошлом, Халимат же, напротив, молила Бога только об одном: чтобы в памяти его возникли воспоминания детства.

Кравцов подозвал Крыма, и они вошли в просторную прохладную комнату, нехитрым украшением которой была резная, мастерски сделанная кровать, да пара кийизов на стене.

— Ты устал с дороги, не суетись, посиди, — сказал Кравцов, присаживаясь у окна на приземистую табуретку. Он жалел, что пришел сюда, видел — Кирилл волнуется, что-то силится вспомнить и не может понять, что его так смущает здесь. Какие-то обрывки воспоминаний мелькали в памяти и тут же исчезали, упираясь в темную, как ночь, стену. Он не мог разобраться, что происходит, почему вид на дорогу и горная гряда так беспокоят его.

— Отец, кажется, что здесь все мне знакомо, все это я когда-то видел, — сказал он тихо, опустив голову.

— Возможно, — ответил Кравцов бесстрастно, — ведь я привозил тебя сюда. Здесь похоронен твой дед. — Кравцов удивлялся самому себе, что так легко может лгать, но ничуть не смущался. — Хотя не должно быть. Жил-то ты здесь всего неделю и был очень мал.

«Сколько волка не корми, а все в лес смотрит», — думал про себя Кравцов, исподволь поглядывая на Кирилла. Он злился на самого себя за то, что не вовремя и не к месту затеял эту поездку, злился на соседей, которые, возможно, поведали Кириллу, откуда он на самом деле, аж вспотел. Когда Халимат поднесла ему чашу с холодным айраном, руки его дрожали. Принесла Халимат айран в гладкой черной, как точильный камень, чаше и Кириллу:

— Кто бы мог подумать, что тебе еще доведется утолить жажду из чаши твоего отца, Аллах велик, — сказала Халимат радостно.

— Отец, о чем она говорит? — Кирилл чуточку отпил из чаши и поставил ее на стол. Но и Кравцов не очень хорошо понимал, о чем говорила женщина.

— Пей, говорит, что же еще. Это у них такой обычай: перед тем, как угостить, подают кислое молоко.

— Хороший обычай, — сказал мальчик.

— Хороший, говоришь? Вот как! — по желтым бровям Сергея пробежал нервный тик. Помолчав с минуту, он добавил: — Возможно.

Кравцов со стыдом признавался себе, что каждое движение этой бедной женщины раздражает его, хотя она всего-то хочет угостить их с дороги. Ведь он одним словом мог бы осчастливить ее, так ведь не смеет, хотя прекрасно понимает, что отнимает у нее последнюю надежду. «Не почеловечески это, — думал он, не отрывая взгляда от пестрого кийиза на стене. — Имеет ли он право отнимать у женщины единственную радость, оставаясь глухим к ее материнским слезам? Ведь он помнил, именно она тихо плакала,

провожая их, хотя, казалось, она уже ничего не видит, и не слышит, и не чувствует жизни. А если он оставит Кирилла здесь, что станет с ним и его женою? Нет, ни она, ни мальчик не должны почувствовать обмана. У человека не может быть две родины. Если Кирилл узнает свою изначальную родину, язык своей земли, он не станет верным сыном Кравцову. Рано или поздно он будет искать свою мать и свою землю. И тогда Сергею не миновать новых потрясений. Мало, что ли, бед он пережил на своем веку, мало крови пролил за благополучие этих людей? И отец его погиб в этих местах, и сам он пришел сюда с красным знаменем революции. А разве не он в годы Отечественной войны, защищая здешних людей, попал в беду — десять лет лагерей! И вот теперь новые огорчения... Хоть бы кто спасибо сказал. Пора и о себе позаботиться, свою жизнь устроить».

Последний довод поуспокоил Кравцова: нет, он больше никому не даст себя обмануть.

Тем временем Халимат накрыла стол: у нее был испеченный на сковороде хлеб и яичница. Следом еще принесла поджаренное сушеное мясо, сама отошла в дальний угол, присела: боялась, что от ее взгляда Крым будет стесняться и плохо есть. Можно было уйти, да не могла оторваться от Крыма. Кравцов удивлялся тому, как быстро изменилось все в этой женщине — и вид ее, и поведение. Нет, теперь она совсем не походила на ту женщину, что стояла на мосту. Она выглядела так, словно собралась на какое-то торжество — в легком платье, голова покрыта шелковым платком, лицо ее сияло, вся она будто помолодела. «Не так уж она и стара, — подумал Сергей, — лет тридцать шесть где-то... может, больше... Сколько бы ни было, но воля у нее, можно сказать, из железа...» Удивительно, он только теперь заметил, что Халимат и Кирилл были похожи. Особенно глаза и брови. Даже руки. Неведомая тоска снова начала одолевать Кравцова, он снова пожалел, что приехал сюда. Зачем, для чего он проделал этот долгий, нелегкий путь? Чтобы обмануть и себя, и эту бедную женщину? Кто его тянул сюда, что мешало ему оставить все как есть? Желая остаться честным перед самим собой, он поставил себя в такое дурацкое положение! И Кириллу плохо, и этой женщине, и ему самому новое горе...

Кравцов почувствовал слабость в ногах, легкая предательская дрожь пробралась под самые коленки, он с трудом проглотил кусок жареного мяса.

- Вкусно, очень вкусно готовите. Спасибо.
- Что я умею... Спасибо-то зачем, если не поели,— сказала Халимат.
- Поели, поели,— сказал Сергей на ломаном балкарском языке.
- Как, пап, ты по-ихнему говоришь?— удивился Крым.
- Нет, сынок, отдельные слова знаю.
- А ты, Крым, ни одного слова не знаешь? Ни одного слова не запомнил?

Кирилл снова вопросительно посмотрел на отца, ища помощи. Но Кравцов не стал переводить того, что говорила женщина. Он ответил вместо Кирилла.

— Не знай, ни один слов не знай... Откуда ему знать чужой язык?

Халимат опустила голову, почувствовала, что ее душат слезы. Но не заплакала. Она мечтала хоть о какой-нибудь вести о Крыме, и теперь, когда он сидел перед нею, стыдно было плакать. Нет, сейчас на всей земле не было никого счастливей Халимат. И все же было как-то странно, словно чьи-то невидимые руки режут ее сердечные жилы, и жизнь потихоньку вытекает из нее.

* * *

День шел на убыль, огранивая вершины последними лучами солнца. Скалы, бесстыдно голые, покрытые лишь едва заметной серебристой фатой, вырываясь из объятий вздувшихся кровью туч, тянулись за уходящим солнцем, но тень, как во все времена, медленно, но неумолимо овладевала ими, властно обволакивая изгибы и впадины на их телах. Дикие голуби, стаяй облепившие двор соседнего дома, разом поднялись, когда по ухабам дороги загремела ишачья арба.

— Много ли тут кабардинцев?— спросил Кравцов, чтобы прервать тягостное молчание.

— Да нет, их не так много,— ответила Халимат, обрадовавшись тому, что гость ее наконец-то заговорил.— Пять-шесть домов будет.

— Хорошо, что не одна семья.

— Да, наверное. Я с ними общаюсь, помогают они мне. Иначе как же.— Халимат вспомнила, что надо поторопиться пригласить Муаеда, который живет в верхней части села, чтобы он зарезал овцу для гостя. Она всегда держала лучшую овцу для жертвы, на случай, если будет весть о Крыме. Она, конечно же, хотела оставить Крыма, но не знала, как объяснить это русскому. Она со страхом и трепетом дума-

да, согласится ли, не будет ли сердиться. Если она сможет его забрать, он вспомнит, обязательно все вспомнит... Ах, если бы... Если бы Крым вспомнил материнский язык, он бы вернулся, не покидал бы ее больше никогда.

Халимат встала. Мешкая всякий раз, крутясь, она пыталась обратить внимание гостя на свою мольбу. Кравцов не был слеп, он, конечно же, все видел, все понимал.

— У меня там дело есть. — Она показала рукой на верхние села. — Если бы мальчик пошел со мной. Ведь ему, наверное, скучно здесь...

— Ящик... ящхи... яхши... Пусть идет, если хочет, — сказал Кравцов, помолчав с минуту. — А я чем-нибудь займусь пока.

* * *

«Если даже он позабыл все, окрест загона он обязательно вспомнит, — думала Халимат. — Здесь он видел Алакёза, впервые взбирался ему на спину. Ведь они так дружили, издали узнавали друг друга».

Она показала ему нишу старого очага в дальнем углу хлева, потом повела его по загону. Но нигде Крым не остановился, ничего его не взволновало.

— Никак ты позабыл Алакёза? — спросила Халимат, остановившись перед ним.

— Вы о чем? Кто это Алакёз?

— Что же мне, бедной, делать с тобою? — Халимат изменилась в лице; в бессильной тоске вышла на дорогу, по которой ходила на мельницу с Крымом.

— Ты называл меня Айба. А ну-ка, вспомни: Айба, Айба. — Женщина, чуть прикоснувшись к плечу мальчика, посмотрела в лицо.

Мальчик покачал головой: ничего он не понимал и не помнил.

Какое-то время они шли молча, потом Халимат снова остановилась, посмотрела на него с мольбой.

— Погляди вон туда, сынок, — сказала она и показала рукой на высокий склон.

Мальчик долго смотрел в ту сторону, словно Халимат показала ему что-то удивительное, но он никак не может увидеть этого. Стыдно ведь. Женщина поняла, что Крым не понимает и остановилась, вскинула руку, изобразила пальцем ружье и прицелилась во что-то.

— Вот там, приглядишься хорошенько, — сказала Халимат

умоляющим голосом. — Видишь вон то дерево? Ты называл его Айба и кричал Айба идет. Айба идет...

Лицо Халимат выражало тоску: да, не было у мальчика никаких проблесков пробуждения, не возвращалась к нему память.

— Ничего интересного там нет, горы как горы, — сказал Крым и пошел вперед. Они дошли до мельницы в верховьях села, не проронив ни слова. Халимат снова и снова слышала детский голос сына, но сам Крым не слышал, и оттого как-то устало опустился на придорожный камень.

* * *

Кравцов достал косу, которую вчера спрятал под волоком, и в раздумии долго стоял на краю косовицы.

«Если она сумеет вовремя собрать в копны сено, то на зиму ей хватит, — думал он, довольный своей косьюбой. — И свозить его отсюда будет нетрудно — хлев почти рядом, что там, вон отсюда виден». Он косил, и работа у него ладилась. Думая об удобствах одинокой женщины, он изредка поднимал голову и смотрел, так ли уж близко придется свозить сено, на самом ли деле дом виден отсюда. Но нет, не видать было отсюда ее жилища. Может быть, лучше покосить в саду под яблонями? Хотя что может сравниться по питательности с люцерном, а в саду трава растет буй. о. Нет, то, что было близко к дому, она и сама могла скосить и убрать, для здешних женщин это привычно, лучше подсобить ей там, где подальше. Кравцов хотел, чтобы Халимат была довольна им. Поэтому он с самого начала поставил себя так, будто он вовсе не чужак, а свой. На второй же день после приезда он отремонтировал сарай, обновил плетень. А со вчерашнего дня косит, не выпрямляя спины. С непривычки руки и ноги его затекли свинцом — ночью двигаться не мог: такое было у него состояние, словно он расплачивался за свои грехи, хотя чувство вины его едва ли было оправданно. И когда лезвие его косы притуплялось, и становилось трудно размахивать ею, он все равно упрявился, косил через силу. Были ли у него грехи перед Халимат, виноват ли он перед нею? Об этом он думал постоянно, но ясного осознания своей вины перед нею он не чувствовал. С какой бы стороны он не подходил, какой бы стороной не оборачивал дело, в оправданиях нужды не было: он вырастил Крыма, обучил его. Он и дальше должен заботиться о сыне... Хорошо, пусть Кравцов обо всем скажет мальчику, убедит его в том, что

эта старая женщина — его мать, а эта земля — родина. Что же дальше? А вдруг он захочет остаться с Халимат, будет ли он счастлив? Он не знает своей веры, языка. Конечно, в этом есть и вина Кравцова, но не для того же государство разогнало весь народ, чтобы он сохранил свои земли и свой язык? Если государство не чувствует за все это своей вины, отчего же он, Кравцов, должен мучиться угрызениями совести? «Государство, которое перемололо и раздавило тысячи, миллионы судеб, могло ли пощадить Кирилла? В чем же тогда моя вина? Может ли быть виновным человек, который вырвал из рук верной смерти живого младенца? И не только спас его, а вырастил, и, даст Бог, поставит его на ноги». Тут Кравцов снова рассердился на Халимат: ведь женщина никак не хочет понять, что долж-на быть благодарна за то, что Кравцов сделал для нее.

* * *

Солнце уже поднялось, и склон стал дышать жаром. Сергей сел на густой волок и вбил в землю ручную наковальню для точки кос. Удобно расположил косу, и начал отбивать ее маленьким молоточком. Он видел, как между молоточком и лезвием косы преломился солнечный луч и, разбившись, разлетелся в разные стороны.

Тонкий стальной звон отдавался в траве, и Кравцов услышал, как зазвенел зеленый луг, раскинувшийся по всему склону, давно уже не слышавший этого знакомого и близкого звона: пестрые бабочки, смущенные неожиданным звоном, тоже прислушались, притаившись на верхушках колеблющихся стеблей. И ястреб поднялся ввысь, замер в вышине. Кажется, он принял Кравцова, отбивающего косу, за причудливого зверя и с любопытством кружил над его головой.

* * *

Все еще надеясь пробудить память Крыма, Халимат выбрала дорогу на Уллу-аул. Она могла напомнить мальчику знакомые места, в конце концов должен же он был хоть что-то вспомнить! Ведь в детстве он много ходил по этой дороге, играл, отлавливая бабочек или скатывая со склона круглые камешки. Сколько раз он проходил здесь, держась за подол Айшат.

«Как же это, дитя мое, как ты мог все позабыть?» — думала женщина. Слезы душили ее, слова удивления и тоски

вяло умирали в ее высохшей груди. И было очень жалко себя и Крыма. И все же, не теряя надежды, она украдкой смотрела на мальчика, но бог памяти никак не спускался с небес, и мальчик оставался глухим к ее вопрошающему взгляду. Красивые его брови, зоркие, такие знакомые глаза никак не отвечали милым местам детства. Никакого знака пробуждения не подавали.

Снова шли молча. Но что еще могла сказать Халимат, если и эта старая каменная дорога ни о чем не говорила ему? Ведь только она, эта старая дорога его детства, только и могла залатать рваные дыры в его памяти, вылечить его от всех болезней. Но дорога безмолвствовала. И она, кажется, была оглушена буйно поросшей по сторонам крапивой и полынью; камни, на которых любил скакать Крым, оседлав их, как коня, и те остались в гуще этой буйной травы. Как же она может упрекать мальчика, если и камни тут затерялись, исчезли в траве и запустении.

Чью память могла разбудить дорога, которая и сама находилась в глубоком беспомыслии?

— Сыночек, неужели ты ничего не можешь вспомнить? Эти места...— снова и снова вопрошала Халимат, указывая рукой окрест.

Крым продолжал молчать, ничего не понимая.

— Ты что-нибудь вспомнишь? — и она застыла в ожидании ответа.

Мальчик остановился встревоженный.

— Нет, ничего. А что я должен вспомнить?— Крым помолчал с минуту, потом оживленно продолжил:— Кажется, этот звон я когда-то слышал,— сказал он, посветлев лицом,— но где — не вспомню.

— Бедный мой...— Халимат чуть не запрыгала от радости, всплакнула даже. Некоторое время она ничего не могла произнести.— Что ж, на все воля Аллаха. Если уши твои услышали, то и глаза увидят,— сказала она, также волнуясь.

Они остановились на краю обрыва. Отсюда можно было увидеть дом Айшат. Крым первым увидел низкий, с земляной крышей домик, приютившийся под косогором, и как-то странно притих. «Может, узнал его? Может, Аллах пожалел несчастную мать и осветил память сына?»— Так подумала Халимат. Но память — не синичка, не вспорхнет в испуге, оттого, что ее потревожишь. Ободрившись, Халимат встала поближе к мальчику и приумолкла.

Дом Айшат — без окон и дверей — стоял в крапиве по

самую крышу и походил на разбитый корабль в заброшенной гавани. Все — и хлев, и сарай, и собачья конура, и курятник, — все было единым остовом, затонувшим в густой высокой крапиве, что же могло сообщить мальчику лишенное жизни жилище? Сокрушаясь так, Халимат внимательно прислушивалась: где-то текла вода. До обрыва долетал тихий шорох, иногда пропадал в камнях, затем снова журчал почти рядом.

— Верно, где-то течет вода, — обрадованно сказала Халимат. — Видишь, и наш ручей еще не высох. А ты слышишь журчание воды? Она ведь течет под нашим сараем. Ты очень любил плескаться в нем и бегать бережком вверх и вниз... — Халимат, приставив руку к уху, снова посмотрела на Крыма умоляюще.

Крым молчал.

— Слышайт? — переспросила Халимат по-русски.

— Нет, ничего не слышу, — сказал мальчик.

У Халимат подкосились ноги, она опустилась на камень у обрыва. «Что же мне делать, как помочь бедному дитя? — сокрушалась она. — Тот, кто глух к земле своей, останется глухим и к людям. Как мне спасти его от этой беды? Найдут ли такое лекарство?»

* * *

Кравцов сидел в тяжелом раздумии, опустив голову. Халимат стояла тут же, теребя пальцы, словно испрашивая у них совета. Ее иссушенное лицо казалось еще тоньше, безжизненнее. Крым уже не скрывал, что хочет уехать отсюда поскорее, торопился в дорогу. Он то и дело нетерпеливо вставал, озирался и снова возвращался на место, садился рядом с отцом. Ему уже надоели эти, обросшие полынью, пыльные дороги, обезлюдившие полуразрушенные дома. Он соскучился по одноклассникам, оттого он поминутно бросал злобный недовольный взгляд то на Кравцова, то на Халимат. И сейчас в этом бессмысленном сидении он винил их, всячески выказывал своим поведением недовольство.

— Сколько мы еще будем тут сидеть? — спросил он наконец, не вытерпев.

Догадавшись, о чем говорит ее сын, Халимат, вся съежилась, вид у нее был настолько жалким, больно было смотреть. Кравцов ничего не ответил. Тишина в комнате стала еще тяжелее.

Все было готово к отъезду. Халимат сшила сумку из

белого кисея, наполнила ее всем тем, что имелось в доме — сыр, чурек, испеченный в сковороде. Она перешла еще рубашку Коркмаза для Крыма, жене Кравцова приготовила чувяки. Можно было все это сейчас же взять в руки и выйти. Но почему-то Сергей не торопился, все медлил. Стоило ему пошевелиться, как Халимат вздрагивала и, не в силах скрыть испуг, прятала лицо. Неужто собираются, уходят...

— Сын, может ты останешься, побудешь здесь? Поможешь ей и отдохнешь малость? Потом я приеду за тобой.— Кравцов посмотрел испытующе на Кирилла, казалось даже, что в эту минуту он не дышал. «А вдруг согласится, выскажет желание остаться?»— Кравцов пожалел, что предложил это сыну.

Крым возмутился:

— Отчего я должен остаться? Мне здесь скучно.

И снова повисла тяжелая тишина. Но Халимат подняла голову, выпрямила спину. Она вдруг опомнилась: нельзя выглядеть перед гостями жалкой, угрюмой. Она не должна унижаться, она еще не старая, не такая уж слабая. Женщина, которая еще не дожила до средних лет, никому не должна казаться беспомощной. Она пережила исчезнувшего мужа, переживает и это горе. Чем она была хуже других, чьи сыновья, сестры и братья погибли, ушли в небытие. А Крым... Он ведь живой. Он жив, и неважно, где он будет находиться, был бы жив. Так пристыдила себя Халимат и краем глаза посмотрела на Крыма. Не удивительно ли — ничего в нем не осталось от прежнего Крыма. Тот, прежний мальчик, который был таким сердобольным, который так ненасытно глядел на склоны и скалы вокруг села, ушел куда-то, исчез. Как пропали, испарились полные, шумные жилища в ущелье, так и сердце Крыма опустело, затвердело. Какая же это была сила, откуда она пришла, чтобы так бессердечно отнять у мальчика любовь к своему дому, матери и оставить его глухим к прошлому? Но Халимат не знала ответа на эти безрадостные вопросы. Все люди были разбросаны, разлучены, не она одна. У всех у них наказание одно. И судьба одна. И, наверное, нет в этом мире никого, кто бы не испытывал теперь горе.

— Не обессудь, нам пора идти,— сказал Кравцов, вставая.— Дорога дальняя, нет и надежды, что где-то мы найдем подводу.— Голос его был извиняющимся, печальным.

Халимат поняла, что Сергей говорит с тяжелым сердцем, и про себя поблагодарила его за это.

— Что же, уважаемый, не опаздывайте. За меня не пере-

живайте и не жалеите. Благополучие и беда ходят по одной дороге, — сказала женщина очень собранно. Но Кравцов-то хорошо понимал, чего стоит ей эта собранность.

Теперь на лице Кравцова не было сомнений, нерешительности тоже не было. Он был похож на человека, который в полной мере освободился от своего долга, оттого ему было легко. И выходя за порог, он бросил последний прощальный взгляд на Халимат, и этот взгляд говорил, что такова жизнь, и она всегда сложна.

Халимат шагнула за ними. Но в ту же минуту ноги ее подкосились, она перестала чувствовать руки, ноги — они вдруг отяжелели, стали чужими. Она с трудом дотянулась до испещренной пулями стены и, найдя в ней опору, все же вышла за гостями. Она шла, держа себя в руках, не выдавала уходящим свое состояние. Дойдя до моста, прислонилась к перилам и, покуда Кравцов вместе с Крымом не исчезли за поворотом, стояла так и смотрела им вслед. И лишь только тогда она отдалась той вселенской, уносящей ее куда-то силе. Она не помнила, сколько времени простояла, склонившись вниз с перил моста, но острая боль в животе вернула ее к жизни. Она не боялась смерти, она боялась, что умрет здесь, на дороге, как собака, она боялась за скотину, которая, если умрет, останется некормленная, и грех падет на нее. Во дворе были куры, две овцы и корова с теленком. В спешке, собирая своих гостей в путь, она не успела выпустить их, покормить.

Жизнь для Халимат теперь не имела смысла; чего могла ждать Халимат? Она ведь не будет ждать Крыма, выходить ему навстречу. Или же Коркмаз появится во дворе? У того, кто остается в этом мире без надежды, дни становятся черными. До сих пор у нее была надежда, она ждала вести от Крыма, ради этого жила, старалась, держала какое-то хозяйство. А теперь для чего оно Халимат?

Халимат собрала силы, и, часто останавливаясь, присаживаясь у дороги, дошла до дома. Она отпустила корову с телком, овец. И кур она выпустила. Но еще долго оставалась сидя на коленях у курятника, словно застыв в молитве. Среди множества мыслей, которые пронеслись в голове, устойчиво запомнилась только одна: исчезнуть. Но куда? Где прислонить голову?

И она вышла. Уходя по безлюдной дороге, Халимат вспоминала своих соседей, знакомых. Она вспомнила даже Чиппо. Нет, обиды она ни на кого не держала, никого она не винила в своей беде. Многие односельчане лежали теперь,

похороненные под забором без савана и молитв, были и такие, кости которых остались лежать в расщелинах и под камнями. Другие канули, защищая страну. До сих пор она жила с надеждой, что встретит кого-нибудь из оставшихся в живых односельчан. Но теперь и эта надежда умерла. Нет, не было надежды кого-то встретить, высказаться, попросить прощения, если за нею водились грехи, а может быть самой успокоить сердце, высказав обиды свои на эту жизнь. Наверное, каждый человек испытывает такое желание, но не каждому суждено в свой последний день высказаться, очистить душу. У Халимат эта возможность была отнята.

Она остановилась посередине села. От бессилия, оттого, что в голове путалось все, она не могла сообразить, где находится. Постояв и немного собрав силы, она поняла, что идет не туда. Надо было возвращаться в ту сторону, где находилось сельское кладбище, там покоились ее родственники, там находилось последнее пристанище многих ее односельчан. Дойдя до кладбища, Халимат присела на холмик у края, отдышалась и вдруг почувствовала, что земля тянет ее к себе. Она подумала, не забывает ли в этом мире сделать еще что-то – ведь мертвые могут и не принять – и вспомнила, что позабыла о чем-то важном. Кюркмаз, уходя на войну, именно ей поручил своего коня. В радостных заботах о Крыме бедная женщина вовсе забыла тебя, Алакёз. Но и ты хорош! Перестал приходить, и не видно тебя стало скачущим на голубом склоне. Или тебя задрала волчица? Или старость одолела тебя? Здесь Халимат пыталась собраться и вспомнить, сколько же лет должно быть Алакёзу? Нет, он должен быть еще не стар, всего лет четырнадцать-пятнадцать. Или с тех пор прошло столетие? Только Аллах может знать это.

Да, Халимат должна была искать и найти коня Кюркмаза. Она вдруг захотела прикоснуться к его гриве, погладить его шею. Женщина попыталась встать, но не смогла. Наоборот, плотнее прильнула к холмику и щекой прикоснулась к могильной земле. В какой-то момент в полузабытьи она то ли из-под земли, то ли со склона рядом услышала топот копыт. Топот усиливался и приближался к ней. Топот не просто приближался к ней, но перерастал в грохот, и вот уже все ущелье сотрясилось от этого топота. Поднятая этим шумом, Халимат увидела зеленеющий склон и скачущего по нему коня. Она обрадовалась этому видению, и на душе стало очень спокойно.

Или же это была птица? Ей казалось, что она зовет Алакёза, но своего голоса она не слышала, как и не слышала заклекотавшего парящего высоко в небе орла, когда скачущий конь пронесся мимо. Она успела заметить и волчицу, преследующую коня, но почему-то она напоминала небольшой шерстяной ком, приставший к густому развевающемуся на ветру хвосту Алакёза.

И с этой чудесной картиной в своем гаснущем взгляде Халимат снова прижалась к могильной земле.



КРАСНЫЕ ТРАВЫ *

ПОВЕСТЬ

1

В пору осенней стрижки к подножьям гор ложится тишина. Отдалась долгожданному покою натрудившаяся за лето земля. Не шелестят листьями деревья, притихли птичьи голоса. Кажется, даже орлы, высматривающие в небе, кого бы нацепить на коготь, кружатся лениво, едва взмахивая крыльями. И только мыши-полевки не знают устали, ведут какую-то свою тайную, скрытую от глаз работу. Их выдают опавшие жухлые листья: шевелятся, шуршат. А вон и еж показался, катится короткими перебежками, что-то нашаривает, вынюхивает...

– Ата **, смотри, смотри, еж! – не выдержал Тахир.

Азретали поднял голову, задумчиво посмотрел на сына.

Когда он сам впервые пришел с отцом на эту поляну, ему было, наверное, столько же, сколько сейчас Тахиру. Всего пять или шесть зим повидал к тому времени Азретали. Много-много раз с тех пор зеленели здесь деревья и травы, много воды вытекло из этого родника. Столько лет прошло... А сердцу по-прежнему все здесь дорого. Дороги каждая пядь земли, и обомшелые камни, и журчащий из-под них родник, и эти кусты барбариса, горящие огнем на краю поляны, и березы, белые, словно шали балкарских невест, со свисающими до земли кистями-ветками, и эти листья, что падают, тихо кружась, словно платок из лаудана ***, легко обвивавшийся вокруг шеи его матери.

* Печатается в сокращении.

** А т а – отец.

*** Л а у д а н – материя желтого цвета.

И эти пять могил...

Азретали снова взглянул на сына, погнавшегося было за оком, потом окинул взором место, где стоял их кош. В его развалившихся стенах теперь гнездятся ласточки, а в самой середине, на месте бывшего очага, растет одинокая сосна. С каждым годом травам и крапиве все легче взбираться на стены; сосна же набирает высоту: здесь для нее так много солнца и простора. Посадил ли ее тут кто-нибудь, или ветром принесено семя, кто знает. Но Азретали дорога и эта одинокая сосна, и эти старые стены, побелевшие от птичьего помета, и эти чуть осевшие стога сена, стоящие на поляне.

И опять защемило сердце: какими печальными, сиротливыми кажутся эти стога, сложенные отцом, и вся так аккуратно скошенная им поляна...

«Земля моя, — думал Азретали. — Тяжко человеку в разлуке с тобой — меркнет для него жизнь, тесным становится мир. Но и ты сиротеешь, когда умирает человек, любивший и лелеявший тебя. Поляна! Ты всегда чувствовала заботу моего отца. Он оберегал тебя от дурных трав, от неумелых, неласковых рук, от конских копыт. И ты была щедра в ответ, дарила свое богатство — цветы и травы. Теперь, видишь, я пришел сюда без отца. Нет его больше... Земля! Кто печалится сильнее тебя, когда умирает человек? Нет конца твоей памяти. Обрывается память человеческая, забудут тропу к могиле человека его родные и друзья, — ты же не забываешь ничего. Тяжек груз твоей памяти — не потому ли порою ты с глухим стоном проваливаешься внутрь?.. Ты испытываешь печаль сиротства, ты седеешь, как мать, всякий раз, когда принимаешь в себя умерших твоих сынов. Ты покрываешь их могилы зеленым бархатом трав, ковром из цветов... Благодарю тебя за твою материнскую ласку и заботу, за твои травы и цветы. Благодарю за то, что не оставила без могил моих братьев, моего отца. «Если умру, не потеряв чести, — говорил отец, — не оплакивайте меня. Если умру достойно — войду в могилу без страха, как в отчий дом, буду лежать там, как в колыбели, как на руках у матери» — так говорил он. Так почему меня душат сейчас слезы, почему я плачу? Нет, я не плачу... не плачу...»

2

Тихо осенью у подножий гор. Тихи могилы, возле которых стоит Азретали. Тихи деревья, стога сена, скошенная

поляна и это стадо камней. Все здесь тихо — как колыбельная песня, как сон младенца. Тихо...

3

Могил пять. Четыре из них старые, осевшие. Надписи на надгробных камнях потускнели. Много раз покрывались белой кипенью яблони, посаженные над могилами в тот год, когда они были вырыты, — если бы надгробные камни заговорили, они сказали бы: «мы видели это уже более двадцати раз». А пятая... пятая могила еще совсем свежая, от нее даже словно тянет еще сырой землей. Эта могила отца Азретали Каспота. В остальных лежат его старшие братья. Они похоронены здесь, вдали от аула, не потому, что такова была их последняя воля. Жители аула хорошо знают, отчего сыновьям Каспота выпало лежать у подножья гор, на поляне. Знают. И потому никто из старших не стал возражать, когда сказали, что и отца будут хоронить там: так завещал он. И никто из мужчин аула не тяготился провожать его тело до поляны, подпирать плечом носилки, на которых лежал усопший, а потом, по обычаю, целых две недели приходиться с рассветом на его могилу.

Азретали до сих пор трудно поверить, что отца нет, — слишком внезапной была его смерть. Всего лишь месяц назад Каспот был совсем еще бодрим стариком, легко взбирался на стог сена. И вот... А ведь он не болел, до самого конца ни на минуту не оставлял работы.

Каспот слыл мастером на все руки. Но особенно удавались ему колыбели — легкие, веселые, красивые. Никто не мог тягаться с ним в этом деле. Не было в ауле дома, где бы не склонялась мать-горянка над сделанной им колыбелью. За этот свой труд Каспот никогда не брал вознаграждения. И никогда не заставлял себя просить: стоило ему узнать, что в ауле появился новорожденный, как он тут же принимался за работу.

Но последнюю свою колыбель старик не успел закончить. Он умер в тот момент, когда украшал зыбку узорами. Тихо упал на спину и скончался... Кто-то из аульчан сказал тогда: «Колыбель Каспота осталась как недопетая песня». Провожая его в последний путь, вынесли и колыбель, отнесли в дом новорожденного. Один из старейших жителей аула лег в свою последнюю, вечную колыбель, а самый маленький — в теплую, солнечную зыбку...

А всего за несколько дней до этого Азретали виделся с отцом и говорил с ним здесь, на поляне.

Каспот косил траву. «Зачем ему это? — подумалось тогда Азретали. — Ведь сено для своего скота он заготовил давно. Уж не начал ли отец на старости лет скопидомничать — иначе зачем ему изматывать себя по такой жаре?» Аульчане называли эту поляну «поляной Каспота». Конечно, никто ему ее не дарил, она принадлежит всем. Но случилось так, что еще в год организации колхоза Каспот пришел сюда с отарой колхозных овец и поставил кош. С тех пор и начал косить эту поляну, и уже никто из жителей аула, из уважения к Каспоту, не приходил сюда с косой. «Но теперь отец постарел, — думал Азретали, — пусть косят другие. Сена у него и так хватает, а кому-то эта поляна, может быть, куда нужнее». Азретали даже услышал однажды, как кто-то говорил: «Перехитрил Каспот нас всех, лучшую поляну себе забрал».

Азретали осторожно высказал отцу то, что думал.

Каспот остановился, опираясь на косу. Крепкий, коренастый, — Азретали почему-то вспомнилось, каким высоким казался ему отец в детстве, а ведь он вовсе не высокий, пожалуй, лишь чуть повыше среднего роста.

Каспот продолжал стоять молча. О чем он задумался? Об этих облачках, серых, как его борода? О птицах в небе, что летят в неведомую даль? Стоит, смежив веки, молчит. «Обиделся», — подумал Азретали.

— Ты спрашиваешь, зачем я не даю себе покоя, — промолвил наконец Каспот. — Не дело говоришь, сын. Это сено мне не нужно. Хотя ты и живешь в городе, а должен бы знать, что мои стога идут во дворы вдовам или колхозной отаре. Пусть бы и другие косили тут, я бы рад был. Но ведь никто не придет сюда, пока я жив, — большинство-то людей у нас уважительные, совестливые, не позволят они себе такого, я знаю. Как же брошу поляну? За сенокосом нужен глаз. Трава — что волосы человека, ее надо вовремя снимать. Не скоси я сейчас эту траву — на следующий год она станет реже, а там, глядишь, и вовсе выродится. Так вот и лысеет земля. А человек на то и зовется человеком, чтобы не давать земле лысеть, чтобы помогать новой траве сменить старую.

Сказав это, Каспот снова взялся за косу. Он будто чеканил взмахи — энергичные, широкие. Азретали двигался за ним. «Как я мог сказать ему такое?» — ругал он себя. Ему вспомнилось, как аккуратен всегда был отец в кось-

бе, — ни за что не скосит лишь там, где трава погуще. Он сбрасывал всю поляну так же чисто, как брил свою голову. «Пусть редка трава, которую я кошу сейчас, — в следующем году станет гуще». Говоря так, Каспот порой скашивал площадь, на которой свободно уместилась бы целая отара овец, хотя знал, что сена с нее не накопилось бы на один выюк.

«Там, куда ступает нога горца, не должно быть высохшей на корню травы, — это неуважение к земле», — поучал он Азретали.

Старик остановился, отбил косу, потом, опершись на нее, сказал:

— Ты не оставляй этого места, приходи почаще. Я вот радуюсь, что могу трудиться здесь. Если бы мне даже пришлось впрячься в арбу, груженную солью, и возить ее тут день и ночь, я и тогда не ушел бы отсюда. Эта поляна пропитана кровью твоих братьев. Оттого так густа здесь трава. Не забывай: это место нам родное. Земля для нас потому и становится родной, что полита кровью и потом наших предков и близких. Правда, она никогда не жаждет крови, но пота — всегда...

Азретали смотрел на вздутые вены сильных рук Каспота, узловатые, ветвистые, словно корни дуба, на белую густую его бороду, на загорелую короткую шею — и думал о судьбе своего отца, так схожей с судьбою этой земли, которая столько раз вытаптывалась, горела, но не выгорела, не оскудела, осталась доброй и щедрой...

— И хочу напомнить тебе еще раз, — продолжил Каспот после недолгого молчания. — Когда умру, предай мое тело земле здесь. Пусть трава, корни которой пропитаны кровью твоих братьев, шумит и на моей могиле. Пусть березы — свидетели той давней битвы — склоняются и надо мной...

5

Чьи-то шаги прервали раздумья Азретали. Он оглянулся: шел его старший брат Каракай.

Каракаю перевалило за сорок, он высокого роста, лицо... Когда-то Азретали казалось, что лицо его брата, изъеденное оспой, все же не лишено мужской красоты и своего достоинства. Сейчас от этого ничего не осталось. Весь он почернел, словно обгоревший ствол дерева. Лицо заострилось, походка вялая, нетвердая.

Каракай подошел к сынишке Азретали Тахиру, который играл сухими листьями, хотел приласкать племянни-

ка. Но тот испугался, отбежал к отцу. Каракай остановился в растерянности.

Братья не поздоровались.

— При жизни отец не позволял мне приходиться сюда, к могилам моих братьев. А теперь вот иду к его могиле с плачем и мольбой, — сказал Каракай упавшим голосом. — Жизнь была немилостива ко мне, отняла возможность носить траур по братьям, стану носить теперь.

— На тебе лежит проклятие покоящихся здесь, проклятие этих трав, деревьев, камней. Зачем ты пришел сюда? — прервал его Азретали.

— Как тебя понять, брат?

— Ты не смеешь приходиться сюда, не тревожь своим присутствием прах отца. Таково было и его желание, — говорил Азретали, глядя не на Каракай, а на могилу Каспота.

— Считаю, что я пришел в горы или в лес.

— Горы кругом, леса обширны. Можешь бродить где угодно и выть волком, но только не здесь.

— Брат, как неуважительно ты разговариваешь. Ведь я твой старший, — сказал Каракай, пытаясь приблизиться.

Азретали отступил на шаг.

— Ты забыл свой долг старшего перед младшими. Братьев, отца и всех людей ты потерял давно — в тот день, когда бежал отсюда, спасая свою голову.

— Я бежал не от братьев — от смерти.

— Ты бежал, отбросив свою честь, как камень с дороги. Оставил тут свое достоинство, мужество. Думал, вернешься — и вновь найдешь их? Они сгорели здесь в тот день. Ты бежал с одной лишь своей тенью. Она и сейчас с тобой, вот она. Чего же тебе еще?

— Азретали, ты был ребенком, вот таким, как он, — Каракай показал на Тахира. — Что ты мог понять? У отца нашего не было сердца, он не знал жалости. Кровью наших братьев оросил он эту поляну, — видишь, трава ее и по сей день ржавая. А меня сделал несчастным, оставил мне в наследство лишь свое проклятие...

— Я не хочу слушать тебя! — Азретали взял за руку сына и пошел прочь.

Под их ногами шуршали сухие листья — будто на ветру провеивали ячмень. Ласково пригревало солнце. Откуда-то тянуло запахом спелых диких груш.

Как все же тесен мир, — думал Азретали. Хочешь не хочешь, а приходится ходить по одной тропе с Каракаем... И еще он думал о том, что достойная смерть высока как

сама жизнь. Каракай не сумел достойно умереть – и лишился всего. Нет ему места ни среди мертвых, ни среди живых. И никто ему не поможет. Если у человека горе, к нему на помощь спешат соседи, не оставят в беде. Но и родной аул отверг Каракаю, – недаром живет он в одиночестве, на отшибе от аула. На родной земле и в небе начертано проклятие Каракаю кровью его братьев.

Этот тяжкий груз всегда будет давить и на плечи Азретали. Ведь он и Каракай оторваны от одной пуповины, вскормлены одной грудью. Люди видят в них братьев. Но не хочет Азретали ходить теми же дорогами, что и Каракай, избегает встреч с ним. И все же они сталкиваются порой лицом к лицу – и тогда мир становится тесным, узким, как лесная охотничья тропка...

Мысли Азретали прервал Тахир.

– Ты обманщик, вот кто ты! – заявил он вдруг.

– Это почему же? – Азретали, остановившись, нагнулся к сыну.

– Опять мы возвращаемся домой без аппы *? А ты говорил, в следующий раз он выйдет оттуда, и мы возьмем его с собой...

Азретали, ничего не ответив, снова повел мальчика за собой.

– Он насовсем там останется? – все допытывался мальчик.

– Да, насовсем. Нет у нас больше аппы.

– Как же так? Звезды и солнце выходят же? А он почему нет? Ты же говорил: человек – как солнце. И потом, когда аппу унесли сюда, – мальчик обернулся и показал на могилы, – ынна ** причитала: «Звезды мои давно погасли, а теперь закатилось и солнце мое!» Это она про аппу. Но ведь солнце закатывается и снова выходит. Ну скажи, когда оттуда выйдет наш аппа? – настаивал Тахир.

– Когда ты станешь большим и пойдешь в школу, – ответил Азретали.

6

Каракай, оставшись на поляне один, некоторое время стоял, присматриваясь к окружающему. Кажется, ничто тут не изменилось, все как в его молодые годы. Вот только не было сосны. Когда же она успела вырасти, такая высокая?..

* А п п а – дедушка.

** Ы н н а – бабушка.

Но поляна та же. И вот этот большой серый камень... С его верхушки братишка Азретали не раз прыгал в расставленные руки Каракая. А теперь вот ушел, бросив ему в лицо горькие слова, словно кровнику... На этом сером камне Каракай сушил мидел * для своих и отцовских чабуров. Он любил ходить с отцом за отарой, сбивая мокнущими коленями утреннюю росу с травы. Любил...

Но сейчас он боится думать об этом. Он боится признаться самому себе, что некогда был привязан к этим местам, любил бродить по лесу, давя невзначай спелую землянику, подолгу сидеть, слушая таинственный шепот листьев, стоять под проливным дождем, теплым, как руки матери... Когда он напоминает об этом, его обжигают стыд и боль. Но каждый вправе говорить, что любит родную землю. Каракай сознает это. Самому себе не солжешь. Но и от воспоминаний, от прошлого не убежишь, их не прогонишь, как прогоняют надоедливого бездомного пса.

И Каракай вспоминал ушедшую молодость, братьев, отца; вспоминал, как шутил, веселился с девушками и парнями, которые приходили сюда из аула в пору осенней стрижки овец. Вспоминал все — и ему сдавливало горло. Нет теперь ничего. Всему этому он предпочел жизнь, которую влачит сейчас. С кем и с чем он остался? Все ушло, а с ним — только проклятие отца да его собственная черная тень...

7

Азретали не помнит, когда именно он осознал, что Каспот его отец. Наверное, он был тогда еще совсем мал. Отец уезжал в горы, где стоял кош, и подолгу не возвращался.

За это время мальчик успевал забыть его облик, как забывал, пробуждаясь, свои смутные, сладкие сны.

Но в один прекрасный день Каспот вошел в его жизнь навсегда. После этого дня Азретали уже не забывал, как выглядит отец, куда бы и на сколько тот ни уезжал. Быть может, это случилось потому, что отец тогда возник как в волшебной сказке и сам показался мальчику сказочным...

Азретали со своей матерью Эккяй были на крыше сакли. Эккяй провевала кукурузу, а Азретали просто глазел по сторонам. Стояла осень, и уже начали припугивать первые морозцы. Аульчане топили печи, не жалея заго-

* М и д е л — трава, которой набивают ч а б у р ы — плетеную обувь из сыромятной кожи.

товленных дров и кизяка; темно-синий дым валил почти из всех труб и столбами поднимался высоко-высоко, куда едва достигал взор мальчика: ветра не было.

— Эй, сынок! Твой отец возвращается с коша. Смотри, вон там! — воскликнула мать, не отрывая взгляда от дороги, что спускалась с гор в аул. — Ну, беги же встречай!

Но Азретали оставался на месте. Если спуститься с крыши, не видно станет всадника. А отсюда все так интересно! Ему казалось, что отец едет, обернувшись облачком, — такой белый был на нем башлык. Но лошадь под отцом — еще белее! Вспомнились недавние слова взрослых: «Зима за горами долго не задержится, теперь скоро придет». И ему вдруг подумалось, что это не отец его спускается с гор, а сама зима.

Белая зима едет верхом на белой лошади...

— Чабы, чабы! Зима едет! Белый мужчина на белой лошади едет! Чабы-ы, чабы-ы, — повторял, подпрыгивая, Азретали.

— Глупенький, не «белый мужчина», а отец твой, — поправила мать.

В самом деле, зима — холодная. А руки, щеки, губы отца всегда теплы, как парное молоко, — Азретали помнит это...

Каспот между тем не повернул домой, а продолжал путь, словно не замечая тех, кто стоял на крыше. Азретали огорчился.

После сказок матери ему во сне часто являлись нарты на белых лошадях, белый марал, прилетал огромный белый орел. Но Азретали не успевал сесть на крыло белого орла, оседлать белую лошадь, коснуться шеи белого марала, — они исчезали, наполняя его сердце смутной печалью. Иногда ему грезилось, что они, словно белые тучки, тихо плавают над какой-то зеленой поляной. Порой они подпускали его совсем близко и вновь отдалялись... Азретали еще плохо различал явь от сна. Он и наяву думал об этой зеленой поляне и мечтал отыскать ее, никому не раскрывая своей тайны. Оседлает белую лошадь, которую поймает там, и сам станет нартом. А целебное молоко белого марала будет отдавать больным... Но зеленая поляна появлялась пока лишь во сне, ночью, а днем мальчик опять терял ее. Он никак не мог понять, отчего же взрослые не найдут эту зеленую поляну и не оседлают себе белых лошадей, отчего не доят белых маралов, чтобы лечить больных. Может быть, не знают про них? Азретали-то знает, но слишком мал, потому и не может найти...

А вот отец нашел! Конечно же, эту белую лошадь он поймал там, на зеленой поляне. Теперь он должен взять с собою туда Азретали. А он куда-то удаляется...

— Ата-а, вернись!

Каспот не слышал. Мальчик видел уже только длинный распущенный хвост лошади да концы белого башлыка, развевающиеся на ветру, словно крылья огромной птицы.

— Ата, куда же ты? — Азретали заплакал.

— Что ты, сын? — обернулась к нему Эккяй.

— Почему он уезжает?

— Наверно, у него в правлении колхоза дела. Он всегда так: сперва туда, а потом домой. Ну, не плачь, ты уже большой. Сейчас вернется. Пойдем в дом.

Но Азретали остался ждать отца на крыше.

Солнце клонилось к закату. Казалось, там далеко-далеко — пешком ни за что не дойдешь — кто-то давит спелый барбарис и потихоньку льет его сок на вершины гор, на гряды облаков. Но вот облака постепенно сходятся, сливаются и закрывают глаз солнца. Теперь там уже не рваные облака, пропитанные соком барбариса, а целое полотно — огромное знамя, сшитое из пламени, развевается на самой вершине горы. Но чье же это такое знамя, кто мог поднять и поставить его так высоко? Азретали знает: оно принадлежит нартам, что живут за этими горами...

Но вот нарты немного передвинули свое знамя. Снова показалось око солнца, подмигнуло Азретали. Теперь оно не больше чурека. Золотит крышу, двор, дорогу — весь аул.

Азретали увидел наконец возвращающегося отца. Но теперь это был уже совсем иной всадник. Лицо Каспота, его башлык, лошадь под ним — все казалось золотым. И глаза лошади вспыхивали порой как два крошечных огненных чертика...

— Почему мой сын до сих пор на крыше? — сказал Каспот, спешиваясь и поднимая вверх распростертые руки. Мальчик прыгнул в них. — Хочешь сесть на лошадь?

— Хочу, — ответил Азретали, обнимая отца за шею и натывая щекою на его коротко стриженную, жесткую бороду, крепко пахнущую самосадом. Сильные теплые руки подняли мальчика высоко-высоко...

С земли белая лошадь виделась не такой высокой. Но как только Азретали очутился на ней, и двор, и бревно, лежащее во дворе, и щенок у порога — все оказалось далеко внизу. У Азретали даже закружилась голова. Однако он

ничуть не испугался. Он знал: если будет падать – белая лошадь подстелит ему свою густую гриву. Это осел подставляет человеку копыто, когда тот падает, а лошадь – гриву... Поэтому Азретали не боялся, а радовался, словно ему удалось взобраться на радугу. Он еще оседлает и радугу. Залезет на нее по кончику, который упирается в землю... Или с вершины горы... Нет, лучше забраться на радугу с этой лошади. А потом Азретали спрыгнет с радуги на землю, и исполнится все, что он ни пожелает и ни попросит. Так сказала мать.

Он пожелает, чтобы все больные в ауле вылечились, и больше никто не болел. Будет просить, чтобы в их двор пришли белые маралы, сели белые журавли... И еще он пожелает, когда спрыгнет с радуги, чтобы все его товарищи нашли своих белых жеребят и белых орлов. Но пока он не взобрался на радугу и не спрыгнул оттуда, надо поехать на зеленую поляну и найти своего жеребенка...

– Ата, ты возьмешь меня с собой на зеленую поляну? – спросил мальчик, цепко держась за гриву кобылицы.

– На какую поляну? – не понял Каспот.

– Ну, на ту, где ты эту белую лошадь поймал. Ведь ты ее там еще жеребенком нашел, правда?

– Ай-хай!* Конечно, возьму! – Каспот снял сына и расседлал лошадь.

8

Азретали проснулся рано, но в комнате, кажется, уже никого не было.

В этой просторной комнате с единственным окошком всегда, даже в самый яркий летний день, стоит полумрак – солнечные лучи не достают до углов. Поэтому и летом здесь прохладно. Справа от двери во всю длину стены подвешена доска – это полка. На ней большая деревянная чаша, несколько кожаных мешков с зерном, ведра с водой. У противоположной стены стоят три кровати, в углу – старый сундук. А посередине жилья – круглый очаг, такой большой, что вокруг него свободно могут усесться человек десять.

На дворе поздняя осень, и в этот ранний час было бы совсем темно, если бы не яркое пламя березовых поленьев в очаге. Оно хорошо освещает комнату: и полку с ведрами и мешками, и лицо Азретали, и отцовскую шубу, которой он укрыт, и кошку, лежащую перед очагом...

* Утвердительный ответ.

Азретали уже хотел было вставать, но вдруг услышал чей-то чужой голос и затаился.

— Я вошел в твой дом как проситель и гость. Не проножай же меня как врага, — говорил чужой.

— Если вошел врагом — врагом отсюда и выйдешь.

А это уже голос отца. Каспот помолчал и продолжал:

— Не пойму я, ты-то чего беспокоишься, что я не уступаю кому-то своей лошади?

— Товба, товба *, как ты можешь говорить «кому-то»? Ведь у него есть имя, которое надо произносить с почтением.

— Ты хочешь, чтобы я с почтением произносил имя человека, нарушающего горский обычай?

Азретали наконец рассмотрел гостя и очень удивился: Мусабий!

Мусабий часто бывал в ауле, но в их доме — никогда. Азретали он нравился. Все мальчишки аула любили Мусабия, когда он появлялся, бегали за ним гурьбой. Никто в ауле не одевался так красиво. Все ходят в чабурах, а Мусабий — в сапогах. Но взрослые, похоже, недолюбливают Мусабия. Азретали не знал, кто он такой. Несколько раз он спрашивал об этом у матери, но та отмахивалась: «Кем бы ни был — тебе не все ли равно?» Известно было только, что Мусабий служит в районе. Отчего мать не любит его? Сама же говорила, что он воевал вместе с отцом...

И вот теперь этот человек в такой красивой одежде пришел к ним! Но о чем это они говорят с отцом?

— Чтобы следовать за отарой овец, с тебя хватит и старого мерина. С правлением уже договорились. Что тебе эта кобыла? Ведь не твоя она, а колхозная. Отдашь — себе же на благо.

Мусабий сидел так, что одна его щека была повернута к очагу; она казалась багровой, и глаз горел, словно кошачий. Каспот подсушивал желтоватый мидел для чабуров.

— Я горец и пока еще не потерял свою честь, чтобы позволить другому горцу сесть на мою лошадь, — отвечал он. — Что скажут обо мне люди, если завтра на моей лошади станет красоваться этот?

Азретали понял, что речь шла о белой лошади отца, и это не понравилось ему.

— Можно подумать, что тебе обязательно надо ездить на белой! Неужели оттого, что под тобой окажется лошадь другой масти, твоя жена перестанет рожать!

* Восклицание, выражающее отрицание или раскаяние.

— Я этого не боюсь. Хвала Аллаху, у меня шестеро сыновей. Но даже если твой начальник останется без потомства — не отдам кобылу.

— Да не постигнет тебя кара! Говорю же: дадут другую лошадь.

— Ты уговариваешь меня, будто сватаешь мою дочь? Я так думаю: красивая, быстрая лошадь мне нужнее, чем кому-либо. Если у этого твоего начальника на плечах голова, а не куриное яйцо, то как он решился просить лошадь, на которой ездит такой же горец и мужчина, как он? Ведь попросить у кого-то лошадь — значит, сказать: «Я лучше его!» А колхозной лошадью ему и подавно нечего распорядиться. Я это и председателю нашему скажу. Прошли те времена, когда красивые, статные девушки и самые лучшие лошади оказывались во дворах лишь избранных Аллахом. Ты, Мусабий, забываешь, что теперь один горец не может насильно ссадить с лошади другого. — Сказав так, Каспот отложил в сторону мидел и начал мять свои чабуры.

— Значит, думаешь жить, не сходя с лошади? Смотри, не упади, — ухмыльнулся гость.

— Кажется, ты пытаешься меня испугать?

— Меня ты не испугаешься. Но бойся того, кого должен бояться...

Каспот оборвал его:

— Я боюсь только одного — обидеть достойного уважения человека. Но тебя обидеть не побоюсь.

Щека Мусабия, обращенная к очагу, окрасилась в цвет жженой черепицы.

— Ах так!.. — он вскочил и, не говоря больше ни слова, захлопнул за собой дверь.

9

На дворе лето, и Азретали уже не такой маленький. Родственники, соседи, встречая его, говорят, что он здорово вырос. Но Азретали и без них это знает. Прошлым летом он еле доставал макушкой до стремян отцовской лошади, а теперь дотягивается уже кончиком носа. Бурьян, растущий вокруг поляны, если войти в него, и сейчас закрывает все, кроме деревьев. Но стоит Азретали выйти на поляну, как сразу же он вырастает: высока трава на поляне, достает до живота белой кобылицы, а все-таки он выше ее на целую голову.

Откуда-то доносится запах оразыка * и спелой земляники. Густая, высокая, чудесная трава... Стоит дохнуть даже легкому ветерку, как она начинает тихо шелестеть, переливаясь волнами. Тогда Азретали хочется погладить ее, как материнские волосы... Но поляна не зеленая. Если взобраться на камень перед кошем и осмотреться, она кажется огромной бабочкой с узорчатыми крыльями.

Ни Каспот, ни его сыновья не пускают на нее овец. Только белой кобылице разрешено пастись там. Но Азретали никогда не видел, чтобы она жадничала, топтала траву. Ходит, словно девушка в цветнике, осторожно перебирая мягкими теплыми губами травинки и так же осторожно переставляя ноги, — ни один цветок не сомнет. И никуда не уйдет с поляны. Поэтому Каспот, ничуть не беспокоясь, мог оставить ее на поляне даже на ночь.

Нынче сыновья Каспота, за исключением двоих, в коше. Всего их шесть братьев. Самый старший, КанаMAT, служит в рядах Красной Армии. Нет и самого младшего, Хамитбия: он дома, помогает матери по хозяйству. Родившиеся вслед за КанаMATом Каракай и Шамиль — такие же, как и отец, чабаны. Шамилю, кроме того, достались обязанности повара. Он с удовольствием управляет на кухне, не то что Каракай, который считает, что стряпня — не мужское дело, и никогда даже пальцем не дотронется до теста. Иногда отец почему-то поругивает Каракаю, говоря: «Отпрыск ленивца»... Каракай рослый, стройный парень, у него уже пробились черные усики и борода. И Шамиль отращивает усы, только они у него рыжие; ростом он пониже Каракай, но плотнее его. А старшего перед Азретали зовут Гитче; этой весной он окончил пятый класс. Гитче иногда пасет овец вместе с отцом и братьями, но чаще остается в коше, заготавливает на зиму сухие дрова. Каждую неделю, тяжело навьючив ишака, он спускается в аул.

Азретали ревнует его в этой заботе, ему думается, что и он мог бы приезжать к матери в аул, пригоняя нагруженного дровами ишака. Пока же ему доверяют только отводить белую кобылицу к роднику. Но и это уже неплохо: его одногодки, наверное, и близко не подходили даже к обыкновенной гнедой лошади, не то что к белой. Иногда Азретали тайком от отца подводит ее к большому камню, взбира-

* О р а з ы к — съедобное однолетнее растение, листьями схожее с тмином.

ется на него, а оттуда – на спину кобылице. Спуск к роднику крутоват, и когда они едут на водопой, Азретали едва удерживается на холке. У самого же родника кобылица резко опускает голову, и он камешком соскальзывает на землю. А когда они возвращаются в кош, поднимаясь по тропинке вверх, Азретали тоже достается: он все время сползает на круп. Но тут выручает густая грива. К тому же идет кобылица тихим, степенным шагом: куда спешить – сыта, напоена. Однако не плошай: вдруг неподалеку заржет лошадь. Услышав это, кобылица встрепенется, вскинет голову и начнет в ответ судорожно ржать, будто всхлипывать. Тогда Азретали трясется и подскакивает на ней, как мука в сите. И все-таки ни разу она не сбросила его – умная она, белая кобылица.

В другое время Азретали подолгу сидит на большом сером камне у коша, сушит траву для чабуров отца и братьев или просто смотрит по сторонам, думает о своем. Хотя и мал Азретали, но уже начал понимать: мир устроен не так, как казалось раньше и как хотелось бы ему. Нелегко расставаться с той жизнью, которую ты сам придумал и украсил, но что поделаешь...

Подолгу смотрит Азретали на поляну, на опушку леса. Его глаза будто ищут что-то, а что – он не объяснил бы и сам. Азретали уже знает: белые жеребята не бегают косяками на полянах, они появляются только от белых кобылиц. И щенки появляются от больших, взрослых собак. Еще недавно соседская Гатча ходила с животом, отвисающим чуть не до самой земли, а потом куда-то исчезла и вернулась с семьей кутятами... И не от кого-нибудь, а от белой кобылицы следует Азретали ждать своего белого жеребенка. Но вот беда: сколько ни наблюдает он за ней, живот у нее никак не растет, все такая же поджарая.

Ну что ж, Азретали подождет: не появится белый жеребенок сегодня – появится завтра. У каждого человека, верит Азретали, должен быть свой белый жеребенок. Надо только очень сильно захотеть найти его. Если ты настоящий мужчина – ищи без усталости и жди. Азретали умеет ждать. Он верит: ни белая кобылица, ни поляна не обманут его мечты. Родная земля не оставит его без белого жеребенка, ее леса и горы не скроют от него своих туров, ланей, коз...

Правда, сейчас, когда в коше так много людей, лани редко появляются на поляне. Вот только что Азретали заметил трех на опушке леса, но едва лишь начал сползать с

камня — они вмиг исчезли. Отчего это? Ведь Азретали не желает им зла. Бедняги, не знают, наверное, кто может принести им добро, а кто — зло. Или тот, кто сулит добро, сулит и зло? Так и сказал однажды его старший брат Каракай: «Дождавшись добра — жди худа». И еще говорил: «Чтобы не обмануться в жизни, не столкнуться со злом неожиданно, живи, думая, что добро — это одновременно и зло».

Каракай намного старше его, старших надо слушаться и верить им — Азретали знает это. И все же не может поверить Каракаю. Вот если бы лани сейчас не скрылись, а подпустили его к себе, разве он причинил бы им зло? Он дал бы им лепешку, сорвал бы для них травы, погладил...

Азретали поделился своими мыслями с Каракаем, но тот высмеял его:

— Ты, конечно, еще сосунок, — сказал он, — но пора бы тебе знать: из леса выходят не только лани, но и волки. Пойдешь в лесок поживиться ланью или косулей — и сам станешь добычей волков. Вот как бывает! И у них так: подстерегает волк косулю, а выходит человек с ружьем... Не плошай!

— Значит, я должен остерегаться наших лесов и гор? Так, что ли? — огорчился Азретали.

— Разве я сказал тебе: будь зайцем? Надо быть таким сильным, чтобы, увидев тебя, все расступались и бежали.

— А я не хочу быть таким. Не хочу, чтобы меня пугались лани и косули. Вот от тебя они бегут — ты рад?

— Не волнуйся, далеко не уйдут. Захожу — моя пуля настигает их! А ты не будь безрогим ягненком.

Азретали, не зная, что ответить старшему, растерянно умолк. И тут он вспомнил слова отца.

— Ты неправду сказал, наш ата говорит: «Одинаково пугать ланей и волков может только недобрый человек». И еще он говорит: «Разве трудно понять, где крапива, а где цветы?»

— Нам не трудно, мы отличаем. А животные — глупые, неразумные, они не отличают. Лань бежит и от доброго, и от злого, боится и волка, и тебя — безобидного ягненка.

— Неправда, они умные, все понимают. Вон белая кобылица — как увидит в твоих руках уздечку, сразу убегает. А к отцу, Шамилю и ко мне сама идет! Что скажешь? И овцы, увидев тебя, шарахаются в сторону. А отец спокойно ходит среди них, и я, и Шамиль тоже! — теперь торжествовал Азретали.

Каракай был озадачен. Его злило, что его загнали в угол.

И кто? Сосунок, чьи пеленки еще просохнуть не успели! Но в словах Азретали слышалась правда, и он задумался. Отчего это, в самом деле, кобылица, словно дойная корова, спокойно идет к отцу и Шамилю, а как увидит его — сразу становится подобной шайтану, возле которого произнесли молитву. И что такого сделал ей Каракай? Посылает его отец, приведи, мол, кобылицу, а он возвращается с одной уздечкой... Хоть сквозь землю провались. Сколько раз бросал он свое самолюбие под ее копыта. Оттого не может он видеть белую кобылицу. И с недавних пор стал тайком от братьев и отца похлестывать ее: пусть знает... Но почему она и прежде шарахалась от него? Нет, что ни говори, Азретали в чем-то прав...

Но Каракай не хотел признать своего поражения.

— А почему лани одинаково пугаются и меня, который может достать их пулей, и тебя, безобидного?

— Ты был рядом со мной.

— Что же, если я спущусь в аул и ты останешься один — лани за тобой табуном станут ходить, что ли?

— Сейчас — нет. Сейчас они будут пугаться и тебя, я меня.

— А потом?

— Потом не будут.

— Когда же?

— Не знаю... Ата сказал: «Когда все люди станут добрыми».

— Это когда же будет?

— Не знаю...

— А не знаешь — так прикуси язычок! — Каракай нагнул на глаза Азретали войлочную шляпу и пошел в кош. Вскоре он вышел оттуда с винтовкой за плечами и направился к лесу.

Азретали сидел на сером камне, вспоминал этот разговор, как вдруг услышал эхо выстрела, раздавшегося на опушке. Азретали не обратил внимания: выстрелы из винтовки он слышал и раньше, отец с братьями не раз стреляли из нее...

Через некоторое время кто-то показался из леса и, пригибая траву, направился к кошу. Азретали всмотрелся: это шел Каракай. Но что у него на плечах? Что это?!

Азретали прыгнул с камня и бросился навстречу. Никогда он не позволял себе мять траву на поляне, не бегая по ней, а сейчас бежал, не замечая ничего, не обращая внима-

ния ни на траву, ни на хрупкие цветы. Из-под ног камнями вылетали короткохвостые сытые перепела...

Азретали добежал до Каракая и замер перед ним. Старший тоже остановился.

— Ну, что скажешь? — спросил он.

Мальчик молчал. Он не мог поверить тому, что видел.

— Что с тобой, забыл слова?

Каракай стоял, обхватив руками передние и задние ноги убитой им лани. Тонкие, стройные, как плети краснотала, ноги с острыми черненькими копытцами. Меж задними ногами виднелся толстый и короткий, как наперсток, сосок, сочившийся белыми слезами... Лань лежала на плечах Каракая, будто коромысло. Ее голова свисала вниз, касаясь пояса охотника, украшенного серебряным позументом. Во рту лани торчала недожеванная трава, — словно ею заглушили последний ее крик. «Зачем меня разлучили с этим чистым небом, с высокогорбыми горами? Зачем лишили радости видеть зелень травы, красу цветов?» — словно вопрошал мертвый глаз. Кровь, капавшая из-под лопатки лани, окрашивала плечо и грудь Каракая, алела на поясе, на подоле рубашки...

— Тебе все хотелось увидеть их поближе. Вот, смотри! — Каракай бросил мертвую лань на траву. Лицо его было темно-багровым, как пятна на одежде. Ворот рубахи расстегнут; струйки пота, стекая по лицу, по шее, исчезали за пазухой.

Азретали, не говоря ни слова, сел, склонился над ланью.

— Это была твоя лань? — наконец спросил он.

— В лесу их много. Какую убьешь, та и есть твоя, — спокойно ответил Каракай.

— Нет, нет, у каждого она одна-единственная. А ты убил. Теперь нет у тебя своей лани. И детеныш ее погибнет без материнского молока, — значит, еще кто-то не найдет свою лань, — говорил грустно Азретали.

— Ладно, успокойся, твою лань я стрелять не буду, — постарался Каракай утешить брата, хотя и не понимал его.

— Ты убил свою лань! Что скажет отец? Не боишься его гнева? — Азретали взглянул на Каракая.

— Почему это я должен бояться? Она ведь сама вышла мне навстречу. Кто же отказывается от своего счастья?

Азретали задумался. Теплый ветерок слегка волновал траву, шевелил шерсть лани.

— Говоришь, счастье? — поднял голову Азретали. — Зачем же ты пристрелил ее? Разве в счастье стреляют?

— Если бы не стрелял, она бы мне не досталась. И не было б никакого счастья!

— Значит, что не убьешь — то не твое? Чтобы добыть счастье, надо его пристрелить, так? Не верю тебе!

— А ты как думал, — воскликнул Каракай. — Что мне от журавлей в небе, от дичи в лесу, от туров на горных вершинах, если они не в моих руках?

В знак несогласия Азретали приподнял одно плечо.

— Ата говорил: «У каждого в небе есть звезда его счастья». Думаешь, у тебя есть?

— Ну, наверно, как и у всех, — замялся старший.

— Значит, ты и в свою звезду будешь стрелять, чтобы попала к тебе в руки? — допытывался Азретали. Он посмотрел туда, где небо сливалось с вершинами гор, словно надеялся увидеть там звезду свою и брата. Но ничего, кроме облаков, на небе сейчас не было...

— Звезда — это другое дело, — сказал Каракай после некоторого замешательства и, взвалив тушу на плечи, направился к кошу.

10

Вечером Каракай, стараясь как можно дольше не попадаться на глаза отцу, крутился возле отары, не подходя к кошу.

Каспот ждал его, прилегши на бурку, расстеленную на сене. Лицо его казалось необычно суровым. «Может, это оттого, что он сегодня побрился?» — думал Азретали. Когда отец подправлял усы и чисто выбривался, лицо его всегда становилось строже. Но Каспот угрюмо молчал, и Азретали, как и старшие братья, понимал настоящую причину его суровости...

Наконец Гитче сбегал за Каракаем. Когда тот вошел, Каспот не повернул головы в его сторону, будто не заметил. Все молчали, не смея нарушить тишину.

— Шамиль, дай-ка мне напиток, — сказал Каспот и, приподнявшись на бурке, сел.

Все ожили, перевели дыхание: своим долгим молчанием отец излил избыток гнева...

— Сын мой, садись-ка сюда, — сказал он наконец Каракаю, указывая место возле себя. Каракай сел, опустив голову. — Не я ли просил вас без моего разрешения не трогать винтовку, не охотиться? Как ты посмел убить лань? — сдерживая гнев, тихо спросил Каспот.

Каракай молчал.

— Ответь мне, я жду!

— Разве нельзя убивать дичь в лесу? — сказал Каракай еле слышно, не поднимая головы.

— Ты сегодня пустил пулю в свою родную землю! — загремел Каспот. — Ты сотворил зло!

— Отец, но ты сам учил меня метко стрелять. Если моя меткость приносит зло — зачем ты дал мне ее? Ведь не человека я убил, а животное. — Каракай заговорил смелее.

Каспот вновь прилег на бурку, задумался. Не ожидал он, что сын когда-нибудь спросит его об этом. Обучая своих детей меткой стрельбе, он считал, что дает им необходимое, достойное мужчины мастерство. А сейчас впервые в жизни задумался над тем, необходимо ли это мастерство. Нужно ли оно ему, его сыновьям, людям его аула. Если бы кто-нибудь спросил его об этом лет двадцать с лишним назад, Каспот не стал бы и разговаривать с ним, просто прогнал бы со двора.

...Нелегко далось ему это мастерство. Спасибо брату Аскеру. Он был таким стрелком, что о нем говорили во всех пяти балкарских ущельях. И не успокоился, пока не обучил своему мастерству младшего брата. Однажды Аскер показал ему летящую сороку и сказал: «Целься в голову». Но пуля Каспота запоздала, попала не в голову, а в шею птицы. Как рассердился Аскер! «Непутевый, снегом, что ли, твои глаза запорошило?!» — и ударил Каспота по лицу мертвой сорокой. Потом вырвал у него винтовку, выстрелил — и пролетавшая над ними птица камнем упала на землю с раздробленной головой. «Если ты и во врага будешь стрелять так — лучше бы тебе по утрам не просыпаться, не видеть белый свет!»

Мастерство, которому научил брат, никогда не приносило Каспоту огорчений, не тяготило его. Наоборот, не раз он слышал за него слова благодарности от людей аула. Меткая стрельба — как меткое слово. Слово может согреть, может и ранить душу, как пуля. Все дело в том, что ты вложишь в него. Путь зла надо пресекать силой, иначе оно будет множиться, как сорная трава. Слово пресекается словом, на пулю есть пуля.

И когда в горы пришли справедливость и свобода, пришла вместе с советской властью новая жизнь, пули братьев служили этой справедливости, защищали эту свободу и жизнь. Пробив грудь многим бедам и злу, они помогли

вновь разжечь потухшие очаги землепашцев и чабанов, дали жизнь новым песням...

И позже умение владеть винтовкой никогда не навлекло на Каспота проклятия аульчан. Его меткие выстрелы множили только радость. Как часто пули, посланные им вдогон волку, уносящему ягненка, возвращали того в отару невредимым, лишь испачканным волчьей кровью!..

— Ты спрашиваешь, сын, зачем я научил тебя метко стрелять? — заговорил наконец Каспот после долгих раздумий. Каракай и все братья молчали. — Учил не для того, чтобы пущенные тобою пули стыли в сердце родной земли. Не для того, чтобы ты без промаха бил ланей в наших лесах. Да, я учил вас. Но для того, чтобы, если придет такое время, целью вашей были только сердца врагов. Вот для чего я учил вас посылать пули без промаха!

Никогда еще сыновья Каспота не видели отца в таком гневе, не слышали у него такого голоса.

Каспот резко поднялся, взял бурку и вышел вон. Никто из братьев не осмелился последовать за ним.

Воздух беззвездной ночи был чист и свеж. На притихшие горы, лес, поляну словно накинули покрывало из черного бархата. Но Каспот уверенно направлялся к отаре. Дойдя до нее, он дважды медленно обошел овец и остановился, опершись на ярлыгу. Растревоженные мысли не давали ему покоя.

...Или не надо было учить Каракаю меткой стрельбе? Но ведь каждый истинный сын своей земли должен одинаково хорошо владеть и пастушьей ярлыгой, и винтовкой. А разве Каракай — не сын родной земли? Ну, ошибся в этот раз, в другой раз не ошибется. Нет, не надо требовать от него, чтобы забыл свое мастерство. И не устанет Каспот учить сыновей владеть оружием. Так надо, чтобы молчало оружие в руках врага, как молчит ярлыга в руках пастуха. Каспоту гораздо больше по душе ключья облаков, повисающие на деревьях, чем дым от его выстрелов. Но пусть никогда раскаты грома не сольются со взрывами снарядов. И если доведется вздрогнуть путнику, возвращающемуся с гор домой, то пусть это будет только от вспышки молнии... Каспот учит своих детей держать в руках винтовку, как учил их держать косу. Учит, чтобы мирным и спокойным был сон других детей. Горец, который не сможет оградить красоту от насилия, — разве горец? Не способный вырвать голубя из когтей улетающего ввысь коршуна — разве тот горец? Чтобы вместе с колыбельной песней в аулах не слышался

плач матерей, пусть рядом стоят и пастушья палка, и винтовка. Почему же Каспот должен жалеть о том, что научил Каракая стрелять без промаха?

Но нет чести тому, кто берет оружие с недобрыми намерениями. Если его сыновья окажутся недостойными доброй славы винтовки Аскера, — Каспот вырвет их из своего сердца.

11

С того вечера минуло много времени, быстротечного, как воды горной реки. Многие покинули этот мир и новые люди пришли в него. Азретали давно уже не безусый мальчишка, а мужчина, ему за тридцать. Жизнь не обделила его. В тяжкую пору войны Каспот, бывало, сажал его на колени и с грустью говорил: «Видно, не доведется тебе выучить даже начертания букв». Но Азретали выучился. Стал кандидатом наук. Ему довелось увидеть, как чудесно изменилась жизнь в родном краю. Горянки, еще недавно дивившиеся велосипеду, теперь садятся в реактивные самолеты, словно в арбу. Матери, не отпускавшие своих дочерей дальше двора, сами отправляются в дальние дороги, будто по тропе, ведущей к ручью. Книги, которых Азретали не видел и в шестнадцать лет, прочитаны его восьмилетним сыном. Ему снятся дальние страны и планеты, как некогда снился самому Азретали белый жеребенок...

Да, время меняет многое. Но есть и такое, что неподвластно течению времени, что не может быть забытым или прощенным. Память о погибших братьях, о своем раненом детстве никогда не оставляет Азретали, не дает ему покоя.

Вот почему сегодня Азретали вновь оказался на поляне.

Еще издали он заметил Каракая. Тот сидел у подножия могилы Каспота, обхватив руками колени. Гнев охватил Азретали: как смеет приходить сюда этот человек, которого прокляли отец и мать! Он не хочет встречаться с ним, и пусть Каракай убирается сейчас же, нечего ему тут делать!.. Ни приветствовать его, ни мирно говорить с ним он не сможет.

— Какой черт тебя сюда принес? — крикнул Азретали вместо приветствия.

Каракай поднял голову, посмотрел на него воспаленными, невидящими глазами.

— Не кричи на меня, брат, — отвечал он. — Когда я пришел сюда сегодня ранним утром, такая тишина была тут. И речка внизу показалась чистой, прозрачной, будто в пору

моего детства. А утро было ясное, солнечное... И не было надо мной тучи воронья – я увидел зелень трав и деревьев. Впервые с тех пор! И снова мне захотелось жить, радоваться жизни! Я стал бегать босиком по поляне, как некогда в детстве... Но ты видишь: трава обожгла мне ноги, словно я бежал не по траве, а по крапиве. Я коснулся цветов – они показались мне такими же, как прежде – но в мои ладони, вонзились колючки шиповника... Смотри же, брат, – Каракай поднял растопыренные ладони, и Азретали увидел на них тонкие струйки крови.

Что-то похожее на жалость шевельнулось в нем. Он смягчился.

– Как ты живешь? – спросил Азретали.

– Спрашиваешь, как будто не знаешь, – с тоской ответил Каракай. – Меня все прокляли. Сказали: «Пусть лицо твое умоется кровью!». И я несу на себе это проклятие изо дня в день... У меня такой же очаг, как и у всех, в тепле огня я не нуждаюсь. Но что оно в сравнении с теплом слов? – Каракай говорил это, не поднимая головы, опустив когда-то сильные, широкие плечи. – Однако как долго я ищу... Ищу, ищу, а найти не могу...

«Уж не теряет ли он разум?» – подумал Азретали, а вслух спросил:

– Что это ты ищешь так долго?

Каракай поднял с земли истертый, полусгнивший кусок хромовой кожи.

– Скажи, брат, может, этот кусок от моей шапки, оставленной тогда на этом месте? Сдается мне, что так. Я нашел его, когда рыл здесь землю...

– Ты ошибаешься. Что могло сохраниться от твоей шапки за тридцать лет? К тому же ты бросил ее не здесь...

– Где, где же она была брошена, скажи, сделай милость! – У Каракая загорелись глаза. – Если бы мне опять удалось обрести ее хоть на день, хоть раз показаться в ней на людях! Жизнь моя началась бы заново, я забыл бы все свои муки... Скажи, брат, где ее найти?

– Я не знаю, как найти сгнившую шапку. Ее не вернуть, нет такого способа. Неужели не понимаешь этого? – Азретали уже не хотелось продолжать разговор, и он думал только о том, как бы оборвать его.

– Я-то знаю такой способ, – в задумчивости проговорил Каракай. – Но что из того, что знаю... Вот если бы вновь в эти места пришла война, все увидели бы, что Каракай по-прежнему храбр и меток. Я оросил бы эту поляну кровью

врагов... Но не быть такому счастью... Пропадают зря моя храбрость и сила, и мастерство мое – словно битая черепица под золой. Эх, если бы опять выпал случай...

Азретали слушал и не верил своим ушам. И он позволил себе пожалеть этого человека!

– Что я слышу! – прервал он наконец изливания Каракая. – Значит, жизнь так и не научила тебя отличать добро от зла, мужество – от эгоизма? Ты всегда любил себя больше всех – оттого и бежал тогда с этой поляны. А теперь, снова заботясь лишь о себе, накликаешь войну, хочешь видеть народ в беде!

– Брат мой, я готов заслонить его от беды собственной грудью!

– Не верю! Ты был трусом – им и остался.

– Разве тот, кто не боится войны, – трус?

– Герои убивают войну, а трусы ведут ее за собой. Слышал, что трус бьет первым? Ты – трус, себялюбец! Ты не любил людей – они отвергли тебя. Живи, как знаешь. – Сказав это, Азретали резко повернулся и пошел прочь.

Как мог он поддаться жалости! Протянуть Каракаю руку? Лучше он отдаст тепло своей ладони любому холодному камню, лежащему на этой поляне! Рука Азретали могла бы протянуться Каракаю лишь вместе со множеством других рук. Но этому не бывать...

Азретали вдруг услышал за спиной учащенное дыхание.

– Брат, погоди немного, – раздался голос Каракая. Азретали приостановился, но не оглянулся.

– Ты опять уходишь, оставляешь меня одного? – со слезами в голосе проговорил Каракай. Азретали, не отвечая, двинулся дальше.

А ночью Азретали приснился сон.

В комнату бесшумно в белом саване вошел отец. Вошел и присел у дверей.

– Отец, почему ты остался там? Пройди, сядь у окна, – пригласил Азретали.

– Нет, сын мой, это место предназначено живущим. Мертвые не должны занимать места живых, – ответил отец.

– Ты остался среди живых – в ауле тебя помнят.

– Может быть... Но даже если забудут – я не посмею их упрекнуть: надо думать больше о живых, чем об умерших, – молвил Каспот, оставаясь сидеть на прежнем месте.

– Скажи, зачем ты пришел? – спросил Азретали.

– Я посетил тебя, тревожась за судьбу твоего несчастного брата. Не бойся, не тебя я зову, это ему недолго осталось собираться в последний путь...

– Чего же ты хочешь, отец? Уж не предлагаешь ли простить его?

– Не мертвым решать судьбу живых. Это вы делите с ним хлеб и воду – вам и решать. Но только знай: когда он умрет и придет в землю, я и там его не оставлю, выгоню. Не быть ему ни с живыми, ни с мертвыми. Несчастный, несчастный...

Сказав это, отец тихо исчез.

...И тут же Азретали увидел себя на поляне. У могилы отца Каракай, стоя на четвереньках, разгребал землю. Руки, лицо, обнаженная голова – все у него было запачкано глиной...

– Что ты здесь делаешь, Каракай? – спросил его Азретали.

– Не видишь? Раскапываю могилу отца. Он унес туда мою шапку...

– Прочь! – закричал Азретали – и проснулся.

Уснуть он уже не мог. Лежал, думал, вспоминал. Он ничего не забыл, он помнил все...

12

Наутро Азретали проснулся оттого, что на лицо ему упал солнечный луч.

Каспот встает с первыми петухами: он всегда сопровождает отару на выпасы. Азретали знает, что нехорошо залеживаться в постели. Но даже когда отец с братьями уходят, он продолжает нежиться на подстилке из сена: ему нравится ласковое прикосновение первых утренних лучей, – словно котенок трогает его своей теплой, мягкой лапкой. В коше одно-единственное окно, через него и проникает солнце, не достающее углы, где устроили себе ночлег братья. Азретали солнца не боится. Он берет лежащий рядом с подстилкой кусочек стекла – откуда тут взяться зеркалу – и начинает гонять солнечного зайчика. Светлый квадратик перебегает со стены на черную бурку отца, на постель Каракая и Шамиля в противоположном углу, а за ним серым лохматым комочком прыгает котенок...

И вдруг солнечный луч оборвался, погас. Азретали глянул в окно и увидел лошадиное брюхо и ноги, свисающее стремя, а в стремени – ногу всадника в сапоге. Вот эта нога зашевелилась, повернулась кованым каблуком – и тотчас широкая спина приезжего загородила окно. В коше стало

еще темнее. Потом открылась дверь, и вошли трое мужчин. Одного из них Азретали узнал: это был Мусабий. Двое других были ему незнакомы.

Азретали вскочил на ноги и стоял в растерянности, не зная, что делать. Мусабий подошел к нему.

— Гляди-ка, сам с кукурузный початок, а уже белье надевает, — хмыкнул он. — Будто сын эфенди, не может нагишом спать. — И вдруг закричал: — Ну, где твой отец прячет оружие?!

Азретали молчал: он не знал. А если б даже знал, не сказал бы. Пусть спросит у отца...

Мусабий толкнул Азретали с постели, пинком сапога отшвырнул подвернувшегося котенка, поднял подстилку. Потом сорвал со стены бурку Каспота, перевернул постели Каракая и Шамиля. Того, что он искал, не было.

— Ну, говори! — снова кинулся он к Азретали.

— Пойдем, Мусабий, — окликнул его один из спутников. — Спроси лучше его отца...

— Жаль! — воскликнул Мусабий, и они вышли.

Азретали выскочил следом за ними.

Поляна была залита солнцем. И все вокруг казалось таким же, как всегда. Но вдруг Азретали увидел: через всю поляну среди высокой, отяжелевшей от росы травы протянулись три глубоких темных следа. Помятая трава, сломанные цветы... Как же так? Азретали не мог поверить. Вместе с отцом и братьями он оберегал поляну от скотины, никто из них не позволял себе ступить на ее зеленый ковер, ходили только по тропинке. Отец говорил: эта поляна — уголок родной земли, топтать ее траву — все равно, что топтать косы матери... Азретали стало обидно до слез. Он стоял, смотрел на темные следы, на поломанные, вдавленные в землю цветы, на белую кобылицу, что паслась невдалеке и теперь настороженно подняла голову, косясь на незнакомцев.

А к ним уже спешили Каспот с Каракаем; проводив Шамиля с отарой, они в этот раз задержались на коше.

— Что же вы делаете? — заговорил Каспот, приближаясь. — Или вы не люди, не горцы, чтобы так испортить сенокос? Не могли пройти, как все? Эта тропа протоптана не менее достойными! — Каспот указал на тропу, ведущую к кошу.

— Можешь больше не беспокоиться о своем сенокосе, — сказал Мусабий сквозь зубы. — Пусть врагу моему будет столько пользы, сколько принесет тебе эта поляна нынче осенью!

— Знаю, ты готов сжечь все, что не на твоём дворе. Пропадай все пропадом, что не твоё! — отвечал Каспот.

— Посмотрим, что пропадет, а что найдется, — со значением сказал Мусабий.

— Нам надо торопиться, — подал голос один из приехавших с Мусабием.

— Ну, что ж, — Мусабий самодовольно ухмыльнулся, отчего его круглое, как чурек, лицо расплылось ещё шире. — Не захотел тогда по-хорошему сделать, о чем тебя добрые люди просили, — сделаешь теперь нехотя. И чести тебе будет, как бездомному псу. Веди сюда свою кобылу!

— Ах, вот что, — Каспот побледнел, ни кровинки не осталось в его лице. — Нет уж, иди сам, не развалишься! А я посмотрю...

Мусабий насупил брови, на скулах обозначились желваки.

— Ладно. Пусть будет по-твоему. Да пойдет мне мой труд на счастье, а тебе — на горе! — Мусабий сорвал со своей лошади уздечку и шагнул к белой кобылице.

Каспот знал Мусабия с детства: выросли в одном ауле, вместе когда-то бегали за телятами, устраивали скачки на осликах... Правда, чем старше они становились, тем реже сходились их тропки. Невелик горный аул, все там знают каждого, и даже собаки, встречаясь, дружелюбно помахивают друг другу хвостами. Но, хотя Каспот и Мусабий жили почти по соседству, так, что даже смешивались думы, поднимавшиеся по утрам над крышами домов их родителей, жизнь постепенно разводила их. Отец Мусабия был мельником, считался в ауле человеком обеспеченным и почтенным. А родители Каспота были бедны...

Опять сошлись их пути, когда в горы пришла новая жизнь. Отец Мусабия куда-то исчез в самом начале гражданской войны. От мельницы Мусабий отказался сам, всем говорил, что не хочет быть таким, как отец. Вместе с Каспотом и другими односельчанами пошел в отряд красных конников. Каспоту он казался неплохим парнем, хотя товарищи не раз говорили ему, что Мусабий трусоват, и вообще он случайный человек в отряде. Каспот не верил: может быть, воспоминания детства мешали ему тогда разглядеть в Мусабие то, что видели другие?..

Вот только наездником Мусабий был плохим. Однажды, когда в Холамском ущелье они преследовали банду, у Мусабия каким-то образом съехало седло, он запутался ногой

в стремени и повис вниз головой. Лошадь его испугалась и понесла, как необъезженная, не разбирая тропы. Если бы даже она не сорвалась в пропасть, Мусабий неминуемо бы погиб под ее копытами, или ударился бы о скалу. Но Каспот настиг его, ударом сабли обрубил стремя и успел подхватить Мусабия...

И стрелок из Мусабия был неважный; Каспот сам обучал его держать винтовку... Только провоевал Мусабий недолго: вскоре был ранен, вернулся домой и в отряде больше не появился. Может быть, не успел – война кончилась? Но никто толком не знал, в каком бою он получил свою рану...

В последнее время они встречались редко; Мусабий служил в районе и в ауле появлялся лишь наездами. Каспот радовался за него: как-никак соседями были, воевали вместе, а теперь вот Мусабий – большой человек...

Он, правда, не заходил к ним, когда приезжал в аул, – Мусабий вообще ни с кем из односельчан дружбы не вел. Но, встречаясь с Каспотом на улице, был неизменно приветлив и обязательно перекидывался парой слов.

Впервые он пришел в дом Каспота за белой кобылицей...

...Обо всем этом Каспот вспоминал, глядя вслед Мусабия, шагавшему с уздечкой в руках к этой самой кобылице.

«Нет, – думал Каспот, – не таков Мусабий, каким казался ему. Что же заставило его изменить свое лицо, отречься от памяти, бросить и совесть, и честь под каблуки сапог? Какая это сила так меняет человека? Или обязательно преуспевающий в чем-то поворачивается к ближнему спиной? Или жизнь так уж заведена, что обрывает связь между днем сегодняшним и вчерашним? Да будь ты неладен! Ведь настоящее для человека – как правая его рука, а прошлое – как левая. Порвавший с прошлым подобен безрукому. Нет, жизнь человеческая – что цепь, свисающая над очагом: разъедини хотя бы одно кольцо – и нет цепи, казан не подвесишь... Видно, Мусабий всегда был таким, каков сегодня». Правду говорили о нем товарищи в отряде. А он, Каспот, был слеп, слишком добр был к нему. Плохо, когда доброта слепа: не обращается ли она тогда во зло?..

...Мусабий подошел к Каспоту, недвижно стоявшему возле коша. Его спутники оставались на поляне, держа под уздцы белую кобылицу.

– Видишь, она не ушла от нас, – показал туда Муса-

бий.— Не уйдет и другое! Признавайся, где спрятал оружие?

— Не говори — оружие, говори: винтовка Аскера. Ты же знаешь,— ответил Каспот, сохраняя спокойствие.

— Я знаю другое: закон запрещает хранить оружие. Кто не подчиняется закону — тот враг!

— Я не враг, и это тебе тоже известно.

— Но закон знает лишь тех, кто его придерживается, и тех, кто его нарушает.

— И это говоришь мне ты, творящий беззаконие! — воскликнул Каспот, бледнея. — Закон — как ветвистое зеленое дерево, которое укрывает меня от дождя и зноя. Он бы понял меня и простил. А ты хочешь превратить его в палку! В законе — правда и справедливость, а ты наполняешь его злом. Аллах свидетель, кто из нас нарушает закон!

— Ладно, в этом без тебя разберутся,— оборвал его Мусабий.— Отвечай мне, правда ли, что хранишь винтовку брата? Правда ли, что стреляешь из нее вместе со своими сыновьями?

— На кош, где не стреляют, могут напасть волки...

— Ты — горец, как можешь нарушать тишину выстрелами?

— Мои выстрелы сохраняют тишину!

— Твоя ли это забота? Ты пастух. Нет, чтобы знать свою отару и жить спокойно.

— Ты хочешь сказать,— перебил Каспот,— что мое дело — ходить за отарой, влача ярлыгу, и ничего больше? Ошибаешься! У беспечных пастухов овцы погибают в волчьей пасти...

— Отдай винтовку! — требовал Мусабий.

— Но где она?.. — усмехнулся Каспот.

— Ах вот как ты заговорил! — взвился Мусабий...

— Мусабий, нам пора,— позвал его один из подошедших спутников.

— Но ведь... — заикнулся было Мусабий.

— Мы же не нашли... А то, что было велено, сделали. Довольно. Идем! — приказал подошедший.

Мусабий медленно, неохотно последовал за ним.

Каспот стоял, глядя вслед уводившим белую кобылицу. «Нет, белое не станет черным,— думал он.— Зло одержало верх над справедливостью. Но оно — от Мусабия. Слава Аллаху, не от закона, не от родной земли. А у такого зла дорога коротка — короче пастушьего посоха. Но кобылица, моя белая кобылица!..» — Каспот застонал...

Долго еще он стоял неподвижно. Наконец очнулся, взглянул на Каракая.

— Идем, нам пора к отаре.

Азретали, сидя на теплом сером камне, провожал взором отца и брата, пока они не скрылись совсем. И лишь тогда он посмотрел на поляну.

Смятая, полегшая трава, сломанные цветы, черные зияющие раны... Все перемешано, затаптано... Оживет ли теперь когда-нибудь поляна? Поднимутся ли ее травы, зацветут ли цветы?..

Не знает Азретали, сколько повидала поляна за долгие свои века, как много испытала, чему была свидетельницей. Топтали ее и волк, и лань, ласкало солнце и поливал дождь — она зеленела, но ударяла молния — и трава ее обращалась в черную золу. Все было, все. И все проходило...

Но Азретали не знал этого. Мальчик, впервые познавший настоящую горе, думал, что и поляна сегодня познала это впервые. Ему казалось, он слышит вздохи и стоны поляны.

— Ты плачешь? — спросил он.

И вдруг Азретали услышал грустную мелодию, какую никогда прежде не слышал. «Кто это играет на зурне?» — подумал он, оглядываясь кругом, но никого не увидел. Мелодия сперва звучала вдалеке, потом приблизилась, приблизилась к камню, заплакала, подобно орлице, потерявшей орлят; потом поднялась, закружила над поляной и лесом; опять вернулась к земле, заметалась в траве, словно куропатка с перешибленным крылом; грустная, точно ласточка, у которой разорили гнездо, и черная, как ее крыло, села на трубу дымохода; снова вернулась, прижалась к серому теплому камню, на котором сидел Азретали.

«Что это? Кто ты? Ты — раненый журавль? Или плач поляны?»

«Нет, мальчуган, это не я плачу. Это печаль, впервые тебя посетившая. Но ты крепись!»

Азретали узнал этот голос! Он уже слышал его однажды, когда впервые ехал с отцом на поляну...

«Тебя затаптали, поранили — ты не обижаешься на меня, на отца? Не сохранили тебя...»

«Земле не дано обижаться — она лишь чернеет... Меня растоптали... Но на вас обиды нет: вы не знали тех, кто приходил сюда, оттого позволили им ступить на меня. Ободришь же! Я почернела, но не сгорела, не стала золой. Знаю:

время исцелит мои раны, и трава поднимется снова, и цветы зацветут опять... Нет, я не плачу. Не горюй же и ты! Много я повидала, а ты только сегодня вышел на тернистый путь. Это путь жизни — крепись!»

Так говорила с ним голосом поляны родная земля.

И не ведали ни она, ни мальчик, какое испытание ждет их совсем близко: за горами уже притаилась война.

13

Солнце уже в зените, но Азретали, хотя его разбудили рано, все еще во дворе. Он охраняет от птиц кукурузу, которую мать сушит на расстеленной под открытым небом кошме. Азретали не привык сидеть вот так в бездействии, в иное время он наверняка рвался бы к друзьям поиграть в альчики. Но сейчас его никуда не тянет. То время ушло без возврата, сейчас не до игр.

А кругом все будто как прежде. Осеннее небо высокое и чистое. Дым над крышами столбами поднимается далеко вверх и там расходится, застывая небо ровной зеленоватой пеленой, дрожащим маревом. Густой лес, сбегавший по крутым горным склонам, остановился у самых огородов с не убранной еще кукурузой и картошкой. А пора бы и убрать огороды... Листья на деревьях горят, переливаются осенними цветами: там — язычки пламени, там — спелый абрикос... И тихо, и красиво, но как-то по-особенному грустно все вокруг.

Осенняя ли это грусть?..

Дверь кухни открыта, оттуда доносится вкусный запах кукурузных лепешек. Сейчас мать вынесет теплую лепешку с кусочком домашнего сыра. Но Азретали не думает об этом лакомстве, как думал бы раньше...

Во дворе, склонив лохматую голову на вытянутые лапы, лежит их пес, не отрываясь, смотрит на мальчика преданными и грустными глазами. Может, он голоден. А может быть, тоскует по хозяину?..

Грустен пес. Грустны огороды, дома. И идущие по улицам аула женщины и старики. Грустна и дорога, по которой Каспот обычно возвращался с коша домой: кажется, она теперь всеми забыта. Собаки в ауле и те не лают, лишь принимаются порою вить...

Война пришла.

Одним воробьям ничего не ведомо, чирикают, как всегда, а сегодня даже еще веселее: во дворе сушится кукуруза, и они, то и дело срываясь с карнизов, с каменных кладей,

поспешно хватают каждый по золотому зерну и улетают прочь, чтобы тут же вернуться снова. Но напрасно они спешат, стерегутся: Азретали не замечает их.

Он смотрит на себя и думает, что рубаха и штаны ему давно уже коротки. Раньше он ни за что не стал бы ходить в таких, да и мать давно бы сшила новые. Но теперь не до того... Одна только радость: вот уже несколько дней он носит краснозвездный шлем отца. Вначале Эккяй не разрешала: она верила в приметы, не позволяла никому из сыновей надевать одежду другого, особенно, если тот был не дома, не в ауле. Но потом вынула шлем Каспота из старого сундука и дала сыну: «Носи, такое время пришло». Мальчишки табуном бегали за Азретали, упрашивали хоть на миг позволить им надеть шапку батыра; красивые девушки, встречая его на улицах, улыбались и говорили: «Ты будешь таким, как отец»; а Мусабий, увидев однажды, погнался за ним с криком: «Отродье шайтана! Чтоб эта шапка вместе с твоей головой свалилась!» — но не догнал, конечно.

Теперь, кажется, шлем никого уже не занимает. Даже мальчишки перестали глазеть на него. К тому же их с каждым днем становится все меньше и меньше: жители аула, навьючив ослика или лошадь самым необходимым, уходят куда-то в горы. Вначале уходили лишь семьи и родственники партизан. Но когда прошел слух, что не сегодня завтра немцы займут Нальчик, стали уходить все, кто мог. Шумный, говорливый аул опустел, умолк, объятый непривычной тишиной.

Но появились и новые люди. Лучше бы они не появлялись!.. Эккяй сказала, что они из «бывших», когда-то жили здесь... Мусабий всюду семенит за ними по пятам, таскается, как хвост за псом, всячески стараясь им угодить. Каждый день забивает для них барашка. Эккяй говорит: «Что ему жалеть, не отцовское достояние растаскивает, а колхозное добро. Разве он горец, — негодовала Эккяй. — Сколько ему сделала добра советская власть, в люди вывела. Но, видно, сколько ни гладь крапиву — травой не станет. Мусабий из тех птиц, что садятся на поле, которое лучше наливется...»

Азретали кажется, что мать стала заметно ниже ростом, словно тает с каждым днем. С тех пор, как в аул пришли эти двое бывших, Эккяй выглядит еще больше озабоченной и суровой. Раньше, когда она делала бурки, то ни от кого не скрывала их. Теперь же не хочет, чтобы об этом знал даже

Азретали. Однажды он увидел под кроватью несколько буроков и удивился: для кого они? «Смотри, никому не проговоришь», — наказала мать. На следующее утро бурки исчезли...

Несколько дней назад Азретали случайно подслушал разговор матери с незнакомым мужчиной. Этот мужчина всегда приходил поздно вечером, когда Азретали и Хамитбий давно уже были в постелях. Переступая порог, он обычно спрашивал: «Дети спят?» Кто он? Азретали даже ни разу не видел его лица. Но именно после его посещений и исчезали бурки и башлыки. Может быть, он из тех, которых называют «партизаны»?.. Азретали понимал, что поздний гость не хочет, чтобы они с братом видели его, и потому честно старался не подсматривать из-под одеяла. Но виноват ли он, что уши улавливают то, что им не следовало бы слышать?..

— Правда ли, что немцы захватили Нальчик? — спросила тогда Эккаяй незнакомца.

— Пока еще нет, но дела не радуют, — отвечал тот.

— Как тебя понимать?

— Сестра моя, не хочу быть худым пророком, но подумай сама: они уже захватили Шхалуку и Яникой. Пуля, выпущенная в Шхалуке, долетает до города, не успев остыть...

...Вот какие дела. Настоящие мужчины, джигиты, днем и ночью бьются с врагом, защищают родную землю, а он, Азретали, валяется здесь на кошме, охраняет кукурузу от кур и воробьев. А еще носит шапку, да какую — отцовский шлем!..

Как все изменилось! Куда все исчезло?.. Где его сказочные сны, его мечты, кто разогнал, спугнул их, как птиц? Или их унесла с собой белая кобылица? Нет теперь ни белой кобылицы, ни ланей, не будет и жеребенка... Даже зеленая поляна перестала сниться ему, — может быть, после того, как ее растоптали?

Война пришла...

Мельницы на окраине аула, куда так любил ездить Азретали с матерью, уже нет: разбомбил немецкий самолет. Нет и белой школы — торчат лишь обугленные стены и трубы. Раньше, когда он смотрел в небо, то видел там парящего орла, пролетающих журавлей, ронявших свое «курлыкурлы». А теперь нет в небе серокрылых журавлей — там кружат вражеские «рамы», пролетают бомбардировщики, угрожая аулу, горам, лесу, поляне — родной его земле.

Азретали поднимает лицо к небу, и на глазах его выступают невольные слезы.

Азретали возвращался домой, подгоняя ослицу с осленком, которые паслись за аулом. Еще издали он увидел во дворе высокого мужчину. «Отец пришел!» — возликовал Азретали и пустился бегом. Но у ворот остановился в растерянности: во дворе стоял не отец, а какой-то совсем незнакомый человек. Он смотрел на Азретали, добродушно улыбаясь.

— Что же ты стоишь? Забыл своего старшего брата? Это же Канамат! Ну, обними его, — счастливым голосом подсказала ему мать.

Но Азретали, шагнув через жердь, перегораживавшую ворота, стеснительно и робко подал гостю руку.

— Ишь, бесенок, как вымахал! — воскликнул Канамат, подкинул братишку вверх, прижал его к груди.

Опущенный наконец на землю Азретали взглянул на брата, и у него заколотилось сердце. Канамат был вылитый Каспот, все в нем напоминало отца: лоб, глаза, брови... Заметил Азретали и другое: Канамат, прихрамывая на левую ногу, подошел к матери, взял из ее рук трость и оперся на нее... Но хромота, казалось Азретали, только украшала старшего брата, делала его еще мужественней. Только почему его одежда не похожа на одежду командира? Одна лишь фуражка с горящей звездой. И где же его оружие?..

Радость мальчика омрачилась. Но, войдя в комнату, он сразу же увидел у дверей винтовку со штыком и опять почувствовал себя счастливым: Канамат — боец! Пусть сунутся сюда враги — он им покажет! Теперь им с матерью и братишкой ничего не страшно. А когда старший вошел следом за ним в комнату и снял с себя телогрейку, — глаза Азретали загорелись, от восторга перехватило дыхание. На Канамате была гимнастерка с двумя кубиками в петлицах, на груди горела большая красная звезда с серебряным кругом посередине, блестели медали. Его брат — командир и герой! Нет, об этом нельзя молчать, пусть знают все — все соседи, родственники, весь аул! Он известит их, и каждый вознаградит его за добрую весть. И Азретали выскочил на улицу.

Радовалась и Эккяй. Она знала, что ее старший стал командиром, и гордилась этим. Слава Аллаху, он и в эти черные дни остался мужчиной, не выпустил из рук винтовку. Целых четыре года не видела она Канамата и теперь не могла налюбоваться им. «Ты тосковала по нему, жажда-

ла увидеть? Смотри – вот он сидит перед тобой. Вернулся, когда ты меньше всего ожидала!» Мать сидела у очага, не отрывая ласкового взгляда от сына. Как возмужал он за эти четыре года, как сильно стал похож на Каспота!

Но к ее радости примешивалась и тревога. Какая мать будет безоглядно радоваться возвращению сына, зная, что родная земля стонет под сапогом врага? Можно ли спокойно спать в мягкой постели, беспечно наслаждаться теплом очага, если враг уже заглядывает в дымоход? Почему он вернулся сюда? Или руки его уже не могут держать оружие? Или слабость закралась в его душу? Что будет, если, не приведи Аллах, завтра в аул придет немец? Что тогда станет делать ее сын? Зачем ожидать смерть от вражеской пули у собственного порога? Есть места, более достойные мужчины! И что, если он, чтобы сохранить свою жизнь, решится прислуживать врагу?! Пусть в тот день прервется его дыхание! «Судьба моя, – молила Эккяй, – ты вольна делать со мной, что угодно, но не лиши моего сына мужества, не оторви его от людей! Пусть я буду бродить по родной земле, вытирая косами пыль с ее дорог, с чабуров ее защитников – только вразуми моего сына! Он должен уходить, уходить... Но куда же и как он пойдет – раненый, еле волоча ногу? Сын мой, что же делать?» – вопрошали карие печальные материнские глаза. Будь здесь его отец – другое дело. Он бы решил судьбу сына, не дал бы ему сбиться с пути. А что может сделать она, слабая женщина?..

Но напрасно волновалась Эккяй – КанаMAT и не думал оставаться дома. Просто он не решался сразу сказать матери о скорой разлуке.

Гвардии лейтенант КанаMAT, тяжело раненный в боях под городом Прохладным, лежал в госпитале. Подлечившись, он снова вступил в строй. И вот в оборонительных боях за Нальчик был ранен второй раз... Отходившие в горы захватили его с собой, но трудно было в горах с ранеными, и КанаMATа отправили долечиваться в родной аул – иного выхода не оставалось. Вместе с ним вошла в аул недобрая весть о падении Нальчика... Вот почему и КанаMAT не мог по-настоящему радоваться встрече с родными. Надо немедля уходить к партизанам: не сегодня завтра сюда войдут гитлеровцы. Но как оставить мать и двух беспомощных братишек на растерзание волкам? КанаMAT не знал, что предпринять. Хоть бы вернулись отец с братьями!..

Каспот стоял на дороге, спускавшейся с гор, и смотрел сверху на аул. Вечернее солнце обаграло закатным огнем вершины гор и небосвод над ними. Лес вокруг него — справа, слева, за спиной — шумел, как огромное войско, оцетившееся копьями. И сам Каспот стоял перед ним, словно полководец. Этот бескрайний лес, и молчаливые скалы, стоящие подобно сторожевым крепостям, и вся эта земля, теплая добрая кормилица-земля, взрастившая его сыновей, — все это его несокрушимая кольчуга. Она защитит его даже от огня, если сама будет защищена им...

Отсюда Каспот мог видеть каждый двор родного аула, каждый камень у порогов, возле которых неподвижно лежали свернувшиеся клубком псы. Со всех концов аула к центральной улице сбегаются горные тропы. Еще недавно на них не прекращалось движение, как не прекращается биение крови в жилах. По тропкам-жилочкам сходились в сердце аула на гулянье девушки и парни. Эти тропы вводили мужчин в горы, в звездные выси. Но везли оттуда земные дары: овечий сыр, масло, дрова, сено — щедрые дары родной земли.

Теперь тропы опустели, не видно на них ни косарей, ни девушек, возвращающихся вечерней порою от родников с кувшинами, полными хрустальной водой. Кровью окрасились эти тропы, дороги и камни, на которых люди, бывало, отдыхали, слушая говор неутомимой речки...

Что ж, пусть судьбе будет угодно выжать нашу кровь до последней капли — лишь бы не ступила на эти тропы вражеская нога. Пусть лучше они зарастут травой! Да, пусть из нас вытечет вся кровь — лишь бы не иссохли корни трав и деревьев на нашей земле, и не лишилась влаги она сама! Каспот знает, верит: земля сторицей оплатит за все. Нет на свете ничего благодарнее земли: прольет за нее кровь один из ее сыновей — она подарит жизнь сотням; прольет пот — она озолотит целые поля. Благодарна земля, благодарна...

Так думал Каспот, стоя над своим аулом. А вечер между тем все усерднее водил вокруг черным ласточкиным крылом; зажигались в ауле редкие, как звезды в облачном небе, огоньки; еще тише становилось на тихой дороге...

...Каспот проскользнул во двор своего дома и осторожно постучал в окошко.

«Сколько счастья свалилось за один день на мою голову!

Это к добру или к худу?» — думала Эккяй, обнимая мужа. А к ногам хозяина ластился, тихо поскуливая, старый пес.

На следующий день Каспот с Канаматом и младшими были уже в пути: они направлялись в кош, где ожидали их остававшиеся там Каракай, Шамиль и Гитче.

Эккяй не было с ними: сколько ее ни уговаривали, ни упрашивали, она осталась дома. «Я уже старая, — говорила она, — куда мне идти. Провожу вас, а когда вернетесь — будет кому встретить. Я не дам остыть вашему очагу. А вы должны уйти все. Вы — мужчины, враги убивают мужчин. Отправляйтесь же, успокойте мою душу», — просила их Эккяй.

И теперь на дороге, вдали от нее, все они — и большие, и малые — каждый по-своему думали, тревожились о ней, жалели, что оставили мать одну. Но что поделаешь... И разве Каспот бежит, спасая собственную голову и головы сыновей, бросив ради этого на произвол судьбы Эккяй? Нет, Эккяй осталась дома, в родном ауле. «Там родственники, соседи, в случае чего — не оставят в беде». А он с сыновьями не просто бежит, он знает, зачем им надо в кош... И что уготовила им судьба — еще неизвестно.

Так утешал, успокаивал себя Каспот, думая об Эккяй.

Поляна, на которой стоял кош, не была уже тем прежним тихим, уютным уголком. Хотя сама война еще не пришла сюда, но тревожные ее ветры долетали не раз.

Иначе и не могло быть. Поляна лежала между двумя ущельями — Чегемским и Баксанским. Один из удобных перевалов из Чегемского ущелья выводил к поляне, а от нее через лес путь лежал в Баксанское ущелье. Фашисты упорно рвались туда, но оно осталось неприступным. Захватив в Чегемском ущелье поселок Нижний Чегем, враг решил пробиться в Баксанское ущелье через ближайший перевал. Но отдать перевал значило отдать и Баксанское ущелье, позволить выйти в тыл защитникам многих важных стратегических пунктов... Неоднократно отбитый частями Красной Армии и партизанами враг больше не появлялся. А вскоре главные события стали развиваться на другом направлении. Защитники перевала были переброшены отсюда... Лишь изредка теперь в кош Каспота навевались партизаны, угоняя с собой десятков-полтора овец для отряда.

Незадолго до этого Каспот с сыновьями действительно пытался переправить отару на ту сторону гор. Но было по-

одно: за перевалы Донгуз-Орун и Бечо уже начались ожесточенные бои. Потеряв немало голов овец, Каспот вместе с Каракаем, Шамилем и Гитче вернулись на прежнее место. С тех пор и стал кош на поляне партизанской кладовой. Правда, невелика была кладовая: в отаре, насчитывавшей перед самым началом войны тысячу шестьсот голов, осталось всего около четырехсот. Но какой бы малочисленной ни была отара — она колхозная, принадлежит народу. Здесь, на поляне, советская власть, и долг Каспота — беречь ее добро...

16

Наверное, всю ночь моросило, а под утро ударил мороз: успевшая подрасти после первого укуса трава покрылась ледяной коркой. На каждой травинке затвердели дождевые капли, и сейчас они отражают холодные, не греющие солнечные лучи, — все искрится, сверкает. Резкий ветер, бегущий над поляной, заставляет обледенелую траву звенеть, словно пересыпая стеклянные бусы. Ветер гнет и треплет верхушки молодых деревьев, свистит в оголенных ветвях. Он словно заблудился в скалах и никак не может выбраться на простор, то воет голодным волком, то скулит, мечется вверх-вниз. А вокруг застыли в угрюмом молчании поседевшие горы.

Вот уже три дня и три ночи, как пришли сюда Каспот с сыновьями. Но по-прежнему здесь стоит тишина, будто и нет нигде войны, не идут бои за балкарские ущелья, за перевалы.

Эта тишина и покой постоянно напоминают им об Эжкяй, о том, что она осталась в ауле, где, наверное, уже хозяйничают немцы. «У нас тут благодать, мы в безопасности, а она, слабая, беззащитная женщина, покинута всеми. Суждено ли нам погибнуть или остаться в живых, что бы ни свалилось на плечи — все мы должны были испытать вместе», — казнил себя Каспот. Может быть, впервые в жизни он принял неверное решение, да и сейчас ни сам не мог решиться на что-то определенное, ни дать совет сыновьям.

Назад, в аул, пути не было. Уйти к партизанам? Но как быть с Азретали и Хамитбием? Да и с овцами. А оставить овец, скрыться в горных лесах — значит, забыть свой долг. Еще в первый день, когда они прибыли сюда, командир партизанского отряда сказал: «Вернемся — видно будет, а пока — все под вашу ответственность». Он же распорядился выдать им оружие. С тех пор от партизан никаких вес-

тей. «Может, отряд разбит, и все они погибли?» — думал Каспот. Не привыкший к бездействию, он не находил себе места в коше. За эти три дня и три ночи он снимал с себя бурку и отставлял винтовку, наверное, не больше двух раз.

Наконец сегодня Каспот решил отправить в аул Шамиля: пусть проведает мать, а заодно разузнает, что там делается...

Шамиль пошел и тут же — за это время не успел бы навьючить осла — примчался назад.

— Отец! Там, в ущелье, немцы! Идут сюда! И Мусабий с ними — я узнал его! — выпалил он единым духом.

— Вот как! — Каспот почувствовал, что во рту у него вдруг стало сухо. — Значит, они уже в ауле. — И снова ему вспомнилась Эккяй... — И Мусабий ведет их сюда... — Каспот посмотрел на Азретали, на Хамитбия, потом повернулся к старшим: — Ну, дети мои, настал и наш час. — Сказав это, он направился туда, откуда мог появиться враг. Сыновья двинулись за ним.

Одним своим краем поляна примыкала к густому лесу, уходящему высоко в горы. Оттуда, с гор, к кошу можно было выйти без труда. На противоположной стороне высились отвесные, голые скалы, поросшие редкими березками. Самым уязвимым направлением было то, где стоял сейчас Каспот с сыновьями. Незнакомому с этими местами могло показаться, что ущелье ведет прямо к поляне и здесь заканчивается, и что речка, которая вьется в теснине, тоже берет свое начало от поляны. Но так лишь казалось. На самом деле метрах в шестистах отсюда в ущелье было коллено, и по нему также проходила дорога вверх, в горы, откуда легко можно было зайти им в тыл. Если бы не Мусабий, быть может, враги не заметили бы обходной дороги. Но Мусабий, конечно, знал здесь каждую тропу...

Каспот, стоя за скалой, всматривался вниз — пока никого не было видно. Сыновья стояли рядом. Никто из них не произносил ни слова. Только ветер все выл между скалами да трепал полы бурок. Слабые солнечные лучи все же потихоньку делали свое дело: трава постепенно освобождалась от ледяной корки, оттаивали камни, стволы и ветви деревьев, — в тишине было слышно, как падают на землю тяжелые звучные капли...

Прошло еще немного времени, и из-за поворота ущелья, словно голова гадюки, выползла голова вражеской колонны. Солдаты шли в затылок друг другу, растянувшись вдоль речки. А впереди — проводник, Мусабий.

У Каспота перехватило дыхание, побелели пальцы, сжавшие спрятанную под буркой винтовку. Враг есть враг — тут не о чем говорить. Но невыносимо было видеть предателя. Он бросил им под ноги честь своего народа и родных гор...

Между тем враги приближались.

— Ничего страшного, ребята, их не так много. Я посчитал, всего двадцать два, — бодро сказал Каспот.

— Однако и не мало, — отозвался Канамат.

Немцы были все ближе, холодно поблескивало оружие.

— Отец, чего мы ждем? Надо что-то делать, — подал свой голос Каракай.

За последний год Каракай заметно возмужал. Он стоял сейчас в своей черной бурке высокий, сильный, с бронзовым, обветренным лицом, и Каспот, взглянув на него, невольно залюбовался сыном. Сегодня он особенно надеялся на Каракаю, на зоркость его глаза, твердость руки...

— Сыны мои, — сказал Каспот тихо. — Если вы увидите, что в ваш дом заползает гадюка, — разве вы станете ждать моего повеления, чтобы размозжить ей голову? Не спрашивайте же у меня, что нам делать. Вы знаете это сами, — с этими словами он вынул из-под бурки винтовку Аскера...

— Отец, но что мы можем сделать?! Что будет с нами! — вырвалось у Каракаю.

— Когда дети бросаются защитить свою мать, они не думают, что будет с ними, — ответил Каспот.

Потом он распорядился отвести младших в укрытие, еще раз проверить оружие и патроны.

Все молчали. Да и о чем было говорить? Сыновья знали, что им делать. Они лишь ждали отца: как только вырвется дым из ствола его винтовки — они сольют с ним дым своих выстрелов. А пока все четыре брата, согрвая грудью холодные камни, смотрели на приближавшихся немцев. За исключением Канамата, никто из них еще не сталкивался с врагами в бою, не видел их в лицо. Но никто из братьев не думал сейчас, что все кончено для них на этой земле, что сегодня они в последний раз познали вкус хлеба, отпили последний глоток воды. Они верили в отца: он рядом с ними, он силен, рука его тверда...

Каспот же стоял и думал обо всех. Он думал, что больше не встретиться ему с Эккяй, останется она совсем одна... Он стоял и всматривался в лица сыновей, мысленно прощаясь с ними. «В эту зиму можно было бы женить и Канамата, и Каракаю», — подумал он. Потом, забыв, что велел увести

младших, искал глазами их. Но оказалось, они пришли сюда, к старшим, и стояли теперь под деревом с широко раскрытыми глазами... Каспот посмотрел на них и быстро отвернулся. «Беспомощные ягнята... Что с вами будет? Зачем я не оставил вас с матерью?»

— Эй, глядите веселее! — крикнул он старшим.

А враги уже свернули по дороге, ведущей к поляне.

Каракай вдруг почувствовал, что его всего трясет, и ничего не мог поделать с этой дрожью... Неужели придется погибнуть вот здесь, сейчас?.. Целый год он не спускался с коша в аул, не был дома. Уже почти два месяца не мог даже сменить нательное белье. Сколько лиха хватил он, когда гнали овец к перевалу... Но и когда вернулись — легче не стало. А кто хотя бы поблагодарил его за такой труд, за то, что забыл горячую пищу, теплую постель, родной дом?.. Редкие гости из партизанского отряда справляются только об овцах, им один интерес — было бы мясо. А Каракай и не замечают, будто он какая-то плешивая чесоточная овца... И вот теперь, после всех этих испытаний, он должен погибнуть здесь, за этими холодными скалами? Умереть, как собака, не сменив даже нательного белья... Вот какова жизнь человеческая — грош ей цена. Человек — песчинка среди этих скал: унеси ее ветер — что от того скалам?.. Человек — былинка на бескрайних лугах: скоси ее — кто заметит и что изменится в лугах?.. Так почему же он должен сложить здесь свою голову? Кому это надо? Вон куда отошли, сколько земли отдали немцам... Так чем же он хуже тех, которые отступили, но сохранили свои жизни?.. У него не меньше мужества, чем у тех, — убеждал себя Каракай. — Отец сказал: «Враги найдут здесь свою гибель!» Но почему и он, Каракай, должен погибнуть здесь с ними? Уйти в горы, укрыться там в пещерах, в непроходимых лесах — разве это не разумнее, чем уподобиться петуху, который, видя парящего над ним коршуна, взбирается на шесток?! Конечно, кому охота видеть врага хозяином на родной земле? Пусть у того человека глаза лопнут! Но следует поступать разумно. Вот сейчас в его винтовке пять пуль. Он выпустит их, уложит пятерых — но не успеет выпустить шестую пулю... Или сделает десять выстрелов — одиннадцатый сделать все равно не успеет. Оборвется его дыхание, и исчезнет для него все: эта поляна, и лес, и горы — весь мир... Исчезнет с ним и его мужество, его мастерство. И кто узнает о них? Кто скажет: «Каракай бился как лев!» Никто не узнает, не скажет так, потому что все они лягут здесь. Его молодость,

храбрость, мастерство — все поглотит черная пасть земли, тесная могила... «Нет, не бывает этому!» — чуть не вскрикнул Каракай, но заглушил крик.

— Отец, — произнес он, стараясь казаться спокойным. — Я давно не менял нательное белье, давно не мылся теплой водой...

Каспот про себя пожалел сына.

— Зачем ты говоришь мне об этом сейчас? Что я могу сделать? — сказал он.

— Те, кто будут предавать нас земле, могут нас ослабить, — говорил Каракай, пряча свой взгляд от отца. Он надеялся, что братья поддержат его...

— Не накликай беду, мы еще живы. Не малодушничай — ведь ты же мужчина, ты шапку носишь!

— Но что мы можем сделать, отец? Неужели, пролив нашу кровь, отдав свои жизни, мы спасем нашу землю? — напрямик высказался наконец Каракай.

— Сын, не говори недостойных слов в такие минуты. И не торопись отдавать свою кровь и жизнь. Помни: защищая свое гнездо, дерутся даже вороны...

— Но разве наша земля кончается здесь? Разве нет у нас иной земли, кроме этой поляны? Уйдем, сохраним наши жизни и будем сражаться в другом месте...

— О чем ты говоришь, сын, не пойму. От твоих слов пахнет трусостью. Неужели ты ищешь путь, чтобы уклониться от долга? — ласковый взгляд Каспота вмиг посуровел, грозно сверкнули глаза из-под сдвинутых бровей...

— Отец, разве наш долг в том, чтобы умереть здесь? — продолжал свое Каракай.

— Нет позора в том, чтобы умереть за землю отцов. Бежать трусливым псом, поджавши хвост, — вот позор! — отрубил Каспот.

— Отец, отец, это красивые слова! К чему они? Лучше подумаем о спасении. Видишь, они уже совсем близко, — Каракай протянул руку в сторону ущелья. — Если ты погубишь сегодня нас всех — славы тебе не будет!

Каспот молчал. О чем говорить? Горькая, страшная правда открылась ему в это мгновение сразу и до конца. «Если раньше не сумел внушить сыну, что такое долг перед родной землей, — теперь уже поздно. Если вырос Каракай самовлюбленным трусом, — то сейчас, перед лицом смерти, не преобразится, храбрецом не станет...»

Так думал Каспот, ошеломленный словами сына, но, все еще надеясь образумить, подбодрить его, сказал другое:

— Не бойся, сын мой, земля не останется перед тобой в долгу. Земля не забывает мужества своих защитников. Если ты ищешь признания — она щедра!.. Только не вздумай бежать, уронив свою шапку, будто изношенные чабуры. Помни: то, чего не сделаешь для своей земли сейчас, — не сделать уже никогда! Земля отвергнет тебя.

— Я для себя землю найду...

— Да, ты найдешь угол в темной пещере, нору под скалой... Умрешь — люди выроют для тебя яму, но не станут копать могилу!

— Я не могилу ищу, а жизнь! — Каракай вскочил на ноги, метнул взгляд на братьев. — Слышите, вы? Лошадь принадлежит тому, кто ее седлает, земля — тому, кто ее пашет, девушка — сватающемуся, шуба — тому, кто ее носит. А жизнь — живому! Что же вы молчите? Вам нужна жизнь, или...

— Мало тебе того, что сказал отец? — промолвил КанаMAT, не поворачивая голову в сторону брата.

— Сын, — все еще взывал Каспот. — Не обольщайся: шуба носится, да скоро изнашивается. И лошадь спотыкается на скаку, падает... Только мужской чести нет износа. Человеческая жизнь тоже коротка, но жизнь без чести короче во сто крат. А если ты даже, лишившись чести, будешь жить долго, то станешь молить о вечном мраке, чтобы не видели люди твоего лица... Оставь малодушие, в лес мы уйти успеем, не смотри туда — смотри на врага. Ну что ты так оробел? Ведь ни Аллах, ни природа тебя не обидели! — так говорил Каспот, все еще не в силах смириться с тем, что его Каракай, сильный, ловкий, меткий Каракай, мог так обмануть его надежды. Но тщетно взывал он.

— Красивые слова — ложь! — воскликнул Каракай. — Когда дело идет о жизни или смерти — им нет места! Моя сила и зоркость мне еще пригодятся... Если вы не хотите последовать за мной, я уйду один! — Каракай повернулся и пошел по поляне.

— Стой! — загремел Каспот. — Оставишь братьев — перестанешь быть мне сыном!

Каракай, казалось, не слышал. Он уходил к лесу. Шагал большими, уверенными шагами, широкоплечий, с сильной, широкой спиной...

Каспоту вдруг захотелось выстрелить в эту широкую, сильную спину. Он поднял винтовку, передернул затвор... И... не смог...

Вдруг вспомнилось далекое, почти забытое уже — дет-

ство Каракая. Он был красивым мальчиком – с нежным белым личиком, карими глазами. Каспот любил его больше первенца – Канамата. Почему – и сам не понимал. Может быть, оттого, что у них с Эккяй так долго не было второго ребенка и они уже потеряли было надежду... Каракай на четыре года младше Канамата. Он был слабым ребенком, часто болел. Немало бессонных ночей провела над его зыбкой, а потом и постелью Эккяй. Но и Каспот – тайком от своей матери, от родственников жены, от соседей – тоже не раз проводил долгие ночи, прижав мальчика к своей груди или покачивая зыбку. В три года Каракай заболел оспой, думали: не выживет. Он выжил, но болезнь навсегда оставила следы на его лице. С тех пор Каспот стал любить и жалеть бедного сынишку еще больше. И Эккяй, желая сделать мужу приятное, тоже холила и нежила Каракая больше других. И одевала наряднее всех. Белая овчинка или коричневая черкеска с газырями, поясок с серебряным позументом, ладно выкроенные чабурчики делали мальчика даже хорошеньким. Словно прирученный ягненок, Каракай не отставал от отца.

И сейчас Каспоту вспомнился мальчик, который так любил спать, прижавшись к теплой отцовской спине. И снова он предстал перед ним – в белой овчинке, с карими грустными глазами, с личиком, изъеденным оспой, но все равно таким миленьким... Не было у Каспота большей радости, чем доставить радость сынишке.

И вот теперь этот мальчик, который не сходил когда-то с его колен, этот милый мальчик, без которого еда не была для Каспота едой, – этот сильный, широкоплечий взрослый мужчина уходил, оставляя отца.

...Откуда бы Каспот ни возвращался домой – не было случая, чтобы он явился без подарка Каракаю. А если уж не было ничего другого – привозил ему крашенные альчики *, – Каракай любил играть в альчики.

Теперь этот мальчик уходил. Уходил тот, кого тайком от своей матери и даже от жены так любил нянчить отец, всматриваясь в его личико, прислушиваясь к его дыханию... Уходил широкоплечий, сильный охотник... Это не его должен сейчас уложить Каспот выстрелом в спину – а белого нежного своего сынишку...

Винтовка в его руках опустилась.

– Стой! Вернись! – крикнул он. Горечь, гнев, отчаяние

* А л ь ч и к и – кости для игры, подобной игре в бабки.

были в его пронзительном голосе, — всполошенное воронье поднялось с ближних деревьев, закаркало...

Каракай остановился, повернулся... Лицо его было бледно, — он подумал: отец может выстрелить... Медленно приблизился.

«Когда же нежный ягненок превратился в трусливого шакала? — думал Каспот. — Как же я, отец, не увидел, что внутри него свернулась клубком змея?.. Позор, позор тебе, отец: думал — растишь скакуна, а вырастил мула, не знающего своего рода...»

— Оставь свою шапку! — приказал Каспот.

Немцы были уже на тропе, выходящей на поляну.

Когда Каспот обернулся на их голоса, Каракай исчез...

17

Шапка Каракая, сшитая из шкуры годовалой овцы, была большая, круглая, как мельничный жернов. Эక్కяй утеплила ее ватой, аккуратно прострочила, верх поставила из темно-синего сукна. Шапка была хоть куда — теплая, легкая. Эక్కяй не могла допустить, чтобы ее сыновья ходили в худых шапках. Недаром же сказано: «Человека по шапке встречают». А сейчас эта добротная, красивая шапка лежала у ног Каспота, как лохматая, нестриженная овца...

Братья между тем заняли места, указанные отцом, и затаились. Канамат залег там, где кончалась тропа, ведущая к поляне от родника. Шамиль расположился правее Каспота, чтобы враг не сумел пройти вверх по другой дороге, у подножия поляны, и не просочился в тыл. Гитче Каспот оставил неподалеку от себя: он был младше других, и отец боялся за него...

Немцы были уже на тропе, выходящей на поляну. Они шли спокойно, даже, казалось, беспечно, но в то же время медленно, бесшумно, словно охотники, не желающие раньше времени спугнуть притаившихся в траве перепелок... «Нет, они не могут думать, что эти места безлюдны. Недаром их ведет Мусабий... Пусть же начнется то, чему не миновать», — решил Каспот. Он поднял шапку Каракая, надел ее на ствол винтовки, высунул из-за скалы, и тотчас ударили автоматные очереди.

«Вот оно, началось. Пусть умножит Аллах силы ребят!» — прошептал Каспот.

Он не успел убрать шапку: пули попали в нее. И тяжелая шапка, качнувшись, не удержалась на стволе винтовки, упала на скалу, а с нее скользнула на землю. Склон

был покрыт травой, на которой все еще держалась корка льда, — и шапка покати́лась вниз. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее... Столкнувшись с выстрелом, она подскочила, шарахнулась в сторону, словно перепуганная овца, и вновь понеслась вниз. Потом, зацепившись за камень, приподнялась, метнулась вправо-влево, подобно зайцу, увидевшему охотника, — покати́лась снова, и уже не за что было ей зацепиться. Теперь она неслась неудержимо, как гонимый ветром шар перека́ти-поля, с корнями вырванный из земли, летящий неведомо куда...

Немцы никак не могли понять, что это такое темное, большое катится на них со склона горы. Не то колесо, не то котелок... А если он начинен взрывчаткой?.. Один из солдат ударил автоматной очередью.

Пораженная шапка, прибитая к каменному выступу, на миг приостановилась, будто решала, катиться ей дальше или нет. Но пули снова сдвинули ее, и она покати́лась... Она неслась, будто тяжелый котел с расплавленным металлом, чтобы выплеснуться на головы врагов. Будто огромное колесо, готовое переломать им ноги. Будто скала, грозящая раздавить их всех...

...Не шапка — израненное, истекающее кровью животное, бросившееся на охотников, несло́сь со склона!..

Шапка неслась, катилась, катилась и... сми́рно уткнулась в ногу одного из врагов. Кованый носок сапога отбросил ее прочь, она взлетела вверх и удари́лась макушкой оземь. Удари́лась и затихла: поняла большая, как мельничный жернов, шапка, что беспомощна, бессильна отомстить за нанесенные ей раны. И, поняв это, осталась лежать там, где упала. Что она могла теперь? Разве лишь проклинать свою судьбу... И она проклинала:

«Шапка я или заброшенный под кровать комок старой шерсти? Отчего я не скатилась вместе с головой хозяина, отчего полна не кровью, а плевками? Видели вы когда-нибудь, чтобы шапка падала, а хозяин ее был цел-невредим? Срубят голову — и шапка летит, что поделаешь... Втопчут в грязь копытами — но только вместе с тем, кого согревала... А со мной — смотрите! — нет рядом того, кто должен быть. Я одна, незащи́тна, и топчут меня сапоги прищельцев...»

Один из фашистов снова поддел шапку сапогом, она отлетела к идущему впереди, тот пнул ее дальше... И шапка, гонимая ударами, опять покати́лась, сетуя на свою судьбу:

«Я — шапка! Во мне — тепло и нежность женских рук. Немало я согревала мужчин. Я была колыбелью для ново-

рожденных. Джигитов я водила на ратные подвиги, жехнихи ходили со мною высматривать невест. Не я ли удерживала мужчин от постыдного шага?.. А теперь качусь, не в силах удержать даже собственную тяжесть. Качусь, как трусливый заяц, как жаба, ползущая в пасть змеи...

Оставшийся без шапки – как неприкаянный бродяга. Позволить сбить шапку – все равно что позволить плюнуть в седую бороду. Меня не оставляли за дверью ни на свадьбах, ни на празднествах. В горькие минуты мужчины скрывали свои слезы, надвигая меня на глаза... А мой хозяин снял меня и бросил, как женщина наперсток с пальца. Теперь качусь, бегу... Куда?! Бегу, как пес, которого забросали палками, как осел, которому отрезали уши...»

Солдаты все пинали ее друг другу, как лопнувший футбольный мяч, хохоча и улюлюкая, а она, бессильная, подскакивала, ударялась о землю, металась меж ними. Некуда ей было деваться. Ни сусликом юркнуть в нору, ни змеей заползти в щель. Коротка была ее дорога: от пинка до пинка. Шапка, достойная лишь настоящего мужчины, грела труса. Женские руки передали ей свое тепло, но если бы ей была дана еще и речь, она молила бы: «Избавьте меня от поруганья труса!».

«Я – шапка! Я хранила честь, презирала безволие и трусость. А теперь сама качусь, бессильная и опозоренная. Несчастный тот, кого я грела, он и меня сделал несчастной: нет ему отныне дороги к чести, как мне – обратно в гору. Сейчас прервется мое дыхание, прервется...»

Шапка оглохла от свиста и ржанья. Лопнула наконец от очередного удара овчина и обвисла, клочья ваты выбились из разорванной подкладки. Теперь уже не шапка, а чернобелая птица со сломанными крыльями билась о землю. Взлетела в последний раз и упала, распластавшись на дороге.

...Быть ей отныне вечной и горемычной странницей. Захочет войти в дом – не впустят, не дадут места у очага; попросится постоять хотя бы за дверью, у порога – не дадут: там место метлы; захочет исчезнуть, не быть совсем – не сможет: вечен ее позор.

Один из гитлеровцев поддел шапку стволом автомата и подбросил ее в воздух. И в тот же момент Каспот нажал на спуск: немец и шапка упали наземь одновременно. Не успели враги понять, что случилось, Каспот выстрелил снова. Еще не услышав выстрелы сыновей, он увидел, как упали, будто подкошенные, двое, а третий зашатался, взмахнул ру-

ками, словно ища опоры, и тоже рухнул вниз, сползая по склону.

Каспот перебежал за другой камень, прицелился в нового врага, который успел уже залечь. Он почувствовал толчок приклада в плечо, но, казалось, не услышал своего выстрела: слитный лай немецких автоматов заглушил его. Не слышно было и выстрелов сыновей. Каспот обеспокоенно прислушался: нет, стреляют ребята, живы!..

Со своего места Каспот плохо видел врагов, надо было передвинуться. Но непрерывный огонь удерживал его. Пули впивались в скалы, вздымая облачка каменной пыли и наполняя воздух запахом горелого кремня. Наконец Каспоту удалось переползти за другую скалу. Отсюда он увидел: вражеский отряд разбился на три группы. Одна осталась на прежнем месте, а две другие продвигаются вверх, к лесу и к тропе, идущей от родника... Каспот понимал, чем грозит это, но ничего не мог поделать: броситься на помощь одному из сыновей — значит, освободить проход здесь... Надо было биться с теми, что пришлись на долю его и Гитче. И Каспот продолжал посылать пулю за пулей. А в глазах у него стояла растоптанная опозоренная шапка Каракая. Шапка, сшитая руками Эккяй...

Каспот выпустил еще несколько пуль и всмотрелся. Перед этим он отчетливо видел трех автоматчиков, а сейчас их было два. Они лежали, уткнувшись лицами в землю. Третьего не было видно... Но тут же из-за камня рядом засверкал огонь. «Уполз», — сокрушенно подумал Каспот. Хор вражеских автоматов был уже не так дружен, и огонь не так густ, как прежде. Перезаряжая винтовку, Каспот вслушивался, стараясь хоть приблизительно определить, сколько осталось врагов. В своей полосе он не видел уже никого, но справа и слева автоматные очереди, то длинные, то короткие, слышались непрерывно. На Канамата он надеялся, как на самого себя; боец обстрелянный, на его участке не пройдут. Но как там Шамиль, не просочатся ли немцы в лес?

И вдруг, словно что-то оборвалось у него внутри: он понял, что не слышит выстрелов Гитче. Когда же он перестал стрелять? Давно? Только что?.. Каспот оторвался было от скалы, бросился в сторону Гитче. И тут же ему ожгло висок и забило глаза каменной пылью от раздробленного пулями перед самым лицом выступа скалы. «О, Всевышний, неужто я ослеп? Камни земли моей, неужели, прикрыв от моих пуль врага, меня вы лишили зрения?» — пронеслось в

голове Каспота. Он протер глаза. Слава Аллаху! Ныл висок, горело лицо, но глаза видели.

Каспот, затаившись, снова всмотрелся в камень, за который уполз тот автоматчик. Казалось, там уже никого нет, немец, наверное, сменил позицию, пока он протирал глаза. Но едва Каспот подумал так и хотел бежать к Гитче, немец выскочил из-за камня и пустился к тропинке, ведущей от родника... Каспот выстрелил и, убедившись, что не промахнулся, бросился наконец к Гитче.

Гитче лежал лицом вниз, вытянув перед собой винтовку. Издали казалось, что он лежит, прислонившись щекой к прикладу, целится, готовясь выстрелить... «Разве так попадешь?» – подумал Каспот, оказываясь рядом с сыном.

– Эй, храбрец! Перепугался или заснул?! – крикнул он, схватив лежащего за плечо и дернув его к себе. Гитче как-то легко перевернулся лицом вверх... Крик застрял в горле у Каспота: приклад винтовки и вся левая сторона лица сына были в крови, кровью была наполнена и левая глазница, правый глаз полуприкрыт... Верхняя губа, слабо черневшая еще ни разу не бритыми усиками, тоже была изуродована пулей.

Каспот легким поглаживающим движением опустил ему веки, укрыл тело своей овчиной. Ему хотелось взречься раненым туром. Но он крикнул только:

– Сыны мои! Вашего младшего брата Гитче убили! Слышите, Гитче убили! Держитесь, держитесь!

Каспот не думал о том, услышат ли его сыновья: он должен был исторгнуть из своей груди этот крик... И, крикнув, он, не переводя дыхания, помчался туда, где залег Шамиль.

Проход, защищаемый Канаматом, был, наверное, самым опасным местом. Опасным потому, что был удобен не только для обороняющегося. Тропинка, которая вела от родника к поляне, хорошо простреливалась, и, конечно, пуля Канамата не могла миновать того, кто оказался бы на ней. Но по обе ее стороны громоздились большие камни, обломки скал, и, после того, как Канамат в самом начале уложил трех автоматчиков, ступивших было на тропу, немцы стали куда осторожнее. Постепенно, пользуясь естественными укрытиями, они просочились почти вплотную к поляне. Канамат понимал: расстояние, отделявшее его от врагов, можно преодолеть одним броском, стоит чуть замешкаться, промедлить с досылком патрона, и... Нельзя было оставаться на

одном месте, неподвижной мишенью для нескольких автоматчиков. И КанаMAT, как ни зол был огонь, старался менять свои позиции. Но мешала раненая нога, тяжело, бес­ сильно волочившаяся за ним...

Кажется, он удачно выбрал последнее укрытие. Здесь он хорошо защищен, его пули не дают врагу высунуть носа. Но и урона никакого им не причиняют. Да и сам он тоже прикован к месту: камни впереди изрыгают непрерывный огонь. Дальше так продолжаться не могло: у КанаMата про­ сто кончились бы патроны...

И тогда он решился. Прекратил огонь, выждал немно­ го, — стихли и немецкие автоматы. Преодолевая боль и бес­ силие раненой ноги, он бросил свое тело на выступ скалы, что возвышался чуть левее него. КанаMAT понимал, какой это риск: укрыться здесь было негде, на скале рос только редкий молодой березняк. Но зато отсюда просматривалась не только тропинка, но и пространство позади сгрудивших­ ся вдоль нее камней.

Вражеские автоматы по-прежнему молчали: возможно, немцы подумали, что стрелять уже не в кого, проход от­ крыт... И, чтобы проверить это, один из них отделился от камня, пополз вперед — и тут же наткнулся на пулю Кана­ мата. Но не успело умолкнуть эхо его выстрела, как удари­ ла автоматная очередь, левое плечо КанаMата обожгло, рука с винтовкой опустилась.

Еще не сознавая, что произошло, КанаMAT попытался снова приподнять ствол винтовки — рука не послушалась. У него потемнело в глазах, закружилась голова... «Теряю сознание? — подумал КанаMAT. — Нет, нет, только не это...» Неужели по его вине враги пройдут на поляну и ударят в спину отцу и братьям? Нет, он сделал все, что мог, и потому не страшился теперь смерти. Он понимал, что погибает, но боялся не смерти, боялся, что умрет, так и не узнав ничего об отце и братьях. Узнать бы в последнее мгновение, живы ли они, взглянуть на суровое и доброе лицо отца... Но ведь и сам он пока жив, и в винтовке еще есть патроны... Оста­ ться здесь — значит, умереть, как загнанному, истека­ ющему кровью зверю. Выманить бы их на открытое место, убить хотя бы еще одного...

КанаMAT начал сползать вниз. Но силы оставляли его. Нога окончательно онемела, он уже не чувствовал ее и во­ лок за собою, как бревно. А левая рука, повисшая плетью, слабо цеплялась за каждый камешек, за сухие сучья, даже за былинки... Еще, еще немного и он будет за скалой...

Совсем рядом раздалась короткая автоматная очередь, и, прежде чем ощутить боль, он понял, что пули попали ему в спину. Каким-то невероятным усилием, словно уже помимо воли, он перевернулся – и увидел стоящего почти над собою на камне немца с опущенным автоматом. И, прежде чем этот немец успел вскинуть автомат, КанаMAT, полусидя, не целясь, выстрелил...

Какая сила сумела поднять КанаMата на ноги?.. Согнувшись, он сделал несколько неверных шагов, наткнулся на березку, обхватил ее тонкий, гибкий ствол... Ему казалось, что он лежит лицом вверх, смотрит на чистое голубое небо, на неведомо куда плывущие верхушки деревьев... Но это плыла и уходила из-под ног земля, уходило бесконечное небо...

КанаMAT, петляя, сделал еще несколько неверных шагов, – его вела мысль об отце и братьях, о своей вине перед ними. «Да, да, он все-таки виноват, не сумел выстоять, пропустил врагов, теперь они выйдут к ним в тыл, ударят в спину... Бежать, бежать, предупредить, пусть они хотя бы увидят его издали – и поймут...»

Мысль его летела над поляной, но тут к нему подошел фашист – последний из тех, кого не смогла настичь его пуля, – и еще раз прострочил из автомата его грудь. КанаMAT, шатаясь, обернулся. «Зачем этот человек подошел так близко и жжет мою грудь?.. Моя винтовка... Отец мой!» – хотел позвать КанаMAT – и дыхание его оборвалось, прежде чем он упал на землю.

Все это видели Азретали и Хамитбий, оставленные КанаMATом в укрытии неподалеку от его засады: отвести детей хотя бы в кош уже не было времени.

– Мой КанаMAT! – с плачем и криком несмышлениш Хамитбий выскочил из укрытия и бросился к старшему брату... Очередь фашиста скосила его, как былинку.

Азретали же, понимавший опасность, бросился в противоположную сторону, туда, где мог быть отец. Ошалевший немец не успел вскинуть автомат – Азретали скрыли деревья.

...Каспот нес тяжело раненного Шамиля, прижимая его к груди, как ребенка. Он услышал пронзительный, тут же захлебнувшийся крик Хамитбия, услышал выстрелы, плач Азретали и понял: случилось непоправимое... С Шамилем на руках Каспот бежал на помощь другим своим сыновьям, ни о чем не думая, кроме них, не замечая ничего вокруг. Он несся по лесу, как раненый лось: ломались ветки,

трещали под ногами сухие сучья. Выскочил на край поляны — и оказался чуть ли не лицом к лицу с немцем. Тот первым успел вскинуть автомат, но глаз и рука изменили ему: он остался один в этом страшном месте, где, кажется, стреляли сами камни... А Каспот вмиг оказался за деревом, опустил на землю сына и выстрелил, даже не донеся до плеча приклад.

...Это был последний враг из тех, что пришли к поляне.

И наступила тишина. Как будто никогда не раздавались здесь выстрелы, не слышались предсмертные крики.

И только тогда Каспот ощутил боль в ноге, почувствовал теплую липкость брюк. Он обернулся к лежащему на земле сыну — Шамиль был мертв.

18

Рана Каспота оказалась неопасной: кость не задело, и кровь удалось быстро остановить.

Каспот перенес Шамиля, Гитче и Хамитбия туда, где был Канамат. Уложил их рядом, укрыл бурками и сел у их ног, подперев голову руками...

Азретали сидел рядом, молча, прижавшись к отцу.

Через какое-то время Каспот очнулся, поднял руку и, словно слепой, обведя ею поляну, спросил:

— Скажи, сын мой, эта трава и раньше была такой алой?

Азретали посмотрел на петляющие в траве кровавые следы и ничего не ответил... За это время, что он просидел рядом с отцом над телами убитых братьев, Азретали навсегда простился со своим детством.

Солнце все быстрее скатывалось к вершинам гор, еще немного, и начнет темнеть. Нельзя было больше сидеть в бездействии, предавшись горю: беда добывает беспомощных и слабых. Но что делать? Как поступить с погибшими? Если бы мог Каспот отправить их завернутые в бурки тела домой, послать к матери гонца с черной вестью, если бы лошади вошли в их двор и горестным ржанием оповестили соседей, если бы могла Эккяй вместе с родственницами и всем аулом оплакать их и предать земле там, где лежат предки...

Каспот привел Азретали в кош. У очага лежал оставшийся еще со вчерашнего ужина большой круглый чурек, Каспот отломил сыну кусок, налил айрана. Невозможно было представить, что в последний раз едят они чурек, испечен-

ный Шамилем, что его проворные, ловкие руки уже никогда не накроют им на стол...

— Ешь, сынок. Ешь досыта — этот чурек испечен Шамилем, — сказал Каспот.

И тут только он почувствовал, что его самого мучит голод и жажда. Но не успел приняться за еду, как услышал в загоне дружное, громкое бляенье овец. «Асто! — с удивлением и досадой воскликнул он про себя. — Как же я не слышал их до сих пор? Ведь они не кормлены с утра». Каспот вышел, перетащил в загон небольшой стог сена, стоявший неподалеку, раздал овцам.

Теперь надо было спуститься к роднику. Нельзя предавать земле тела погибших без омовения...

Взяв в одну руку большое деревянное ведро, а в другую — винтовку, Каспот отправился к роднику по тропе, которую защищал КанаMAT. Он был почти уже на месте, когда вдруг услышал чуть в стороне от тропы какой-то странный звук: то ли стонал человек, то ли зверь скулил... Поставив ведро, изготовив винтовку, Каспот шагнул туда.

Радость, почти ликование охватило его. «Пусть сто раз возьмет мою жизнь Аллах за такую встречу!» Привалившись к камню, запрокинув лицо вверх, лежал Мусабий. Шаги насторожили его, он обернулся в сторону идущего — и стон застрял в его горле, глаза расширились и остановились. Наконец он опомнился.

— Ай, Каспот, ты жив, слава Аллаху! А я... я виноват, да, велика моя вина, но она ударила меня же, ты видишь, — простонал Мусабий.

— Гадюку бьют в голову, а мой КанаMAT, оказывается, только отбил хвост... — произнес Каспот, будто не слыша его.

— Ай, Каспот, не говори так, Аллахом твоим заклинаю! Пощади меня, будь великодушным!..

Не говоря ни слова, Каспот стал приближаться, поднимая винтовку. Взгляд Мусабия метнулся в сторону, и Каспот заметил лежащий неподалеку пистолет...

— Не убивай меня, — молил Мусабий. — Ты видишь: я беззащитен, убить беззащитного может только худший из худших. Ты не такой, Каспот. А я подлец, да, да, но подлость побеждают не злом, а добром...

— Нет добра для тебя! — не выдержал Каспот. — Добро лишь поможет тебе совершить новые злодеяния.

— Оставь мне жизнь, если ты сын мусульманина, — продолжал умолять Мусабий. — Пощади! Скажи: «будь моим

псом» – стану твоим псом. Захочешь – голова моя станет подушкой для твоих чабуров, – плакал Мусабий.

Каспот стал отходить от него, снова вскидывая винтовку...

– Ты поднимаешь руку на раненого, беззащитного. Это убийство! – закричал Мусабий.

– Нет, я вершу суд, – спокойно сказал Каспот.

– Ты мстишь мне за свою белую кобылицу!

– Я вершу суд, – повторил Каспот. – От имени народа, который не может сейчас плюнуть тебе в лицо! От имени земли нашей! Ты предал их. И закон, и власть, которым служил, тоже предал! От их имени я сужу тебя.

– Остановись, опомнись! – молил Мусабий, а рука его пыталась напашарить, достать пистолет. Каспот видел это...

– Я сужу тебя справедливым судом, – словно выжидая чего-то, медленно говорил он. – Справедливым! Погибшие мои сыновья тому свидетели, эта поляна, залитая их кровью, эти деревья...

– Тогда, если ты горец, если мусульманин, молю о последнем: похорони меня как подобает, пусть у меня будет могила... – Мусабий рванулся, схватил пистолет, выбросил вперед руку – но прежде ударила винтовка! Загремело, прокатилось по горам эхо и смолкло.

– Не будет тебе могилы! Раздели участь тех, кого привел сюда! – воскликнул Каспот.

19

Давно ли сыновья Каспота варили в этом котле мясо, чтобы угостить парней и девушек, пришедших в кош на осеннюю стрижку овец?.. Огонь, горевший под котлом, освещал их лица, высвечивал потайные любовные взгляды... Не раз варилась в этом котле и буза, по случаю разных торжеств и праздников. А теперь в нем греется вода, которой Каспот должен омыть тела сыновей, и огонь под котлом освещает черные бурки, в которые завернуты убитые...

Каспот думал об этом, не отрывая глаз от очага, и сердце его сжималось. Азретали, измученный страшным днем, давно спал. «Слава Аллаху, – думал Каспот, – мальчик не увидит этого...» Он уложил сыновей на длинный стол, сколоченный им из нашедшихся в коше жердей, омыл их. Потом снова завернул в бурки. Потом он всю ночь копал могилы. Но неоткуда было взять здесь могильные доски. Каспот ходил к роднику, спускался на противоположный

край поляны – собирал плоские камни, которые могли бы заменить доски...

«Не смог я приготовить вам белые саваны, не смог завернуть в белые шелка. Черные изношенные бурки – ваши саваны. Простите меня за это. Не строгал я дубовые доски – камнями укрыл ваши могилы. Простите и за это вашего отца. Пусть земля, принявшая вас, будет пухом, пусть она будет тепла, как эти лучи восходящего солнца...»

Последним Каспот хоронил Канамата. Перед тем как навсегда расстаться со своим первенцем, он развернул бурку и долго смотрел в его лицо. «Прости меня, мой старший. По моей вине тебе выпало самое трудное. Я оставил тебя одного, без поддержки. А ведь ты был ранен...»

Каково было отцовским рукам предать земле трех сыновей... И все же он сделал это. А вот четвертого никак не может опустить в могилу. Казалось, только сейчас, когда надо было попрощаться с Канаматом, Каспот до конца осознал, что нет больше ни его, ни Шамиля, ни Гитче, ни малыша Хамитбия...

Наконец Каспот пересилил себя и похоронил Канамата.

Он стоял среди могил, чувствуя такую тоску и одиночество, словно на земле не осталось больше людей. Потом опустился на колени. «Я, отец, нарушив горский обычай, молюсь за моих сыновей, – прошептал он. – Деревья, благословите мою молитву, скажите «амин». Благословите мою молитву, алые травы и камни этой поляны! Благослови, земля! Я молюсь, повернувшись лицом к восходу: пусть сыновья мои лежат здесь спокойно. А Каракай пусть проведет свои дни, не находя прощения... Деревья, камни, травы, услышьте мою мольбу, скажите «амин».

Каспот отошел в сторону, присел на бурку.

Но уже нельзя было больше задерживаться здесь. Следовало позаботиться об оставшемся сыне. Он поднялся и пошел в кош.

Каспот собрал кое-какие пожитки, еду, какая была, и разбудил Азретали. Спустя короткое время отец и сын уже гнали небольшую отару по поляне. Они направлялись в сторону леса, чтобы оттуда уйти дальше, в горы.

На поляну уже ложились первые лучи солнца. Благодатная, умиротворяющая тишина лежала на всем – на скалах, на деревьях, на стогах сена, на невысокой траве. И лишь четыре могилы – четыре черных каменных прямоугольника, навсегда отрезавших жизненные пути четырех людей, –

нарушали покой и мир залитой алым светом поляны... Каспот смотрел на них, обернувшись, и впервые величавая красота этих мест заставила его сердце тоскливо сжаться... Но он старался ничем не выдать себя: рядом шел сын.

Азретали поднял взгляд на Каспота.

— Отец, куда мы теперь пойдём, ведь в аул нельзя?

— Не бойся, мой мальчик, — ответил Каспот. — Куда бы мы ни пошли, солнце будет с нами, обогреет. Врагам его у нас не отнять! Не бойся, мой сын, мы найдем себе место.

Поляна осталась позади, они уже входили в лес, когда Азретали вдруг закричал:

— Отец, смотри! Белая кобылица! Вернулась наша белая кобылица!

Каспот взглянул, куда показывал Азретали: на опушке леса, чуть левее того места, куда они входили, действительно паслась белая кобылица!

Отец и сын бросились к ней. Каспот бежал, забыв о своей ране, бежал, не помня о прошедшем черном дне и страшной ночи, о всей своей боли, — будто чья-то невидимая рука сняла с его плеч давящий на них непомерный груз и дала им легкие крылья...

Кобылица, увидев их, заржала-зарыдала, словно горянка, оплакивающая погибших, — как тогда... Они подбежали — и увидели: рядом с матерью-кобылицей в низких кустах черной бузины трепыхался, силясь подняться на ноги, жеребенок.

Белый жеребенок?! — растерянный, счастливый Азретали встал перед ним на колени, пытаясь определить его масть. Но жеребенок был только что рожден: еще весь мокрый, слизистый, курившийся теплым парком, он казался пепельным.

Кобылица смотрела то на жеребенка, то на Азретали. Она узнала его, этого ласкового мальчика, который ездил на ней к роднику, держась за ее гриву!.. Он не причинит вреда новорожденному...

И старого своего хозяина узнала кобылица. Подошла к нему, тихо-тихо всхлинула, прислонила черную морду к его плечу...

Каспот обнял ее за шею. «Ты пришла, моя белая кобылица. Не забыла своего старого хозяина... В такой день пришла — будто выразить соболезнование», — прошептал Каспот и задохнулся от приступившего к горлу рыдания. Он уже не мог владеть собой. Слезы навернулись на глаза, и чтобы скрыть их от сына, он закрыл лицо гривой кобылицы.

цы; но предательски тряслись плечи, и он еще крепче прижался к шее лошади. Переполнявшее его черное горе, которое он прятал в себе все это время, теперь вырвалось наружу. Каспот ничего не мог поделать с собой – и плакал.

Плакал, вспоминая убитых сыновей. Шамиль, Гитче – все у них было впереди... Маленький Хамитбий – он и вовсе еще не начинал жить... А Канамат, бедный Канамат, – если бы не раненая нога, не настигла бы его пуля...

Он плакал, проклиная и жалея Каракая. Каракай остался жить, но отныне не будет ему жизни, только позорное существование. Если бы на поляне чернели не четыре, а пять могил, Каспот страдал бы меньше, чем сейчас. Несчастный он отец. О погибших без стыда расскажет матери и людям, но что сказать о Каракае? Перед кем держать ответ за него?..

Каспот плакал, думая об оставленной в занятом врагами ауле Эккяй, о том, как поздно узнает она об участии сыновей, и узнает ли...

Он вспоминал все и плакал, затыкая себе рот жесткой, пропахшей потом гривой белой кобылицы.

Потом он вытер этой гривой свое мокрое лицо и отошел. Только теперь он заметил, как изменилась его красавица-кобылица: прогнулась спина, вздулся живот, отвисла нижняя губа, обнажив желтые зубы, потрескались, стерлись копыта...

– Бедная ты кобылица, как ты постарела, где теперь твоя резвость, сила... – промолвил Каспот.

«Правду ты говоришь. Никого не щадят время и жизнь. Вижу, они и тебя согнули... Я не видела тебя плачущим, а сейчас моя грива и шея мокры от твоих слез... И волосы на твоём лице побелели, как моя грива... Только вот руки твои не изменились – такие же ласковые, теплые...»

– Сколько ты, видно, дорог исходила, сколько перевалов одолела. Похоже, не один седок сбивал твою спину, – говорил Каспот.

«Меня оседлал тот, к кому привели меня тогда. Я сбросила его и побежала сюда. Но меня поймали... Потом меня седлали другие – их было так много, что не помню лиц. А потом я уже не ходила под седлом. Всякую работу выполняла. Делала то же, что ослы. Вместе с ослами поднимала в горы оружие. Впрягалась в пушки. Навьюченная снарядами, ходила за перевалы и возвращалась назад. Перевозила раненых через горные потоки... Долго я трудилась. А потом уже не могла: силам моим пришел конец. К тому же

я ждала его, моего сына... Сама стала для людей ненужным грузом. Кто-то приставил к моему уху черную палку, но другой отвел его руку, сказал: «Греха не боишься, не видишь – она жеребая. Лучше пустим ее, может, спасется, выживет, если не разорвут волки». И люди ушли в горы, оставив меня в лесу. Я осталась жива, волки не разорвали меня. Дни и ночи я искала дорогу сюда – и вот пришла. Я искала тебя – не могла забыть твои теплые руки – и нашла тебя. Не могла я забыть и этого ласкового мальчика – пусть моим даром ему будет мой жеребенок...»

– Ты пришла, моя белая кобылица, – говорил Каспот, – пришла ко мне в самый черный мой день. Спасибо тебе...

Сказав так, Каспот подошел к Азретали, и они вместе помогли жеребенку подняться. Жеребенок был совсем еще слабенький, ноги его дрожали и разъезжались в стороны. И все-таки он сразу понял, что ему нужно. Сделав несколько неуверенных шагов на своих широко расставленных ножках, он ткнулся вытянутой мордочкой под брюхо кобылицы. Та, наверное, впервые в этот миг почувствовав счастье материнства, тихо заржала. А жеребенок продолжал свои поиски. Он, кажется, понимал, для чего пришел в этот мир, знал, что, кроме приятного тепла, исходящего от возвышающегося над ним громадного существа, мир приготовил для него еще нечто очень важное, и он должен непременно найти это сейчас, сию минуту. Но то, что он так усиленно искал, никак не находилось, и жеребенок, видимо, окончательно потеряв терпение, издал слабый крик, отдаленно напоминающий ржание. «Ну помогите же!» – казалось, просил он. Каспот помог ему найти то, чего он так страстно желал. И когда наконец во рту у него оказался короткий тугой сосок, он забыл обо всем. Сейчас для него существовал только мир под животом матери.

Азретали стоял, смотрел на них и боялся поверить своим глазам: снова перед ним белая кобылица, и с нею – белый жеребенок! Да, белый: жеребенок обсох, и масть его определилась ясно. Белый жеребенок, являвшийся к нему в снах, пришел наяву!..

Кобылице приятно было чувствовать, как слабеет ее тугое вымя, она испытывала какое-то необъяснимое блаженство от прикосновения губ жеребенка, от его запаха, тепла – и благодарно смотрела на своего хозяина: верно, думала, что и это добро идет от него.

А жеребенок, насытившись, выпустил сосок и отошел немного. И новый мир – просторный, огромный – вдруг

открылся ему. В нем было это большое доброе белое существо, которое только что напоило его такой вкусной, жизнительной влагой; были еще два каких-то темных существа, и они тоже почему-то казались ему добрыми; и столько еще всего было в этом мире непонятного, незнакомого, что жеребенок ошеломленно замотал головой и опять потянулся к тому большому, белому, доброму, что отныне — он чувствовал это — принадлежало лишь ему одному.

Но оказалось, что изменился не только мир, но и сам он стал иным. Ноги его уже не дрожали, стояли твердо. И ему захотелось еще больше увериться в их силе и прочности. А заодно познать и проверить этот просторный мир: так ли он добр и прочен, как кажется, не причинит ли ему худа?

И жеребенок сделал для начала несколько небольших кругов вокруг стоявших на поляне существ. А потом, окончательно убедившись, что ноги несут его хорошо, и что мир вокруг прочен, пустился по поляне вскачь. Сначала не очень резво. Но ему-то казалось, что быстрее его нет никого на свете, а за ним, не отставая, бежали деревья... И жеребенок, решив обогнать их, помчался еще резвее — деревья не отставали. Ему хотелось обогнать все — небо над собою, облака в небе, — и он поскакал, распластавшись над поляной. Но все продолжало бежать рядом с ним. И тогда он решил обогнать хотя бы свою тень под копытами, — ветер засвистел в ушах, и маленькая гривка поднялась и тоже засвистела на ветру...

Азретали бежал за ним: он боялся, что малыш упадет с обрыва, потеряется в лесу. Но напрасно тревожился Азретали: доскакав до леса, жеребенок повернул назад и подбежал к матери. Разве мала для него эта поляна? Не хватит ее простора?.. Не следует торопиться. Пройдет время, он вырастет, будет без страха входить в лес, легкокрылой птицей скакать по крутым дорогам... А пока с него достаточно поляны.

Жеребенок сделал еще один круг, еще... Он несся стрелой, будто низко летящий белый журавль, пришедший в сказочных снах Азретали. Но вот он забежал в ту сторону, откуда всходило солнце, и сразу стал алым. Над алыми травами поляны металось, будто несомое невидимой рукой, алое шелковое знамя, — полыхал на ветру лоскуток гривки...

А издали на него любовались Азретали, Каспот и старая белая кобылица.

...Скачи, малыш, младенец мира, скачи без страха! Ты

пришел в этот беспредельный мир и принес ему радость. Еще не перевелись в нем волки, воют жадные шакалы. Еще люди глохнут и падают под разрывами снарядов... Но ты скачи без страха – снаряды не посмеют убить тебя, волки не догонят. Лети, лети, младенец мира, баловень мира!

20

«Не забывай это место», – наказывал отец незадолго до своей смерти. Но если бы даже он не сказал этих слов... Забыть эту поляну, над которой белым журавленком промелькнуло его детство и здесь же оборвалось навсегда в тот черный день?.. Забыть эти тропы, по которым ходили отец и братья? Поивший их родник?.. Их могилы?.. Не может человек забыть самого себя!

И вновь Азретали вместе с сыном пришел сюда. Снова тихая осень позолотила березы, облагрила кусты барбариса, зажгла темно-красные гроздья рябин... Азретали стоял, любясь этой красотой, смотрел на сына и с сожалением думал о том, что Тахир растет оторванным от этих мест. Слишком редки его встречи с поляной, горами, аулом, где – через отца – начинался родник и его жизни... И, думая об этом, Азретали чувствовал какую-то вину перед сыном. Конечно, вины не было, жизнь есть жизнь, и она сложилась так, что Азретали и сам оставил родные места, стал горожанином... Он тоже приходит сюда не так уж часто, потому что есть иные дела и заботы, от которых не уйти, да и нелегко за два воскресных дня добраться из города в аул, побывать на поляне и вернуться обратно. Не уехав отсюда, Азретали, пожалуй, и сам до конца не представлял, что значат для него эти места. И сейчас, стоя здесь, он чувствовал, какая тоска по ним постоянно живет в его душе... И все-таки у него даже эта тоска – знак не затихающей памяти сердца, навсегда связавшей его с поляной и родником, горами и аулом. А что дают столь редкие встречи с ними его сыну? Хороший мальчик растет: здоровый, смелый, начитанный, многое уже знающий. Но сумеет ли со временем этот маленький, аккуратно сложенный мальчик проскакать по горной тропе на белой кобылице, оставляя позади ветер?.. Испечь над огнем очага чурек?.. Выкосить траву на поляне и сметать стога?..

Да и в этом ли только дело! Новые времена, иная жизнь дают детям то, о чем не могли и мечтать отцы. А что-то дорогое, необходимое теряется, уходит от них навсегда, как уходит само детство... Тут уж ничего не поделаешь, таков

закон жизни. Человек – путник, и взять с собой в дорогу все, что хотелось бы, невозможно. Но есть груз, без которого человек – не путник, а бродяга. Груз памяти, сердечной привязанности к колыбельным местам своих предков – и память о них самих. «Это зависит от меня, – думал Азретали. – Я должен сделать так, чтобы мой сын не пошел по жизни налегке. Иначе даже слабый ветерок может сорвать его и унести, подобно перекаати-полю...»

Азретали повел сына по тропинке вверх, к могилам, и вдруг увидел там Каракаю. Нет, не хочет он этой встречи, довольно, вдвоем им нет места на этой поляне. Азретали вернулся к роднику, присел на камень. И снова его мысли вернулись к прошлому. Старый дорогой родник... Вспомнилась белая кобылица, как водил он ее сюда на водопой, как поднимался на ней вверх по крутой тропе, вцепившись в гриву... Он всегда был чист и прозрачен, этот родник: в нем отражалось высокое голубое небо, верхушки деревьев, ожерелья рябин; глядясь в его лежащее меж камнями зеркальце, Каспот брил свою голову...

Азретали каждую осень чистил родник, а в этот раз еще не успел: путь воде преграждали осыпавшиеся сверху камни, уже слегка позеленевшие, не слышно было звонкого журчания, и не зеркало лежало в каменной ложбине, а растекалось болотце, покрытое опавшими черными листьями. «Завтра же примусь за это», – подумал Азретали, и вслед за тем мысль его невольно обратилась к Каракаю. Люди говорят, в последнее время он все чаще появляется в этих местах. Будто бы приходит за дровами или охотиться. Но Азретали знает истинную причину... И сейчас, глядя на камни, преградившие путь родника, он подумал, что и человек, заваливший свое прошлое такими камнями, должен задыхаться, подобно этому роднику...

21

Каракай подходил к могилам с двустволкой за плечами и топором в руках.

«Что это? Почему вы, надгробные камни, не стоите, застыв на месте, куда вы устремились, бежите от меня? Или это уходят от меня мои братья? Неужели и мертвым нет покоя? Неужто вы все еще во власти той кровавой схватки?.. Вы удаляетесь, удаляетесь от меня, бросая исподлобья грозные взгляды... А меня гонят сюда тоска и одиночество... Я ищу тишину, тишину... Но нет здесь тишины, нет покоя. Все подобно кочующему кошу. Вон тучи в небе –

серые волки – несутся, преследуя друг друга. Сама поляна устремилась куда-то, мчится, будто задравшая подол беспутная женщина. Двигается под ногами земля, скачут скалы, словно тяжело навьюченные ослы... Деревья бьются верхушками о землю, свистят и взмахивают ветвями, будто крыльями. Алые травы, ржавые травы, хлещут мои ноги, как кнутами, шумят, волнуются... Нет здесь для меня тишины. И не уйти от одиночества... Вон эта высокая сосна – еще недавно она росла в одиночестве, а сейчас окружена молодой порослью... Дробится туча в небе – и она уже не одна, но с подобными себе, как овца в отаре... Отрывается от горы камень, раскалывается надвое – и нет для него одиночества... Все кругом преодолевает одиночество, только я не могу вырваться из него...»

Каракай присел возле отцовской могилы. Каждый раз, приходя в эти места, он не упускал случая поохотиться. Охота не просто отвлекала его от тяжелой тоски... Когда-то отец запрещал убивать диких животных, вспоминал Каракай. Старался сохранить их жизни... Но какой ему теперь прок от этих косуль и ланей – когда он лежит под землей?.. Бей не бей – конец один. И Каракай умрет, а дичь останется неизвестно кому... Отчего же он должен терять свое мастерство, меткость глаз? Для людей он – отрезанный ломоть, они отвергли его, относятся к нему как к волку... Да, люди – как стая волков: заметив на одном из сородичей каплю крови, они вмиг раздирают его в клочья... Пусть Каракай не разодрали – но убивают медленной смертью. Нет, он не должен оставаться беззубым, терять свою силу, утрачивать то, чем гордился.

И Каракай стрелял, преследовал раненых косуль, добивал их.

Но с некоторых пор он стал замечать, что с его сильными руками, с меткими, не знающими промаха глазами творится что-то неладное. Животные после его выстрелов все чаще начали уходить. «Не может быть, – думал Каракай, – далеко не уйдет». Он искал следы крови на траве, на каменистых тропах – но тщетно... Неужели его искусство, его сильные руки и меткие глаза изменяют ему?.. И он продолжал упорно преследовать и стрелять дичь. Но, кажется, она уже привыкла к его выстрелам, как привыкают овцы к лаю псов, охраняющих кош...

...Лани неожиданно вышли почти к самым могилам, но Каракай успел лечь за надгробный камень. Прицелился... Но выстрела не последовало, раздался лишь сухой щелчок:

Каракай забыл зарядить ружье. Услышав щелчок, лани мотнулись в сторону, побежали. Но скоро замедлили бег и медленно, гордо ушли в лес. Каракай не поспешил зарядить ружье, не стал их преследовать. Он ничком лег на землю, закрыл глаза...

...Долго он лежал или недолго, как вдруг заметил, что из лесу вышло одинокое животное и неторопливым, спокойным шагом направилось к нему. Каракай никак не мог понять, кто это: коза не коза, лань не лань... И вдруг у него заколотилось сердце: животное было похоже на белого марала! Не может этого быть, не дожидаться ему такого счастья! Но сомнений не было: перед ним стояла крупная, белая, как кобылица Каспота, стройная лунорогая маралиха. Задние ноги ее распирало переполненное молоком вымя.

«Маралиха с целебным молоком! — прошептал Каракай. — Неужто я в сказке или сон мне снится?» — снова усомнился он и даже потрогал себя рукой. Нет, не сказка, не сон! Вот оно — его счастье! Он помнил народную песенную молву о целебной силе молока белого марала. Вот оно — его лекарство! Оно вернет ему былую силу и меткость. Люди хотели растоптать его, Каракая, лишиться его своей доли счастья — но теперь пришел его черед торжествовать над всеми. Вряд ли к ним когда-нибудь придет такое животное! Каракай рассмеялся беззвучно, чтобы не спугнуть маралиху. Он вспомнил, как мечтал братишка Азретали о встрече с белым маралом. Как он ждал этого счастья — а оно возьми, да приди к нему, Каракаю! Вот она стоит — белая маралиха — с большими черными глазами, в которых, словно застыли, слезы. Он поймает ее и будет доить как корову. Нет, он уже не упустит такого случая!..

Каракай, вытянув вперед руку, стал медленно приближаться к животному. Вот сейчас, сейчас схватит, дотянется до соска, сейчас — счастье так близко!..

Но тут маралиха повернулась и медленно пошла прочь. Каракай увидел, что она хромает на все четыре ноги, — кто-то подранил ее, и не раз. Обрадовавшись, Каракай поспешил за маралихой. Она не испугалась, не прибавила шагу. Каракай же шел все быстрее, потом побежал, но тщетно: расстояние между ними не сокращалось, а увеличивалось. «Неужто уйдет?!» — испугался Каракай. Испугался и взмолился:

— Ведь не шайтан же ты, чтобы манить меня за собою под седьмой слой земли! Я знаю: ты — белая маралиха. Остановись же, позволь дотянуться до твоего соска!

– Я – скитающаяся и плачущая маралиха. Я плачу о моих оленятах. Каждый год они гибнут в этих краях – то ли в пасти волка, то ли загубленные безжалостным человеком. Я хотела узнать... Пришла, увидела тебя... Теперь знаю: ты – волк...

– Я не волк! Я человек, жаждущий встречи с тобой! Мое тело страдает от недугов, на сердце – тоска...

– Если ты не волк, если правда, что ты – человек, то не преследуй меня, позволь уйти, – маралиха прибавила шагу, и Каракай начал заметно отставать. Он снова пустился вдогонку.

– Ты не белый джинн, ты маралиха с целебным молоком. Остановись, позволь припасть к твоему вымени! – кричал он упавшим голосом.

Она не останавливалась, и расстояние между ними все увеличивалось. Каракай уже заметно устал, дорога становилась все труднее, круче, но, собравшись с силами, он побежал еще быстрее.

– Остановись же, не пожалей человеку наперсток молока! Слышишь, всего один наперсток! – молил он.

Маралиха не остановилась и не оглянулась.

– Жалеешь для меня глоток молока – так я не пощажу твою жизнь! – крикнул Каракай и, вскинув ружье, выстрелил из обоих стволов. На ноге маралихи красным шелковым лоскутом расплылось пятно и алой лентой потекло вниз...

Маралиха остановилась, обернулась к стрелявшему.

– Ты не достоин даже проклятия, злобный, алчный человек. Ты уже много раз стрелял в меня, – сколько твоих пуль остыло в моем теле, ржавеет в моих костях... А теперь ты, человек с черным лицом, просишь у меня целебное белое молоко... Приходили враги, окрасили землю кровью твоих братьев и сородичей – сделал ли ты тогда хоть один выстрел, чтобы остановить своей пулей их пули?.. Травы, заалевшие тогда, до сих пор шумят на полянах, на склонах гор и в ущельях... Теперь с кровью своих братьев ты сливаешь мою кровь. Поднимаюсь ли я на горные луга, опускаюсь ли на водопой, хожу ли по тропам – я истекаю кровью. Прилягу на землю, прячась от преследования, – и подо мною стынет на земле лужа крови... Моя кровь – на камнях, и мне приходится слизывать ее с них вместе с солью. И на желтых обрывах – моя кровь... По утрам солнечные лучи отражаются на траве не в каплях росы, а в каплях крови... Ты вынуждаешь меня жевать траву, пропитанную моей же

кровью. А теперь, человек с черным лицом, ты просишь белое молоко! Ни разу ты не сделал выстрела, который принес бы счастье твоей земле. Зато слишком много выпустил пуль, которые принесли ей печаль, а мне – страдание. Чего же ты хочешь теперь?

Белая маралиха повернулась и стала уходить, вскоре скрывшись из виду. Каракай пошел за нею по кровавому следу. Тропа уходила все выше в гору, подъем был узким, крутым, и вдруг Каракай оказался на самой вершине. То, что он увидел здесь, заставило его окаменеть.

– Чему удивляешься? Не узнал? Я та, которую ты преследуешь.

Перед ним стояла та же белая маралиха, но с головой женщины. На прекрасном ее лице чернели большие грустные глаза, а по спине рассыпались густые длинные золотые волосы, концы их вились по земле...

Каракай продолжал стоять, остолбенев, потеряв дар речи. Наконец он смог прошептать;

– Это в тебя я стрелял?

– Ты спрашиваешь, видя этот кровавый след... Но ты пришел сюда не жалеть об этом, я знаю. Зачем преследуешь меня? Мало ты причинил мне зла?.. Вот мы встретились, говори же, чего еще ты хочешь?

– Немного я хочу – всего наперсток молока, – сказал Каракай.

– Однако не так уж и мало. Этот наперсток – тяжелее обоза, груженного солью!..

– Но и награда моя будет велика: за этот наперсток подарю тебе жизнь!

– Не обещай дарить то, что не в твоей власти!

– На этот раз я зарядил ружье не дробью, пули тяжелы... – Каракай взвел курки ружья.

– Неужели ты решишься нанести новые раны моему нежному телу?..

– Мне нужно целебное молоко!

– ...Вновь окрасишь мои золотые волосы в цвет крови?

– Мне нужны моя прежняя сила и зоркость глаз!

– Ты уже получал их в дар от природы. Разве родная мать и родная земля не поили тебя своим целебным молоком?

– Я хочу обрести их вновь!

– Не пощадишь ли ты меня как женщину?..

– Я не знал пощады от женщин! Мне нужно целебное молоко. Напрасно я тратил слова. – Каракай прицелился, в

грудь маралихи. — Я убью тебя, и пока ты остынешь и молоко твое свернется, успею припасть к твоим сосцам!

Прогремели один за другим выстрелы. Но белая маралиха не упала — лишь брызнула из ее груди алая кровь, обагрив камни и траву.

— Ты думал, что можно убить добро, принадлежащее всем? Нет, я не умру, — говорила маралиха с женским лицом и грустными глазами, с длинными золотыми волосами...

— Не умрешь, говоришь? Еще как умрешь! — Каракай быстро перезарядил ружье и снова выстрелил дважды.

Маралиха продолжала стоять, истекая кровью. А Каракай стрелял и стрелял — до последней пули. Он не ведал, не хотел знать, что не все может умереть от пули, не все подвластно злой силе... Маралиха продолжала стоять в глубокой скорби, с окрашенной кровью грудью. Но как прежде прекрасны были, не потускнели ее печальные глаза. Срубят дерево — вздохнет лес, но продолжает стоять, зеленая каждую весну, рождая молодую поросль. Выжжет огонь траву на поляне — пройдет время, и она возродится, поднимется, зашумит вновь... Не умирала маралиха. И не умрет: многих ей предстоит еще вспоить своим целебным молоком... Она нужна всем, и потому сильнее смерти.

— Я могла бы связать тебя одной своей волосинкой. Но я пришла в этот мир не для того, чтобы причинять зло. Живи, только уходи отсюда, оставь навсегда это место, — проговорила златовласая.

Каракай, не в силах больше вымолвить ни слова, повернулся и пошел.

— Стой! Вернись! — крикнула вдруг белая маралиха, и дрожь пронзила Каракая: таким же окриком остановил его тридцать лет назад отец, и он навсегда стал несчастным...

— Тебе не уйти отсюда, — сказала белая маралиха. — Тропы нет. — Каракай взглянул: тропа исчезла. — Видишь эти отвесные скалы? Попытайся спуститься по ним — уподибишься зерну, которое провеивают на ветру... Но я еще раз помогу тебе. Я люблю людей — пусть они поймут мою помощь тебе как знак этой любви... — Сказав так, маралиха резким движением вскинула голову, и ее золотые волосы повисли вдоль высокой отвесной скалы. — Иди же, мои волосы — твоя дорога к спасению!

Каракай нерешительно подошел, ухватился за золотые волосы, и в одно мгновение стек по ним вниз, почти до самой земли. Убедившись, что спасен — если даже сорвется, ничего, не случится, — он крикнул той, которая держала его:

— Трудно поймать быстрогого скакуна, но, вскочив на него, я не падал! Ты слышишь меня, златовласая? Твои косы в моих руках!

Ответа не было.

— Пусть же падет на тебя позор женщины с отрезанными волосами! Нет у меня больше острых пуль, но моим ножом можно заточить конский волос!

Каракай вытащил нож из висевших на боку ножен, полоснул им по золотым волосам... И полетел вниз...

Что это? Ведь он висел, едва не касаясь ногами земли. Почему же летит так долго? Где же земля?! Он падал мешком в узкую щель между скалами, ударяясь то об одну, то о другую стену. На мгновение он успел глянуть вниз — и не увидел ничего, кроме мрака... Страшный крик вырвался из его груди.

22

Услышав этот крик, Азретали, все еще сидевший с сыном у родника, быстро взбежал по тропе на поляну. Что там произошло с Каракаем?

Каракай сидел у могилы отца и дико озирался. Лицо его было страшно.

— А, это ты, брат, — промолвил он. — Что смотришь на меня так? Словно на лишившегося рассудка. Нет, моя голова полна тяжелых дум, а лишённые рассудка не думают, не страдают...

— Не говори о своих страданиях. Напрасны твои обиды... — оборвал его Азретали и пошел к роднику.

Он уходил, ведя за руку своего сынишку. Доведется ли им еще встретиться с Каракаем, кто знает... Но завтра, с восходом солнца, с новым днем, он вернется сюда. Опять встретится с этой поляной, с родником, со старыми стенами коша и очагом посреди них — со всем этим миром, который питал его детские мечты. Радость жизни, смысл ее — во встречах с родной землей...

Азретали уходит, и мы сейчас расстанемся с ним. Но я знаю, верю: мы еще встретимся.

...Постой, Азретали! Мы расстаемся, но ты так и не сказал нам, что с твоим белым жеребенком...

«Он вырос, стал славной, быстрой лошастью. По многим дорогам пронес он меня. Теперь меня ведут новые дороги. Я встретился со многими своими детскими мечтами — те-

перь новые манят меня. Но я по-прежнему вижу те сны. Вижу зеленую поляну, на ней пасутся лани, скачут белые жеребята, — кто-то поймает и оседлает их?.. Пусть это будет мой сын!»

...Сны не тают бесследно — они становятся явью. Такова жизнь. Знаю: на полянах, на горных лугах и в теснинах все еще шумят, волнуются алые травы. Но идут теплые, благодатные дожди. Они смывают с трав ржавчину, и травы зеленеют вновь. Зеленеют, чтобы больше не ржаветь...

Азретали уходил и выводил своего сынишку.

Я и с мальчиком не прощаюсь. Он пришел в этот мир не гостем — надолго. А значит, мы встретимся с ним еще не раз. Ведь я и он — путники на одной дороге... Знаю, мальчик: и тебе, как когда-то твоему отцу, снятся сказочные сны. Может, проснувшись, ты ищешь зеленую поляну, белого жеребенка... А может быть, тебе снится, что ты садишься на огнедышащую среброкрылую птицу и пересекаешь на ней вселенную... Что ж, одни переворачивают черный слой земли, другие — чувствуют себя, как дома, и за седьмым слоем неба...

...Азретали и его сын уходили все дальше. Уходили в тишине, слыша лишь шуршание сухих листьев под ногами.

Тихо осенью у подножий гор. Тихи деревья, и стога сена, и те рябины, и это стадо камней... Тиха поляна. Все тихо в природе, как плывущая в небе луна, как сон младенца, как первая любовь девушки. Все на поляне тихо-тихо, как радость матери-горянки, как колыбельная песня.

СОДЕРЖАНИЕ

Голубой типчак. Перевод Али Сафара	3
Алые травы. Перевод автора	320

Литературно-художественное издание

Толгуров Зейтун Хамитович

ГОЛУБОЙ ТИПЧАК

Р о м а н , п о в е с т ь

Редактор *Дж. П. Кошубаев*

Художник *Ю. Н. Попов*

Художественный редактор *Ю. М. Алиев*

Технический редактор *Р. О. Алимбетова*

Корректор *А. А. Гарибова*

Лицензия ИД 05895 от 21.09.01

Сдано в набор 24.03.03. Подписано в печать 25.07.03

Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная № 1

Гарнитура школьная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 20,58. Уч.-изд. л. 22,88

Тираж 500 экз. Заказ № 159

Издательство «Эльбрус»

Нальчик, ул. Адмирала Головки, 6

Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года

Мининформпечати КБР

Нальчик, пр. Ленина, 33



Толгуров З. Х.

Т Голубой типчак. Роман, повесть/ Пер. с балк.-
Нальчик: Эльбрус, 2003.- 392 с.

ISBN 5-7680-1881-6

Роман «Голубой типчак» посвящен трагическим черекским событиям 1942 года. В повести «Алые травы» автор поднимает вопросы гражданской ответственности человека перед Родиной и обществом.

Т 4702100100-047 2003
М 125(03)-2003

ISBN 576801881-6



9 785768 018818